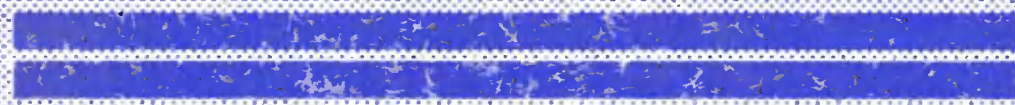


ISSN 0130-7573

НОВЫЙ МИР

9



1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(857)

Сентябрь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

АНТОН УТКИН — Хоровод, роман	3
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — Закрытие сезона. Descriptio, стихи	61
АНДРЕЙ БИТОВ — Жизнь без нас. Стихопроза	65
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — Без начала и повода, стихи	100
АНДРЕЙ ВОЛОС — Три рассказа	109
МИХАИЛ СОКОВНИН — Мель с разводами ветчины, стихи. Публикация Ивана Ахметьева	125

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Убегающий от печали. Публикация и предисловие Елены Семеновой	131
---	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — В нравственном тупике. Вступительное слово Юрия Кублановского	157
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

А. ПАНАРИН — О возможностях отечественной культуры	177
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЧУДАКОВ — «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле...». Чехов и вера	186
ДМИТРИЙ БАК — Биография непрожитого, или Время жестоких чудес. Фантастика Станислава Лема на рубеже столетий	193

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — «Кто там шагает правой?..»	208
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

212

Ирина Роднянская. ...и к ней безумная любовь...
Алена Злобина. Отражения настоящего.
Юрий Кублановский. «Неотшлифованный самородок».
Евгения Воробьева. В поисках «Поисков...».
Игорь Кузнецов. Миру — миф.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДВА ПИСЬМА О РОССИЙСКОЙ НАУКЕ — Б. Думеш. Сколько стоит наука? Б. Харламов. Есть ли у науки шанс выжить?	233
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ольга Майорова. — Эон. Альманах старой и новой культуры. ♦	
Ольга Кузнецова. — Ролан Барт. Мифологии. ♦	
Андрей Василевский. — Вячеслав Курицын. Любовь и зрение	243
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	247
КНИЖНАЯ ПОЛКА	249
ПЕРИОДИКА	251
SUMMARY	256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «*Novu Mir*»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

АНТОН УТКИН



ХОРОВОД

Роман

«История кончилась», — вы скажете; а может быть, и нет. Что, если я опять где-нибудь встречу с красавицею, в Елисейских полях, в Булонском лесу избавлю ее от разбойников, или вытащу из Сены, или спасу от огня?.. Предвижу вашу усмешку. «Роман! Роман!» — повторите вы с кавалером св. Людовика. Боже мой! Как люди стали нынче недоверчивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анекдоты. Хорошо; я замолчу.

*Н. М. Карамзин,
«Письма русского путешественника».*

— **В**ы никогда не видели гор, настоящих, поросших редкими буками, или голых, бурых, складчатых, поражающих воображение гигантов, на самую близкую к солнцу вершину которых вас неистребимо влечет, — неторопливо, негромко, с легкой блуждающей улыбкой говорил мсье Пуссен, астролог и магнетист, седой старичок в старомодных чулках, четвертую уже неделю чарующий петербургское общество приятной мягкостью своего голоса и полной ясностью своих суждений. — Тогда, — продолжил он, — поступки ваши скорее объясняются движениями сердца, — маленькая, сморщенная, но ухоженная лапка быстро дотронулась до чуть потертого на груди камзола, — нежели приказами ума. — Лапка медленно поползла вверх к седенькой голове. — Для иного же человека нет ничего лучше, чем видеть себя в окружении влажного сумрака спокойных и безветренных лесов.

Осторожные лакеи бесшумно подходили к немногим подсвечникам, снимали нагар с догоравших свечей и исчезали в темноте по углам. Освещена вполне была только щуплая фигурка магнетиста и столик слева от него, который покоил на своей блестящей плоскости диковинного вида предметы — помощники его трудов.

Время от времени старик всплескивал руками, вытягивал шею и приподнимался на носки, стараясь поспеть за собственной мыслью, — пламя свечей тогда нежно трепетало, и отблески красными пятнами капали на серебряные пряжки его туфель.

В просторной зале, окна которой, несмотря на летнюю духоту, были плотно затворены и наглухо завешены темными сторами, полукругом в два ряда сидели в креслах те, кто вслушивались в каждое слово астролога, потрясшего в свое время Европу несколькими смелыми предсказаниями. Предсказания эти, однако, не сбылись, к великой радости людей, которым они были предназначены. Впрочем, из-за этого слава предсказателя ничуть не пострадала, скорее же наоборот.

Антон Александрович Уткин родился в 1967 году в Москве. В 1992 году окончил исторический факультет МГУ. Печатается впервые.

Журнальный вариант.

— Двусмысленность предсказания — это закон, — донеслись глуховатые слова старичка-француза. — Примеров тому множество: так, царь Филипп, отец Александра Великого, получил оракул, согласно которому должен был принять смерть от квадриги. С той минуты во всей Македонии не сыскали бы упряжки из четырех лошадей. Умер Филипп, как известно, от руки убийцы, и некоторые из тех, кто помнили смысл оракула, готовы уже были посмеяться над ним, если бы на рукояти кинжала, послужившего роковым оружием, не разглядели изображения четверни. Мысль моя, думаю, видна — если говорят вам: остерегайтесь маленького человека, то это может показаться странным. Ведь многие из нас во всю жизнь свою не встречают ни карликов, ни карлиц. Тогда обратите внимание на мальчиков, и у вас, может быть, появится возможность договориться с провидением.

— Но это парадокс — договориться с провидением, — из полумрака раздался несколько напуганный женский голос.

— Мир держится на парадоксах, *madame*, — был ответ, сопровождаемый лукавой улыбкой.

Думал ли я тогда, укрывшись с полковым приятелем за колонной в доме моего дядюшки, что слова, мягко упadaющие в тишину вокруг, не исчезают просто так, не растворяются в благоговейном сумраке, а — сказанные — существуют уже сами собою, выются около платьев и ливрей, мундиров и фраков и проникают в самую сердцевину того, что скрыто под изящно скроенной тканью, со всей огромной властью, какую имеют они на людей. И не потому, что были они произнесены кем-то, когда-то и где-то, а потому, что, услышанные как бы невзначай, давали они слабую подсказку рассеянному сознанию.

— ...он спасся во время кораблекрушения, но позже утонул в сточной канаве.

Если бы слабый свет, столь щедро служивший старичку-магнетисту, поделился со мною хоть малой долей своей, если бы мерцание его хотя на одно мгновение замерло на лице стоявшего рядом со мною человека, то — как знать, — быть может, и различил бы я на этом лице среди правильных черт вдруг проступившие причудливые знаки судьбы, возможно, заметил бы его взгляд, устремленный туда, где под креслами белела лужа муслинового платья.

— ...говоря иначе, вам на эшафот, а мне налево...

Ведь и тогда, подпирая мрамор гвардейским золоченым плечом, я почему-то подумал о жизни, большую часть которой я провел так вызывающе спокойно, пожалуй и однообразно, что даже при самом беглом раздумье это не могло не открыться со всей очевидностью. Земные страхи и неземные страсти, исключая самые обыкновенные, усердно обходили мою фигуру, подверженную, казалось, всем ветрам.

С другой стороны, конечно, — чего не случается с молодыми людьми. Что-то, однако ж, наводило меня на мысль о заурядности всех моих приключений, хотя матушке могли они показаться сущей одиссеей. Я утешался уже тем, что научился в конце концов не путать обыкновенную войну с полетом на Луну.

Между тем вокруг довольно удивительных судеб — огромный мир, где вспыхивают, сталкиваются страсти, кружат, сокрушают людей в бешеной круговерти и рождают новых, спешащих занять свое место, как некогда торопились и мы впервые распробовать шипучее вино. И ты живешь среди этих людей, старых и новых, наблюдаешь их, слышишь, возможно, что угадаешь невзначай внезапные повороты их путей, в состоянии даже дотянуться до них, ощупать их пальцами, дотронуться до самой судьбы их, но — чужая — она не заметит твоего прикосновения.

Есть же люди, о которых имеешь зачастую самое смутное представление, а то и вовсе незнакомцы, которые сопровождают тебя всю жизнь. Можно на целые годы упускать их из виду, не думать о них, забывать о самом их существовании, но... если идете по дороге, знайте — они следуют за

вами, даже если шагают в другую сторону; будьте уверены — они рядом, даже если и находятся в столь экзотических странах, границы которых означают вместе с тем и пределы нашей фантазии. И редко кому из нас хватает проницательности, чтобы недоуменно взглянуться в неведомые черты.

— Нет-нет, мы не беззащитны перед судьбой, — продолжал француз, — и вера — одно из самых могучих упований наших...

— Вера верой, — прошептал дядюшка, наклонившись к своему соседу — незнакомому мне пожилому генералу, — а к вечерне не мешало б сходить.

Пожилой генерал извлек брегет и кивнул.

Часть первая

1

В то лето 1836 года в Петербурге стояли невыносимые жары. Двор на летнее время переместился в Петергоф, общество — на островные дачи, город заметно обезлюдел, и оттого казалось, что все население его составляет почти одна мундирная публика. Я приехал в Петербург весною вступить в службу, имея за плечами семнадцать лет безделья и три университетские зимы, которые вряд ли пошли мне на пользу. Так, по крайней мере, считали мои родные, а дядюшка, узнав о том, что я таки изгнан из желтых стен загадочного здания, порывисто встал из-за стола, за которым вкушал обязательную полуденную порцию мадеры, и торжественно перекрестился. Он любил военную службу и даже говорил как-то, что ощущения, полученные им, юным тогда сержантом, во время первого своего гатчинского развода, и по сей день затмевают собою все прочие удовольствия, которые щедрая жизнь добрых пять десятков лет изрядно клала к его ногам. Меня же, облаченного в светлый сюртучок, он едва достаивал презрительного взгляда, обращался ко мне редко, да и то при разговоре его черные глаза глядели не на меня прямо, а как-то искоса ощупывали мою не украшенную наградами грудь. Я знал, однако, что дядя привязан ко мне, что строгость его напускная, — бывая у нас в Москве, часто втайне от матери он передавал мне с человеком кое-какие деньги, размышлял о моей судьбе, но при встрече не подавал и виду.

Когда сделалось мое исключение, он гостил у нас в Старой Конюшенной и предавался главным образом тому, что, не щадя себя, испытывал свою крепость в той из двух национальных религий, предмет почитания которой хорошо известен. Его дни проходили в небольшой, но просторной столовой у тяжелого стола, в обществе моей матушки, встречавшей его около десяти часов утра неизменной улыбкой и с вышиванием в руках. Дядя обычно бодрым шагом входил в столовую — на лице его, однако ж, были заметны еще следы усердных вчерашних возлияний, — целовал сестру в щеку и усаживался напротив огромного портрета моего деда, изображенного в полный рост, в мундире, при орденах, на фоне живописных итальянских развалин. Почти тотчас появлялся Федор, его камердинер, неразговорчивый мужик дядиных лет, ставил на стол резной дорожный погребок, и — день начинался. Я выходил к утреннему чаю, подходил к матушкиной ручке, дяде вежливо кланялся и почтительно замирал на своем месте. Разливали чай — он клубился, исходил паром в солнечной тишине, которая была, впрочем, обыкновенной, семейной. Дядя вдруг выпрямлял расслабленную спину, подтягивался, бросал на матушку быстрый взгляд, произносил: «Ну-с», после чего и брал первую крохотную рюмку. Через некоторое время Федор приносил журнал г-на Сенковского или «Московские ведомости», и до обеда дядя читал, сопровождая почти каждую встреченную в разделе приезжающих фамилию возгласом: «Как же, как же».

После обеда, проходившего в том же уютном спокойствии, все обычно отходили почивать, а по вечерам дядю навещали иногда сослуживцы, жив-

шие или бывшие тогда в старой столице, или же дядя отправлялся с визитами. Порою и я сопровождал его, но мне это скоро наскучило, ибо порядок таких приемов походил один на другой столь же верно, как были схожи беленые домики несчастных поселенцев в печально известном Грузинском имении. Дядя тщательно осматривал руки, надевал узкий темный фрак, Владимирскую ленту, долго простаивал перед зеркалом — тем временем во дворе уже готовили легкую коляску. Мы садились в нее под озабоченные взгляды дворни, и дядя прикасался тростью к широченной спине кучера Анисима. Когда же мы, прибыв на место, неторопливо двигались к парадному, дядя как будто сбрасывал лишний десяток лет, как солдат, утомленный долгим переходом, снимает у бивака тяжелый ранец. Его гордо посаженная, но клонившаяся уже голова приобретала строгое прямое положение, в грустных глазах появлялся веселый блеск, так разнившийся с почти ежедневной мутной винной пеленой, и я думал, что недалеко от правды истории, рисующие дядю отчаянным сердцеedom. Я понимал тогда, что это именно тот человек, который при Фридланде зарубил французского капитана, поднявшего поверженное было знамя Псковского мушкетерского полка. Такой-то вид принимал дядя для свиданий с Петром Петровичем Б., с Николаем Ивановичем С., с князем М., с бароном К. и со многими другими, с кем, по выражению дяди, он «кашу хлебал». Поначалу я испытывал даже нечто вроде гордости за него, однако свет его популярности, падавший и на мою ничемную фигуру, начал мало-помалу обжигать меня. Дядя был везде зван, всюду принят, и каждый из тех, кто «имел искреннее счастье» наслаждаться его обществом, пытался по-своему решить вопрос нынешней моей неустроенности. Впрочем, все эти «по-своему» сводились к одному. Начиналось обычно с пустяка — с приглушенных рассказов о дядином героизме, о его шепетильности в вопросах чести и прочем в таком же духе.

— Таких людей больше нет, больше нет, так-то-с, молодой человек, — говорил князь М., отведя меня в сторону и сокрушенно покачивая лысой головой на толстой шее, после чего следовала слышанная мною сотню раз и, пожалуй, выученная уже на память краткая история дядиной жизни, его подвигов, затем история подвигов и жизни самого князя. Вскоре разговор заходил обо мне, и князь осторожно вздыхал, давая таким образом понять, насколько мундир достойней фрака.

— Пора, пора, — говорил князь напоследок и оставлял меня.

Его сменяла жена, княгиня М., — справлялась о здоровье матушки, которая не выезжала, восхищалась дядей.

— Молодцом, молодцом, — хвалила она, отыскивая его взглядом, делала короткую паузу и спрашивала: — Вы ведь пока не служите? — Ударение явно приходилось на третье слово. — А наш Алеша с месяц как в Петербурге, был в карауле и видел государя. — Тут она просила принести Алешино письмо, где это было сказано.

Подобные беседы стали докучать мне тем более, что хитрый дядя даже и не смотрел в мою сторону, и объясниться было невозможно. Пока я собирал незатейливые эти намеки, он являл собою душу общества в полном значении слова. Громкий и уверенный, его голос достигал моего слуха в самых укромных уголках старомосковских домов, где пожилые люди пытались привить мне любовь к порядку.

2

Неправдой было бы, однако, сказать, что мысль о военной службе претила мне. Напротив, сквозь утреннюю дрему я частенько видел, как первым взбегаю на неприступный вал неприятельской крепости или подхватываю штандарт у сраженного насмерть знаменосца, увлекая за собою усатых гренадеров. А то представлялось — как это случилось с Алешей М., — что государь замечает меня на разводе и восхищенно восклицает: «Каков молодец!» Тут мне и выходит следующий чин, радость дяди, уважение товарищей...

Ироничная улыбка перечеркивала обычно эти сцены, начертанные смелою мечтой, но действительность подсказывала, что теперешнее мое положение, пожалуй, и не дает другого выхода. Родные донимали меня постоянной опекой, а я желал самостоятельной молодой жизни, ночей под открытым небом, холодного ветреного воздуха, когда случайные капли влаги дрожат между растрепанных волос, хотел вдыхать пряный запах лошадиного пота на привале, падая от усталости где-нибудь в степи под одинокий дуб, грезил, в конце концов, какой-нибудь необыкновенной романтической любовью.

Как плохо представлял я тогда, произнося слова, что может скрываться за ними! Скрываться, говорю я, ибо то, что стояло за словами, было тогда по-настоящему недоступно для меня. Любовь, война, смерть — все эти понятия, необъятные для разума, непостижимые, — те, из которых соткан мир вокруг, — волновали скорее ум, нежели изменяли движения души. Сколько раз срывались они с моих губ, звеня ничего не значащей пустотой, сколько раз мои глаза скользили по ним, втиснутым между предложениями на страницах книг, которые грыз я в душной комнате своей, окном упиравшейся в старую липу, а точнее, наоборот, — это липа упиралась в окно толстой, корявой веткой, производя во время непогоды трением о стекло невыносимо тоскливый скрип.

Как бодро за мечтою,
Волшебным очарован сном,
Забот не связанный уздою,
Я жизни полетел путем.
Желанье было — исполненье;
Успех отвагу пламенил:
Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смелых крыл.

Шиллер волновал мое воображение куда более, чем построения г-на Гегеля занимали незрелый мой разум. Схватки, разбойники, переправы, а то и веселый кутеж виделись мне за этими строками. Тогда я захлопывал одни книги, нетерпеливою рукой открывал другие или просто откладывал все и смотрел в стену, скрывавшую от меня будущее. Вот почему, когда настало время служить, я, испытав себя в университете, не питал особых привязанностей ни к Иностранной коллегии, ни к архивному ведомству и все чаще задумывался о синем воротнике Семеновского полка, с которым и дядя мой сделал три исполинские кампании.

Однажды раздумья переродились в уверенность, и, когда на семейном совете за тем же самым обеденным столом, за которым не так давно разбирались два-три поступка, преградившие мне дорогу к магистерской степени, решение было принято, дядя взял устройство этого дела в свои ухоженные руки. Во время оно дядюшка, поговаривали, был близок к великому князю Константину и подолгу жила при дворе его в Варшаве. Уверенность дядюшки в своих связях была такова, что он имел в виду ехать в столицу не мешкая, чтобы дело решилось сразу на месте. «Опричь Петербурга нигде нельзя служить», — заметил дядя. После недолгих сборов мы выехали.

3

Дядя, как я уже сказал, бывал в Москве наездами, но постоянно проживал в новой столице, где на Большой Морской имел собственный дом. Жить мне было определено у него, но я надеялся, освоившись с новой обстановкой, со временем подыскать квартиру недалеко от дядиного владения.

По приезде дядя тут же отправился к одному из своих коротких знакомых, Сергею Васильевичу Розену, генерал-лейтенанту, еще находившемуся в службе, ходатайствовать за меня. Этот Розен, сколько я помню сейчас, был товарищ дядин с молодых лет. Оба они были замешаны в какую-

то неприятную историю, связанную с дочерью несказанно богатого поляка графа Радовского, приехавшего в Петербург в 1817 году. История эта тогда наделала немало шума; я не знаю наверное, в чем была суть, знаю только, что она едва сошла дяде с рук, почти не отразившись на Сергее Васильевиче. Не послужил ли здесь дядя заложником той самой чести, легендами о которой столько времени питался мой слух?

При встрече с Розеном, однако, выяснилось, что вакансий у семеновцев нынче нет, но открылась возможность поступить к лейб-гусарам, и я не колебался ни минуты. Полк стоял в Царском Селе, и, вступая в него, у меня появлялась хоть какая-то надежда обеспечить свою самостоятельность — как я ее себе представлял. Задним числом я был записан сначала юнкером в Александрийский гусарский, но, так и не увидев черного ментика, уже через две недели был переведен в гвардию.

Пока все устраивалось, я начал знакомиться с городом, в котором не бывал никогда прежде, и, выбрав за провожатого Николеньку Лихачева — приятеля моего детства, уже служившего в Петербурге в канцелярии генерал-губернатора, — целыми днями пропадал вне дома. Визиты к бесчисленным дядиным знакомым были отложены до того момента, когда я смог бы показаться во всем блеске новоиспеченного кавалериста. Дяде мысль эта пришлась по душе, и поэтому мы с Николенькой, пообедав у *Valon'a*, отправлялись бродить по городу, и на Невском проспекте Николенька, иногда раскланиваясь с прохожими, указывал мне знаменитостей.

Поначалу Петербург пугал меня своей холодной надменностью, но позже открылось, что под чиновничьим сюртуком, строго застегнутым на все пуговицы, таится тело с бурным кровообращением. Какую все-таки разницу этому ледяному красавцу являла собой сонная, старая, радушная Москва, где даже в самое беспокойное время суток движение на улицах было неторопливым, как бы непродуманным, где извозчики еще только входили в моду, а стремительный бег ухарской тройки словно нарушал городской пейзаж.

Поздно за полночь я возвращался с своих прогулок, угадывая в строгой шеренге домов салатное пятно знакомого уже фасада, и, прежде чем разбудить швейцара, долго глядел в грязное небо.

Человека, приставленного ко мне матушкой, я отослал обратно, снабдив его письмом, в котором сообщал о том, что все, слава богу, устроилось, что теперь я уже не приеду скоро и что матушка могла бы отправляться на лето в подмосковную. Наконец ожидание кончилось, день настал, и, ощутив на плечах незнакомую тяжесть доломана, поглаживая блестящую лядунку, я почувствовал себя новым человеком.

4

Две чистые комнатки, что снял я за тридцать рублей в месяц у вдовы царскосельского священника, наполнились вещами. Дом был окружен вековыми липами, окна моих комнат выходили на солнечную сторону, и в погожий день их беленые стены покрывались дрожащим узором теней.

Знакомых в полку не оказалось, но новые товарищи приняли меня совсем неплохо. Здесь служило много безусой молодежи, юнкеров же было всего двое — Звонковский, на год меня младше, и я. Эскадронный командир полковник Ворожеев, не слезавший с седла уже семнадцатый год, при знакомстве подарил мне курительную трубку — по его настоянию я выбирал ее сам из нескольких десятков, составлявших его коллекцию. До той поры табака я не пробовал, но выбрал, по словам полковника, удачно. Трубочка была старенькая, темная, с серебряным, тоже темным, кольцом, до блеска отполированная незнакомыми пальцами, быть может, не раз менявшая хозяев. Я люблю старые вещи: они, мне кажется, способны погрузить нового обладателя в самый центр жизни, без вступлений и предисловий.

— Обедать пожалуйста ко мне, — добавил добрый полковник, — лукулловских трапез предложить не могу, но стакан вина обещаю непременно. Прошу без церемоний.

Я поблагодарил своего начальника, и мы отправились осмотреть казармы и конюшню, куда уже отвели Однодворца, трехлетнего жеребца, подаренного дядей.

Время было около полудня, по-воскресному тихо и по-весеннему тепло, несколько всадников на рысях ходили по песчаному кругу. На ступенях казармы молодой корнет в распахнутом кителе сидел и читал книгу. При виде нас, точнее, при виде полковника он поднялся, заложив пальцем страницу.

— Это нашего эскадрона, — сказал Ворожеев. — Знакомьтесь, господа.

Корнет был невысок, темноволос, на вид двадцати с небольшим лет. Неторопливые его глаза посмотрели прямо и внимательно. Я хотел было узнать, что за книгу держал он в руках, но, заметив мое любопытство, он быстро повернул ее заглавием к себе. Так впервые увидел я Неврева.

— Некоторые из офицеров живут в казармах, — пояснил полковник, кивнув на мрачного вида флигель, пристроенный к главному зданию, и слегка улыбнулся. — Ну, там вы еще успеете побывать, надоест еще. Сюда пожалуйста, в солдатские.

Мы миновали ступени и оказались в просторном помещении, уставленном легкими койками.

— Все-то они читают, читают, а что, сами не знают, — добродушно проворчал полковник в густые пшеничные усы.

Когда мы вышли обратно, корнета на лестнице уже не было.

5

Во время обеда у полковника Ворожеева за столом сидели: ротмистр Плещеев, человек лет тридцати, с худым лошадиным лицом; корнет Ламб, симпатичный юноша, имевший над пухлой губой франтоватые, по-особому завитые усики, а также сам полковник с супругой Евдокией Ивановной, женщиной тихой и молчаливой. Больше никого не было, но я обратил внимание, что один стул так и остался незанятым. Отношения между офицерами с первой минуты показались мне по-настоящему товарищескими. Говорили исключительно по-русски, много спрашивали обо мне, я поначалу краснел, однако быстро освоился с новыми знакомыми, в компании которых мне, очень может быть, предстояло в ожидании атаки стоять под картечью в редком перелеске.

Я приглядывался, прислушивался, но сразу был захвачен тем духом, который создавала тогда гвардия. Особенное буйство двадцатых годов исчезало, но истории тех лет охотно рассказывали и слушали с удовольствием. В полках было немало молодежи, которая отнюдь не скучала, да и офицеры старшего поколения — многие из них помнили еще Лунина — вели образ жизни, не сверяясь с своими годами. Свободных от фрунта часов бывало вполне достаточно, чтобы перевернуть вверх дном «Красный кабачок» или примчаться в Петербург на оперную премьеру. Платили не торгуясь, каждый второй был отчаянный игрок, и редкий вечер обходился без карт. Кутежи достигали своей вершины в конце года, когда выходили следующие чины. Иногда веселье по таким серьезным поводам доходило до курьеза — отмечавший свое повышение слишком настойчиво, проспавшись, обнаруживал себя в прежнем чине.

Уже через неделю приобрел я двух должников, один из которых был ротмистр Плещеев. Он оказался страстным игроком, не раз большие деньги приходили к нему в руки, но тут же уплывали, оседая только в виде гастрономически безупречных обедов. «Проклятая игра», — бормотал он, облизывая сухие губы, пока я доставал пачку хрустящих ассигнаций. Некоторые мои финансовые планы и расчеты развалились. Впрочем, Плещеев вернул мне долг уже через день, за обедом у полковника. Судя по выражению нашего опытного начальника, я понял, что поступил опрометчиво.

Так или иначе, пришлось задуматься, в каких случаях отказ выдать деньги не будет истолкован превратно.

Сам я не играл и почти не умел этого делать. Один всего раз тасовал я скользкую колоду — это приключилось еще в Москве, когда Савелий Кривцов, дальний и взрослый мой родственник, завел меня в третий этаж одного интересного дома, где игра не прекращалась ни на час. Я оробел, рассмотрев хорошенько публику, пытавшую счастья: пожилые графы, спустившие все, кроме титула и запонок, полупьяные степные помещики в неопрятных архалуках, с нагайками за плетеными поясами, еще какие-то господа неопределенного возраста и неясного рода занятий, все с мерзкими лицами, несколько миловидных юношей; свирепо поглощавших трубку за трубкой, два-три иностранца с физиономиями хищных птиц, компании шумных офицеров; грязно, дымно... В общем, это были не шутки, не дурачки в девичьей, где на кон идут копейка да баранка. У меня в кармане было тогда около сорока; когда ж я вышел, то знал уже наверное, что час назад имел тридцать семь рублей. Не догадываюсь по сей день, как матушке стало известно об этом случае, да только разговор у нас получился что-то уж очень неприятный. «Твоего отца погубили карты», — почти кричала она. Я удивился ее тону, но выводы сделал. Под страхом отлучения от ежемесячного содержания дал я слово не прикасаться к картам ни под каким видом и упрямо его держал.

Зато уж шампанское уничтожали мы порою не бутылками, а целыми ящиками. Я усердно посещал все без исключения пирушки, понаделал знакомств и долгов, подружился — так, во всяком случае, мне казалось — буквально с каждым из офицеров, жадно вслушиваясь в откровенные рассказы товарищей, нередко сдобренные ненужной подробностью. Под утро нетвердыми шагами добирался я до своей квартиры, обрушивался на кровать и забывался прежде, чем успевал стянуть ботфорты. Клянусь, сном это никак нельзя было назвать. На разводе меня шатало даже в безветренную погоду, так что я то и дело рисковал выпасть из седла, к обеду я едва справлялся со сном, зато вечером, как ни странно казалось это мне самому, голос мой снова тонул в непристойном гаме беспричинного веселья, я опять восседал за мокрым от пролитого вина столом, и в замутненном сознании бессвязные обрывки лекций Погодина кружили нелепую свистопляску. Быстрее и ближе всех сошелся я с Елагиным, в которого был положительно влюблен. Высокого роста, красавец с неизменно скучающим взглядом, он держался свысока даже с короткими приятелями, много говорил по-французски, хоть это и было не принято в нашем полку, а наш полк умел поддерживать свои традиции. Несмотря ни на что, Елагина почти боготворили за блестящее остроумие, а может быть, и остерегались колких и почти всегда злых его шуток. Даже в самой бесшабашной компании он создавал неуловимое впечатление постороннего, хотя и выступал первым заводилой; казалось, снисходительность была его постоянной спутницей, а его манеры, некоторое отчуждение, частые отлучки в столицу давали понять, что принадлежит он к самому высшему кругу. Вместе с тем выражение его лица намекало как будто на то, что недоступного для него под лунной ничтожно мало, а неиспробованного уже и вовсе не осталось. Не знаю, чем моя бледно-зеленая юность привлекла его, — думаю, во мне он видел равного по положению. История моего появления в полку не могла долго оставаться секретом, а между тем некоторым из офицеров приходилось по несколько лет ждать перевода в гвардейский корпус. Елагин подчеркивал, что служит от безделья, я, верно, производил то же впечатление, за месяц растратив значительную сумму на самые пустые развлечения. «Гвардия умирает, но допивает», — ходила среди нас такая шутка, тем более веселая, что в ней переиначены слова француза. Море, которое едва мы узнали, было нам по колено, Нева напротив Зимнего дворца — едва ли по грудь, и только вечная невысыхающая лужа у полицмейстера дома представлялась временами стихией, способной намочить волосы на голове. Частенько проводил я время у дяди. Конечно, три часа езды в одиночку не

могли показаться приятными, но дядя требовал меня к себе, таскал по знакомым, демонстрируя, так сказать, направо и налево.

В первых числах июня княгиня Ф. давала бал. Дядя был в числе приглашенных — я прибыл в Петербург загодя.

6

Когда мы подъехали к дому княгини на Фонтанке, у подъезда уже стояли экипажи. Кучка поздних прохожих глазела на ярко освещенные окна второго этажа. Судя по всполохам музыки, пробивавшимся в то и дело растворяемую дверь, праздник уже начался.

Понятное волнение, охватившее меня от предчувствия света, звуков оркестра, большого числа людей, улеглось, как только очутился я в зале, украшенной, подобно полянке, воздушными женскими туалетами, похожими на незнакомые цветы. Спокойные глубокие тона одежды в движении своих носителей поминутно производили красочные сочетания, распadaлись и вновь, на почти неуловимое мгновение, соединялись в возбужденном трепете. Стоявшие и сидевшие вдоль стен и между колоннами мужчины в черном будто обрамляли живую картину.

Раскланиваясь, дядя с изысканной аккуратностью пробирался к тому месту, откуда княгиня, довольно красивая еще женщина лет сорока пяти, в окружении десятка гостей уже приветствовала нас очаровательной улыбкой и гордым блеском украшений.

— Милый Иван Сергеич, — княгиня сделала шаг навстречу дяде, — *se jeune homme est votre neveu?*¹

— Точно так, княгиня, — отвечал дядя. — Молодой человек, право, привык больше к библиотечной пыли, чем к радостям света.

Когда я взял для поцелуя томную прозрачную руку княгини, то заметил, что слой пудры повыше перчатки нарушен прикосновением чужих губ. Мне невольно вспомнилось, как в сельской церкви нашей подмосковной подходил я к распятию, дрожавшему в толстых пьяных пальцах отца Серафима, — к посеребренному кресту, на котором сотни верующих открыли блестящую природу металла. Какому неведомому божеству поклонились мы здесь в начале полуночи?

Княгиня осмотрела меня благосклонно и с интересом, после чего я, сказав несколько любезностей, был предоставлен самому себе, однако через мгновение снова каким-то чудом оказался в обществе княгини.

— Бедный молодой человек, — сокрушалась княгиня, — вам, поди, нелегко живется!

Это был не вопрос, а прямое утверждение. Впрочем, женщины таких достоинств иначе говорить не умеют.

— Отчего же? — Я изобразил вежливый поклон.

— Я знаю вашего дядю, он пичкает вас своими нескончаемыми историями.

— Ни одной не слышал.

— И правильно делаете.

— Почему? Скажу без обиняков — я большой охотник до рассказов. Всегда интересно узнать чужие судьбы. Сам-то обладаешь всего одной.

— Какая ненасытность! — обратилась она к дяде, кивая на меня. — Смотрите, как бы эти судьбы не зацепили вас.

— Они же чужие, — улыбнулся я.

— Сегодня чужие — завтра ваша собственная, — загадочно произнесла проницательная женщина. — Вы не боитесь слов? — Княгиня вскинула на меня бездонные глаза. Бездна ума здесь тонула в другой бездне — бездне утонченных удовольствий, будь то наслаждения тела или смятенного духа. Дядюшка искоса наблюдал за нами.

¹ Молодой человек — ваш племянник? (франц.)

— Пощадите, — со смехом вмешался он, — не пугайте.

— Я предостерегаю, я не пугаю. — Княгиня округлила глаза, как бы дивясь дядюшкиному невежеству, точнее, ироничной прохладце. Я тоже смешал на своей физиогномии недоумение и любопытство. — Ибо слова стремятся воплотиться точно так, как и мысли борются с вечным искушением быть произнесенными. Рассказчик — это портной, а слова — его мерки, его тесные мерки, не правда ли? Есть возможность угодить к ним в клетку. Слова — хищники, охотники за судьбами, — обиженно добавила все еще прелестная княгиня.

— Откуда в вас такая убежденность? — густо покраснев, спросил я.

— Только догадки.

Эти догадки посыпали мне голову пеплом отжитых жизней — жизней, сожженных на кострах любви, приготовленных на очагах страстей.

— В таком случае, — возразил я, — хочу прожить сто жизней.

— И проживете, эдакий упрямец, — строго отвечала она. — Слово плоть бысть.

— Как вы сказали?

— Так и сказала, — заключила княгиня и оставила меня, увлекаемая дядей, которому, видимо, надоела эта болтовня.

Как часто впоследствии я вспоминал предостережения мудрой княгини!

Поискав глазами знакомых, я захватил с подноса бокал с шампанским и, не спеша опорожняя его, следил за танцующими. Их отчетливые движения наполняли меня ожиданием, смутным предчувствием особенных ощущений. Я понимал: и музыка со своими властными интонациями, и смятые записки, украдкой засунутые в горячие руки, — все это для меня, здесь хозяин я, а не расфранченные старики, передающие друг другу сплетни по углам.

Не знаю, сколько времени ловил я волнующее дыхание проносящихся мимо танцоров, как вдруг заметил у противоположного окна лейб-гусарский ментик. Его хозяин находился спиной ко мне, и я сделал было движение пойти взглянуть, кто это, но тут он повернулся, и я узнал корнета Неврева. Пожалуй, я был удивлен, увидав именно его.

В полку держался он особняком, насколько я знаю, ни с кем близко не сходилась, участие в наших забавах брал лишь изредка, да и то покидал веселое общество задолго до кульминации, присутствуя скорее из вежливости, чем с удовольствием. Впрочем, все настолько привыкли к его исчезновениям, что и не замечали их. Говоря короче, увеселений он бежал. «Никакой Неврев», — со смехом называл его Елагин.

Я был почти не знаком с ним, потому замер в раздумье, стоит ли подходить. Танцующие пары время от времени загоразивали его неподвижную фигуру, но ни его отрешенность, ни грустный взгляд, блуждающий по зале, не укрылись от меня. С первыми тактами котильона Неврев решительным шагом направился к выходу.

Перед ужином, когда гости вереницей потянулись к накрытым столам, я выпросил у дяди коляску, пообещав щадить лошадей, попрощался с княгиней, проклиная в душе условности этой церемонии, и вышел на воздух.

Фонари догорали, набережная была пустынна и тиха.

— Герасим! Подавай! — крикнул я кучеру и, повернувшись туда, где тесно сгрудились экипажи, снова увидел Неврева — опершись на парапет, он не отрываясь разглядывал отражения, сверкавшие на темной глади канала. На какую-то секунду у меня мелькнула мысль, что все утопленники начинают с того же. Впрочем, я ошибся. Он обернулся на звук моего голоса, безразлично скользнул по мне взглядом, но вдруг узнал и как будто обрадовался. Нечто наподобие улыбки проступило на его печальном лице.

— Я еду в расположение, — сказал я, усаживаясь, — присоединяйтесь.

— Охотно, — неожиданно ответил он, и я с удивлением дал ему место.

Мы долго тряслись безжизненными переулками Петербургской стороны, пока не добрались до заставы, где сонный будочник, положив на землю алебарду, отворил шлагбаум, и последние городские огни остались по-

зади. Было тихо вокруг, мерно поскрипывали оси, небо все более наливалось тяжелой голубизной, воздух — прохладой. Мы закутались в плащи и понемногу разговорились.

— Вы ведь обучались в университете? — поинтересовался Неврев.

— Да, но я не дослушал курса.

Мой нечаянный спутник оказался хорошим собеседником — я хочу сказать, внимательным слушателем. Так болтали мы, выискивая на северном небосклоне редкие звезды, и на полпути сошлись уже на «ты». Время прошло незаметно, и наконец впереди, на фоне черной массы деревьев и построек, показалось белое пятно кордегардии.

Когда, разминая ноги, мы прощались с Невревым у казарм, то имели вид вполне добрых приятелей.

7

После этой ночи Неврев несколько раз заходил ко мне, перебирал книги, уже прочитанные мной и пылившиеся теперь на полке.

— Запрещенных нет? — то и дело осведомлялся он с улыбкой.

— Боже упаси, — отвечал я и велел ставить самовар. Мы выпивали его до последней капли и иногда после обеда шатались по розовым дорожкам царскосельского парка. Неврев расспрашивал меня об университетской жизни, о Москве, в которой бывал только ребенком. Как-то, услышав, что подмосковная наша находится по Калужской дороге, он вздрогнул и задумался. Мне показалось, что ему хочется что-то сказать, да так он и не сказал. Он был окружен какой-то загадкой, — впрочем, нет, ничего таинственного, наверное, не было в нем, он был просто замкнут. Я знал о прошлой его жизни не более того, что поведал он сам по дороге в полк. Случалось, что он, не сказав никому, даже эскадронному командиру, ни слова, исчезал, и отыскать его было решительно невозможно. Куда, однако, можно было ездить, кроме Петербурга, но что он делал там — одному богу известно. На разводе он всегда бывал тут как тут и после как пить дать бессонной ночи выглядел довольно бодро. Но кто из нас ради одного только слова, ради одной лишь минуты свидания не помчался бы изо всех сил в этот пленительный сераль, сложенный из серого камня?

Как бы то ни было, Неврев показался мне интересен, я вслушивался в его речь, подернутую едва уловимой иронией, и старался понять — что он такое.

Однажды душа его проглянула на мгновение — так мимолетно показывается клочок солнца в пасмурный день и, не успев никого обогреть, ослепить, скрывается в свинцовой пелене. Помню, мы гуляли по парку, длинные вечерние тени упали на землю и вытянулись между деревьев, перечеркнув во многих местах дорожку аллеи. Мы перешагивали их осторожно, ступая на те участки, которые остались открыты уходящим лучам.

— Мы приходим в мир, как в Демутов трактир. Стол уже накрыт, все готово, все ожидает тебя... Вот лавки — на них следует сидеть, объясняют тебе, вот стол, он служит для помещения приборов. — Неврев усмехнулся. — Можно, конечно, и на скатерть усесться, но выше — уже никак... Дома построены, дороги проложены, мосты возведены, остается только научиться использовать все это с наибольшей удобностью. Мы в плену у мира, у этого мерзкого нечистого старика со всеми его дряхлыми порядками... Даже чувства уже за нас кем-то отжиты.

— Разве этого мало? — спросил я.

— Да нет, я не о том, — ответил Неврев, — я говорю, что не мало или много, а что не больше и не меньше. Нет выхода, — прибавил он, помолчав, и подтолкнул прутиком сморщенный тлею лист к краю лужицы, блестящей под ногами.

Столько было скрытой горечи в этих словах, сначала показавшихся мне простым чудачеством, что я невольно залюбовался отзвуками чувства, воплотившего их с пугающей определенностью.

8

В конце концов я догадался, что мой новый товарищ живет крайне небогато, а после того, как я побывал в его комнатке, помещавшейся в том самом флигеле, известном как офицерские квартиры, то утвердился в своей неприятной догадке. Комнатка была столь мала, что вмещала лишь походную кровать, затянутую серым солдатским одеялом, шкаф да у окна узенький столик, заваленный книгами. Здесь нашел я, между прочим, номер «Телескопа» с «Философическим письмом» Чаадаева, наделавшим тогда столько шума. Таким образом, за неимением мебели отпадала нужда в иных помещениях. Обедал Неврев у полковника Ворожеева куда чаще, чем прочие офицеры, и почитался там за гостя постоянного, почти за своего.

Увидав на столе книги, я припомнил нашу первую встречу и узнал, что он тогда читал. Оказалось, это был «Мельмот-скиталец» Мэтьюрина.

Странное дело, но прежний образ жизни — я имею в виду мои университетские занятия, — опротивевший мне в Москве, на новом месте проявился вдруг привычкой к чтению: упражнения для глаз сделались необходимостью, упражнения языка — удовольствием. Сам не знаю как, я находил время и для попоек, и для долгих споров при намеренно скудном освещении, успевал к дяде и чуть было не превратился в настоящего оперного поклонника, спускающего жизнь у театрального подъезда. Пока только одного признака молодой жизни не существовало для меня.

Вечер того дня, когда впервые переступил я порог скромной квартиры Неврева, мы уговорились провести у меня. Неврев обещался быть в восемь, а я отправился в штаб к полковому командиру, который пожелал за чем-то видеть юнкеров. Около семи я уже вернулся домой. У дверей скучал солдат, переминаясь с ноги на ногу. Увидев меня, он извлек из рукава сложенный вчетверо лист бумаги и обрадованно сообщил:

— Их благородие корнет Неврев приказали передать.

Я отпустил солдата, довольного тем, что дождался меня, и развернул листок.

«Сегодня быть не могу. Извини. Неврев», — прочел я неровную строчку, даже не присыпанную песком, от чего буквы безобразно расплылись. «Странно, — подумалось мне, — что за спешка». Делать было нечего — на всякий случай я предупредил хозяйку, что буду у себя, облачился в халат и уселся с книгой у растворенного окна. Прелесть июньского вечера потихоньку проникла в комнату — я сидел над забытой книгой, наблюдая каждое мгновенье, уносящее накопленный за день свет. Я видел, как предметы на столе окутываются таинственностью, трогал их руками, убеждаясь, что они не растворились в сумерках, не изменили своей сущности, той, к которой мы привыкли. Я старался угадать тот миг, который поведет счет ночи, секунду, которую ждешь и никогда не различаешь.

Долго сидел я, подперев ладонью подбородок, глядя на разомлевшее под низкой красной луной небо, прислушиваясь к мерному треску цикад, мечтая и строя планы один сладостней другого, ибо непередаваемое волшебство ночи окэловало и душу и разум.

Вдали слышался шум экипажа. Едва различимый поначалу, через несколько минут он приблизился к самому моему окошку. До меня донеслись хриплые голоса, называвшие мою фамилию, и отвечавший им испуганный голос хозяйки. Я поднялся из кресел и быстро спустился по скрипучей лестничке. Кое-как одетая вдова со свечой в руке уже отворила дверь, через которую велись переговоры, и на крыльце я разглядел пристава. За его спиной во дворе виднелись дрожки, с которых кучер, пыхтя, тащил на землю что-то длинное, тяжелое, оказавшееся вдруг обмякшим телом, которое он наконец стащил и посадил, прислонив к колесу.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Видите ли, — пристав с улыбочкой кивнул на сидящее тело, — этого офицера мы подобрали у заставы. Это ведь ваш товарищ.

— Что же с ним? — вскричал я, подходя к дрожкам.

— Известно что, — продолжал улыбаться пристав, — мы узнали мундир да и подняли от греха, прямо на дороге лежал. И ограбить могли, и... все могли при таких-то кондициях. Лихого народа полно шляется. Э-эх, господа, господа...

— Да как же вы знали, куда везти? — недоумевал я.

— Они сами попросили, чтобы к вам, — объяснил пристав и загадочно добавил: — Когда еще говорить могли.

— Да полно, пьян ли он?

— Мертвецки, — был ответ.

Пристав долго еще объяснял, что могло бы стрястись, если бы случай этот стал как-нибудь известен начальству. Я угостил его «Ривесальтом», кучеру дал на водку и поспешил наверх, где на сундуке, наспех покрытом ковром, положили моего бесчувственного товарища.

9

Когда я очнулся в мутной пелене влажного утра, на сундуке никого не было. Засевшие в ветвях лип соловьи упорно твердили, что их день уже закончился. Спать не хотелось, я немного посидел на кровати, припоминая подробности прошедшей ночи, наскоро выпил чаю и отправился в конюшню.

На развод Неврев не явился, но это, по счастью, сошло незамеченным. Обедать к полковнику он тоже не пришел, и я, благоразумно захватив бутылку цимлянского, направился в казармы узнать, что же с ним произошло. Вчера он имел вид самый отвратительный: китель был разорван, изуродован, на одном сапоге недоставало шпоры, перчатки отсутствовали, а сами руки были в ссадинах и грязи, растрепанные волосы мокрыми прядями разделили бледный лоб, в уголках сухого рта запеклась пена.

Дверь я открыл сапогом, полагая, что давешнее происшествие в известном смысле дает мне право на такую вольность. Неврева я застал еще в постели, одежда скорчилась на полу неопрятной кучей, окно было затворено, и в комнате стоял невыносимый запах вчерашнего хмеля. Хозяин всего этого великолепия посмотрел на меня черными ввалившимися глазами. Припухшие веки отдавали зеленым.

— Мой дядюшка рассказывал как-то, — пошутил я, — что один его знакомый офицер умер с перепоею, так его после этого хоронили в сюртуке.

— Ради Бога, извини, — с видимым сожалением разжал губы Неврев. — Ты знаешь, что могло бы выйти.

— *Mon cher, quelle idée entre nous*², — сказал я небрежно, — но объясни, пожалуй, как это все получилось, я ничего не пойму.

Неврев схватил голову немытыми руками и медленно сел на кровати. Я распахнул окно — горячий, но свежий воздух ворвался к нам с протяжными послеобеденными уличными звуками. Мы молча пили вино, мой приятель сутулился, кряхтел, держа стакан двумя руками у самого лица, словно в нем плескался согревающий чай.

Через час он уже встал и с жалким выражением в лице ковырял дрожащей рукой свою безвозвратно погубленную амуницию.

— Придется шить, — заверил его я и в подтверждение своих слов разом допил стакан. — Да сядь, расскажи толком.

— Нечего тут рассказывать, — подумав, нахмурился он. — Стало мне, брат, худо, пошел да и напился. С кем не бывает.

Мрачный получился день: Неврев отмалчивался или просил прощения, бутылка была пуста, но больше пить и не хотелось.

² Дорогой, что за счеты между нами (франц.).

10

После этого случая Неврев стал отлучаться из расположения все чаще, отсутствовал все дольше, и с каждым разом все угрюмее становилось его красивое сосредоточенное лицо. Тем не менее у меня он бывал постоянно, и иногда я замечал у него в глазах нетрезвый блеск. А однажды он просто попросил вина и посмотрел в угол, где стоял початый ящик с мадерой. Обычно он наливал себе полный стакан, выпивал его залпом, а уже затем не торопясь тянул из рюмки. Я посылал в трактир за сыром и цыплятами Григория, разбитного малого, служившего моей хозяйке и кучером, и дворником, и полотером, — а там, глядишь, еще кто-нибудь из товарищей заглядывал к нам.

Один раз мы рылись в пухлом томике Шиллера, и Неврев долго не мог найти нужную ему вещь; это, видимо, его раздражало, и страницы трепетали в нервных пальцах.

— Ты книгу не порви, — недовольно заметил я, — что за спешка!

— Видишь ли, — страстно заговорил он, отбрасывая растрепанный том, — вот мы сидим здесь, сидим минуту, час сидим, другой, седлаем ли лошадь, еще что-нибудь такое делаем... ненужное... а я прямо-таки чувствую всем своим существом, как за этой стенкой жизнь идет, — он усмехнулся, — да что там идет — неистовствует. Вот представь себе: раннее утро, первые звуки, люди выходят из домов. Куда они идут? Что чувствуют? Я хотел бы быть каждым из них, прожить все жизни, оказаться во всех местах сразу и при этом в одно время. — Тут он устремил на меня почти безумный взгляд.

— Володя, ты не выпил ли? — обеспокоенно спросил я.

— Чаю, — отвечал он и снова усмехнулся. Поднявшись, он отворил окно. По дорожке рядом с домом шла книгоноша с закинутой на спину корзиной. — Вот хочу быть книгоношей, — продолжил Неврев, выглядывая наружу. — Хочу быть этим деревом, и этим, и этим — всем хочу быть, всем... А дерево-то бедное какое, здесь родилось, здесь и умрет... стоит себе на одном месте и никуда отойти не может. А вдруг и ему интересно куда-нибудь?

— Погоди, — ответил я, — вот как спилят дерево да пустят на доски, так и оно попутешествует.

— В том-то и дело, что спилят, а оно-то должно само.

Я живо представил себе, как деревья и дома расхаживают по улицам и вежливо друг с другом раскланиваются, а то договариваются с извозчиком подвезти их два квартала до своего номера.

— Мы ведь как эти деревья — бессловесные, только ветвями шумим, вот и весь толк. Ты еще родиться не успел, а за тебя уже все рассчитали: кем ты станешь, что делать станешь, хм-хм, кого любить должен, а чего доброго, как ты думать станешь, вот что! У попа сын родился — прыг сразу в ряску из колыбели и к заутрене, к заутрене. Дочка родилась — так уж есть на примете прыщавый семинарист в мужья. В общем, крестьяне падут, попы кадилами машут, мещане водку пьют... — Неврев задумался на мгновенье и, хихикнув, заключил: — Так все и живут.

— Купцы, — вставил я.

— Что купцы? — не понял Неврев. — А-а, купцы. Купцы — молодцы.

— Ты купцов забыл, купцы торгуют.

— Торгуют, мерзавцы, — согласился он.

— Володя, — всплеснул я руками и закрыл окно, — да ты социалист! Ты еще пожелаешь, может быть, чтобы солнце не каждый день всходило, а не то и упало эдак через недельку.

— Ну, это философия, — отмахнулся он, — я про то, что нет у нас никакого выбора, у меня в особенности. Служу вот, сам не знаю зачем. Скажем до одури по полям, цветы топчем да саблями машем. Говорят: так надо. Что ж, надо так надо. Жизнь пройдет на парадах, и я не буду жалеть о ней, — иронично закончил он. — И никому это не скучно, а очень даже

и хорошо. Сословия-с. Основы порядка мирового. — Он помолчал, разглядывая книги. — Да-с, только слово — это все. Единство места, времени и действия.

— Какое слово? — не понял я.

— Просто — слово. Слово.

— Все это странно, что ты говоришь, — несколько испуганно произнес я и подумал: «Вот что похмелье делает с людьми».

— Я тебя не понимаю, — вскинулся он, — тебе-то что здесь? У тебя же есть возможности, бросай ты этот вздор, не теряй времени.

— Мечу в генералы, — отшутился я.

При этих словах появился Елагин. Заметив, какой взгляд бросил он на Неврева, — наверное, не ожидал увидеть его здесь, — я смекнул, что эти господа не созданы друг для друга. В присутствии Елагина Неврев сделался молчалив и безразличен, а тот обращался лишь ко мне. Разговор не получался, но пикировка между ними все-таки вышла. Из соседней комнаты, куда я отлучался за чем-то, было слышно, как Елагин брезгливым голосом спросил:

— Прости, ты у кого шить собираешься?

— У полкового.

— А... Я полагал, у Руча.

Руч считался очень дорогим портным. Намек на неимение средств был столь прозрачен, что даже я, в то время многое видевший через розовые очки, подивился злости и наглости Елагина. Когда я вернулся в комнату, то прежде всего встретился с тоскливым взглядом Неврева. Еще некоторое время молчание сменялось пустыми фразами, пока он не откланялся.

— Куда ты? — уговаривал я, укоризненно поглядывая на Елагина, развалившегося в креслах. — Что за чертовщина!

Я чувствовал себя очень неловко, а заодно и растерянно, потому что не мог не понять причину его ухода.

— Что-то есть между вами? — спросил я напрямик, когда лестница перестала скрипеть.

Елагин рассмеялся:

— Что же может быть между им и мной? Ты шутишь, что ли?

Я напряженно наблюдал, как кружила муха на столе, то и дело взлетая и вновь опускаясь на зеленое сукно. Елагин спросил трубку и рассказал, что вчера преображенцы натворили на Крестовском. Они, оказывается, заставили раздеться половых и подавать им в таком виде. Вся публика, конечно, разбежалась. А потом спьяну утробили знаменитых рысаков Апухтина: коляска свалилась в залив, и не успели перерезать постромки.

— Так он два раза в воду кидался, — сказал Елагин. — Рыдал, как рыдал! Насилу успокоили.

Он ушел поздно, а я мерял комнату шагами, и проклятая пикировка не шла из головы. После той памятной ночи, когда Неврев так меня удивил несвойственным ему приключением, он стал охотнее появляться среди товарищей. Перемена эта обрадовала меня, да и многих других лейб-гусар, иные из которых считали его все же чужаком и затворником, но тем не менее испытали искреннее облегчение оттого, что он вступил-таки в приятельский круг. Неприязнь к нему Елагина открылась мне только теперь, когда я стал свидетелем, а может быть, и причиной безобразной сцены. Мне было хорошо известно, что поединки, частенько заканчивающиеся самой настоящей бедой, случались и по более ничтожным поводам, чем тот, который возник в моей квартире. И если бы дело происходило в людном месте, в шумной компании, кто знает, не оказались бы решающими тогда те несколько рюмок мадеры, что осушили мы за несколько минут до прихода Елагина. Приличия, приличия, пронеслось в голове, чего вы стоите, если под вашим прикрытием рождаются и зреют мерзкие дела. Не лучше ли просто подойти к человеку, взять его за воротник и грубо сказать: «Я хочу, чтобы ты умер, чтобы тебя не стало, потому что нам тесно вдвоем в одном доме, на одной улице, в одном городе, хотя и живем мы в

разных местах — я на Миллионной, а ты в убогой квартирке Петербургской стороны, где общий вход и ты обложен грязью и тараканами со всех сторон. Какое же ты имеешь право, подлец, чувствовать так же, как и я, заговаривать с теми же людьми, с которыми говорю я, и вообще стоять со мною в одном строю?» Не честнее ли — как это делают налитые водкой мужики в придорожном трактире — схватить тяжелый табурет и метнуть его в голову, а то вытащить из голенища нож и, перекрестясь, перерезать жертве горло. А что на деле? Небрежно роняемые фразы, надушенный платок, которым протирают вспотевшую полку и курок: «Господа, не угодно ли начать. Становится свежо». Учтивость первого разряда, что твои апельсины в колониальной лавке, когда хочется отбросить далеко железную игрушку и рвать зубами горло, обмотанное шарфом от несуществующей инфлюэнцы.

Я же всеми силами старался привлечь Неврева в наше общество, и ни разу мысль о том, что, возможно, я решил насильно сочетать несочетаемое, не приходила на ум. Однако мои по-детски наивные уловки и неуместная настойчивость не очень-то брали Неврева, и он стал принимать участие в наших забавах, конечно же, только тогда, когда сам по непонятным мне причинам этого пожелал. Впрочем, непонятными причины эти являлись потому, что тогда я приписывал успех всецело своим простоватым «чарам».

Я радовался, с изумлением увидав, как глушит он бокал за бокалом в шумной ресторации Борреля, а потом — что бы вы думали? — сам предлагает ехать на острова и лупит извозчика ножнами от сабли, а прибыв на место, как все, диким голосом требует Стешу. И чем мрачнее был он, когда, задумчивый и запыленный, возвращался из Петербурга, тем громче звучал его голос, просящий цыганского танца, вобравшего в себя все движения оседлых земель. Я, правду говоря, не сразу установил эту столь очевидную связь, но иначе и быть не могло. Да и до того ли, когда перед твоим разгоряченным лицом с неведомой страстью извивается гибкий стан, черные задорные глаза высмеивают самые далекие от солнечного света уголки твоей души и только пронзительные краски тончайшего полотна отделяют тебя от этого упругого чуда, где бьется и трепещет жизнь. Битое стекло хрустит под подошвами сапог, и кто-то шепчет тебе на ухо:

— Ваше благородие. Тридцать семь рюмочек изволили-с... того-с...

— Отстань, дурак! На вот, возьми... держи.

А ему того и надо:

— Премного благодарны-с...

Неистовство овладевает тобой, а голос Стеша, колотящийся о глухие стены трактира, высекающий искру, задевая верхний свой предел, будит и будит надежды. «Протяни руку, — чудится в нем, — и ты нащупаешь то, чего хочешь, чего смутно желает свежая твоя душа». И я представляю вдруг, как летит тройка по чуть запорошенному тракту и в ней двое с лихорадочным блеском в глазах бешено мчатся навстречу своему счастью. Легко бегут кони, пристяжные падают к земле, полозья оставляют за собой длинный ровный след, который тут же заносит колючим снегом, и уже счастье в виде уютного огонька станционной будки пробивается через темноту навстречу своим хозяевам.

Я не знал, как это будет, знал только, что это будет непременно. Звенящий Шешин голос обещал мне это. Я нетерпеливо озираюсь, хочу посмотреть, нет ли этого уже здесь, сейчас... Нет. Только душка Донауров в белой рубахе сидит широко расставив длинные ноги, спрятав лицо в ладони; вот юркнул между столов напуганный половой в нечистом фартуке — такой же мальчишка, как и я; вот Стеша, поводя подвижным плечом, исчезает за какой-то дверью, вот, наконец, и Неврев, который наливает себе вина и, задумавшись, смотрит в никуда, рюмка уже полна, красная жидкость льется через край и сбегает тонкой струйкой по жесткой крахмальной скатерти прямо ему на колени. «Опять печаль в его глазах...» В порыве

ве необыкновенной жалости я трогаю его за руку и начинаю утешать и отговаривать, сам не знаю от чего, ненадолго засыпаю на лавке и под сдержанные и понимающие смешки товарищей забираюсь в коляску.

11

В конце июня столичные полки выезжали в лагеря. Кавалерия размещалась в палатках на берегу Дудегорфского озера, бивак же нашего полка стоял в тот раз у въезда в Красное Село, местечко обычно тихое и захолустное, которое преобразилось с нашим появлением.

Вместе с Невревым, Ламбом и Донауровым располагались мы под укрытием походного парусинового шатра, ну а подобное житье, как известно, теснит людей не в одном лишь буквальном смысле.

Днями рыскали мы по окрестностям: внимая полковому рожку, атаковали невидимого противника, выполняли сложные развороты на местности, рассыпались, словно картечь, и снова держали строй под пристальными взглядами великого князя Михаила Павловича. Вечером сушились у костров, гадая, не объявят ли сегодня ночью боевой сбор. Охотников повеселиться и в таких условиях меньше не стало: то и дело с наступлением белых сумерек мимо постов шныряли тени — счастливицы спешили на знакомые дачи. Мне, признаться, навещать было некого, и большей частью бродил я у полковых огней. В компании Неврева и Ламба обходили мы костер за костром, делясь скудными новостями с теми из товарищей, которые, подобно нам, скучали в обществе бесчисленных трубок и позевывающих денщиков.

В тот день, о каком имею намерение рассказать, нам было произведено учение в окрестностях селения Копорское. Все мы крайне утомились, а под конец забрались в самое болото. Возвратясь, я не придумал ничего лучше, как вздремнуть часок-другой...

Когда я проснулся, ночь уже наступила. В палатке не раздавалось ни звука, кроме меня в ней никого не было. Я накинул плащ и вышел на воздух. Лагерь спал. Темные деревья, отягченные июньской листвой, грузные и недвижимые, покоились в душной тишине летней ночи. Где-то вдалеке, за ровными рядами палаток, протяжно прокричали часовые. Обычного в это время движения нигде не было видно, у догоравших костров — никого, только из штабной палатки вылезал луч фонаря. Я направился туда.

Дежурным офицером стоял Елагин. Он сидел в одиночестве и пил чай.

— Куда это все подевались? — спросил я.

— Ты все проспал, — посмеялся он. — Нынче все, что способно двигаться, сидит у Плещеева.

— А-а, играют, что ли, опять... — разочарованно протянул я. Спать не хотелось, и было досадно, что все заняты картами. — Ну что там сегодня, королевство пошло на кон?

— Вот именно, — не переставал смеяться Елагин. — Там такие дела творятся, а я отойти не могу... Ты ж был утром в Копорском?

— Ну да.

— Там, говорят, живет какая-то старуха чухонка, будто бы она гадает верно. Плещеев был у ней, да такого она ему наговорила: жди, сказала, легких денег.

— Так он их каждый день ждет, — улыбнулся я.

— А главное, больших, — продолжил Елагин. — Во всяком случае, сейчас он проверяет это предсказание.

— Пойду погляжу. — Я сдержал зевок.

— Сходи, сходи. — Елагин с завистью посмотрел мне вслед. — Только найди потом опять, пожалуй, расскажешь, что там.

— Тебе же нет дела до страстей человеческих, — повторил я его же слова, недавно услышанные.

— Да на дежурстве до всего есть дело, — добродушно ответил он. — Скучно.

В палатке у Плещеева было не протолкнуться. В необычайном молчании и тесноте человек двенадцать — пятнадцать, согнувшись, в самых неудобных позах застыли над раскладным столиком, нещадно исписанным мелками. Еще несколько офицеров, тех, кому места уже не хватило, расхаживали у входа, то и дело заглядывая за широко откинутый полог.

Четверо, в их числе и Плещеев, выделявшийся прямо-таки мертвенной бледностью, восседали за этим столом. Было очень хорошо заметно, что возбуждение как игроков, так и наблюдателей добралось до высшей своей точки: лица покраснелись, на лбах у многих поблескивали капли пота, который уже и забывали утирать. Кое-кто сжимал в руках давно погасшие трубки. Только я приблизился — тяжелый вздох, похожий на стон, вырвался наружу.

— Что там, что? — Стоявшие на улице полезли внутрь.

Я протиснулся. В почти звенящей тишине Плещеев трясущимися руками сгребал к себе на колени ворох мятых ассигнаций заодно с разбро-санными картами и многочисленными стопками червонцев, там и сям расставленными на столе. Монетам передалось возбужденное состояние Плещеева, и они бунтовали, не желая, по-видимому, идти в новый кошелек, — они падали на дощатый пол, но никто на это не обращал никакого внимания. Это были только крошки.

— Не может быть, — прошептал Ламб, который тоже стоял вместе со всеми.

— Все было правильно, господа? — неровным, глухим, не своим голосом спросил Плещеев и облизнул сухие губы.

— О да, безусловно, — отвечали несколько голосов. Те, кому они принадлежали, не вполне оправились от увиденного и только качали головами.

— Сколько? — спросил я.

Мне назвали сумму. Я переспросил.

— Так, так, — подтвердил еще кто-то.

Плещеев тут же, не веря еще хорошенько в свое счастье, раздавал долги. Его не поздравляли из сочувствия к проигравшим. Впрочем, для них этот проигрыш был отнюдь не роковым событием.

— Пою всех, — прохрипел наконец Плещеев. — Ну, бабка — молодец. Корову ей куплю, вот те крест. Прямо сейчас деньги пошлю.

Он стал звать денщика.

— А что, ты правда был у гадалки днем? — спросил кто-то.

— Да, да, черт побери, сегодня, когда были на учении, обедал у ней... Вот черт. Не стану больше играть.

— Вздор, братец, — слышались смешки.

— Не стану, — отвечал Плещеев. — Я же себя знаю — за неделю все спущу.

Люди выбирались из палатки, трубки опять разгорались.

— Бывает же такое, — увидел меня Неврев.

— Не поехать ли и нам попросить немножко счастья? — в шутку предложил Ламб.

— А который час? — справился Неврев.

— Да всего-то полночь.

— Нет, погоди, ты серьезно? — удивился я.

— А Плещеев каков! — промолвил кто-то. — Я бы ни за что не решился узнать свою судьбу.

— Почему бы не узнать?

— Ну как же, а вдруг впереди всякие ужасы. Мало того, что их уже не избежать, так живи и мучайся.

— Отчего же не избежать? — возражали другие.

— Пустяки! — донеслось с другой стороны. — Все это, извините, чушь — все эти рассуждения. Плещеев каждый божий день играет, должно же когда-то и повезти. Простое совпадение.

— Кто это может знать?

Такие разговоры слышались вокруг.

— А может быть, и в самом деле съездить... — задумчиво произнес Неврев.

— Что ж, я еду, — решил Ламб. — Все равно до утра не засну.

— Еще один сумасшедший.

— Попрошу не забываться.

— Полноте, не обижайся! Но я бы ни за что...

— Плещеев, — закричал Ламб, — давай деньги для твоей старухи, мы сами отвезем.

— Держи, — отвечал тот. — Но сперва выпьем.

— Как угодно.

12

В селе Копорском когда-то проживали чухонцы, потом, как это у нас водится, за какую-то провинность, а может быть, и просто так, без всякой провинности, по прихоти, людей посадили на подводы вместе с их скарбом и отвезли на жительство куда-то к Петрозаводску. Так чухонская деревушка превратилась в русское село. Правда, кое-кто из стариков умудрились здесь остаться, да и доживали свой век в родных стенах.

Ехать нам было совсем недалеко, и вскоре после того, как бутылки, навязанные Плещеевым, были опорожнены, мы вступили в село. Чухонка жила на отшибе, и не сразу отыскали мы ее жилище, зато уж всех собак подняли на ноги. Наконец — стучимся в изрядно покосившуюся избенку нашей Кассандры. Больших трудов стоило нам втолковать старухе, что неурочный наш визит носит самые добрые намерения. Она долго не открывала, однако при слове «деньги» дверца скрипнула.

Мы, поочередно стукнувшись головами о низкий косяк, взошли и огляделись: печки в доме не было вовсе — огонь был разведен в очаге прямо на земляном полу. Дым выходил через отверстие, специально проделанное в крыше; впрочем, бедность наделала здесь много отверстий. Однако на полках по стенам порядок царил отменный — слабые угли посылали отблески свои на вычищенные до блеска старинные медные блюда и котлы.

— Добрый человек, спасибо ему, — бормотала старуха, имея в виду Плещеева. Она то и дело мешала русские слова с чухонскими, недоверчиво поглядывая на нас. — Добрым людям и удача поделом... Хорошо скажешь — верят, нехорошо — не верят, ругают старуху-дуру, злятся, бранятся. Не знаю, что сказать...

— Ты уж, бабушка, говори, — успокоил ее Ламб.

— Что увижу — скажу, — заверила хозяйка и засунула деньги за грязный передник.

Она рассадила нас вокруг обгорелых камней, из которых был сложен грубый ее очаг, и, усевшись на землю напротив, поворошила палкой угли. Огонь встрепенулся. Мы хранили молчание и сосредоточенно наблюдали, как старуха водит прутиком по земляному полу, подбрасывая в костер сухие стебли неизвестной травы. При этом она забавно бубнила что-то себе под нос, и несколько раз меня разбирал смех, по правде сказать, весьма глупый. Я слышал, что колдунья непременно должна иметь при себе черного кота. Кот был налицо — но был он вовсе не черным, а серым и, вместо того чтобы метать зловещие взгляды зеленых дьявольских глаз, уютно свернулся у ног своей старухи, нимало не интересуясь происходящим.

Все это длилось значительное уже время, и мы начали терять терпение, когда вдруг гадалка трянула распущенными седыми космами и указала прутиком на Ламба.

— Ты родился не в этой земле, — прокаркала она, — не в этой и умрешь.

Ламб пошевелился, звякнули шпоры. Кот зажмурился еще крепче. Старуха снова задумалась и принялась поглаживать кота.

Ламб точно родился не у нас: отец его, по происхождению француз, отправлял дипломатическую службу при прусском дворе, там его застала революция, там он и оставался до тех пор, пока маленький император не двинулся на восток. Отец Ламба внял этому движению и вместе с семейством устремился в том же направлении, строго соблюдая дистанцию между собственным экипажем и французским авангардом. Он благополучно достиг России, выехав из Берлина двумя днями прежде, чем туда въехал Наполеон. Старший Ламб, вечный эмигрант, в России был принят хорошо, если не сказать — обласкан, вторично женился и не вернулся на родину даже после восстановления Бурбонов.

Невреву старуха наговорила много всего, но речь ее была столь туманна, запутанна и противоречива, что я толком ничего не запомнил. Неврев, однако, внимал каждому слову чародейки с неослабевавшим любопытством и что-то переспрашивал.

Третьим оказался я. Мне было сказано буквально следующее:

— Твой брат перейдет тебе дорожку, но сделает тебя счастливым.

— Да-а, — протянул Ламб, когда мы выбрались на столбовую дорогу, — весьма туманно... А впрочем, как обычно — дальняя дорога, казенный дом... Не говорите ни слова нашим острякам — живого места не оставят.

— Самое примечательное, — рассмеялся я, — что у меня нет брата... Только измучились зря, да и лошадки что-то устали. С чего бы? Завтра ученье в шесть часов.

Я остановился подтянуть ослабшую подпругу.

— В семь, — откликнулся Ламб из темноты, — я приказ видел.

Неврев приотстал и молча трясся в седле.

13

Так и летело лето, но казалось таким же долгим, как вся прошлая жизнь. Приближалось 22 августа, день коронации, с которым связывал я известные надежды, однако случай вопреки ожиданиям к этому торжеству подарил мне щелчок по носу, обидный и отрезвляющий. Великий князь произвел нам смотр перед парадом, мой Одноворец сделал проскачку, смешал строй и понес прямо на Михаила Павловича, так что я, отчаянно пытаясь остановить коня, все ближе и ближе видел его удивленное лицо.

— Командир полка, ко мне! — заорал он, и краем глаза я заметил, как тяжело подскакал к нему наш генерал, сверкая обнаженной саблей.

После злополучного смотра генерал, в свою очередь, трепал полковника Ворожеева, а я чувствовал себя подлецом. Одноворец же, как обычно, тянулся за сахаром морщинистыми губами.

Случай стал известен дяде, и он затребовал меня к себе. Я понял, что утомительной, никому не доставившей бы удовольствия беседы можно избежать только одним способом, и взял с собою Неврева. В первый же свободный от караула день мы отправились в Петербург. Мы выехали рано, утро выдалось солнечным, прохладный ветерок поддувал с залива и быстро сушил мокрые от росы ботфорты, а заодно заставлял нас постоянно вздрагивать от искр, сдуваемых с зажженных трубок.

— Смотри, — я показал Невреву свою трубку, — что ты о ней скажешь?

— А что о ней сказать? — Он пожал плечами.

— Очень старая трубка, — гордо пояснил я. — Мне ее подарил Ворожеев, когда я представлялся. У него их штук сорок или больше. Где он их набрал?

— Да вот набрал. — Неврев подержал трубку на раскрытой ладони. Солнечный луч, наткнувшись на потемневшее серебро, суетливо пробежался по кольцу.

— Странно, вот держу ее, — сказал я задумчиво, забирая трубку, — нынче она моя, а сколько до меня было у ней обладателей.

— И будет еще, — заметил Неврев.

— Ну уж нет, — ухмыльнулся я. — Позабочусь, чтобы этого не случилось.

— Бери ее с собой в могилу, — улыбнулся он, — или в канал вон брось.

— Нет, — вполне серьезно возразил я, — в канал ее не брошу.

В городе мы решили размяться, отпустили возницу и часть пути до дядино дома сделали пешком.

14

Судя по тому, как тоскливо посмотрел на меня швейцар, обычно дремлющий за дверями, но сегодня словно поджидавший нас, я понял, что дядя не совсем в духе. Я чувствовал, что это определение следовало бы даже усилить в соответствии с некоторыми другими тревожными признаками, однако не рискнул пугать себя раньше времени.

Федор торопливо принял киверы, и по широкой лестнице мы поднялись в круглую гостиную, где грозно хмурился не по-домашнему одетый дядя. Увидев Неврева, он оценил мою хитрость едва заметной улыбкой.

— Разрешите представить, дядюшка, — начал я намеренно громко, — корнет Неврев Владимир Алексеич, мой сослуживец.

Веселый щелчок каблучков в щемящей тишине рассеял напряжение, а вместе с ним и дядины намерения. В ожидании обеда мы устроились в креслах, дядя недружелюбно поглядывал на меня, давая понять, что мне дарована лишь отсрочка, а не помилование, расспрашивал Неврева о службе, а потом поинтересовался:

— Не сын ли вы Алексея Васильевича Неврева, того, что во время заграничного похода в чине капитана служил в конной артиллерии?

— Да, — несколько удивленно отозвался Неврев, — отец был артиллерийским офицером.

— Вот как, дядюшка! — воскликнул я. — Вы знакомы с родителем Владимира?

— Очень плохо, едва. — Дядя задумался, припоминая что-то. — Как-то в четырнадцатом году мы возвращались из Европы и с неделю стояли в польском местечке. Там мы и встретились — ночевали в одном доме. Кроме того, ваш отец оказал мне одну услугу... Хм, удивительно веселый человек. Как он? Оставил ли службу?

— Убит в Персии под Аббас-Абадом восемь лет назад, — ответил Неврев.

Я слышал это впервые и сообразил, что с дядей Невреву будет нелегко отмолчаться.

— Сожалею, простите. — Расстроенное лицо дяди говорило о том, что эти слова не простые звуки участия. — Значит, в 1828 году, — отводя взгляд, добавил он как бы сам себе.

Я, воспользовавшись наступившей паузой, постарался придать нашему разговору более приятное направление, но тут, после очередного дядино вопроса, открылось, что и матушки Неврева нет уже в живых.

— У матери была чахотка. — Неврев пальцами потер лоб. Безусловно, разговор был ему неприятен, однако позвали к столу, дядя встал и, прежде чем идти, сказал мне:

— Ну, благодари своего друга.

Неврев смутился, поняв смысл этой фразы, я благодарил, дядя улыбался.

15

Меня всегда впечатляли чеканные ритуалы дядиных обедов, которые он давал большей частью сам себе. Русская кухня господствовала в огромном доме, старившемся потихоньку вместе с холостым и бездетным хозяином.

— Да, — улыбнулся он Невреву, заметив, что тот слегка удивлен церемонностью, во власть которой попали мы сразу, как только оказались в просторной столовой. — Я, видите, живу один и стараюсь не распускаться. Выходить к обеду в халате — значит признаться, что некоторые позиции уже оставлены... Любопытно, — продолжил он, отложив прибор, — что ваш батюшка был отчасти свидетелем моего несостоявшегося счастья.

— Что вы говорите! — неподдельно оживился Неврев. — Не могли бы вы рассказать об этом, мне очень хочется услышать что-нибудь об отце.

— Я тоже не против того, чтобы... — начал было я, но тут же замолк под суровым дядиным взглядом.

— Ну, — грустно улыбнулся он, — дела давно ушедших дней. Но я расскажу, пожалуй, если тебе, — он обратился ко мне, — эта история уже не известна от матери.

— Право же, дядюшка, я ничего не знаю, — заверил я его.

Мы перебрались в диванную, где в матовой оправе фарфора чернел горячий кофе, и уселись поудобнее. Дядя позвонил — явился его камердинер.

— Я никого не принимаю, — сказал ему дядя, а затем обратился к нам: — Как я уже сказал, молодые люди, мы возвращались из Европы после заграничного похода. Я был ранен при Лейпциге, почему и не увидел Парижа. Полк ушел на запад, а я в обществе таких же неудачников остался в лазарете долечивать свою ногу. Рана долго гноилась, но понемногу начала затягиваться. Наступила весна, и до нас донеслась радостная весть — Париж пал. Бюргеры Вурцена, где находился лазарет, устроили в нашу честь роскошный бал, городскую ратушу украсили несметным количеством живых цветов. Я был тогда молод. Весна, победа, избавление от раны — все это пьянило, создавало определенное чувство, мир казался понятным и принадлежащим тебе так же, как золотой, бог весть какими путями добирающийся до твоего кармана и исчезающий вскоре в неизвестном направлении. — Дядя вздохнул. — Розовощекие очаровательные немки не давали нам проходу, и я было не в шутку испугался, что в конце концов уступлю какой-нибудь из них свою потрепанную фамилию. Однако первые наши части, возвращавшиеся домой, прошли через городок, и их нетерпение сообщилось мне. От штабных я узнал, где должна была двигаться гвардия, и, собрав свои походные пожитки, мы с Федором тронулись в путь. Несколько офицеров присоединились ко мне, поэтому дорога не казалась утомительной. Да и как может показаться утомительной дорога домой? В Торгау наконец я встретил свой полк, пересчитал убитых без меня, как следует обнял живых и мыслями был уже здесь. — Дядина рука описала в воздухе мягкий полукруг. — В середине лета вступили мы в Варшавское герцогство, когда вдруг нас настиг приказ ждать прочие полки корпуса. Таким образом, мы отдыхали дней десять, расположившись лагерем неподалеку от Мышинца. Как вы знаете, русских поляки никогда не жаловали, а особенно тогда, когда им приходилось встречать нас как победителей Буонапарта. Вся округа Мышинца была полна шляхетскими норами. Дремучие это места: леса, болота... Даже в ясную погоду меня всегда пугала мрачная красота угрюмых замков, увитых плющом и обсиженных голубями. Казалось, жизнь остановилась здесь вот уже столетие и даже темная вода в глубоких колодцах как будто уходила все ниже и ниже за ненадобностью.

Недалеко от обширной поляны, которую избрали мы для палаток, у самого тракта расположилась корчма с постоянным двором при ней. Каждый вечер сходились туда из лагеря офицеры и, сидя у огромного камина, коротали время за рюмкой сливянки, которой у хозяина оказалось в достатке. Не только офицеры нашего полка заходили туда. Как раз в это время нас нагнали лейб-улань, а также рота конной артиллерии, в которой ваш батюшка служил. — Дядя чуть кивнул Невреву. — Так вот, по вечерам корчма оживала. Кому не известна прелесть внезапных остановок! Славное было общество.

Однажды, когда мы с приятелями только вошли и уселись за дубовый непокрытый стол, до нас донесся разговор незнакомых улан, сидевших от нас в самом близком расстоянии:

— Говорю же тебе, она красавица необыкновенная. Я в городе краем глаза видел ее давеча. Это прелесть что такое!

— Но я слышал, — вставил его товарищ, — что она нигде не показывается одна.

— Совершенно верно, старый граф всюду сопровождает ее. Не то чтобы в город, даже по саду одна не гуляет.

— Откуда тебе известно?

— Пан Михальцев сказывал вчера. Он мне ее и показал.

Мы беседовали между собой, но обрывки этого разговора все время достигали нас. Эдак через час компания была уже в подпитии, мы тоже времени не теряли. Вместе с тем мы все с большим интересом прислушивались к голосам за соседним столом:

— Прозоров пробовал третьего дня — ты же знаешь Прозорова, — так его чуть собаки не задрали.

— Могу себе представить, — со смехом сказал худой, бледный уланский поручик.

— Господа, — обратился я к ним, — простите наше с товарищами любопытство, но о чем идет речь?

— О-о, это прямо-таки загадочное дело, — хором ответили несколько голосов. — Так вы ничего не знаете?

— Ничего, — ответил я.

— А между тем уже есть серьезно раненные, — пошутил поручик.

И вот что мы слышали: в четырех с небольшим верстах от нашей корчмы находилась усадьба старого графа Радовского. Он еще во время польского возмущения 1794 года был схвачен Суворовым и отпущен под честное слово никогда не поднимать оружия против России. Слово свое он сдержал, но с тех пор безвыездно сидел в своем замке, окруженный несметными гайдуками и дворней. Во время той кампании шальная пуля нашла его жену, находившуюся с ним в отряде и переодетую в мужское платье. Русских после этого он терпеть не мог, да что там — на дух не переносил. У него на руках осталась малолетняя дочь, со временем превратившаяся в истинную красавицу. Сам Буонапарт будто домогался ее и с этой целью специально приезжал к графу, но гордый старик повел себя надменно с императором французов. Неизвестно, что помешало Наполеону захватить ее силой, но этот случай сделал ее известной по всей Польше. Когда граф по какой-то надобности поехал в Варшаву, взяв и ее с собой, то под окнами дома, в котором они остановились, ночами молодежь устраивала настоящие концерты.

— Надо ли говорить, — воскликнул дядя, — что я был сразу увлечен этим волшебным рассказом!

— Господа, — спросил я, — кто бы мог указать дорогу, ведущую к жилищу графа?

Наши громкие голоса постепенно привлекли и прочих посетителей, так что после моих слов воцарилась примечательная тишина.

— Иван, ты пьян, — сказал мой товарищ Перевезенцев. Я пропустил его слова, но хорошо заметил другие, оброненные кем-то как бы в раздумье:

— Поручик Прозоров пытался забраться в замковый сад, но на него спустили собак, и, если бы не друзья, ждавшие невдалеке с лошадьми, он был бы разорван в клочья.

В ответ на это я кликнул Федора и приказал ему немедленно нести пистолеты и саблю. Все почли это за пьяную шутку и начали было расходиться по облюбованным углам, но, когда через несколько времени запыхавшийся Федор с испуганным лицом вручал мне оружие, я снова оказался в центре внимания. Перевезенцев дергал меня за рукав и уговаривал

идти себе в палатку, но я, не слушая ничего, проверял, сух ли порох на полках моих пистолетов. Внезапно и все вокруг поняли, что я не шучу.

— Вот что водка делает с людьми, — грустно улыбнулся дядя и посмотрел почему-то на меня, — и потому тебе известно мое отношение к этой забаве.

— Более чем, — отвечал я, едва сдерживая смех.

Дядя продолжил:

— Что вы намерены делать, князь? — спросил меня тот бледный улан, которого так рассмешила неудача неведомого мне Прозорова.

— Я намерен нанести визит графу, — ответил я и спросил Федора, под седлом ли моя лошадь. Он вышел за ней.

— Неудачное вы выбрали время для визитов, уже за полночь, — заметил уланский поручик. — Готов биться об заклад, что вас не пустят за порог.

Разгоряченный хмелем, я тут же принял это предложение, и мы условились, что проигравший угостит все присутствующее общество хорошим вином.

— Но каким же образом мы узнаем правду? — не совсем тактично поинтересовался кто-то, и было решено для свидетельства и во избежание неприятностей послать со мною двух человек офицеров по желанию.

Между тем трактирщик, хотя не знал почти по-русски, слыша столь частое среди нас упоминание имени графа, видно, догадался, что мы задумали, и, подойдя ко мне, принялся горячо говорить что-то. К счастью, один из офицеров немного понимал польский и перевел, что хозяин советует не трогать графа, сообщает о вооруженных гайдуках и вообще считает его жилище нехорошим местом.

— Вздор, приятель, — возразил я и направился к выходу, сопровождаемый одним офицером от семеновцев и одним от улан. Когда мы сели в седла и все остальные вышли проводить нас, ко мне приблизился артиллерийский капитан и сказал:

— У второго поста сворачивайте налево и держите все время прямо до третьей развилки, а там снова налево. Я сегодня утром покупал овес там в деревеньке. Оттуда до усадьбы уже недалеко.

Мы поблагодарили капитана и вскоре попали на лесную песчаную дорогу, смутно белевшую в темноте. Около часа ехали мы, замечая развилки, вглядываясь в темноту, в надежде различить хоть какой-нибудь огонек. Лай собак дал нам знать, что мы приближаемся к той деревеньке, о которой сказывал капитан. С великим шумом миновали мы ее и через несколько минут увидели прямо перед собой длинную аллею, а за ней свет появившейся луны открыл большой трехэтажный дом с черепичной крышей, двумя флигелями и узкими, как бойницы, окнами. Ни в одном из них не заметно было света, вокруг стояла мертвая тишина, и только чуть слышный лай деревенских собак доносился до меня и до моих спутников. В начале аллеи мы остановили лошадей, и я задумался, что же, в сущности, могу предпринять. Я размышлял, поглядывая на облупленную твердую гордого потомка Радзивиллов, и один за другим отбрасывал все планы, хоть сколько-нибудь похожие на хитрости летописного Олега. Моя нерешительность начала раздражать даже меня самого, еще некоторое время я жевал в задумчивости кислый стебелек и, сказав два слова с товарищами, просто поехал к подъезду. Вдруг несколько серых теней с устрашающим рычанием метнулись под ноги лошади, от испуга вставшей на дыбы. Недолго думая я взялся за пистолет и выстрелил между бьющихся внизу тел. Одна из собак все же успела разодрать на мне брючину, которая тут же потемнела от крови. С трудом удерживаясь на бешено шарахающейся лошади, я саблей отгонял зверей, стремясь подобраться поближе к выходу. Я знал, что товарищи из укрытия отлично видят всю сцену; выстрелил же я для того, чтобы кто-нибудь скорее появился на наружной лестнице. Вот уже в окнах замелькали огни свечей, двери тяжело распахнулись, и несколько вооруженных молодцов принялись успокаивать собак, крича мне что-то по-польски страшными голосами. Я отвечал им по-русски и по-

французски, мы долго друг друга не понимали, пока из глубин дома не появился худой человечек в европейском костюме, сказавший мне несколько французских слов. Не слезая с седла, я сообщил ему, что я русский офицер, что догоняю свой полк, но сбился с дороги и прошу ночлега и врачебной помощи. Последнее, кстати, было полной правдой, ибо рана, нанесенная зубами собаки, оказалась нешуточной, да еще пришлась на свежие шрамы. «Вот какой ценой покупаю я неизвестно что», — улыбнулся я сам себе. Щуплый человечек пошел в дом, наверное, затем, чтобы доложить графу, я же ожидал в компании здоровенных молодцов, не спускавших с меня глаз. Человечек через пару минут вышел и сказал мне, что граф сожалеет о случившемся, однако ночлег предоставить не в состоянии.

Такой ответ, конечно, не согласовывался ни с какими правилами приличия. В то же время игра как будто перестала быть игрой.

— Да вы поглядите, из меня хлещет, как из пивной бочки, — возмутился я и выжал платок, который прикладывал к ране. Песок глухо вобрал в себя капли.

— Вас проводят до мышинецкого тракта, — безжалостно молвил человечек.

Тут я начал понимать, что затея моя обернулась самой нелепой стороной, это разозлило меня необыкновенно, и я было собрался объявить диким голосом и дом этот, и двор, и всю округу логовом разбойников и грубиянов, как вдруг случай в секунду совершил то, чего я безуспешно добивался ценою доброй кружки крови и не одной минутой неприятных впечатлений. Да-да, я сполз с седла, тщетно цепляясь ватными пальцами за гриву лошади, — со мной сделался обморок...

Дядя посмотрел на нас торжествующим взглядом эскулапа, перенесшего болезнь, от которой всю жизнь лечил других.

— Не знаю, — продолжил он, — сколько времени я находился без сознания, знаю только, что, когда я открыл глаза, ночной сырости как не бывало. Я обнаружил себя лежащим в креслах у гудящего камина. Лосины на мне были разрезаны, нога забинтована. Судя по красному пятну, набухавшему на бинтах, рана действительно казалась серьезной. Щуплый человечек стоял надо мной и озабоченно потягивал вино из бокала темного богемского стекла. Я огляделся. Огромная зала с каменным полом и колоннами, упиравшимися в высокий потолок, освещалась неровно. Но все же я различил подобную иконостасу галерею предков, а также холодный блеск рыцарских доспехов, поставленных вдоль стен. Одна из массивных дверей открылась, впустив господина в стеклах и со склянкой в руках, а еще длинную полосу света, вытянувшуюся по зале на стертых плитах пола. И в это мгновение, пока тяжело двигалась дверь, в проеме увидел я женскую фигуру. Женщина поправляла рассыпавшиеся темные волосы, и легкий испуг почудился мне в ее удивительном лице. Но дверь затворилась, доктор со стеклами на носу пощупал мою руку, и тут я обратил внимание, что ни пистолета, который был заткнут у меня за пояс, ни сабли, ни даже ножен от нее со мною нет.

— Простите за хлопоты, причиненные графу, — обратился я по-французски к щуплому человечку со всей возможной любезностью.

— Я управляющий графа, мое имя Троссер, — сказал он. — Как ваше самочувствие? Сможете ли вы держаться в седле?

Такого поворота я ждал и отвечал отрицательно, сославшись на то, что свежая рана пришлась на недавно заросшие. Услыхав это, Троссер удалился, как я понимал, для совета с графом. Тут послышались откуда-то голоса. Один, почтительный, но твердый, принадлежал, без сомнения, управляющему, другой, женский, показался мне взволнованным и недоумевающим. Говорили по-польски, и я догадался, что обо мне. Я хотя и не знал ни слова по-польски, однако напряженно вслушивался в интонации, с которыми произносились непонятные фразы. Вскоре разговор прекратился, появился Троссер и объявил, что решено оставить меня до утра. Я поблагодарил сухими от волнения губами и справился о своем оружии.

— О, не беспокойтесь, князь, ваша лошадь расседлана и в стойле, пистолеты в кобурах, так же и сабля, — ответил Троссер с улыбкой.

— Откуда вам известно, кто я? — изумился я, сразу подумав о товарищах в засаде.

— Насечка на ваших пистолетах, — снова улыбнулся он.

— Двое дюжих гайдуков со свисающими усами снесли меня в небольшую комнату во втором этаже и уложили в постель. Туда же доставили кивер и мундир, рукав которого тоже оказался разорванным. Я постарался запомнить расположение лестниц и дверей этого вынужденно гостеприимного дома, задул свечу и, когда шаги моих носильщиков затихли в гулком коридоре, погрузился в размышления относительно своего приключения. За товарищей я не беспокоился, так как мы условились о том, что они отправятся назад, как только увидят, что я перешагнул порог загадочного замка. Правда, меня через него перенесли, — пошутил дядя, — но я надеялся, что они не слишком буквально воспримут наши условия. Значительная потеря крови, напряжение и вино — терпкое и очень старое — разморили меня, и незаметно для себя я заснул.

16

— Пробудившись, я долго осматривал непонимающими глазами неожиданное мое пристанище, пока наконец события минувшей ночи не заняли законное место в сознании. Я поискал глазами звонок — его цепочка висела прямо над изголовьем — и, прежде чем воспользоваться им, обдумал свое положение. «Пари с уланским поручиком, вне всякого сомнения, выиграно», — размышлял я, но женщина, виденная в дверях, поразила меня необычайно. Я был уверен, что это и была знаменитая дочь графа Радовского, и смутно догадывался, что ее заступничество скорее всего и помогло мне остаться на ночь в этом месте. Я осмотрел ногу и убедился, что кровотечение прекратилось, но все-таки она еще плохо повиновалась мне. Вдруг я заметил на рукаве своего кителя аккуратную заплату. Цвет ее был подобран так удачно, что стежки угадывались не сразу. Значит, кто-то побывал у меня ночью. Мне это не понравилось, ибо сплю я очень чутко, как и положено человеку военному. Как же крепко уснул я, если был застигнут врасплох, быть может, женщиной. Я представил, что кто-то мог беззастенчиво разглядывать меня, и ужаснулся. Рядом с кителем на тумбе лежали абсолютно целые лосины, по всей видимости предназначенные мне. Я чувствовал, что пора уже определить мой утренний статус, но никак не решался дотронуться до цепочки звонка. Что могли принести мне его звуки? Я и сгорал от нетерпения узнать это, и в то же время боялся этого. В конце концов невидимый медный язычок облизал своими нестройными трелями чей-то слух, дверь отворилась, и слуга внес в комнату мои вычищенные сапоги, а за ним показалась постная физиономия мсье Троссера. «Даже жесты намекают здесь на то, что непрошенных гостей терпеть не намерены», — успел отметить я, пока слуга возился в комнате.

— Который теперь час? — спросил я.

— Скоро десять, — ответил он и внимательно оглядел меня. — Ни лихорадки, ни горячки?

— Ни того, ни другого, — я попытался улыбнуться, — только ногой двинуть невозможно.

Принесли завтрак. Кофей сделал свое дело: все мысли осели в голове, я успокоился и стал ждать развития событий. Доктор посмотрел ногу, удовлетворенно промычал что-то Троссеру и удалился.

— Что вы намерены делать со мной? — спросил я управляющего, и в эту минуту высокая молодая женщина вошла к нам. Троссер произнес польски короткую фразу, но она оставила ее без ответа. Я приподнялся на кровати и глядел во все глаза. Это была красавица! Не мастер я описывать внешности, скажу только, что поразила меня несомненная примесь восточной крови, которая, однако, делала ее еще обворожительней. «Нет ли у

старика одалисок, спрятанных по башням?» — мелькнуло в голове. Она между тем, встретившись с моим взглядом, ничуть не смутилась и разглядывала меня весьма бесцеремонно. Уже не знаю, кого ожидала она увидеть на этой кровати, принца ли, седовласого ли генерала, но там возлежал я, и меня-то она и увидела.

— Графиня Радовская, — поспешил представить замешкавшийся было мсье Троссер и назвал ей мое имя. Я обратился к ней по-французски с изъявлениями благодарности за оказанную мне помощь, она отвечала мне сильным низким голосом на том же языке. Вкратце описал я ей мое ночное приключение, упустив, впрочем, некоторые подробности. Она спросила, откуда я родом, к какому полку принадлежу и еще что-то в таком духе. «Как просто разговаривать с женщиной, отвергшей Наполеона», — подумал я, хотя и не верил в эту легенду. Я старался как мог забавнее представить эпизод с собаками и добился своего — она даже слегка улыбнулась.

— Мне сказали, что собака попала на старую рану. Где вы получили ее? — спросила она.

— При Лейпциге, графиня.

— Сказывают, что это было кровопролитнейшее сражение?

— О да, почти как Бородино, — улыбнулся я.

— Лейпциг на западе, Бородино на востоке, и между ними Польша, — ответила она тоже с улыбкой.

— Так мы беседовали около часа, неумолимый Троссер — это имя врезалось мне в память, — вздохнул дядя, — все время находился в углу, даже не присев. Просто стоял и имел при этом самый отрешенный вид. Выйди он хоть на минутку, я не знаю, на что бы пошел, ведь я привык быстро принимать решения. Я, верно, сказал бы ей, что не беден, довольно знатен, что смогу оставить службу, когда сам того пожелаю, что я не прошу ничего, кроме одного — только стоять рядом с ней, дышать с нею одним воздухом и смотреть на нее. Больше ничего. Я готов был ехать куда угодно: в Европу, в Американские штаты, хотя бы и к каким-нибудь дикарям, не знающим металла. Глаза мои застилало туманом, и я почувствовал на лбу капли пота, выступившие от волнения. Всеми силами я подавлял в себе эти глупости, прекрасно понимая, что фантазии мои настолько нелепы, что не стоит даже открывать рта, чтобы сказать об этом. В то же самое время я был удивлен, с каким пристальным вниманием, а пожалуй, и жадностью слушала моя собеседница самые незначительные замечания, касающиеся до внешней жизни, до жизни, которая обтекала глухие стены старого замка, как речная вода обтекает лежащий валун. Я понял это очень верно и на какой-то миг почувствовал себя поваренком, во время дворцового переворота оказавшимся рядом с пустым тронном и в суматохе способным занять его на одну минуту.

Когда Радовская в сопровождении управляющего вышла от меня, я в бессилии откинулся на подушки и едва не заплакал от беспомощности.

И уже через два часа оправдались самые худшие мои опасения: с утра по округе были разосланы верховые гайдуки в поисках какой-нибудь армейской части. Неудивительно, что очень быстро они обнаружили лагерь Семеновского полка, и скоро безжалостный топот копыт оглушил меня. Графа я так и не увидел, передав все мои благодарности через щуплого Троссера, был уложен в полковой дормез и в компании веселых конвойных, беспечные лица которых на мгновение сделались мне противны, покатыл со двора. Я тоскливо оглянулся, и в дверном проеме замковой часовни, прилепившейся сбоку к одному из флигелей, мне привиделся нечеткий силуэт и светлое пятно лица, обращенного к аллее. Если это была она, о чем хотела просить Господа? Я представил себе беленые стены, черные дубовые балки и резное распятие, на которое никогда не упадет солнечный свет. Если бы потребовалось изменить веру, я сделал бы и это...

Сказка кончилась — осталась только пыльная дорога, по которой, привязанная к дормезу, постукивала копытами моя лошадь.

— Ланской с утра поскакал за вином, — весело сообщил мне Переверзевцев.

— Ланской была фамилия бледного улана. Два ящика отличного шампанского ожидало нас. По пути я отмалчивался и отвечал на вопросы сослуживцев до обидного односложно. Вечером я имел объяснение с командиром полка и после этого напился пьян. Мой Федор крестился беспрестанно, я, помнится, рыдал у себя в палатке и страстно желал ни о чем не думать, но бредовые планы так и роились у меня в голове. Я, впрочем, отдавал себе отчет, что даже в таком состоянии я просто не мог ничего поделать. Оставалось одно — надеяться на случай, но и случая не было видно. Что ж, надо было создать его, однако... о каком похищении могла идти речь? Надо было видеть глаза этой женщины — они способны были опустить ружья роты солдат и отвернуть в сторону черные жерла пушек. При одном лишь взгляде на нее всякая мысль об обмане исчезала как противояственная. И то, что приходится ждать нечто, что не имеет никакой возможности случиться, наполняло меня яростью... — Дядя замолчал. Наш кофе, так и не тронутый, совсем остыл.

— Через день мы получили приказ выступить. Нога не слушалась, я был не в отчаянии — какое-то ледяное равнодушие сковывало меня... Через два месяца я уже находился в Петербурге и посмеивался над своим нечаянным сумасшествием.

Мы все помолчали, впечатленные услышанным и произнесенным. Что выпадет на нашу долю? Будет ли у нас прекрасная принцесса, ночи, полные тайны, и мужественные шрамы, известные лишь посвященным?

— А что же мой отец? — спросил Неврев. — Вы упоминали что-то об услуге, оказанной им.

— Да-да, — печально сказал дядя, — простите, я увлекся. Ведь тот артиллерийский капитан, указавший мне дорогу к усадьбе Радовских, и был ваш батюшка.

— Но, дядя! — воскликнул я, кое-что припомнив. — Ведь у этой истории есть продолжение, не правда ли?

— Есть продолжение, но нет конца, — промолвил он. — Однако об этом в другой раз.

Его заметно расстроили воспоминания, и он предоставил нас самим себе. Когда он поднялся и зашагал к двери, я посмотрел на его твердо ступающие ноги и подумал, какая же из них несет на себе узор французской картечи и клыков безродного пса, сокрытый бежевыми, немного старомодными панталонами. Не знаю, почему я так и не спросил об этом.

17

В воздух прокралось ощущение осени. Мимолетные ее запахи, которые исчезают прежде, чем дашь им определение, появились в нем. Публика потянулась в город: общество неторопливо влезало в чиновный сюртук, скроенный отцом и пошитый дочерью, с золотыми пуговицами куполов и с стоячим воротником Дворцовой площади. У нас ведь издавна повелось так: даже если и не служишь, все равно находишься на службе.

Сероватое однообразие Адмиралтейского бульвара расцветили нарядные туалеты собранных дам. Разглядывая афишную тумбу, я поджидал Неврева, который в тот день раньше меня прибыл в город. В Петербург приехала Тальони, и мы непременно решили увидеть премьеру.

Напротив тумбы, на скамье, расположился невысокий старичок в ветхом мундире итальянского моряка, длинные седые волосы свободно падали ему на плечи, старческие мутные глаза глядели добро и виновато, тонкие губы были тронуты извинительной улыбкой. Вокруг себя разложил он стопки цветной бумаги и ножницами вырезывал из нее профили прохожих. Когда ко мне подошел Неврев, две дамы позировали старичку; он, двигаясь по-обезьяньи, ловко кроил листы, бросая молниеносные взгляды на лица своих клиентов. Рядом хлопнула подножка экипажа, и кто-то назвал

мое имя. Обернувшись, я увидел перед собой смеющегося Николеньку Лихачева.

— Ты пропадаешь, тебя решительно не найти! — почти закричал он своим всегда восторженным голосом. — Я заходил к твоему дяде раза два, но тебя нет и нет. А мы с мадемуазель Старицкой спешим на «Берту», она вечером идет в Петергоф.

Я взглянул на двухместную карету и за занавесками заметил хорошенькие любопытные глазки, изучающие нашу компанию.

— Ну, ехать пора, — сказал Николенька, направился к карете, но на полдороге остановился, взмахнув пухлыми руками. — Кстати, ты будешь на балу у Турыниной? Там, между прочим, будут и барышни Локонские, — лукаво сощурил он глаза.

— Я не знаком с нею, — крикнул я ему в ответ.

— Ничего, можно достать приглашение. Тебе и твоему товарищу? — Он вопросительно взглянул на нас.

— Корнет Неврев Владимир Алексеевич, — сообщил я Николеньке. — Ты пойдешь? — обратился я к Невреву.

— Пожалуй.

— Я постараюсь. — Обещания Николеньки утонули в фиолетовом мраке экипажа. — Оставлю у твоего дяди.

Дверца захлопнулась, лакей покачнулся на запятках, мелкая монета зазвенела в шляпе у старичка с ножницами.

— Говорят, будто этот художник — бывший виконт или граф, — пояснил я Невреву, заметив, с каким интересом следит он за спорой работой ножниц. — Француз из эмигрантов.

— Какая насмешка судьбы, — скривив лицо, произнес Неврев.

— Да-да, — согласился я и задумался, может ли человек среди гомона звуков угадать тот несуществующий, с каким рвется тончайшая нить, прядомая мойрами, и невинным завитком ложится на их острые колена. Когда бы это знать...

Я крикнул извозчика и еще раз оглянулся на старичка-художника. Он, опустив руки вдоль туловища, ссутулившись, смотрел на нас невеселыми своими глазами. Порыв ветра потащил за собой красный недоделанный профиль, старик всплеснул руками и бросился за ним.

18

Экипажи врывались на театральную площадь и замирали в живописном беспорядке. Фонари уже излучали бледный свет, хотя было еще светло. Мы заняли ложу, которую дядя, не любивший театра, впрочем, держал за собой, как он сам говорил, на всякий случай. С моим появлением в Петербурге случай тут же превратился в правило. Бывало очень весело разглядывать в астрономические трубы безвестных красавиц, раскинутых по ложам, а того интереснее лицезреть знаменитостей, про которых столько слышал, но ни разу еще не видел. Театр в России — средоточие новостей, особенно тех, которые он сам рождает неосторожными взглядами, печальной задумчивостью или чрезмерной веселостью своих почитателей. Сколько романов завязывалось здесь в гулких стенах, совпадая очень часто с первыми звуками представления, столько и находило свой конец с последними.

В тот вечер давали «Итальянку в Алжире» Россини. Что принадлежит до декораций, они были роскошны. С жадностью северянина вбирал я в себя буйные краски юга и томился под властным гнетом очаровательной музыки.

— Куда ты смотришь? — спросил я Неврева, когда заметил, что голова его постоянно повернута от сцены.

— В одну точку, — отшутился он. — Мне надо будет выйти ненадолго. Если не вернусь до конца, встретимся у подъезда.

В начале третьего акта он исчез. Я посмотрел туда, куда, как мне казалось, было обращено его внимание, и как будто различил в дальней ложе легкое движение. В полутьме я разглядел, правда, только скупо пробивавшуюся позолоту барьера и ежик седых волос, принадлежащих высокому господину, лицо которого показалось мне знакомым.

Уже близился финал, а Неврева все не было. Я спустился вниз. Поискав его в возбужденной толпе, я оставил это занятие — слишком много людей мелькало перед глазами. Он сам скорее заметил бы меня, одиноко шагающего у дверей. Однако время шло и уже только одна, неизвестно чья, карета мокла под мелким морозящим дождем.

Напрасно прождав около часа, я подозвал мальчишку и, сунув ему монету, велел пригнать извозчика. Хмурый, как эта погода, приехал я к дяде.

А утром, в десятом часу, принесли конверт от Николеньки. Я вскрыл его, и на стол выпала картонка приглашения. Оно было в единственном числе и на мое имя. Еще была записка: «Странное дело, но для твоего приятеля не удалось мне добыть билета. Приезжай, если это важно, обедать к *Valon*'у. В четыре я буду там и все расскажу».

Записка эта несказанно меня удивила, ибо Николенька чувствовал себя в свете как рыба в воде. Он легко обдeldывал куда более важные дела, и то, что у него не получился такой пустяк, как достать приглашение на вечер, намекало на чрезвычайные обстоятельства. Я наказал швейцару, что, ежели появится Неврев, без доклада вести его на мою половину. Никто, однако, не приходил, и к четверем я отправился на свидание с Николенькой.

По правде говоря, меня немного обижало молчание Неврева относительно его тайных дел. Упорное нежелание отвечать на мои настойчивые вопросы задевало, но очень скоро я понял, что тянуть из него откровения просто нелепо, справляться у товарищей, пожалуй, и бесчестно, да и бесполезно, и я решал загадку, используя только свои предположения.

Никаких родственников, как мне было известно от самого Неврева, у него в столице не было, в театр один он никогда не ездил — оставалось одно, самое простое, решение: не было ли у него каких-нибудь свиданий в городе, не замешана ли здесь женщина, одним словом. Воображение тут же помогло рассудку: ночь, луна, густой сад, заветные письма, передаваемые верной горничной, спешная подготовка к побегу из дома родителей, не дающих согласия на брак, — приблизительно такую пирамиду событий воздвигло оно передо мной. А может быть, — тоже тайком — проникает он под крышу юной девушки, отданной на закланье старику мужу со звездой и выпадающими зубами. Так или иначе, я постепенно склонялся к мнению, что часто странное поведение моего приятеля объясняется делами сердечными.

С такими мыслями я отдал шляпу лакею и направился туда, где Николенька уже изнемогал от вида поданного обеда, запивая голод вином.

— Прочитал мою записку? — спросил он.

— Еще бы, — отвечал я.

— Тогда слушай. Турынина очень дружна с Сурневыми, их дочь ее крестница. А вот эта самая Елена Сурнева в каких-то связях с твоим приятелем, с этим Невревым.

— Так и что?

— Да то, что Светлана Ивановна так мне и сказала: родители Елены просят его не звать.

— Почему? — не совсем еще понял я. — Откуда же они знали, о чем ты хлопчешь?

— Ничего не знаю, — замахал руками Николенька. — Волочится он за нею, что ли. Толком я и сам не знаю... Но Светлана Ивановна так добра со мной, вот она и намекнула в двух словах, в чем здесь дело...

— Николенька, — попросил я, — ты об этом случае никому не говори. Это ведь не шутки для молодого человека.

— Не то слово, — отвечал он, подзывая полового. — Но ты-то будешь?

«Вот оно что, — подумал я, когда Николенька с пухлой папкой в руке умчался в свою канцелярию. — Хм, Сурневы... Знакомая фамилия». Я старался вспомнить, откуда она известна мне, но никак не мог. Оставшись в одиночестве, я обдумал положение. Надо было разыскать Неврева, но с наступлением осени я почти перебрался к дяде. Пришлось ехать в полк, в свои царскосельские комнаты, хотя я и имел еще два свободных дня. Заехав за коляской, я спросил дядю:

— Что за люди Сурневы, дядюшка?

— Сурневы? — удивился он. — Как же ты не знаешь, они же наши соседи по подмосковной!.. Так они ведь были у меня этим летом на сеансе мсье Пуссена.

— Да-да, я тогда очень торопился, посмотрел чуть-чуть и пошел.

— Александр Егорович — генерал-майор в Генеральном штабе. И супруга его Ольга Дмитриевна, матушка их отлично знает. У них дочка твоих примерно годов.

— Что вы говорите? — сказал я дяде и вышел на улицу.

Вчерашняя выходка Неврева уже не так раздражала меня, и я в недурном расположении считал верстовые столбы, выкрашенные свежей краской.

19

Неврев, увидев меня, крикнул солдата, и тот понес кипятить помятый медный чайник.

— От отца остался, — сказал Неврев, кивнув на чайник, — с самого детства его помню. Ты уж извини за то, что вчера вышло...

— Ладно, ладно. — Я перешел сразу к делу: — Владимир, я невольно стал свидетелем происшествия, до тебя касающегося. Тебе приглашения к Турыниной я не привез. Помнишь, давеча говорили на бульваре? И знаешь почему?

— Почему? — спросил он, едва выдавив из себя это слово.

— Да ты, я вижу, сам догадываешься. Кое-кто просил не давать тебе билета.

— Вот как, — тихо произнес он и уставился в пол.

Мне показалось, что он стыдится этой ситуации, и я поспешил успокоить его:

— Неприятное, конечно, дело. Можешь мной располагать, если... — Я имел в виду какую-нибудь захватывающую роль поверенного — того голубя, который поднимает на головокружительную высоту торопливо заполненные чернилами и слезами листки счастья.

Неврев взглянул на меня так, как будто имел намерение приготовить меня к чему-то значительному.

— Мне денег нужно, — произнес он наконец с видимым усилием и отвел глаза.

Постучался солдат, принесший чайник.

— Сколько же тебе? — спросил я, ожидая услышать страшную сумму.

— Рублей триста, — ответил он и потер ладони о рукава рубахи.

Мы, попив чаю, отправились ко мне, и я вручил ему двести тридцать рублей — все, что у меня было.

Назавтра он уехал в Петербург.

Я скучал целый день, пролежав его на кровати с книгой в руках. «Антон Райзер» увлек меня главной своей идеей: впечатления путешественника куда богаче тех, что томятся в душных книгах, так что я в полном согласии с этой истиной под вечер придумал заглянуть к Ламбу, рассчитывая встретить там общество живых людей.

Ламб жил в казарменной квартире, однако на роскошную ногу. Он занимал сразу восемь комнат, обставленных с военной строгостью, но отнюдь не с походной простотой: шкуры медведей с оскаленными мордами, целый арсенал кавказских сабель, размещенных на удивительной работы

персидских коврах, десятка два пятифутовых черешневых чубуков с константинопольскими янтарями, какие-то вазы, бесчисленные склянки с духами, ширмы и ширмочки с китайскими драконами, перегородившие пространство в самых неудобных местах, — все это великолепие было призвано оглушить тех мотыльков, которые весьма часто залетали сюда на любезный свет старинной бронзовой лампы, исполненной в виде жеманной Афродиты и угасавшей почти с рассветом. Эта квартира с ее многозначительным беспорядком походила на аукционную залу, наполненную вещами умершего вельможи, не имеющего наследников.

Ламб, одетый в немыслимые красные шаровары, сидел на диване и почти плавал вместе со всей своей лавкой древностей в голубом и на первый взгляд непроходимом табачном дыму. Не успел я присесть, как появился Елагин.

— Ну что, видел ее? — лениво спросил Ламб.

— Да видел, — тем же тоном отвечал Елагин. — Только пора с этим заканчивать. Чуть что — тут тебе и слезы, и упреки... Не могу этого терпеть. Я свободен и никому ничего не должен.

Он взял трубку и взглянул на меня:

— Кстати, твой приятель, оказывается, серьезный игрок.

— Какой приятель? — удивился я.

— Неврев играет по крупной, — расхохотался он.

— Почему ты знаешь? — быстро спросил я и наверное покраснел.

— Да видел его в игорной на Мойке.

— Скверное это место, — безразлично молвил Ламб, вытянув перед собой руку и разглядывая ногти.

Я почувствовал себя почти обманутым и испытал едва ли не благодарность Ламбу за эти слова, ибо Елагин произнес свои таким тоном, как будто знал, на чьи деньги играл Неврев в притоне.

Вот, значит, где исчезает Неврев, вот откуда привозят его без чувств, вот что за надобность ему в деньгах!

Себе мы готовы простить все, что угодно, достигая порой этой цели такими изощренными софизмами, таким лукавством, такой утонченной хитростью, что, право, становится обидно, почему этот арсенал не пущен в ход для другой причины. Зато уж никак не будем мы снисходительны к людям, в которых заметили свои пороки. Пороки, нам не знакомые, ни разу не испытанные, разглядываем мы с холодностию врачевателя, наблюдающего разверстые раны, но недостатки, носителями которых являемся мы сами, вызывают в нас брезгливость, а это ощущение не оставляет места безразличию. К тому же человек порочный — будь то морфинист или игрок — без сомнения, человек зависимый, ибо находится в плену у предмета своей страсти, а следовательно — существо в известном смысле с подавленной волей. Это как будто дает нам право почитать такого человека ниже себя, а главное, позволяет в разговоре с ним взять назидательный тон. Одни только влюбленные не слышат у нас людьми порочными, и слава богу, хотя своей одержимостью зачастую превосходят каких-нибудь жалких карточных игроков или поклонников бутылки.

Собрав воедино все свои горькие упреки, я решил поговорить с Невревым начистоту. К счастью, повод был очень хорош, чтобы удовлетворить моему любопытству. Одно меня смущало: вексель на эти двести рублей, который он почти насильно засунул мне за обшлаг рукава, — безнравственные моты так не поступают.

На следующее утро после развода я так и спросил Неврева, рассматривая темные круги вокруг его глаз:

— Ты что же, играешь?

Сразу стало ясно, что удар был силен. Неврев весь как-то съежился, взгляд его в секунду стал виноватым, как у собаки, тянущей морду к руке, от которой минуту назад получала она побои. И еще какой-то образ мелькнул в голове. — образ старичка-эмигранта, ножницами снискивающего себе пропитание.

Задай я подобный вопрос Ламбу, да еще с похожей интонацией, он бы, верно, посмотрел на меня как на сошедшего с ума.

Увы, любовь — не порок, и я горько просчитался. Впрочем, поделом. Мы отвели лошадей в конюшню и пошли обедать к полковнику.

— Что это вы невеселы, господа? — заметил он. — Не отчаивайтесь, под Рождество что-нибудь да выйдет. Вы, может быть, из-за конька своего переживаете? — отнесся он ко мне. — И-и, пустое. То ли еще бывает. Вот, помню, — тому уж, наверное, лет десять — перед самим государем с лошади свалился. Остолоп мой напился, что ли, — он разумел своего денщика, известного в полку отменным пьянством, — да и не затянул подпругу как следует... И смех и грех. Вот только колено расшиб — две недели лежал не вставая. — Ворожеев похлопал себя по этому колену. — Тоже, знаете, переживал, дело такое. Чего только не передумал, а тут вдруг сам Васильчиков — он тогда был корпусным командиром. Как, мол, твое колено, говорит... Никогда не знаешь наперед, чем обернется... А то, бывало, весь полк ночью не спит из-за какого-нибудь пустяка. Офицеры все в отлучке — в Петербурге или еще где. Поди собери! К разводу-то едва поспевали.

После обеда, когда мы с Невревым вышли на улицу, сквозь тучи пробился слабый луч солнца, и от этого настроение улучшилось.

— Я хотел бы объяснить тебе кое-что, — сказал Неврев.

— Насчет чего? — Я сделал непонимающий вид.

— Насчет денег, — с досадой посмотрел он в сторону.

Когда мы прибыли ко мне, он протянул мне измятый конверт.

— Что это такое? — Я повертел его в руках.

— Это одно личное письмо. Прочти его сейчас, — сказал он и бросился на диван.

Я недоуменно извлек из конверта сложенный лист, развернул его и вопросительно взглянул на Неврева.

— Читай, это удобно, — сказал он, заметив мою нерешительность, — я тебя прошу.

И вот что я прочел:

«Милостивый государь
Владимир Алексеевич!

Пишу к Вам, видит Бог, не с легким сердцем. После смерти Вашего батюшки я принял в Вас самое близкое участие, отнесся к Вам едва ли не как к родному сыну. Заклинаю же Вас — не губите мою дочь! Она неопытное юное создание, вы также молоды, а молодость способна ввести в заблуждение, в ошибку даже человека таких достоинств, какими обладаете Вы. Я старше Вас и тоже был молод и также, а может быть, и в превосходной степени, был подвержен «милым сумасбродствам». Поверьте, все пройдет, через два-три года Вы будете вспоминать себя сегодняшнего с ироничною улыбкой на устах, Вы убедитесь, что главное в жизни — устойчивость, так сказать, корни, которые позволяют дереву стоять в любую непогоду, лишь изгибаясь и сбрасывая с себя ненужные, отжившие листья.

Вы куда лучше моего знаете свое положение. Именья у Вас уже нет никакого, — Владимир Алексеевич, не поймите меня превратно, — вот-вот из пансиона выйдет Ваша уже взрослая сестра. Надобно и о ней подумать, и о ней позаботиться. Но представим себе, — я говорю, предположим, — что Вы и Елена соединились. Сладостный дурман первых счастливых месяцев рассеется, а что за ним? Жизнь на жалованье, позволяющее свести концы с концами одному, но совершенно недостаточное для содержания семьи. Я понимаю, конечно же, достойное содержание, содержание, приличествующее положению в обществе моей дочери и Вашему, как офицера на службе государя. Вы же знаете Елену, помилуйте! Она не удовлетворится ролью гарнизонной дамы в каком-нибудь затхлом белорусском местечке, не захочет кочевать, не пожелает свести знакомство с теми женщинами, которые перебираются с армией с места на место, а одиночество невыносимо, ибо даже самый преданный супруг, будучи постоянно занят службою, не сможет заменить женщине прелестей живого общения с

окружающим миром. И она восстанет, не сразу, конечно, но лучше бы так, потому что до этого в наемной неуютной квартирке поселятся сначала скука, потом раздражение, за ним — расстроенные нервы и, наконец, недоверие, от которого до неприязни — один шаг. Печальную картину нарисовал, но, поверьте, это сама жизнь. Она все время норовит ввести нас в заблуждение и не прощает тех ошибок, что совершаем мы по ее наущению. Ведь не будете вы служить в Петербурге век. Чтобы расти, чтобы развиваться, необходимо будет сменить полк, отдать дань армии. Так, юноша-мореход не сделает жизнь на берегу — ему непременно нужно плавание, и потом он снова приветствует родину уже зрелым, умудренным капитаном. И дети, дети! Подумайте о них. Какая огромная ответственность ложится на нас с появлением этих доверчивых беспомощных существ, — та самая ответственность, которая движет сейчас мое перо.

Я понимаю, Вы, верно, возразите мне, воскликнете: «Любовь! А как же любовь? Что делать с ней?» И я дерзну ответить Вам: ее нет, не существует, хотя Вам кажется, что сердце подсказывает обратное. Литература выдумала ее, но не воплотила, а, как известно, литература — это более игра холодного ума, нежели результат душевных движений. Но я знаю иную любовь — ту, о которой в книгах не сказано ни слова. Это настоящее чувство, оно не так восторженно, зато устойчиво, не столько опьяняюще, сколь постоянно. И Вы узнаете ее, поверьте старику. А опьянение проходит очень быстро, и мимолетное удовольствие сменяется раскаянием и головной болью. У Вас вся жизнь впереди, не повторяйте чужих досадных промахов, идите к своей истинной цели, и кто знает! Быть может, достигнув ее, обретя подлинное счастье, Вы добрым словом помянете и это мое послание...»

— Так у тебя есть сестра? — спросил я Неврева.

— Прочел? — Он приподнялся с дивана, на котором лежал заложив руки за голову.

— Так точно.

— И понял?

— Чего же здесь непонятного?

— У меня была... признаться ли?... право же, так это глупо... была последняя надежда, точнее, и ее не было — я сам ее выдумал... Сыграть, сыграть, чего не бывает, столько историй на слуху — в одну ночь становятся богачами. Смешно, конечно. Деньги твои я все спустил до копейки, да и своих сто рублей туда же. Так оно и должно было случиться, я не Плещеев, но я думал: а вдруг? мало ли что?

— По мне, уж лучше синица...

— Так нету синицы-то, — перебил он меня.

Теперь я осознал, в какую крайность загнала Неврева жизнь, которая казалась мне такой мягкой, податливой, с задорным личиком той актрисочки, что недавно крестила меня на особый лад в пропитанной духами комнатке на незнакомой улице.

Как это было странно, что мы мучительно старались свалить вину на бедность, хотя оба смутно чувствовали, что нехватка средств лишь одна сторона монеты, а если уж говорить открыто, так это называется «он ей не пара», и мне даже показалось, что это суровое заключение было определено задолго до того, как Неврев обнаружил свои чувства.

Вот сидим мы с ним, одинаковые во всем, даже роста одного; но одинаковые до тех лишь пор, пока на нас мундиры и сапоги. Что мог я поделать? Чем был я в состоянии помочь ему? Не мог же я поменяться с ним ролями и сделаться в одночасье Владимиром Невревым с тем, чтобы он назывался мною, а главное, воспользовался некоторыми преимуществами, которыми обладал я по праву рождения. На мгновение я представил, что был рожден не в уютном московском доме под возбужденные возгласы собравших по всему городу повитух, а на жесткой лагерной койке или на окраине уездного городишка, и меня пробрал озноб.

20

Прошло с лишним два месяца. То я вызывался идти к этому Сурневу и говорить с ним сам не знаю о чем, то порывался увидеть мифическую Елену, самое имя которой располагало к войне, и выяснить, не бесполезны ли мои глупые и пустые старания, а то предполагал дерзкие, но завораживающие своей романтичностью планы похищения, венчания в бедной и далекой деревенской церквушке, которую не в силах отыскать и господь бог, не говоря уж о родителях и властях. Все эти планы были, конечно, бредом, однако мне казались вполне осуществимыми главным образом потому, что возникали они обычно тогда, когда бывал я пьян.

— Нельзя этого, это сказки, — вежливо и терпеливо твердил Неврев.

Я и сам где-то в глубине души понимал неумолимую правоту его возражений, однако мне хотелось показать ему свою дружбу, выказать расположение. К тому же меня обдавало чарующим дыханием чужой тайны. То, что давно волновало мне грудь, теперь вдруг стало рядом, пусть не со мной, но с моим приятелем — в то время для меня это было одно и то же. Но иногда меня злила его обреченность, и тогда я говорил, повторяя, наверное, слова развязного Ламба:

— Ну, полно, какая радость убиваться. Того не стоит.

— Да ты знаешь ли, что это такое? — спросил он как-то.

Я призадумался. Мой любовный опыт ограничивался одним довольно тусклым эпизодом. Скажу о нем два слова. Привлекла меня одна из барышень Локонских, старшая, Елизавета, этакая львица в семнадцать лет. Несколько раз протанцевав с нею французскую кадрили, я незаметно для себя сделался как будто таким близким знакомым, что уже подразумевалось и другое, более захватывающее качество этого дружества. Быстрота, с которой все это происходило, а главное, отсутствие того трепета, о котором столько я читал, смутили меня. Ей в альбом я записал стихотворение, сочиненное еще в университете и бережно хранимое для подобных okazji:

В моей крови смешались дико
 Все крови кочевых племен
 И скрип кибиток всех времен,
 И стертый лик мой многоликий
 Страстями не обременен.
 Во мне царит противуречье:
 То я монгол, то я казах,
 Но вы не восклицайте: «Ах», —
 А вдруг оседлость Междуречья
 Отыщете в моих глазах.

Я был весь намек, но недоговоренный, она — ожидание, но не слишком доверчивое. «Кто знает, — сказала она многозначительно, глядя мне в лицо своими чудными, но ничего не выражавшими глазами, — кто знает, может быть, этот знак вашей дружбы имеет для меня совершенно особое значение». На том мы и расстались...

21

Полутемная в любую погоду, дядина библиотека сделалась для Неврева настоящим прибежищем от мира снаружи, к которому не было у него ключа. Это было место, располагающее не к работе, а скорее к тихой бездейственной печали. Высокие, до самого потолка, шкапы, плотно уставленные тисненными переплетами, на которых неярко поигрывала позолота выпуклых корешков, странным образом приглушали страсти, намерения, порывы и беспокойство. Оставалась только вялая мысль, переползающая вместе с глазами с полки на полку, из одного темного угла в другой, еще более темный. В солнечный полдень здесь всегда царил вечерний полумрак. «Мы знаем все, — с снисходительной улыбкой книги как бы покачивали головами своих невидимых сочинителей, — мы написаны людьми,

которые видели все: и таких, как вы, с вашими бедами, лишь облаченными в другие одежды, и других, более удачливых, про которых тоже есть что сказать, и таких, которые присмирели и стали неопасны, разбросанные черной краской на наших неразрезанных страницах». И этот парад человеческих страстей, облеченных в слово, как будто тушил пожары, устранял наводнения и останавливал землетрясения души, так что человек вместо того, чтобы проваливаться в зловещую черную трещину отчаяния, вместо того, чтобы взлетать высоко вверх от холодящего хохота земли, чувствовал себя примерно так, как чувствует себя дремлющий путешественник, незаметно покрывающий версты неровной дороги в коляске с хорошими рессорами. Вместе с тем небольшое пространство библиотеки дарило надежду, а главное, давало понять, что она может сбыться. Сладостное томление охватывало нас, тонувших в глубоких креслах, когда стопка за стопкой перебирали мы тома с страницами сухими, как ломкие кленовые листья, которыми были они переложены. Мы полагали себя в октябрьском лесу — покойном, влажном и обреченном.

— Что же ты будешь делать теперь? — спросил я как-то у Неврева.

— Что же мне делать? — отвечал он с мрачной иронией. — Разве жениться на дочке какого-нибудь откупщика, удушить ее через год... Нет, все это блажь — все эти мои чувства. Только ухмыляться — это еще можно. Чего же я хотел?.. Ты послушай только, чего хотел недавний владелец тридцати душ! — Он говорил это, глядя не на меня, а куда-то поверх моей головы, встречаясь рассеянным взглядом с веселыми молодыми глазами дяди на акварельном портрете, заставленном за стекло шкапа.

У меня возникло ощущение, что и говорил-то он все не для меня, — я, однако же, слушал, не нарушая его речи ни шорохом подошвы, трущейся об пол, ни скрипом пружины, ни шелестом непослушных страниц.

— Мой бедный отец, — сказал он, — и смерть его — не смерть героя, а гибель уставшего, больного душевно человека. Он имел за собой деревеньку душ в шестьдесят, тех самых, что должны были мы с сестрицей разделить по достижении совершеннолетия. Мать моя не имела, кажется, ничего, я ее совсем не помню... Зловонный лагерь — вот мое детство. Отец служил всю жизнь, да так ни до чего хорошего не дослужился. Мы с сестрою, как два испуганных чумазных зверька, следовали за ним, меняли Дорогобуж на дикие степные лагеря, их — на белорусские местечки, терявшиеся между болот, — и так без конца. Помню, когда я впервые увидел Одессу — первый большой город в своей жизни, — то едва ли не был уверен, что очутился прямо в... ну, не умею сказать. Но эти местечки, эти ужасные дыры, где единственный огонек после восьми вечера — свеча в палатке дежурного офицера, единственный свет — луна на штыке часового. Степь вокруг, темень непроглядная, а днем пыльные, бесцветные, чахлые деревца, мучительно выживающие на иссохшей почве... Отец долго терпел, но, верно, однажды понял: жизнь не удалась, надежд никаких не было, однако он был упрям, в хорошем, впрочем, смысле, в деревню не хотел удалиться и продолжал тупо цепляться за службу. Он начал пить, сначала понемногу, потом все больше, не таясь, никого не стесняясь, так развязно, что под конец пил уже один — офицеры избегали его общества.

— А ведь была молодость — победа над Наполеоном, сколько надежд, сколько счастья! Все ушло в провинцию — дикая, бессловесная жизнь, не жизнь — существование. Мне грешно хулить детство — оно у нас с сестрой было все же неплохим, у нас даже был немец, ха-ха, представь себе, немец в Комиссаровской степи! Но мы росли, и понемногу я начал задумываться... не то чтобы задумываться, а какое-то смутное беспокойство нападало на меня временами. Однажды, помню, поздно ночью взошел отец. Мы с сестрою давно уже лежали в кровати. Он сел за стол, и в приоткрытую дверь нам была видна его вздрагивающая от рыданий спина. Мы тоже заскулили от жалости, страха и непонятной за него обиды. На кого же мы обижались? Я не знал этого, как и того, отчего он плакал... Это нынче я знаю, — добавил Неврев.

— Мы учились, играли, но вдруг стали замечать, что офицерские жены жалеют нас втихомолку. Тут мы догадались, почему: из-за отца. Он изменялся на глазах. Как-то, когда полк квартировал под Киевом, около нашей мазанки остановилась кибитка, отец обнял нас, невесело улыбнулся и передал высокому опрятному мужику, который не говорил ни слова. В кибитку же побросали связки наших учебников, установили сундучок с платьем, и две клячи потащили нас, испуганных, по разбитой дороге. Мы обернулись и не отрываясь смотрели на отца, он также смотрел на нас, улыбаясь, прищурился красные глаза, закрывшись от солнца ладонью. Так клячи тащили нас, мы смотрели, он стоял уже опустив руку, ссутулившись... Мы смотрели до поворота, а потом было видно только несколько дубов, они скрыли от нас лагерь — лишь изредка еще мелькали между листвы грязно-белые клочки палаток... Мы ехали в деревню, где не были уж лет десять. Отца мы больше не видели... — Неврев надолго замолчал, вперив неподвижный взгляд в дядин портретик.

Томик Цицерона неслышно сполз с моего колена и глухо ударился в пол. Неврев вздрогнул и тряхнул головой.

— С тех пор я ненавижу провинцию, боюсь ее панически. Она пожирает человека медленно, мучительно, незаметно. Только когда замечает он обглоданный свой скелет, тогда лишь понимает, что его, в сущности, уже нет... Деревенька наша уже тогда была заложена-перезаложена. Нас отвезли сначала туда, потом за нами приехала тетушка, и мы отправились в Калужскую губернию. Помню, один мальчик сказал мне: «Мы теперь не ваши». — «А чьи же?» — удивился я, но он тут же убежал куда-то... Тетка наша была женщиной доброй и, прости господи, недалекой. Именьице ее только-только позволяло существовать, никаких излишеств и в помине не было, да ей оне были и не надобны. Каждое лето варила она самолично варенье, по осени солила грибы, за всем в скромном своем хозяйстве ходила сама, в общем, жила себе потихоньку и не представляла, что можно как-то иначе. Жили и мы при ней, шатались по полям в сопровождении дворовой девки годов сорока, играли во дворе или забирались в тень яблоневого сада и там из прикрытия огромных лопухов разглядывали сонную жизнь, расплзшуюся вокруг. Иногда почтовый колокольчик издали давал знать о прибытии известий от отца — никто больше тетке и не писал, — она звала нас тогда в зальцу своего неровно стоявшего домика. Письмо читала она про себя, мы жадно заглядывали в исписанный серый лист, но она держала его высоко. Закончив чтение, объявляла она, что батюшка велел кланяться, мы стояли-стояли, да и плелись во двор.

— Так длилось два года, — продолжил Неврев, — пока однажды та же самая почтовая тележка не доставила несколько старых отцовских вещей и страшный конверт. Тетушка долго плакала, мы еще дольше не умели ничего сообразить, неясно догадываясь, что произошло нечто ужасное... Прежней безмятежной жизни как не бывало — унылой чередой потянулись безрадостные дни. Мы ничего не делали, ничему не учились — где было взять учителей? Даже и читать было нечего: наши потрепанные учебники — это были все книги, которые зарастали паутиной на узких подоконниках подслеповатых окошек. И знаешь, я и не загадывал вперед, но чувствовал, что кончается целый участок нашей с сестрой жизни.

— Как-то весной тетушка призвала нас к себе, велела надеть что почище, посадила на диван, и мы стали ждать чего-то. Поминутно гоняла тетка на улицу своего дворового мальчишку, уже прошло утро, когда он влетел в комнаты: «Едут!» Мы с сестрою уже поняли, что решается наша судьба, и приникли к окну. Богатая четырехместная карета подкатила к самому крыльцу, и из нее вышел улыбающийся господин, которого никогда прежде мы не видели. Тетушка засуетилась около него, дворня столпилась в сенях. Он прошел в дом, оглядел нас с исчезающей улыбкой, после чего надолго уединился с тетушкой... «Помилуйте, чего ждать, — услышал я сквозь растворяемую дверь тетушкиной светлицы, — сейчас и поедем, не правда ли?» — неизменно улыбаясь, обратился он к нам. Тетушка суети-

лась, крестила нас беспрестанно; наши немногие вещи тем временем упаковывались. И опять, в который раз, влезли мы в чужой экипаж... Уже потом мне объяснили, что государь, просматривая списки убитых в персидскую кампанию, ввиду геройской смерти отца и из особой милости к сиротам повелел по достижении возраста зачислить меня в Пажеский корпус, а сестрицу — в Смольный монастырь. «Блестящее будущее, мой друг, блестящее», — говорил мне Сурнев, стародавний сослуживец и приятель батюшки, состоявший с ним в переписке и назначенный нам в опекуны. Что ж, — улыбнулся Неврев, — будущее уже здесь, но, находясь вблизи его, я не различаю блеска.

Живя с тетушкой, не имели мы никаких возможностей к образованию — было поэтому решено, что мы с сестрою поселимся до поры у Сурнева в Ильинском, чтобы не теряя времени, вместе с его дочерью Еленой, девочкой почти моего возраста, взяться за грамматику с историей. Экзамен в корпус, хотя и далекий, предстоял нешуточный.

— Уже тогда, впервые переступив порог этого богатого дома, я как будто томительно ощутил, что всегда останусь здесь только гостем, — я хочу сказать, что никогда не сделался бы я своим между его обитателями — великодушными и внимательными, но все же бесконечно чужими. Уже тогда, при виде ливрейных лакеев в деревенской обстановке, быть может, впервые задумался я о той непреодолимой разнице, что открылась между ими и мной. Как бы то ни было, — воскликнул Неврев, — тебе ведь хорошо известно отрочество, когда мысль, мелькнув, тут же исчезает и юноша не в состоянии оценить ее неумолимую справедливость; он живет только настоящим, ну хорошо, даже и недалеким будущим, но не более, не далее того дня, на который назначено катание или святочное гадание. У меня же есть скверная привычка принимать стертый пятак за новенький золотой, да не ночью на ощупь, а при свете дня в присутствии свидетелей. Другими словами, поговорив раз с человеком, я почитал уже его за доброго приятеля, заметив однажды расположение ко мне моих опекунов, полагал я для себя возможным и натуральным ощущать себя членом семьи и равным по положению. Происходило это, думаю, не от недостатка воспитания, а просто в силу моего характера и под влиянием юношеской восторженности перед жизнью и людьми, той самой восторженности, которая в этом смысле в зрелых годах сменяется спокойным благоговением.

Мне было интересно жить тогда, интересно ждать, я еще чувствовал себя неотъемлемой частью всего общества, в котором не делал различий, нашего еще неведомого мне участка земли, которого знал пограничные межи, в общем, видел себя участником общего дела. Очень скоро, однако, мне дали понять, что моя точка зрения не подкреплена самым главным — положением.

До поры меня выручало то, что я оказался среди аристократов, а потому и сам, не выделяясь, сходил за одного из их круга. Нечто среднее между незаконнорожденным Румянцева и одиноким наследником безвестного южнорусского дяди — такой вот образ помимо моей воли стал в сознании однокашников моею картой для визитов. Признаться ли, это льстило самолюбию и в то же время отвращало горечь прозрения. Но месяцы шли, я учился и мало-помалу увлекся предметами отвлеченными. Удивительное дело, читая в свободную минуту о том, как Цицерон, будучи всего лишь Туллием, неуютно чувствовал себя в сенате, я не отдавал себе отчета, что сам, в сущности, смотрюсь точно так.

— Пока мы стояли на утреннем построении, отличаясь друг от друга только цветом глаз и волос, то обладали, казалось, равными правами, но как только пять обманчивых лет миновали, все встало на свои места. Уже не знаю, кем определенные. Для товарищей моих корпус был естественной ступенью вверх, для меня — шагом в сторону. Другое было предписано мне с самого рождения — служить, как служил отец, служить, чтобы существовать. А у меня ведь есть сестра. Что толку ждать счастливого ли

брака, выгодной ли партии? Судьба прихотлива. Я стал служить, надеялся на продвижение, но, как ты знаешь сам, это поприще из тех, которые неудобны всякому, не имеющему имени, чиновных родственников или связей, в конце концов. Поняв наконец, какие условия предлагает жизнь, я сказал себе: «Хорошо, я согласен на них. Отчего не попробовать?» Но что толку! Что толку? Представь себе Невский проспект в самый оживленный полдень: десятки экипажей, сотни, тысячи людей движутся в одном направлении. Никто не желает отставать, каждый стремится обогнать тех, чьи спины нервируют его, а ветер с залива затрудняет движение, заставляет многих повернуть вспять, отвернуться от сверкающей иглы. И я, как все прочие, бросился к ней, готов был или неучтиво расталкивать толпу локтями, или осторожно пробираться — смотря по обстоятельствам. Тем более, что позади виднелась до дрожи знакомая картина отцовской жизни. Я не хотел повторить ее, я ее бежал. Я стремился в противоположную сторону. Скоро, однако, стало ясно, что ветер для меня дует всегда в одном направлении — в лицо, заталкивая меня туда, откуда отчаянно я выбирался. Впрочем, — усмехнулся он, — проспект имеет ответвления. Они-то куда ведут?

Трубка моя погасла. Я позвонил и спросил огня. Неврев молча глядел поверх моей головы, пока человек ставил угли.

— Но что же Сурнев? — спросил я. — Что мог он сделать для тебя?

— Ты же видишь, что. Все бы было ничего, если б не коснулось Елены. Но так и должно было выйти, по законам жанра, так сказать. Как только до этого дошло, тут сразу и стало ясно, чего стоили его заботы. Заботы! Слова, одни слова... Да и чем он обязан предо мной?

— А давал ли он повод полагать...

— Я думал — да, — перебил меня Неврев, — но оказалось, что я сам себе его давал. Но могло ли и быть по-другому, скажи? Я рос в его доме, во мне приняли участие, я считал этот дом родным, и, не имея другой кровати, кроме походной койки с бурым одеялом, мог ли я, имел ли право надеяться?.. Однажды, после второго года в корпусе...

На улице послышались голоса столь громкие, что они проникли даже сквозь глухие, никогда не открывавшиеся окна библиотеки. Тревожный далекий гул смешался с неистовым грохотом экипажей. Я подошел к окну и поднял стору, выглядывая на улице причину шума. Тут раздались звонкие и быстрые шаги за дверью, она распахнулась, и мы увидели взволнованного Федора.

— Что случилось? Что за шум? — спросил я.

— Зимний дворец зажегся, — отвечал запыхавшийся Федор. — Так полыхает, что отовсюду видать.

Мы с Невревым накинули шинели и выбежали на улицу.

22

Дворцовая площадь была полна народу. Новые и новые толпы почти сбегались со всех сторон. Прозрачное дыхание множества людей клубилось над их головами, смешиваясь с черным дымом горящего дворца. Конные вестовые, размахивая плетками, с трудом прокладывали себе дорогу. Солдаты Павловского полка теснили любопытных, образуя что-то вроде коридора для свободного движения экипажей. Огромное здание задыхалось в огне, трещало и вздрагивало. Над толпой стоял возбужденный гул, люди крестились, кричали что-то, но что, невозможно было разобрать. Протиснувшись наконец поближе к зданию, мы ощутили жар, дрожащий в морозном воздухе. Преображенцы, выстроившись в цепи, с лихорадочной быстротой передавали друг другу предметы, извлеченные из иллиминированных недр дворца, и в беспорядке складывали их на снегу. Мы пробились к преображенскому полковнику и предложили свою помощь, но он сказал, что солдат хватает и что здание, по всей видимости,

обречено. Действительно, пламя распространялось с ужасающей быстротой. Какой-то студент высоко над фуражкой держал двумя руками икону, на окладе которой играли багровые отсветы пожара.

— Скоро буду на его месте, — сказал мне Неврев, кивая на студента. — К черту эту службу, ни до чего не дослужишься.

Я услышал его, но был настолько занят грандиозным зрелищем, что ничего ему не ответил. Показалась карета государя, встреченная криками и отрывистыми командами офицеров. Тут же батальон Семеновского полка сделал попытку отстоять половину императрицы, но огонь, глухо вздохнув, вырвался из окон второго этажа. Солдаты отошли. Постояв еще немного, мы отправились в белую харчевню у Александринского театра. Людей, несмотря на поздний час, было великое множество. Мы устроились в углу и пили чай.

— Все сегодня горячо, даром что зима, — сказал кто-то.

— Что ты там говорил про университет? — спросил я Неврева.

— Да вот думаю, не оставить ли службу, — ответил он, — вступить в университет, заняться языками, восточными какими-нибудь, что ли, жить себе... да что толку говорить, не имея средств. Но поговорить хочется хотя бы.

— Однажды... — улыбнулся я.

— Что — однажды? — удивился он, но тут же понял, о чем речь. — А, вот ты о чем. Ну да. Приехал в отпуск... — Он помолчал чуть-чуть. — Чувствую — что-то уже не так. Выросли мы, Елена была уже не девочкой, а я еще был мальчишкой, но все же. Уже мундирчик, уже пушок под носом. Уже мы были не дети, другие, новые. Уехал я влюбленный и печальный, печальный и радостный разом. Пошло-поехало. В следующий раз на последнем перегоне я чуть не загнал ямщика, грея за пазухой пачку писем.

— Господа, вы позволите? — попросил нас черный от копоти преображенский поручик.

— Конечно, — сказали мы. Его товарищ также был весь перепачкан и с выражением сильнейшей усталости тяжело опустился на скамью рядом со мной.

— Отстоять невозможно, — произнес поручик, обращаясь то ли к нам, то ли к своему приятелю.

— На Галерной тоже занялось. Наваждение какое-то, — сказал тот. — Неси же ром, черт тебя дери! — закричал он половому.

Мы с Невревым вышли на улицу. Зарево еще сильнее окрашивало небо красным цветом, новые толпы валили полюбоваться видом пожара. Захваченные людским потоком, мы снова направились на площадь. Солдаты теперь не суетились, а спокойно стояли кучками, просто глядя на бушующий огонь. Его страшная работа завораживала даже равнодушных и впечатляла прочих своей божественной сущностью. В движениях пламени мне чудились грозные гримасы древнего духа, — так язычество мстило неверному народу, променявшему реальность на отвлеченные понятия. Мне казалось, что все мы находимся не на берегах скованной льдом Невы, а на песчаном плесе Днепра, казалось, что государь Николай Павлович, повелитель бесчисленных стад и племен, в пробитой кольчуге и с серьгой в ухе возлежит в глубине гниющего терема, ставшего погребальным костром, и его душа под стоны седовласых воинов и обреченных женщин вновь соединяется с миром. Такова связь времен, зыбкая, как пламя свечи, но нет большей прочности даже в глазах пророка.

Вдруг увидел я дядину карету, увязшую среди людей. Выставив перед собою эфес сабли, я устремился туда и через чьи-то головы постучал ножами в стекло. Неврев взялся за удила, я криками и саблей расчищал путь. Лошади вздрагивали от хлопков огня, сполохов и обилия народа.

— Вот спасибо, Христос послал, — крестился растерявшийся кучер Матвей.

— Держите, барин, держите! — кричал он Невреву.

С большими трудами удалось наконец высвободиться.

— Какое несчастье, — такими словами встретил нас дядя. — Сгорит, сгорит весь дотла. Какой ужас, Господи!

— Не вздумай бросаться в огонь, — раздался из кареты знакомый голос. — Мы не в Вильне, и нам не двадцать лет. Помнишь, *mon cher*?

— Помню, помню, — отвечал дядя прищурившись, глядя, как с крыши проваливаются раскаленные листы жести.

— Здравствуй, дружок, — сказал мне Сергей Васильевич Розен, выбираясь из кареты. — Пожалуйста греться.

— Здравия желаю, Сергей Васильевич. Дядюшка, Владимир сегодня ночует у нас.

— Конечно, дорогой, — сказал дядя.

— Поди, поди! — закричал Матвей, и мы рывками поехали к дому.

23

— Дядюшка, — начал я по дороге, — что это Сергей Васильевич вспомнил Вильну?

— Пустое, — отвечал дядя неохотно.

— Ну, *mon cher*, у тебя только рюмка всегда полна, — заметил Сергей Васильевич.

Мы сдержанно улыбнулись, благо в карете было почти темно — лишь на мгновения свет фонарей выхватывал из мрака наши лица.

— Потешь молодежь, — пристал к дяде Розен. — Я и сам послушал бы с удовольствием, вспомнил бы те деньки... Эх, сколько же нам тогда было лет, даже не верится, что нам когда-то было столько лет.

Дядя вздохнул.

— Дядюшка, — сказал я.

Дядя вздохнул еще раз.

— Извольте, — согласился он, — но только после ужина.

Ужин прошел в нетерпеливом молчании. Я украдкой наблюдал за Невревым, который показался мне повеселевшим. Последнее время, с тех пор как получил он письмо от своего опекуна, он был мрачен и неразговорчив. Сегодня же улыбка заиграла у него на лице. То ли он действительно на что-то решился, побывав на Дворцовой площади, то ли... как бы то ни было, его замечания перестали пугать своей отрешенностью, а движения стали живей. С неподдельным интересом устроился он на диване, приготовившись слушать дядин рассказ.

— Что ж, — сказал дядя, обводя нас глазами, и начал следующим образом: — Девятнадцатого августа 1815 года был издан приказ по гвардейскому корпусу на случай его выступления. Узурпатор достиг Парижа и, наводя ужас на жителей Франции, вновь принялся за бесчинства. Русская армия двинулась в Европу. Войска, в том числе и гвардия, выступали из столицы. Каждый полк выходил один после другого через день — и с каждым днем город становился все более уныл и пуст. Со смешанным чувством отправились мы в новый поход. С одной стороны, все рвались покончить наконец с неугомонным неприятелем, с другой — мы устали от свежих недавних грандиозных кампаний, да и жалко было покидать дом, в который только-только мы вернулись после стольких трудов.

— Да, — согласился Сергей Васильевич, — некоторые весьма заманчивые знакомства пошли прахом из-за Бонапарта.

Он окинул нас победным взглядом. Мы кивнули понимающе.

— Так вот, — продолжил дядя, — уже на марше донеслись до нас кое-какие известия о некоторых успехах Веллингтона и Блюхера, однако решительного пока ничего не было, и всяк готовился к сражениям. Гвардия собиралась в Вильну. Тысячи людей, лошадей, обозных телег, маркитантов, окрестных крестьян, везших припасы, ежедневно стекались в город, который не мог вместить всех прибывших и прибывающих и поэтому оказался окружен настоящим кольцом лагерей. «Я застал Вильну в шуму оружия и забав», — заметил один мой знакомый, и был совершенно прав.

Ежедневно множество офицеров съезжались в город, ловя на лету походные увеселения. Почти каждый вечер устраивались маскарады и балы, притягивавшие местных панночек. Праздник, данный графом Милорадовичем по поводу тезоименитства императрицы, был великолепен. Город расцвечился огнями и августовскими зарницами. На время все мы и забыли, зачем остановились в этом воздушном месте, забыли, что впереди нас ожидали многие версты пути и неутомимый противник. Среди поляков, однако, немногие были рады нашему появлению, остальные втайне держали сторону Бонапарта, который возбудил в них стремление к независимости от российской короны и своим побегом с Эльбы дал повод к размышлениям и к действию. Несмотря на присутствие в Вильне большого стечения войск, в округе было неспокойно. То и дело доходили слухи о разбойничьих нападениях на курьеров и офицеров, догонявших свои полки. Несколько раз загадочным образом вспыхивали пожары в домах, где квартировали генералы. Предполагали, что действуют поджигатели, и усилили караулы. Ночью по улицам сновали казачьи разъезды. Впрочем, — заметил дядя, усмехнувшись, — великий князь Константин чувствовал себя в Варшаве вполне уютно. Но я, похоже, увлекся.

Расскажу о своих ощущениях, когда узнал я, что дорога полка пролегает в известной близости от мест, с которыми оказались связанными уже известные вам события. Я был воодушевлен. По дороге в Вильну мысли мои все более тревожил незабываемый образ молодой Радовской. Я уже смутно восстанавливал в памяти ее черты, но цельное впечатление возбуждало воображение. Я усиленно раздумывал, каким бы способом вновь увидеть ее, увидеть хотя бы мельком. Через знакомого мне адъютанта, состоявшего при Сипягине — тогда начальнике штаба корпуса, — разведывал я пути, по которым предполагалось наше дальнейшее движение, в надежде, что они пролягут севернее Варшавы. Близость места живо напомнила мне мое очаровательное приключение, и я злился, когда мне казалось, что полк идет недостаточно быстро. Нетерпеливо ожидал я какой-нибудь возможности, какого-либо случая осуществить свои неясные замыслы. Я почему-то был убежден, что случай непременно возникнет, и жадно ловил обрывки разговоров и вообще всякие новости.

Однажды, не помню, к сожалению, какого именно числа, — помню, что был это теплый вечер, столь редкий в то хмурое, пасмурное лето, — я, наслаждаясь ясной погодой, не спеша возвращался к себе из Антокольского сада, где были в те дни гуляния. Небо над городом было ярко освещено огнями иллюминации, поэтому я не сразу обратил внимание на зловещее зарево, что разгоралось впереди. Только когда сзади слышались торопливые шаги людей, обгонявших меня с озабоченными лицами, я тоже прибавил шаг. Жуткое зрелище представилось глазам моим, когда узким кривым переулком вышел я на площадь. Тогда же ударили в набат, и тягучие звуки колоколов поплыли над Неманом. Горел значительных размеров костел Петра и Анны. Сбежавшиеся горожане делали все, чтобы остановить огонь: вокруг была слишком тесная застройка. Несмотря на все усилия, пламя перекинулось на соседний трактир, который в спешке покидали перепуганные постояльцы, а оттуда уже угрожало какой-то местной управе, откуда обезумевшие чиновники, неизвестно как в столь поздний час оказавшиеся у места службы, лихорадочно выносили связки бумаг и укладывали их на подводы. Неожиданно задул ветерок; сначала слабый, он вскоре усилился невероятно, поднимая в воздух хлопавшие листы и разнося их по площади. Из множества лавчонок и магазинчиков спешно выбрасывались товары. Некоторые из них тут же возгорались от беспрестанно падающих головешек, нестерпимо рвалась черепица. Откуда появился огонь, как достиг он прекрасной церкви, установить было невозможно. Одни говорили, что загорелось в переулке от осветительной плошки, которыми был полон тогда иллюминированный город, другие утверждали, что видели людей, вносивших в церковь бочку с деревянным маслом. Впрочем, гуляющих допоздна было множество, много было и войск, так что война с огнем велась достойная.

Не успел я приблизиться к горевшему трактиру, как в меня прямо вцепилась растрепанная хозяйка, крича мне что-то на ухо, но я, не зная ни местного наречия, ни по-польски, долго ничего не мог понять. Хозяйка узнала во мне офицера и повторяла как заклинание одну и ту же фразу: «Пан офицер, прикажите спасти его». Вокруг нас собралась толпа. Наконец нашелся кто-то, кто смог объяснить мне по-русски, что ей нужно. В втором этаже, оказывается, был у ней постоялец — то ли монах, то ли священник, я так и не понял сразу. Она настаивала, что он рано отправился почивать и никак не выходил из дома с тех пор, как начался пожар и загорелся трактир. Дикое ржание лошадей, которых не успели вывести из стойл — а они тоже занялись, — надрывало мне душу и заглушало слова собравшихся вокруг людей. «Пан офицер, прикажите вытащить его. Он, верно, наглотался дымом и без чувств сейчас», — примерно к этому сводились мольбы трактирщицы. Сам трактирщик стоял рядом и с мрачным видом взирал, как гибнет его достояние. Я не имел времени раздумывать, ибо огонь распространялся с удивительной быстротой. Никто из тех, кто слышал слова хозяйки, не решался и шагу сделать в ту сторону, и я заметил, что многие в смущении отводили глаза...

— Когда последние из тех предметов, какие оказалось возможным спасти, были выброшены на булыжник, несколько солдат попытались прорваться внутрь, но отскочили, не выдержав жару. Уже и не знаю, что меня толкнуло на этот шаг — дело ведь было явно безнадежное, — только я бросился к пожарной бочке, что изо всех сил катила к костелу. Несколькими ведрами воды я вымочил себя до нитки, оставляя за собой мокрый след, который в свете пламени походил на свежую кровь. «Ваше благородие, не ходите, не достанете», — загородил мне дорогу усатый гренадер, а какой-то поляк вцепился мне в рукав. Я распихал их и бросился прямо на лестницу, полную черного дыма. Сергей Васильевич вот тоже меня не пускал, да я не дался, — улыбнулся дядя. — Впрочем, было, конечно, ужасно. Едва нашел я нужный номер, как позади что-то обрушилось с яростным треском. Дверь оказалась заперта, я начал задыхаться, но, слава богу, с четвертого удара высадил ее к чертям. На кровати и правда неподвижно лежал мужчина, одетый в черную церковную одежду. Как только мог быстро я содрал ее, чтобы не занялись концы, обхватил его руками и побежал вон. Он показался мне очень тяжел, у меня уже не хватало сил держать его на весу, и я кое-как волочил его по полу, а он то и дело стучался головой об лестничные ступеньки, так что умри он, я бы и не узнал, что послужило истинной причиной этой смерти. Но руки мои затекли, нестерпимо болели от жара, я укрывал лицо плечом и, рыча, двигался к выходу, намертво захватив ноги своей добычи. Мне было не до церемоний, и я справедливо решил, что лучше быть больным, чем мертвым. Тем более, — добавил дядя, — что священник и не подавал признаков жизни, находясь, видимо, без сознания, так что ему мое варварское обращение было безразлично. Только когда опустил я его в недалеком расстоянии от трактира, обильный свет упал ему на грудь и что-то блеснуло под его белой сорочкой. С удивлением обнаружил я тончайшей работы кольчугу, надетую прежде рубахи. Здесь плеснули на нас водой, привели доктора и забрали его от меня. Я тяжело кашлял и, досадуя на испорченный мундир, взял вот Сергея Васильевича, и мы поплелись домой. Федор натер больные места какой-то травяной мазью — у него этих мазей всегда была полна коробка, — достал мне новую одежду, и мы немного выпили вина, хотя все тело и было горячим, как угли.

На следующий день просит меня к себе полковой командир и говорит: «Князь, есть для вас дело. Нужно проводить одного местного священника в его приход, верст за сто отсюда. Экипаж его сгорел при вчерашнем пожаре, мне приказано предоставить ему свой. На дорогах нынче черт-те что творится. Возьмите десяток казаков и отправляйтесь. Едва ли мы скоро выступим, но ежели узнаете, что мы вышли, догоняйте нас в Варшаве». — «Куда же он едет?» — поинтересовался я. «В Мышинец», — ответил мой

начальник. «В Мышинец? — воскликнул я. — Да быть не может!» — «Там у него приход в округе, сам Милорадович просил сопроводить его. Вот вам подорожная». Я взял бумаги и вышел на улицу. Я был слишком взволнован таким совпадением и даже не спросил, что за птица этот поп, за которого просил сам граф.

К вечеру все были готовы к отъезду, я залез в карету, окруженную конвоем, и оттуда выглядывал своего попутчика. Он не заставил себя ждать, и в высоком священнике, прижимавшем к себе пухлый портфель, я с удивлением узнал того самого человека, которого ночью вытащил из огня!

— Искренне благодарю вас, князь, за ту неоценимую услугу, которую вы оказали мне вчера, — произнес он приятным голосом на хорошем французском языке.

— Не стоит благодарности, — отвечал я. — *Il me faut des emotions*³.

Его звали пан Анджей. На вид ему было лет сорок или около того. Худое его лицо с несколько острыми чертами излучало спокойствие — спокойно и изучающе глядели на меня его большие черные глаза. Он смотрел из-под чуть прикрытых бледных век с достоинством, но без того презрения, с каким обычно взирают на мир подобные господа. «Все же какая непроходимая разница между католиками и нашими попами, — подумалось мне. — Он относительно молод, а уже придал своему лицу такое значительное выражение». Его безусое и безбородое, голое лицо было собрано и четко очерчено затейливым овалом. На лицах наших священников я часто встречал достойное внимания выражение, но оно было иное совершенно; наши лица бывают восторженными, задумчивыми, а все же не так, как у католиков. Тем не хватает искренности, что ли, наивности, той святой простоты, необходимой для общения с Богом, зато уж холодной серьезности хоть отбавляй. Что ни говорите, какой неизгладимый отпечаток накладывает вера на лица своих служителей!

— Не совсем так, дядюшка, — возразил было я, но дядя остановил меня движением руки и продолжал дальше:

— Пан Анджей, — спросил я, — что за нужда облачаться в средневековые доспехи?

Лицо его осталось невозмутимым, но мне почему-то показалось, что левая бровь поползла вверх.

— Видите, князь, я везу деньги епархии, а на дорогах так беспокойно. Военное время создает некоторые неудобства, — учтиво пояснил он.

— Вы поляк? — спросил я.

— Да.

Было заметно, что мой собеседник не слишком склонен к беседе, и я замолчал. Однако ехать нам было долго, волей-неволей пришлось разговариваться. Я же подбирался к главному вопросу, терзавшему меня. Задать его прямо не казалось мне удобным, тем более что беседа наша, раз коснувшись религиозной темы, никак не сходила с этого круга. Эти ловкачи не упустят ни малейшей возможности запутать человека в сетях своих мнимых, неизвестных даже Господу Богу, превосходств. «Будет сейчас испытывать меня», — подумал я и не ошибся. Светского разговора не получалось. Я имел неосторожность, между прочим, отказать иезуитам в чести и совести. Пан Анджей внимал мне со снисходительной улыбкой. Не знаю, право, что он думал об иезуитах, но мои нападки даже мне в конце концов показались чересчур резкими, тем более что он пропускал их мимо ушей.

— Правильно сделали, что изгнали их из обеих столиц. Они влезают не в свои дела и уловляют шаткие души. Я уже не говорю о том, что все они просто шпионили у нас, да так развязно, что хоть святых выноси, — примерно так говорил я. — Россия в этой чести не нуждается.

³ Это подогревает кровь (франц.).

— Я бывал в Петербурге, — заметил мой собеседник, — и знаком с *madame Svetchine*. Вот вам скорый пример не политической эмиграции, которая только утомляет Европу, а эмиграции духовной.

— Пожалуй, это так, — отвечал я, — но вы лишь подчеркнули мою мысль. Увы, Софья Петровна подпала под влияние сардинского посланника де Местра. Как же умело этот человек совмещал несовместимое!

— Ну, у русских есть неизменное правило — понимать любую личную симпатию в политическом смысле.

— Что ж, таковы особенности нашего государственного мышления, и заметьте, кстати, что они дают свои плоды: не французская армия идет в Россию, а русская во Францию.

— Но говорим-то мы с вами на французском языке, не правда ли? — ловко парировал пан Анджей.

Дядя вздохнул.

— Пусть так, — продолжил я, — но как же вы можете принимать идеи человека, когда в них утверждается такое истерическое насилие?

— Это вы де Местра имеете в виду? — спросил ксендз. — Палач — исполнитель дела Божьего на земле.

— Палачи бывают обычно у обеих сторон, — заметил я. — Вы которого разумеете?

— Освященного. Что же до *madame Svetchine*, то в вас, князь, согласитесь, играет возмущенный патриотизм, а это чувство не всегда необходимо. Договор, заключенный с Богом, уничтожает все прежние обязательства.

— Заключивши раз, зачем стремиться к следующему?

— Одним словом, так пикировались мы до первой подставы. Кстати, однако, — снова вздохнул дядя, — Свечина таки через два года переехала в Париж. Говорят, теперь она у них почти святая. Еще бы! — воскликнул дядя. — На тысячи-то душ!

— Так вот, — продолжил он, — пока меняли лошадей, мы вышли размяться и топтались возле кареты.

— А скажите, пан Анджей, что за места, куда мы едем? Я слышал что-то о тамошнем обществе, например о старом графе Радовском. О его дочери прямо легенды ходят.

— Неужели? — Он пристально посмотрел на меня, и мне почудилась улыбка, но было темно, и я не был уверен.

— Что-то такое приходилось мне слышать и про ее мужа, — схитрил я, — то ли какого-то пруссака, то ли саксонца.

— Графиня свободна, — ответил он.

— Ну, значит, была в браке.

— Что за стремление непременно обручить ее, — рассмеялся священник. — Никогда не была, князь.

— А вы знакомы ли с графом?

— Думаю, да, — улыбнулся он, — ведь мой приход в его усадьбе.

— Вот как, — удивился я и подумал, что перехитрил сам себя.

— Скажите, пан Анджей, — обратился я к нему, забираясь в карету, — правда ли, что дочь графа будто бы восточных кровей?

— Как вам сказать, — задумчиво проговорил он, — мне кажется, что это только слухи.

— Но вы же видели ее не раз, конечно!

— Видел, видел, но что с того? Ведь и меня иногда называют испанцем.

«Что недалеко от истины», — подумалось мне. Ничего толком я не узнал, кроме одного, являвшегося для меня самым главным, а именно, что графиня Радовская не состояла в браке.

— Мы едем в город или прямо в усадьбу? — спросил я.

— Прямо в усадьбу. Сами все увидите. — Он развел ухоженными, но крепкими руками, и я подумал, что такими руками одинаково хорошо держать и распятие, и пистолеты.

— Да-да, — поспешил согласиться я, замирая от внутреннего трепета.

— Лишь теперь, то есть тогда, — поправился дядя, — я понял вдруг, какая редкая удача выпала на мою долю. Какое стечение обстоятельств! Я сделался терпелив и держал себя в руках. Если и двигало мною что-то в этих предприятиях, то никак не тщеславие или какое-нибудь другое родственное ему чувство, столь свойственные молодым людям, — нет, это была любовь, такая любовь, которой больше никогда уже я не испытывал и которой не забыть. — Дядина голова наклонилась к груди. Он помолчал.

— Когда наконец проехали мы мимо знакомой корчмы, я едва помнил себя от счастья и благодарил судьбу. «Какое жестокое правило, — ехал и размышлял я, — какое жестокое правило — чтобы попасть в странный дом, сперва нужно было побывать в пасти у пса, а третьего дня чуть не сгореть вместе со старой мебелью и клопами».

— Ничего не изменилось за год в усадьбе графа, — продолжил дядя. — Аллея по-прежнему вела к дому, дом тоже стоял на месте, только в некоторых местах поотваливалась лепнина карниза, да так и осталась незаделанной.

— Ровно год. Такое время редко доставляет заметные перемены, — сказал дядя, — если, конечно, не случается чего-нибудь слишком решительного. Мы подъехали к дому вечером, но солнце еще не садилось. Выйдя из кареты, я ожидал увидеть этого мсье Троссера, управляющего, и точно — он поспешно выскочил на чисто выметенные ступени наружной лестницы. Правда, на меня он взглянул лишь мельком, искоса, да я и держался в сторонке. Они с паном Анджеем заговорили по-польски, и только после нескольких фраз со священником мсье Троссер разглядел и узнал меня. И вы знаете, что-то похожее на радостное удивление проступило на его неулыбчивом лице. Но если это и показалось мне, то я был доволен и тем, что не было на нем признаков обратного радости чувства. «Поручаю вас, князь, мсье Троссеру», — обратился ко мне пан Анджей и исчез в доме. Мы с Троссером вошли за ним. «Нельзя ли накормить людей?» — попросил я. «О, конечно, сейчас о них позаботятся, не беспокойтесь, князь». Держался он со мной радушно, и это придавало мне уверенности, потому что, оказавшись в знакомой зале, я несколько потерялся и совершенно не предполагал следующих своих поступков. «Я вижу, вы меня вспомнили», — улыбнулся я. Троссер недоуменно посмотрел на меня. «Не сомневайтесь», — проговорил он. Меня так и подмывало спросить, где же графиня, и хотя этот неосторожный вопрос уже несколько раз готов был слететь с губ, я удерживался. Пан Анджей, очевидно, беседовал наверху с графом, Троссер, предложив мне превосходного портеру, также удалился, графиня не показывалась.

Потягивая терпкую жидкость, я скользил взглядом по темным от времени масляным портретам, которые украшали грубые прочные стены. Лица предков тоже изрядно потемнели, потускнели и почти сливались в полумраке залы с фоном полотен. Мрачноватые и величественные были эти люди, одетые в венгерки и в зашнурованные шафряные кафтаны, сжимавшие в костлявых руках кто рукоять сабли, кто плеть. Глядя на стертый, стоптанный пол, на простую, иногда неровную кладку стен, я как будто увидел эту залу два столетия назад... Чашки с жиром освещают ее, пол устлан соломой, посреди расположился огромный стол из цельного дерева, тяжелые скамьи окружают его. В черном от копоти камине пылают поленья, а за столом восседают вот эти люди — люди, изображенные на портретах, — и похваляются то ли удачной охотой, то ли победой над Сагайдачным, которого не пустили они к устью Днепра. У них под ногами на влажной соломе рычат и грызутся собаки, оспаривая друг у друга брошенные невзначай плохо обглоданные людьми кости. Кого не смог я представить в такой обстановке, так это женщин... Я посидел еще, прищурился глазами, и наполнил еще раз старинный бокал богемского стекла на высокой витой ножке.

— Не хотите ли, князь, в ожидании ужина осмотреть мои владения? — Пан Анджей спустился и направлялся ко мне.

— Охотно, — ответил я.

Мы вышли на крыльцо, пересекли двор, повернули, миновали сад и очутились у небольшого изящного костела, башенки которого украшало кружево крестов. За опрятной его оградой увидел я желтоватые крыши крестьянских домов, утопавших в зелени.

— В усадьбе, я заметил, есть еще и часовня, — обратился я к священнику.

— Верно, у левого флигеля, — ответил он, — там же и фамильный склеп. — Он аккуратно перекрестился и жестом пригласил меня внутрь.

Когда я, пригнувшись, ступил за сбитый порог и огляделся, меня поразило мрачное убранство этого места. И темного дерева, блестящие от частых соприкосновений с одеждой прихожан скамьи, и обилие бумажных цветов бледных оттенков, и пустота, и голые светлые стены, и чужие слащавые лики деревянных апостолов и святых — все здесь напоминало о смерти, но это было не *memento mori*, а примерно так, когда тяжелый смерзшийся ком земли глухо ударяет в крышку гроба, из-под которого еще не убраны полотенца. Я осенил себя знамением, но ничего при этом не почувствовал.

— Что ни говорите, — сказал я пану Анджею, — а на русского один вид костела нагоняет уныние и тоску. Все-то у вас строго, прилажено, чистенько. Если ряса — то уж черна, как вороново крыло, коли воротник — так уж такой белый, что глаза слепит. У нашего-то монаха тоже одежда черна, да вся вином залита, в бороде крошка, как-то, право, веселее.

— Ну, поповские глазки везде одинаковы, — усмехнулся он, и меня удивили такие слова в его сухих осторожных устах.

Прибежал казачок звать к столу. Мы направились к дому.

— Что, ребята, покормили вас? — спросил я у хорунжего, сидевшего под липой и курившего трубку.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Только лошадок жалко, пусть бы отдохнули, мы когда обратно?

— Сам, брат, не знаю еще, — ответил я и взбежал по ступеням.

Стол был накрыт в небольшой уютной зальце второго этажа. Я посчитал приборы — их оказалось четыре. «Кого же я увижу, — мучительно гадал я, — самого графа или его дочь? А может быть, Троссер не садится за этот стол?» Напряжение усилилось, когда напротив пана Анджея уселся все-таки Троссер, а седой дворецкий сделал нетерпеливое движение. Наконец дверь широко распахнулась, и быстрым уверенным шагом вошла женщина. Свежайший аромат духов бросился мне в лицо вместе с краской волнения, так что сперва я видел только волны розового муслина. Лицо ее расплылось у меня в глазах, да я и робел взглянуть в него прямо. Графиня ничуть не изменилась с того времени, когда я впервые ее видел, — разве что стала еще пленительнее. Большие черные глаза по-прежнему смотрели властно и задумчиво, какое-то потухшее беспокойство таилось в их бархатной глубине. Лицо было свежо и чисто. Надо сказать, что я уже плохо помнил ее черты, — с тем большим интересом исследовал я, насколько образ, хранимый мною, отличается от реальности. Она узнала меня сразу и немного замешкалась.

— Это вы? — спросила она, усаживаясь на стул, за высоченной спинкой которого сейчас же вытянулся дворецкий.

— Это я, — был мой ответ, и звуки ее низкого голоса приятным теплом разлились у меня по членам.

— Так вы знакомы? — удивился как будто пан Анджей.

— Год назад или около того князь ночевал у нас, — пояснил управляющий.

Я кивнул:

— Тогда мы возвращались в Петербург из Европы через ваши места, и я догонял свою часть.

— Наше гостеприимство, помнится, досталось вам по дорогой цене, князь, — улыбнулась Радовская и обратилась к священнику: — Князь едва не был растерзан собаками, когда подъехал узнать дорогу.

— Не по столь большой, чтобы было невозможно заплатить, — учтиво отвечал я.

Пан Анджей поведал ей вкратце историю нашего знакомства. Она слушала внимательно, а я несколько смутился от похвал.

— Так вот почему князь всю дорогу расспрашивал меня о вашем семействе, — улыбнулся он.

Она вдруг посмотрела на меня тягучим взглядом и сказала:

— А ведь это славно, что вас прислали сопровождать нашего пана Анджея.

— Нашего? — не совсем понял я.

— Пан Анджей — духовник моего отца, — был ответ.

«Да он молод для этого», — подумалось мне.

— Вы не побоялись войти в горящий дом, — как-то утвердительно произнесла она.

— Ворваться, — пошутил я. — Услуга за услугу, графиня. Вы приютили меня, я помог пану Анджею.

Мне показалось, что, выслушав священника, Радовская погрузилась и сделалась рассеянна. Это, однако, не мешало общему разговору. Правда, мсье Троссер все больше молчал, упорно глядя в тарелку. Ужин подходил к концу.

— Мсье Троссер, распорядитесь убрать собак на ночь. Во дворе чужие люди, — обратилась хозяйка к управляющему и сообщила мне: — Вам приготовят вашу прежнюю комнату.

«Значит, мы остаемся», — облегченно подумал я и заметил:

— У вас поразительная память.

— Это не заслуга моей памяти, — пояснила она, — у нас так редки какие-либо события, что поневоле запомнишь все, что имеет место.

Итак, хоть какая-то отсрочка была мне дана, а между тем не так-то легко сочинить повод к тому, чтобы загоститься у графа, которого я так и не увидел. Ведь наутро нужно было седлать лошадей и трогаться в обратный путь. Я вспомнил, как уже уезжал — беспомощный, обезумевший, по той самой дороге, которая вновь привела меня сюда удивительным образом, — и начинал понимать, что второго отъезда мне не пережить. Первая спазма страдания сдавила мне грудь, и я лихорадочно задумался. Радовская и пан Анджей удалились, оставив меня в обществе Троссера. Этот невысокий человек неопределенного возраста, с пронизательными глазами сидел передо мною, и я невпопад отвечал на какие-то его вопросы. Я чувствовал — время идет, каждая его секунда драгоценна, но в бессилии продолжал незначительный разговор. Как горсть песка неумолимо убегает с ладони сквозь расставленные пальцы, так бежали от меня минуты. Приблизилось время спать. Я как мог дольше оттягивал тот момент, когда придется встать и отправиться в приготовленную мне комнату. Никто не появлялся, и мы с управляющим продолжали беседу, которая то и дело прерывалась тягостным молчанием. Теперь уже я задавал вопросы, но придумывать новые после немногословных ответов зевающего Троссера становилось затруднительно. Я уже успел выяснить, что служит он у графа без малого второй десяток лет, что семьи он не имеет и как будто оторван от родины, хотя украдкой и вздыхает по ней. Говоря о своей жизни, он не очень вдавался в подробности, а жаль: ведь каждое слово — это время, думал я. В конце концов внушительных размеров бутылка великолепного портеру была пуста, наши бокалы — тоже, а другой не предлагали. Мой собеседник все чаще прикрывал рот жилистой кистью, и я медленно поднялся, понимая, что уже не придется усесться обратно.

Гайдук проводил меня к месту ночлега, и я осмотрел комнату, в которой однажды уже почивал. Та же кровать, затянутая прохладным бельем, ожидала меня, та же цепочка колокольчика болталась в изголовье. Не раздеваясь я прилег на постель, заложил руки за голову и успокоился. Немного погодя отворил окно, которое с трудом поддавалось, и загасил свечу. Благоухание теплой и свежей ночи наполнило комнату. Чуть изменив

положение головы, смог увидеть я кусок густого темно-синего неба, на котором замерли черные ветки старинных лип. Все звуки исчезли за окном, если только рассеянный свет звезд движется беззвучно. Я лежал боясь шевельнуться, чтобы не развеять то зыбкое спокойствие, которое доставляла мне моя ленивая поза. Сон не шел. Я поднялся и приблизился к окну. Двор был пуст и светел от полной луны. Длинные тени деревьев распластались на траве. Я невольно поддался очарованию ночи и смотрел, смотрел в одно место, наблюдая за отдыхом земли. Вдруг слабое движение померещилось мне на садовой дорожке. Тут же что-то белое мелькнуло между листвы и розовых кустов. Я отодвинулся за плотную занавесь и пристально изучал то место, где виднелось светлое пятно. Я долго не умел разобрать, что это было, а когда догадался, быстро натянул перчатки и бросился к двери. С замирающим сердцем, осторожно ступая, нашел я в кромешной темноте лестницу и так же тихо спустился в нижнюю залу. В камине мерцали догоравшие угли, я оглянулся на железных истуканов, расставленных вдоль стен, и подошел к дремлющему у входа гайдуку. Он встрепенулся, когда заскрипела дверь, и уставился на меня сонными глазами. Я знаками показал ему на конюшню, где расположились мои казаки. Оказавшись на воздухе, я сначала сделал несколько шагов в сторону конюшни, затем круто повернул и вдоль стены пробрался в сад. Окно моей комнаты зияло пустотой, и мне казалось, что вот-вот кто-то может войти туда...

— Женщина в легкой накидке обернулась на шорох моих шагов и молча наблюдала за моим приближением, — продолжил дядя. — Черные волосы были не прибраны и свободно обрамляли смуглое лицо.

— А, — промолвила она, — это вы.

— Да, вот вышел взглянуть на людей, — начал было я, но споткнулся об ее как будто выжидающий взгляд.

— Графиня, — сказал я голосом, сделавшимся вдруг глухим, — заведомо прошу простить меня. Увы, я не буду оригинален. Ровно год назад вы приняли во мне самое сердечное внимание. Вы ошиблись. Перед вами был не заблудившийся офицер, а человек, который воспользовался вашим доверием и доверием вашего отца в почти преступных целях. Краем уха этот человек услышал о вас удивительные вещи. Любопытство и тщеславие разгорелись в нем, и он решил во что бы то ни стало удовлетворить этим чувствам. Одним словом, мой прошлый визит был разыгран мною точно так, как дешевая пьеска в бродячем балагане. У меня была цель — увидеть вас. Достигнув ее, я почувствовал, как рождаются другие. Не вините меня, не судите строго — я не ведал, что творил. Когда впервые подъезжал к вашему дому, я даже не знал, для чего мне это надобно. Теперь я знаю это наверняка. Скажите же что-нибудь.

Радовская слушала с некоторым изумлением и не без внимания, но смотрела так, как смотрит мать на сына, заметив вдруг в нем первое проявление серьезного чувства. Выслушав меня, она помолчала, повела головой, словно приглашая следовать за ней, и сделала несколько шагов по садовой дорожке. Я двинулся за ней, держась, впрочем, на расстоянии. Луна косо освещала ее, переламывая широкие лучи в складках накидки.

— Вы веруете в Бога? — внезапно спросила она.

Я остановился.

— Не знаю. Я не буду, не хочу называть страшных слов, — сказал я. — Смел ли я надеяться, что вы даже заговорите со мной? Говорите, говорите же что-нибудь, все равно что, — ваш голос очаровывает меня.

Она засмеялась.

— Что вы делали весь этот год? — спросила она.

— Я?

— Вы.

— Что ж, не стану утверждать, что думал о вас. Это была бы неправда. Но ваш образ остался со мной, и я берег его до последнего времени. Люди ведь так невнимательны, а судьба дает им иногда понять, на что они мог-

ли бы рассчитывать. Когда я понял, что снова увижу вас, я задумался, я поставил первую встречу с вами рядом с тем чувством, что вызвала она, и подумал, что вторая, которую случай или судьба — называйте как хотите — вручили мне... Приходилось вам видеть, как слепого пока щенка упорно направляют к миске с молоком? Так и со мной: я ощутил его запах и не в силах оторваться. Поймите меня верно — я не имею времени, чтобы благопристойно носить в себе это чувство. Наутро мне ехать, я хотел сказать все это вам тогда, как бы ни показалось это диким, странным, но не подвернулось случая — нас не оставляли наедине, быть может, принимая меня за опасного человека, а я опасен только сам себе. Сейчас у меня не было выбора — я не мог пропустить такую возможность.

Она смотрела не отрываясь куда-то в сторону, и вдруг шальная мысль возникла у меня. Что, если она вышла в сад не просто так, что, если она ждала кого-то — но кого? А тут я со своими нелепыми признаниями. И не успела следующая фраза родиться в голове, как она произнесла:

— А знаете, я так и думала, что вы выйдете сюда ночью.

— Почему? — глупо спросил я, не ожидая такого поворота и покрываясь испариной.

Перчатки, что вертела она в руках, упали на траву. Я поспешно нагнулся поднять их, она также присела, и на долю секунды наши глаза встретились. Я тут же отвел взгляд и осторожно опустил перчатки ей на ладонь.

— И все же, — вспомнила она, — что же вы делали этот год? Как вы его жили?

— Всяко, — усмехнулся я, — но больше весело, чем печально. Получил небольшое наследство, испросил отпуск, проведя его частью в деревне, а частью в Москве, где живет моя сестра с семьей...

— А что, есть ли у сестры дети?

— Есть сын двух годов.

— Совсем малютка, — промолвила она. — Вы сказали «весело». Весело... Хм, как это — весело? Расскажите, как это — весело. Мне кажется, я никогда не жила весело... Как это странно, не правда ли?

Заметив одобрение, я пустился описывать петербургскую жизнь, салоны, празднества, маскарады, друзей и говорил долго. Она слушала с интересом, то и дело прерывая меня вопросами. Я разговорился, стал свободнее дышать и на какое-то время просто позабыл, что говорил незадолго перед этим. Я успокоился, и тревожные неотвязные мысли исчезли из головы. Графиня сорвала с клумбы несколько веточек примулы.

Мы долго шагали по темному саду, пока ночная сырость не заставила ее плотнее закутаться в накидку. Было тихо вокруг. Дом, по-прежнему спящий, темнел в отдалении. Небо неуловимо изменилось — близился рассвет.

— Идите спать, — сказала она, и я скрепя сердце сделал было пару шагов. Какая-то близость уже возникла между нами, родившись в неведомых сочетаниях слов. Я посмотрел на нее с мольбой.

— Идемте, князь, прохладно, — так отвечала она, и через несколько времени я взошел в свою комнату.

— Кстати, который теперь час? — обратился дядя к нам.

Сергей Васильевич поднял крышку брегета, часы мелодично звякнули.

— Да уже один час и тридцать четыре минуты, — промолвил он.

— Что же дальше, дядюшка? — нетерпеливо спросил я.

— Дальше я проснулся, — сказал дядя, — пробудился от короткого беспокойного сна. Она появилась к завтраку. В известной компании — я имею в виду Троссера и священника — мы почти молча пили кофей. Старый граф опять не присоединился к нам, прислал извинения, сославшись... да он, впрочем, ни на что и не ссылаясь. В то время как мои казаки были готовы, — а были они готовы давно и поджидали только меня, — я медлил и медлил, никак не решаясь взглянуть в сторону выхода. Радовская не удалилась к себе тотчас после завтрака, а тоже вышла проводить

меня. Она была спокойна и держалась со мною так, как будто и не было этой волшебной ночи в зарастающем саду. Я то и дело бросал на нее взоры, готовые тут же зажечься, столкнись они с ее глазами, но она избегала этого. Светское равнодушие засквозило в ее интонациях. Однако я был не прав. Мы стояли прямо напротив дверей, ведущих в часовню. Она отворила их.

— Зайдемте, князь, — пригласила она.

Я удивленно поднял брови.

— Зайдемте, я хочу, чтобы вы поглядели.

Я повиновался. В часовне было прохладно и темно — цветные витражи пропускали мало света. На одной из могильных плит, вделанных в стены, лежал букетик тех самых цветов, что нарвала она ночью в саду.

— Здесь покоится моя мать, — пояснила она, заметив мое внимание.

Я приблизился к камню и склонился над ним, стараясь разобрать слова, которыми он был украшен. К своему изумлению, рядом с обычными изречениями на латинском языке я нашел два слова, высеченные на невиданном наречии. Их рисунок отдаленно напоминал арабскую вязь.

— Огонь соединяет, — подсказала графиня значение этих слов.

— Огонь? Почему огонь? — спросил я.

Графиня замешкалась с ответом на какую-то секунду, и тут появился пан Анджей.

— Вы спасли меня, князь, — обратился он ко мне, — я не забуду этого и, может быть, смогу когда-нибудь ответить вам своей искренней благодарностью. Будьте счастливы.

Самая бессовестная насмешка почудилась мне в его голосе. Я поклонился и сделал первый шаг вон.

— Князь, — произнесла графиня мне вслед, — помнится, вчера за ужином вы сказывали, что волнуетесь за судьбу кампании?

Я остановился и внимательно посмотрел в полумрак часовни — такого я не говорил.

— Надейтесь, надейтесь, — произнесла она, и я, вздрогнув, побежал к коляске.

— Опустити верх, — велел я кучеру.

Я сидел прямо, как будто не мог расслабить члены, и смотрел перед собой. Солнце поднялось уже высоко и било в глаза. Лошадь одного из казаков прихрамывала, и оттого он в такт ее движениям привставал на стременах. Лошади пошли быстрее, вытянувшись в два ряда. Сухая бурая пыль поднялась до подпруги и долго еще висела, оседая на глубокие следы подков.

Дядя призвал сонного Федора и приказал послать человека узнать о пожаре.

— Затем, — продолжил он, — в Вильну был доставлен высочайший рескрипт о прекращении похода. Победа Веллингтона сделала его ненужным.

— Да, — сказал Сергей Васильевич, — настроивши струны на военный лад, не вдруг заиграешь на них мирную песнь.

— Ну, — невесело улыбнулся дядя, — я слушал другую мелодию...

— Мы все никак не выступали, — сообщил нам с Невревым Сергей Васильевич. — Молебны, угощения, праздники следовали одни за другими беспрестанно. Солдаты на радостях помогали жителям управиться с жатвой.

— А я так желал отправиться немедленно, — добавил дядя.

— Что же было дальше? — спросил я.

— Дальше я прибыл в Петербург и просил отставки, но мне было отказано. Войска ввиду неясной ситуации в Европе еще некоторое время находились под ружьем. Только гвардия быстро вернулась. Надо спать идти, вот что.

— Дядюшка, а как было имя Радовской?

Молчание.

Мы с Невревым остались одни и решили выйти на улицу. Было морозно. Огонь пожара рассеивал тьму над Зимним дворцом, небо над ним было темно-красным.

— Да-с, — сказал Неврев задумчиво, — какую, однако, сказку нашел твой дядя.

— Что же тут сказочного? Ты веришь в сказки?

— Отчего же не верить, если они прекрасны... Других, впрочем, не бывает, — добавил он, помолчав, со вздохом. — Смотри по тому, как рассказывать. Иной раз и роман впопыхах модистки и пьяного подпрапорщика обернется восточной легендой.

В моей комнате было жарко натоплено и поэтому душно. Я спал плохо, и мне снилось, как дядя в нелепом мундире и с орденом на шее венчается с графиней, которая предстала мне в виде нашей дебелий светловолосой кухарки с веснушчатым рыхлым лицом, и венчается почему-то не в церкви, а в середине Невского проспекта. Сильно и радостно взмылся вверх стройный акафист. Рога и тимбалы завывали в ушах. Улица полна людей, они все шагают туда, где золотой шпиль Адмиралтейства пронзает пасмурное небо, и время от времени какие-то незнакомцы, закутанные в испанские плащи, исчезают в переулках.

24

Вот ведь как бывает, думал я, сидя в дядиной библиотеке, — живешь, к примеру, с каким-нибудь человеком, помнишь его с детства, известна тебе сложная или несложная его биография, знаешь его, кажется, как свои мысли за вчерашний день, и даже не думаешь о нем по причине частого соприкосновения. Тебе говорят: «Алексей Иванович большой поклонник оперы, не так ли?» — «Ну что вы, — снисходительно улыбаешься ты, — он терпеть не может никаких звуков, даже скрипа кровати, что же сказать про музыку?» — «Странно, — отвечают тебе с удивлением, — а мы вчера встретили его в опере. Как он метко оценил интермеццо, с огромным чувством к тому же!» Тут уже наступает пора удивляться тебе.

Так случилось и с моим дядей. В том, что молодость его ушла безвозвратно, он убедил меня сам: во-первых, своим размеренным образом жизни, во-вторых, составом своей библиотеки, но главное, своими летами.

Что же мне было думать, когда, приехавши в очередной раз из Царского на постой к дяде, не обнаружил я ни дяди, ни Федора. Мне было хорошо известно, что когда и Федора нет дома, то это верный знак того, что дядя уехал в Москву к моей матушке. Больше ему некуда и незачем было ехать — так, конечно, рассуждал я со всей самоуверенностью молодости.

— Куда же дядюшка делся? — спросил я швейцара.

— В Варшаву уехать изволили-с, — с легким наклоном головы отвечал он.

— Куда-а? — только и смог я вымолвить.

— Для вас письмо оставлено.

Я беру этот желтый конверт и в каком-то оцепенении иду в библиотеку, где, усевшись напротив окна так, чтобы была видна улица, несколько времени разглядываю ее, виданную мной сотню раз. Потом ломаю сургучи и дважды, один раз бегло, второй — не спеша, прочитываю дядину объяснительную записку, самое официальное начало которой как бы отказывало ей в возможности существовать:

«Юнкеру лейб-гвардии гусарского полка
имярек князя, полковника и кавалера указания.

Мой друг, обстоятельства, — а они, как тебе известно, выше наших всех помыслов, — заставили меня не мешкая выехать в Королевство Польское. Не могу сказать наверное, когда буду обратно. Почаще отписывай матери, дружок, поменьше кути, не пей из бутылки, да смотри, не опозорь

себя каким-нибудь дурацким поступком. Деньги, если будет в них надобность, спроси у Карла Федоровича сколько нужно. Он тебя снабдит. А впрочем, поступай согласно твоему разумению с умом и к вящему успеху».

Последнее слово накрывал затейливый оттиск дядюшкиной печати. Я повертел это краткое послание в руках и, искренне недоумевая, пошел на свою половину. До вечера я гадал на все лады, что бы могло означать дядино исчезновение, а ночью произошло одно небольшое обстоятельство, способное, казалось, пролить свет на эту загадку, не в шутку занимавшую меня, а на деле только усилившее мое немое удивление, ибо не у кого было и справиться, и еще более запутало мои и без того непричесанные мысли.

Я было улегся спать, но размышления гнали сон; в придачу по приказанию педантичного управляющего Карла Федоровича, которого неизвестно зачем держал дядя и который считал с рассудительностью истинного немца, что дров, не глядя на погоду, должно сжигаться столько-то в каждый день ноября, декабря и так дальше, — так вот, под его присмотром дом так протопили, что я не знал, куда деваться в поисках глотка свежего воздуха. Тяжело вздыхая, мокрый и злой, покинул я свое ложе и, захватив халат, спустился в библиотеку, где рассчитывал нагнать на себя сон созерцанием дядиных книг. Со свечой в руке пустился я вдоль шкапов, скользя взглядом по корешкам. Наконец один томик привлек мое внимание. То был «Брюсов календарь», в 1709 году изданный. Я некогда слышал о нем, но в руках держал впервые. Не без любопытства открыл я свою добычу. Бумага была плотная, шершавая, синего цвета, кой-где пятнами прожелтевшая от времени. Некоторые места были переложены засохшими кленовыми листьями. Листы, хрупкие и тонкие, легко ломались в пальцах. Я осторожно сдвинул их и заметил под ними записи на полях, сделанные чернилами:

«1818 года месяца августа 10 дня 2 часа пополуночи Илья родиса под знаком Марса

1828 — Урожаю мало было хлеба ужасно был дороже рубль серебра

1829 — Буря была с церкви кресты сняло

1830 — Сатурн — Болезни холера была и Польшу покорили

1831 — Начались большие ненависти».

Записи первая и предпоследняя были помечены ногтем. Рука была не дядина, да и слог не его. Впрочем, дядя охотно позволял знающим грамоту дворовым забредать в библиотеку. Я листал дальше. На глаза мне попался лист бумаги, оставленный кем-то между страниц. Поначалу я не обратил на него никакого внимания и отложил на стол, но перед тем, как поставить книгу на место, развернул его, чтобы определить, каким образом с ним поступить. Я без всякой мысли уставился на французские слова, которыми он был мелко исписан. Лист оказался письмом. Вот что я прочел:

«Дорогой друг, здравствуйте!

Отнюдь не праздность побудила меня взяться за перо в это необычное для нас время. Итак, все кончено — Варшава пала, и ее падение сопровождалось всяческими ужасами, слухи о которых доходят даже до нашего медвежьего угла. Бедная Польша, что станется с нею? В наших окрестностях уже видели казаков, они пока ведут себя мирно, но имения некоторых участников восстания разграблены, и в этом безобразии принимают участие как солдаты, так и офицеры — не гнушаются ничем, кто бы мог представить себе. Ребенок здоров, но отец становится хуже и хуже с каждым днем, особенно это видно после всех ужасов, которые уже случились и еще впереди. Если он спускается к столу, то так дико бранит правительство, что нам неловко даже слушать те страшные слова, которые он произносит порой. Он почти ни с кем не разговаривает, кроме этого страшного человека, а о чем беседуют они, запершись в кабинете, мне неизвестно, и оттого я боюсь, мне становится жутко, когда за обедом он смотрит на

меня выпученными своими глазами, как будто что-то хочет сказать недоброе, — и не говорит. Александра отец по-прежнему избегает, я поражаюсь его непреклонности, хотя и примечала не раз, какими глазами он его изучает украдкой, — мне показалось, что в них засветилась нежность. Несмотря на это, вокруг царит леденящая обстановка, все стали неразговорчивы и напряжены. В воздухе витает нечто холодное — приговор нам всем, я чувствую это, и если по утрам и улыбаюсь таким ощущениям, то к вечеру они как будто воплощаются отчетливо и неумолимо. Вчера поздно ночью я услышала шум наверху и, поднявшись, столкнулась с ним — он выходил из отцовского кабинета. Что он делал там в такой час? Верно, что-нибудь нехорошее, — ведь он сильно смутился, увидав меня. Отец ночевал в кабинете, и с ним случился приступ — это так неожиданно. Мне страшно, сама не знаю чего, мне не на кого опереться, — прошу же Вас, приезжайте не мешкая, пришло время поставить все на свои места. Он столько власти забрал в доме, что иногда мне кажется — он хочет погубить отца. Глупо, быть может, но откуда же берутся подобные мысли? Зачем ему это надо? Не знаю, ничего не знаю, заклинаю Вас, спешите, спешите изо всех сил — я не представляю, что сказала бы жандармам, явись они сюда. Нашего соседа увезли в Сибирь по нелепому доносу, но ему поверили, как он ни был смешон и жалко состряпан. Я больше не в состоянии выдерживать все это, Вам, наверное, удивительно наблюдать мою слабость — увы, а вообще я считаю, что это к лучшему. У меня такое чувство, словно что-то заканчивается — какой-то огромный кусок жизни, который освещался только сквозь пыльные занавеси на окнах. Я жду Вас каждый день».

На этом письмо завершалось, и чуть сбоку было приписано, видимо, впопыхах и не вполне аккуратно: «13 октября 1831 года». Я осмотрел лист и, не найдя больше ни буквы, заложил его туда, где пролежало оно добрых шесть лет.

Положительно, в ту ночь мне везло на чужие письма. В том же календаре наткнулся я еще на одно письмо именно тогда, когда возвращал первое. Проклятая духота допекла меня, сон не шел, и я, содрогаясь от гадливости к самому себе, прочел и его.

«Ваше сиятельство!

К глубокому моему огорчению, вынужден огорчить Вас — поиски, мною предпринятые по получении последнего письма Вашего, не привели к успеху. Епископ дал понять, что предприятие мое нежелательно, однако я говорил с послом и получил одобрение.

Совершенно случайно мне стало известно местонахождение некоего Мейссонье, обладающего якобы некоторыми сведениями об интересующем Вас лице. В настоящее время он подвизается в католической миссии в окрестности Висбадена. Мне намекнули на то, что его откровенность потребует средств, но главное, чтобы он действительно что-то знал. Я условился о встрече, однако неотложные дела требуют моего присутствия в консульстве еще в течение месяца. Я ожидаю много от этой встречи и отправлюсь тотчас, как получу такую возможность. Я не теряю надежды, ибо чувствую, что мы на верном пути. Да поможет нам Бог. Засим остаюсь Вашего сиятельства преданный слуга

надворный советник Яковлев В. В.

Марсель, августа 15 дня 1834 года».

Я зевнул, счистил с пальцев теплый воск и, добравшись до кровати, попытался заснуть. Проклятая жара, духота и любопытство допекли меня, и скоро бессмысленная борьба с бессонницей надоела мне. Я снова спустился в библиотеку, осветил ее как следует и принялся перетрясать книги в надежде, что неведомый получатель загадочных писем оставил их все

между страниц. Конечно же, ничего больше я не нашел, зато, пересмотрев с сотню томов, обрадованно почувствовал, что третья попытка заснуть как будто обещает состояться. Бросив до утра кучу разворошенных книг, я поспешил к себе, и точно — сон незаметно опустошил голову и вступил в свои права.

Наутро отправился я в полк и повстречал у Ламба молодого поляка Ксаверия Браницкого, не так давно определившегося к нам. Под влиянием ночных разысканий я спросил его что-то о графе Радовском. Он рассмеялся, услышав это имя, потом вдруг улыбка сползла с его тонкого лица, и он промолвил уже серьезно, посмотрев куда-то вдаль сквозь оконное стекло, подернутое первым морозным узором:

— Это, *mon cher*, обломок ушедшей эпохи.

К этому он ничего не добавил, а я почел неуместной настойчивость в расспросах.

Между тем дни летели, время шло, а дядя не только не появлялся, но даже не было от него никаких известий.

25

Приближалось Рождество. Дни угасали, не успевая разгореться. Мы с Невревым то наезжали в притихший полк, то просиживали часами в царскосельском кабаке, а то просто коротали зиму на каких-нибудь танцевальных вечерах, где маменьки выглядят моложе дочек. Неврев, правду сказать, без большой охоты сопровождал меня в обществе. Может быть, его раздражала всеобщая веселость, а может, он не хотел встречаться с Сурневыми, опасаясь столкнуться с Еленой лицом к лицу. Мне до последнего времени не доводилось увидеть ее, только однажды, когда шагали мы по Невскому в предобеденный час, Неврев неожиданно рванул меня за рукав:

— Смотри, вот они садятся.

Я, озираясь, не сразу заметил карету, ожидавшую у модного магазина. Разглядел я лишь две женские спины, тут же сокрытые дверцей.

— Ну что, видел? Та, что повыше, — она.

— Нет, брат, не успел, — отвечал я, разводя руками.

Неврев досадливо поморщился и смотрел в ту сторону, куда удалялся экипаж, до тех пор, покуда он стал неразличим в потоке других. Приятель мой погрузился и спрятал лицо в высокий ворот.

Казалось все же, что между ними была какая-то связь, ибо несколько раз одна и та же девушка передавала для него записки через дядиного швейцара.

— Что *Helen*? — любопытствовал я как-то небрежным тоном.

Он встал с койки — дело было у него в казарме — и подошел к столу. Выдвинув ящик, он собрал какие-то бумаги и, молча передав мне, уселся на свое место. Я развернул помятые листки. Они еще излучали едва уловимый аромат дорогих духов.

— Читай по порядку, — распорядился он и горько усмехнулся, — на желтой бумаге первая. Постой-ка, — он быстро вскочил и разложил записки, — теперь правильно.

«Володя, я говорила с ним, но это ужас что такое. Он считает меня за глупую девочку и сердится, когда я пытаюсь завести речь о нас. Второго дня он был просто груб, сказал мне, что ты уезжаешь в Москву и не будешь у нас более. Что же это такое? Милый Володя, я подожду, я так ему и сказала. Матушка плачет, но с ним согласна».

— Это когда написано? — спросил я, рассматривая мелкий кривой почерк.

— Два месяца назад. Ты читай дальше.

Я развернул следующий лист.

— А это через две недели после первой, — заметил он.

«Володя, сегодня день такой чудесный, я с утра приободрилась. Почему-то кажется, что все будет, чего хочется. *Матап* меня вчера жалела — а я плакала. *Рара* пришел сегодня с веселым г-ном Постниковым. Он служит, по интендантской части. Все просил меня сыграть что-нибудь. Я было села за фортепианы, да расплакалась опять. Ушла к себе. *Рара* хмурится. Не бойся его».

— А что... — начал было я.

— Дальше, — нетерпеливо перебил Неврев.

Сосредоточенно и жадно следил он за тем, как я читаю, перебегая ревнивым взглядом с моего лица на записку, отыскивая хорошо знакомые ему слова. В его взгляде плеснулось безумие, и мне показалось, что самоистязание — его цель. Я тогда еще не знал, как сладостно бывает страдание, и мне сделалось жутко. Дальше значилось вот какое послание:

«Бедный Володя, что же нам делать? Что же, ты не был у Турыниной? Я искала тебя повсюду».

— Это через десять дней, — сказал Неврев, когда я взялся за очередную бумажку.

«Вчера у нас был вечер. Я не удержалась и протанцевала мазурку с этим Постниковым. *Рара* умолял не отказать ему. Уж не думает ли он просватать нас? Он на двадцать лет меня старше! Неуклюжий увалень — вот он кто. Но *рара* хорош — нашел себе друга».

— погоди, — сказал вдруг Неврев, — есть еще одна.

Он полистал арабский лексикон, лежавший на столе, и нашел между страниц нужную бумажку.

«Владимир, я не понимаю твоих упреков. Если подойдешь сегодня к обедне в Казанский, увидишь меня. Но я буду с *татап*».

— А последняя у тебя в руках, — кивнул Неврев.

Листик был как будто обожжен с одного края.

— Такое впечатление, что кто-то пытался ее сжечь. — Я сказал «кто-то» из вежливости.

— Она и пыталась, — зло ответил Неврев. — Вполне в ее вкусе.

«Владимир, отчего ты не пришел? Сегодня целый день болела голова ужасно. Г-н Постников у нас уже вместо столового прибора. Сейчас тоже сидит в гостиной. Хотя что тебе до него. Это я здесь как в осаде».

— Да-с, — изрек я, — а, извини за нескромность, ты ей что писал?

— Так, глупости всякие, — покусав губы, ответил он.

— Верись, — заговорил он, — я за это время сам себе ненавистен стал. Казалось, так просто — задуматься, все понять и не вспоминать более. Да, не каждый день даже умный человек бывает умным. Все это было обречено, да я этого ничего не понимал или не хотел понимать. А были поводы задуматься. «Я забыла, дорогой. Я забыла, дорогой». Да нет, — Неврев посмотрел сквозь меня, — все для нее игра... Иногда мы встречались украдкой, каждая минута была на счету, — так знаешь ли, о чем мы говорили? — Неврев махнул рукой.

За окном смеркалось. Неврев зажег свечи в дорожных шандалах и отставил их от окна. Однако ветер проникал между рам, и два желтых язычка то и дело вздрагивали и трепетали.

— Дождался-таки проклятого письма. Такое чувство, что виноват в чем-то; будто тебя уличили, как рубли таскаешь из бюро, да не сразу, как заметили, а полюбобавшись прежде, как ты их в карман засовываешь... — Голова его закачалась. — «Вы ведь знаете мою дочь...» — продолжил он. — Верно, знаю, а все не так, как нужно. Одну половину знаю, а другую — нет. Знаю наверное, как она смеется, как плачет, знаю, чего любит... Не знаю, чего она хочет, что думает обо мне, — этого ничего не знаю. И спросить нельзя, — добавил он погодя.

— Почему нельзя? — спросил я.

— Да вот нельзя... Сколько голову ломал... Вот как едешь с ямщиком, и нужно тебе, к примеру, поворот на Рязск. Много дорог сворачивает с тракта, вот бы уже пора и твоему быть, а ты все ищешь глазами столб с

заметкой. Дело-то нешуточное — поворот на Ряжск. «Что, брат, не проехали?» — то и дело спрашиваешь ямщика. Смотришь вдруг, а этот поворот и не обозначен никак — так, две колеи разбитые и между ними трава. Ждал чего-то значительного — широкой дороги, утоптанной, ровной, пыльной, а здесь только водичка в лужицах поблескивает. Так вот и я — искал чего-то, выдумывал, а потом как озарение: да, может, нечего и искать было, думать не об чем. Может быть, здесь все так просто, что поэтому и не замечаешь. Я говорил себе — не поддамся лукавому, это, ко всему прочему, своего рода оскорбление мне, я не таков. Нет же. Вот и опять хочу кого-то обмануть, — он поднял голову, как будто удивившись пришедшей мысли, — да не кого-то — себя. Она меня не любит, только и всего. В самом известном смысле, — усмехнулся он и выглянул на улицу, касаясь лицом холодного стекла, словно проверяя, нет ли кого-нибудь, притаившегося снаружи, кто мог бы стать свидетелем этого важного признания, а наверное пряча от меня лицо.

Там, однако, никого не было — лишь запорошенные крыши, обнаженные деревья и утонувшая в снегу караульная будка.

26

Несколько дней спустя коротким пасмурным вечером я сидел у себя и делал его еще короче, листая от скуки Клопштока. Дверь скрипнула — вошел Неврев.

— Все кончено, — устало сказал он, сбрасывая мокрую шинель, — она помолвлена.

— С кем же? — спросил я.

— С этим Постниковым.

— Откуда известно?

— Горничная сказала. — Он усмехнулся. — Хорошая девушка. Жалела меня. А давай, что ли, чаю выпьем. Замерз.

Стали пить чай.

— Н-да, — повторял я то и дело, не зная, что и сказать.

— Да, — отвечал мне Неврев столь же бесхитростно. Было похоже, что он не в шутку потерялся.

Продолжительное время мы оскверняли тишину лишь позвякиванием ложек в чашках да едва различимым звуком льющихся сливок. По-настоящему ее нарушил Ламб, ввалившийся в комнаты с разгоряченным лицом, краснощекий и веселый. Увидав эту воплощенную жизнерадостность, мы невольно улыбнулись. Снизу доносились возня и шарканье.

— Господа, — произнес он, и стало ясно, что не один только мороз разукрасил ему щеки. — Господа, пожалуйста ко мне. На сборы у вас есть совсем немного времени. — Он оглядывался, очевидно отыскивая признаки веселья. — Прощка, — крикнул он на лестницу, — пошел домой. Кто придет — говори, мол, просили обождать.

Возня и шарканье прекратились, хлопнули наружные двери.

— Какой нынче праздник? — спросил я, откупоривая бутылку шампанского.

— Великий сегодня праздник, — следя глазами за движениями моих рук, пояснил он, — удивительный праздник плохого настроения. Впрочем, оно уже меняется. А вы видели французскую труппу? Нет? Вы говорите «нет»? Вы чудовища. Какие ножки, боже мой, какие плечи! Только третьего дня прибыли. Прощка! — взвыл он.

— Ты его услад, — напомнил Неврев.

— Ах, черт. Но ничего. — Он тяжело перевалился в креслах, стараясь дотянуться до брошенной на диван шляпы. Я подал ему ее, и он извлек оттуда бумажку.

— Ма-де-му-а-зель Гриуа. А? Что? Какая поэзия имени! — прочел он и расхохотался.

Через несколько минут бутылка была уже пуста и покатилась по полу.

— Ну ладно, — промолвил Ламб, вставая на ноги, — готовы?

— А что ж, и вправду пойдём, — сказал Неврев, — голова прямо плавится.

С этими словами он прицепил саблю. Заметив, что я не беру свою, Ламб посоветовал:

— Возьми. Вдруг построение какое или что они там удумают. А то, знаешь ли... черт... ну, надо же, какова фамилия, — бормотал он, не твердыми ногами нащупывая в темноте узкие ступеньки.

(Продолжение следует.)



ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ



ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Descriptio

В третью ночь полнолуния задул из степи муссон, курортный сезон окончен, и шелест приморских листьев, выжженных за лето до фольги, напоминает звон, не знаешь, благовест за окном или высвист рецидивистов.

Впрочем, духом нищя́я, грош ли прятать последний: с пустым чулком и спать спокойней, чем на купонах, Таврия там, Таврида — дальше, чем Гзак с Кончаком, туманность с Кучмой и Кравчуком. Очнешься — в складках бегущих штор птица ли, пиэрида...

Утро как утро, словом, и даже с видом на море, кроме того, что вид обезлюдивший человечней. Вздумаешь прогуляться — о, ничего и сказать не скажешь, только и скажешь: о! — глаза привычно подняв горе с видением Чертова Пальца —

там, над Северным перевалом. Бедный Восточный Крым: ларьки открыты еще, но редки, на пляже два-три варяга. Катер с рыбой пришвартовался, жовто-блакитный дым по водам стелется за кормой в сторону Кара-Дага.

Надо б и нам черноморской килькой свой осквернить язык, мадеры выпить на берегу, скинувшись с первым встречным, или с татаринном здешним, полою обмахивающим шашлык, знакомые косточки перемыть и помолчать о вечном.

Изоргина, говорят, жива, а уж Альберта нет (так и запишем в уме в тетрадь, без говорят, пожалуй, александрийским стихом), однако страшный был сердцеед этот Альберт, халцедоны резал, как сеттер шнырял поджарый.

И Рюрика нет. Морячок джинсовый, помнишь, как он ходил, голову вскидывая от тика и с новой всегда девицей, еще и море штормит, и солнце дерет как терка, а старожил уже выводит своих мочалок, а ноги — ну застрелиться!

А киселевскую кодлу помнишь? их диссидентский форс? Идешь, бывало, цветущим парком, щурясь как после спячки, что-то порхающее чирикает, пряное лезет в нос, и вдруг — гроб с музыкой — Киселев в своей инвалидной тачке,

битком набитой незнамо кем, по набережной гремит вниз от спасательной станции и без тормозов как будто и без выхлопной трубы, это точно — значит, сезон открыт, и он улетает в весенний космос и гаснет как гроздь салюта.

...Пусто, как пусто в конце сезона, но столько вокруг теней и так небесный этот пейзаж отчетливо застит зримый, не удивлюсь, если в Мертвой бухте зеленого зеленой вода взбурлит и скала всплывет невидимой субмариной.

И судорога пробежит по холмам, и в камне очнется тот, жерло вулкана сравнивший с храмом, визионер и стоик. Что он увидит с Кучум-Енишара: этот ковчег пустот, прибитый к берегу Дом Поэта, террасу и врытый столик?

В Доме Поэта поэта нет, ясно как день: замок на внешней двери, но есть калитка с тыла, в тени айланта чайник над самоваром парится, булькает кипяток, а если покрепче, то лучше не здесь, для этого есть веранда.

Осень все-таки, да и хлопотно, сразу же стынет чай, зато вино холодит и греет разом. Смотритель дома любит поговорить с гостями, жена его невзначай роняет, вам не подлить, смущаясь нечаянности приема.

Он теософ и, конечно, мистик как бы по должности, ну а ей квадратных хлопцев водить по дому, грудь заколовши брошью, это ли жизнь! Но какое дело до питерских москалей качкам заезжим и незалежным этрускам из Запорожья.

Раньше ведь как: порубают, скажем, в Горловке уголек, и если породой не завалило, в Крым поезжай путевкой, здесь и культура, не все ж коптится весь профсоюзный срок, к солнцу и девушкам поворачиваясь блекнущей татуировкой.

Ныне шахтер, как письменник, редок, нынче другой народ, по части экономической больше или же уголовной, едут проветриться или скрыться, Львиная бухта, грот — это все их свободная зона или режим условный.

И я не люблю засиженных мест в смысле громких имен или высоколобых задниц, — их обожают снобы, — любое место, по мне, достойно, чьим небом ты окормлен, но этот залив с потухшим вулканом я все-таки чту особо.

Здесь вот, — дрок еще цвел, — впервые я обнял тебя, и дрожь как искра прожгла, а была ты в шали, и помнишь, мы услышали, как кто-то крался, ломая хворост, — ты съежилась вся — и еж из чащи выполз, а ты осталась в руках моих, в желтой шали...

Здесь и наш брат, где ни плюнешь — каждый не планерист, так врун, а все туда же — парят в химерах, по-своему, но похоже: вон Саша с Мишей соображают, Рейн молчит как валун, на нос кепарь натянув, у моря соображает тоже.

А тех, кого нет и в помине, тех мы помянем своим вином, свиток отпльвших, увы, так длинен, что не окинешь зараз, он тянется, пенясь и размываясь, туда, за мыс Меганом, откуда за нами уже вернется обещанный черный парус.

Многое видно с этой веранды. Меж тем на бесчинный сбор с массива скал пресловутый профиль косит неподъемным взглядом, и все замолкают внезапно... Кеклик стоит в седловине гор не двигаясь. И тишина стоит как главное что-то рядом.

Послеполуденное равновесье. Деятельный столбняк.
У Дома творчества бродят козы, на кортах стучит элита,
альфа-ромеро летит по парку, распугивая собак,
белая с темными стеклами: знак начальника и бандита.

Надо, наверно, долго молчать, чтобы заговорить
не словами, а дикими звуками, вскриками смысла,
хрустом выгоревшей полыни или травы по имени сныть,
в поленницу сложенными лежаками, когда первая мгла зависла.

Подзадержавшись за five o'clock'ом, солнце за Легинер
уходит к Старому Крыму по старой легионерской дороге.
Надо и нам спуститься на землю, придерживаясь за размер
как за перила, каждой стопой чувствуя ватные ноги.

Луч пробивает брешь в облаках над Сюрю-Кая,
и взбитый воздух исполосован вроде наполеона —
не императора я имею в виду, а торт, — бледно-розовые края
ползут аргиллитами к мыльному брюху, простите за рифму, Хамелеона.

Необыкновенное время суток. Океанический марш-бросок
волн ионийских, я слышу их, слышу гекзаметрическое анданте.
Вон из воды Поженян выходит, и с усов его на песок
капли Понта падают. Он стоит как осколок выбитого десанта.

Кто тут мертвый, а кто живой? перед кеми держать ответ?
Смотришь в сумерки и не видишь, свои ли, чужие лица:
и этот берег, и дом с верандой — плацдарм, которого нет,
и запах молодости и йода — все уже за граница.

Хрен разберешь, шо це за краина, что это за страна.
Вечер темнее, чем ночь, и в парке хоть глаз коли вечерами.
Над электрическим ожерельем Орджоникидзе луна
встает из моря, гребя дорожкой, как где-то на Мичигане.

Все здесь смешалось, греки и скифы, восток и запад — дуга
меркнет по горизонту и скоро море сольется с сушей,
ночь развернет проекцию мира, ближние берега
в дальние вдвинутся, размыкая время. Постой, послушай.

О чем жалеть? ни этого моря не удержать в горсти,
ни века отмеренного, по капле струящегося сквозь пальцы.
И вообще, если хочешь что-то поймать, сперва отпусти,
в Китае говаривают — наверно, поэты везде китайцы.

Так что какие тут счеты, если нет и на мне лица,
и я слепотой своей заслоняюсь ввиду тотальной уценки,
как тот Помазанник Божий, который так и не смог до конца
марксова Щедрина дочитать, потому что поставили к стенке.

Впору и нам от своих мокрушников в черный уйти затвор.
С полночи в полночь дионисийская бродит как хмель стихия.
Какая разница, кто гуляет, не рэкетир, так вор.
А здесь как обморок тишина. Безмолвие. Исихия.

Все наше смертное — бред и морок, если б не этот мост,
мерцающий запредельным светом, где под стрелой повисли
водные знаки, жвачные знаки, полный зверинец звезд,
пестующий и несущий нас на мысленном коромысле.

Где наша участь? В руке Держащей. Долго ли озвездить лоб в тамарисках этих свисающих, ежели зренье слабо. А что пора уезжать, я знаю, тем более уходить. Жалко, конечно, и все такое, но при своих хотя бы.

Только и дела монетку бросить, желание загадать, а уж куда приведет, неважно, в свой ли казенный номер или в знакомый один, где те же тумбочка и кровать, где шаль на лампе и бездна рядом милых вещиц в укроме.

Что остается? Махнуть рукою лету весло вонзить и вытянув с наслаждением ноги что еще? хорошо бы тихо отчалить из сих пределов и приостановить свое членство в этой действительности и чтобы

если не лермонтовский дуб то хотя бы клен есенинский а если не клен то хотя бы тополь жесткий такой на бомжа похожий сипел сквозь сон о чем-нибудь уму непостижном фольгою хлопал

и чтобы подруга твоя лежала рядом с тобой а за окном дурупляс какой-то свистел без цели и картаво море ворочало галькой береговой намывая в подкорку сагу о Коктебеле



АНДРЕЙ БИТОВ

*

ЖИЗНЬ БЕЗ НАС

Стихопроза

...к концу, как в ересь...

ГРАНТУ

*Друг мой первый, друг мой черный, за горой...
Наступает час последний, час второй.*

*За грядой кавказской новая гряда:
Люди, судьбы, годы, моды, города.*

*А за той грядой чужая полоса:
Звезды, слава, заграница, голоса.*

*А за той границей гладь да тишина:
Чей-то холод, голод, смерть, ничья война.*

*А за этой тишь-гладью череда:
Никого и ничего и никогда.*

*А за этой чередою наш черед:
Слово, дело, крах, молчание и лед.*

*Твоя мама, моя мама — вот друзья!
Если верить им, то мы с тобой князя.*

1973.

УМРЕТ НЕ ОТ ЭТОГО...

Одного выдающегося геронтолога спросили то, что положено у него спросить, наверно, имея в виду диету и здоровый образ жизни, и он ответил: «Во-первых, следует правильно выбрать себе родителей».

После семидесяти, выйдя наконец на пенсию, мама стала очень решительной старушкой. Все-таки дитя своей эпохи, мыслила не иначе как в пятилетках. Когда ей стукнуло семьдесят пять, она гордо заявила, что теперь она самая старшая, потому что у нас в роду никто еще этот рубеж не переходил. К восьмидесятилетию она бросила курить, потому что, когда за чем-то полезла на стул, у нее закружилась голова, и это ее насторожило. И только тогда до меня дошло и восхитило: она опять поступила на работу.

Мама всегда гордилась тем, что она профессионал. Теперь ее профессией стала жизнь. Своим стареющим сыновьям она зарабатывала уже не на жизнь, а саму жизнь: способность прожить не меньше.

Как молодой специалист, она не избежала ошибок. Чем немогшей она становилась, тем настойчивей отбывала срок. Никогда ничего не попросить и ни у кого не одалживаться — избыточная самостоятельность ее и подвела: каждый день ставя себе цель и неуклонно к ней стремясь, именно с нее она и начала падать, ломая то руку, то ногу, мужественно выкарабкиваясь и ломая снова.

Так ей исполнилось восемьдесят пять, и она взяла установку на девяносто. Но ее беспокоила нога. Точнее, один на ней палец. Сосуды, возраст... все это пугало. Мама была нетранспортабельна. Если его привезут и отвезут, то он посмотрит, сказал хирург.

Ему это было некогда и некстати — куда-то еще ехать. Но уж очень за меня просили. Недовольного и усталого от бессонной ночи не то за хирургическим, не то за праздничным столом привез я его. Осмотр длился минуту. Он посоветовал протирать спиртиком. Денег категорически не взял: мамин случай не стоил его вызова. И именно тут, от его неприветливости, я поверил в его великую репутацию и все-таки спросил напрямую...

— Умрет не от этого, — прямо взглянув мне в глаза, нехотя буркнул он.

Успокоенный, я поехал сопровождать своего двенадцатилетнего Ваню в Абхазию, к морю. Давненько я у него не был, у моря... С маминого восьмидесятилетия, отмеченного так счастливо в той же Абхазии.

И вот, выходя с этим трепетом первого в сезоне огурца на пляж, гордясь своим голенастым сынком, нетерпеливо стаскивая на ходу фуфайку через голову...

Крест у меня был особый, каменный, подаренный мне моим лучшим другом и крестным, освященный в Иордане... Монолитный, толстый...

И вот, падая с метровой всего высоты на пористый и присыпанный песочком бетон ступеньки, он раскалывается на кусочки, как рюмочка.

И не успел я дойти до моря, как меня вполношенно позвали обратно в корпус, к телефону...

«Пока мама жива, мы молоды», — говорят на Кавказе.

25 апреля 1996. СПб. (7.7.1990, Переделкино).

СОРОК ДЕВЯТЬ

Вот еще цифра, которую надо пережить. Слишком часто в нее упираются, не дожив до первого юбилея. Семью семь — две косы.

«Они любить умеют только мертвых...» Этот пушкинский приговор русскому менталитету скрашивается тем, что любят все равно те же, кто любил живого. Только возможностей почему-то появляется больше. Та же гласность.

Очередная тризна по Сергею Довлатову (+24 августа 1990) — «Звезда», Арьев...

Срочно в номер. По телефону же, как в голову пришло:

«Время поджигается, как яйца. Сергей Довлатов был моложе даже Валеры Попова. Он был слишком высок и слишком красив, чтобы я мог относиться к его прозе независимо. В конце концов, он сломал мне диван. И теперь, когда я знаю всех, кто имел к нему отношение, он умер. Редкое свойство русского писателя оказаться старше, чем ты рожден. Сережа Довлатов — Чехов. А кто же тогда Чехов?»

«Яйца оставить?» — «Оставь, раз уж есть».

Недавно едем это мы с Поповым, два старых мэтра, на автобусе из Ленинграда в Эстонию, сопровождая группу более свежих петербургских дарований.

Приглядываюсь к новым лицам, прислушиваюсь. Пересечь границу внутри бывшего СССР — тоже, доложу вам, переживаньице.

Слышу (с величайшим почтением в голосе):

— Валерий Георгиевич, а скажите, пожалуйста, как на вас повлияло творчество Сергея Довлатова?

— На меня? повлияло? — Попов на секунду теряет дар речи. Но лишь на секунду: — Да он же позже меня начал! Он нормальный тогда парень был. Его и за пивом можно было сгонять сбегать...

— Вот-вот! — подхватываю я. — А я еще тебя мог послать...

— Да, нормальный был парень... — Попов окончательно обретает свой дар. — Это только после смерти он так чудовищно зазнался.

Думаю, Довлатову бы первому понравилась такая шутка.

Лежу я в одиночестве
На человеке голом...

Не знаю, какой Камю выразился бы так кратко и на таком пределе.

Знаменитого ленинградского алкаша и клошара отпели 1 мая 1992-го, в канун Пасхи, а не в День международной солидарности трудящихся, в открытой за день до того, к Пасхе, Конюшенной церкви, семь десятилетий прослужившей по советскому назначению — складским помещением.

Олег Григорьев удостоился чести, которая не снилась ни одному из судивших и гонявших его секретарей: быть вторым русским поэтом, отпетым в этом храме. Запах поспешного ремонта смешался с запахом свечей и ладана.

И с запахом перегара.

Многие уже не дошли до похорон.

Эти, что здесь, оказались покрепче. Эти — пришли. Я представил себе количество выпитого ими всеми вчера и машинально посмотрел под ноги. Будто в этом выпитом можно было уже промочить ноги. Я представил себе количество выпитого ими всеми за жизнь с одним лишь дорогим покойным, и мне показалось, что я вошел в пруд с намерением выкупаться, но все еще не решаясь окунуться. Как раз до *туда* дошло, до *них*.

Я представил себе количество выпитого всеми нами за всю нашу жизнь и привстал на цыпочки, чтобы разглядеть черты усопшего.

Трудно было поверить, что Пушкин лежал здесь же.

В последний раз вглядывался я в успокоившиеся черты буяна, и мне казалось, что он, Олег Григорьев, не только польщен, но и впервые в жизни смущен.

Советская власть на своем месте, но и Сережа с Олежкой сделали все, чтобы не дожить до юбилея. И умереть не от этого.

ПЛИТА НА ТРОИХ

Яков Аронович Виньковецкий	
27.I.1938	27.IV.1984
Ленинград	Хьюстон

Юрий Аркадьевич Карабчиевский	
14.X.1938	30.VII.1992
Москва	Москва

Натан Семенович Федоровский	
28.VII.1951	30.III.1994
Латвия	Берлин

НЕЛЬЗЯ ТАК СИЛЬНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ.

Подчеркните или выделите курсивом или разрядкой любое слово этой фразы, измените знак препинания в конце... И вы получите еще дюжину фраз различного наполнения и содержания.

ИЗ ДНЕВНИКА

5 декабря, Фельдафинг, День Сталинской Конституции, 1991. Как-то вдруг жаль Империи. Окажется, она была добрее, чем казалась. Будем еще бабушку вспоминать... Крыма жаль. Никто сейчас не скажет, что окажется глупостью (главной) через тридцать лет, а что — во спасение. Отдать Крым было незначительным на фоне кукурузы, Кубы и пр. ...

Марш «Прощай, империя»

«Империя — страна для дураков», —
Сказал поэт. Сказавши, был таков.
Мы же — такие, то есть дураки...
«Жизнь продолжается рассудку вопреки», —

Сказал другой поэт, давно таков,
Но тоже родом из страны для дураков.
Хоть здесь не жизнь, в Париже — тоже смерть.
Я не хочу в глаза ее смотреть.

А не смотреть возможно только здесь:
«Нет, весь я не умру...» — И вышел весь.
«В Европе холодно, в Италии темно...»
Какой дурак здесь прорубил окно?

Чтоб не понять, откуда дует в
Прости, Империя! Сдай умникам Европу,
Закрой окно, обнимемся вдвоем,
Два дурака, и, «глядь, как раз умрем».

* * *

Как безразлично «до свиданья»...
 Разлуке — встреч не обещаю.
 Как удалилось расстоянье,
 Как умалилось расставанье
 И как наполнилось «прощай!».

Прощай! — другой судьбы не будет!¹
 Иль это было не со мной,
 Иль это не было судьбой?..
 Прости за все, а Бог рассудит.
 А ты — прощай, и Бог с тобой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ¹

И если автор имеет намерение говорить о таких вещах своим слабым, заплетающимся языком, то отчего не поговорить в доступной форме...

В коридоре старинной питерской коммуналки зазвонил телефон. *Квартира была тиха, как бумага.* Я снял трубку — просили мою тетку. Тетка была большой доктор и больной человек, мы ограждали ее от осады бесконечных вызовов.

Незнакомый и какой-то чуждый мне голос с чрезмерными придыханиями умолял меня все-таки позвать ее к телефону. Но тетки и впрямь не было дома. Ему этого было мало. Прознав, что я ейный племянник, он обратился ко мне, мальчишке, как к вышестоящей инстанции.

— Понимаете, — сказал он, — умирает великий русский писатель.

«Это что же у нас за великий русский писатель?» — ехидно подумал начавший пописывать молодой человек.

— Михаил Михайлович Зощенко, — услышал я.

О, я хотел бы, конечно, узнать теперь, что это был за интеллигентный, умный и смелый человек в 1958 году (постановление было отменено окончательно лишь к столетию А. А. Ахматовой).

Я, конечно, передал просьбу тетке, но без особой убежденности. В нашем недобитом, затаившемся семействе Зощенку не особо жаловали, конечно, не из-за постановления, а за то, что полагали его издевавшимся над поверженным классом.

Несправедливость! Зощенку не признавали *свои*. Впоследствии я неоднократно имел этому подтверждение.

И опять один Мандельштам оказался справедлив:

«Настоящий труд — это брюссельское кружево, в нем главное — то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы...

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!»

Но кто мог расслышать этот шепот убитого Мандельштама.

И вот Зощенке — сто лет, его смерти — тридцать шесть лет, постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград» — сорок восемь лет, отмене постановления — пять лет. Зощенко был дворянин, офицер, имел Георгия

¹ Написано к двухтомнику «Сентиментальных повестей», выпущенному к столетию Мих. Зощенко (М. 1994).

за храбрость и еще две-три награды за боевые заслуги (какой-то там, скажем, Бант или Темляк на сабле за храбрость). Ему особенно везло в боях: он даже попал в первую в истории газовую атаку. Он был очень хорош собой, любимец (и любитель) дам. Как офицер, он воспринял Постановление ЦК не как убийство, а как дуэль. Больше всего его возмутило слово «трус».

Он был невероятно знаменит, такой славы русский писатель еще не ведал. Возможно, такую знал Высоцкий, возможно, такую знает до сих пор другой Михаил Михайлович (Жванецкий). И тем не менее. Вот Зощенко плывет на теплоходе, нагруженном великими совписами, по Беломорканалу. Рейс, так справедливо осужденный в «ГУЛАГе» Солженицыным. Но вот чего нет в «ГУЛАГе». Мемуар одного совписа с борта: зеки, прослышав, что плывет такой корабль, высыпали на берег всем составом (согнаны приветствовать? сами?), дружно скандируя: «Зощенко! Зощенко!» Все совписы толпились на палубе (сами вообразите гамму их чувств), а Зощенко в это время лежал у себя в каюте в набриолиненном проборе, в белых парусиновых туфлях, начищенных самолично зубным порошком, лежал, красавец, усмехался, слыша крики с берега, и не выходил. У него болела голова.

Так что вот. Сначала — самый красивый, самый смелый, самый талантливый. Потом — самый знаменитый. Потом — самый убитый.

Я берусь утверждать и не хочу доказывать, что до сих пор, как и при жизни (а не только в годы гонений), Зощенко — самый непрочитанный, самый непризнанный, самый непонятый великий русский писатель советского периода. И окажется, что Зощенко меньше всех смешил, был патологически серьезен и всю жизнь писал не фельетоны, а очень толстые книги: «Голубую книгу» вместо «Мертвых душ», трилогию «Торжество разума» вместо «Выбранных мест из переписки с друзьями» и др. И первой такой толстой книгой были «Сентиментальные повести» аналогично «Петербургским повестям». Он был еще молод, он был еще Гоголь. Мы предлагаем читателю нашу книжечку тоже в качестве толстой в смысле (бывали такие сборники, кто помнит): «Толстой о литературе», «Горький о литературе». Вот и Зощенко о литературе. *«Пусть эта книга называется, ну, скажем, культурфильм. Пусть это будет такой, что ли, культурфильм вроде как у нас бывали на экране: «Аборт», или там «Отчего идет дождь», или «Каким образом делаются шелковые чулки», или, наконец, «Чем отличается человек от бобра». Такие бывают фильмы на крупные современные научные и производственные темы, достойные изучения».*

Зощенко приравнивал труд писателя к изготовлению свинцовых белил. По вредности. Вот и надышался.

5.08.94. У Коновалова.

ПРЕД-ВЕРИЕ

«В нем смерть уже гнездо свила»,
А он не замечает это —
Стоит под тяжестью ствола
И виден под упадком света.

На всякий случай он живет.
Жизнь не подарок, а работа,
И тает сок его, как лед,
И замерзает смертным потом.

Он дуб, он человек, он волк,
И ветки, руки, клочья шерсти
На нем живут по воле волн,
Чужой энергии и смерти.

Тот свет и этот в нем равны,
А в приговоре он не волен,
И под конвоем тишины
Ведут его, и он не болен.

Как умирающий здоров!
В нем силы борются пустые,
Давясь, он утром ест творог
И чувства чувствует простые.

Он просит веры по ночам,
Прощенья. Умоляет Бога.
И беспокойствие к ногам
Спешит — идти уже немного.

Он спит, и, значит, он продолжит
Вчерашний день не вспоминать.
Пред ним живая Матерь Божья
И мертвая родная мать.

И снова листья шелестят
На веточке отмершей ветви
И защищают от преврат
Гнездо в дупле с яичком смерти.

24 октября 1994. Переделкино.

ОТСРОЧКА

(Сура 77)

Нас шлют вдогонку друг за другом,
И мы летим во все концы,
Оповещая, круг за кругом,
Весну конца. Конца гонцы,

Мы чертим грани различенья
Добра и зла между собой,
Предупрежденья иль прощенья
Не возвестив своей трубой.

Но что обещано, то будет...
Но не сегодня, не сейчас.
И грешник все еще подсуден
Лишь в смерти. Как один из вас.

А то, когда погаснут звезды
И распадется небосвод,
Вам не страшней шипов у розы,
Что преподносит вам Господь.

28 марта 1995, штат Нью-Йорк.

Декабрь, 1995, Нью-Йорк.

ИЗ «ДНЕВНИКА ОТЦА»...

«Мысль пришла и прошла. Была.

Ничего нельзя восстановить, не создавая.

Даже вот такую мысль.

И еще одну: должна же быть хоть одна достоверная история в Истории человечества? Чтобы уж не было сомнения, что была.

И вот есть одна такая... Единственная. Без тени.

История Иисуса.

Является ли мысль о множественности миров ересью?

Нет. Потому что Он был в этой множественности как единственно достоверный факт.

Он, единственный, выводит нас из этого дежа вю».

12 декабря 1995.

ПЕРВЫМ УМИРАЕТ ДОКТОР

Памяти Саши Ланского.

Вчера я был у него на приеме.

Он начал меня *пользовать* с первого дня в Нью-Йорке. Страннейший глагол! Это я начал его использовать с первого дня. По телефону и по благу. Наколку эту, естественно, дал мне Юзик. Изнеженное советское растение, я тут же изнемог от возросшего уровня жизни: простуда, аллергия, дерматит, джетлег и дежа вю. Особенно последнее меня беспокоило. Не исключено — потому, что я наконец запомнил слово, то есть мог так называть то, что со мной происходило.

Петля эта захлестывала меня, как правило, во время лекций. Слишком много я говорил! С безответственностью любимца публики. Я так и думал, что *за это*. Грех, возможно, был, но кара казалась мне чрезмерной. Петля захватывала и утягивала меня в некую дрожащую перспективу аудитории, с размытостью и постоянством лиц, продолжавших пристально разглядывать мое отсутствие за кафедрой; сам я, или только моя оболочка, в то же время продолжал свою работу говорения, все более опустошаясь изнутри и от нарастающей легкости чуть ли не взлетая над, все более состоя из одной лишь прозрачной, но противной и пугающей внутренней дрожи. Отсутствие какой бы то ни было боли при этом тоже пугало. Объяснить это состояние было трудно даже своему человеку, не то что доктору, да по-аглицки, да за сто долларов. Слов тут не было — одно чувство.

Оно повторялось все чаще и все дольше не отпускало.

Хорошо, что я еще вспомнил это изысканное словечко *дежа вю*...

«Философ, поэт, душа...» — так характеризовал доктора Юзик. Это *дорогого* стоило, но еще дороже казалось мне читать его рукопись. И я все не шел. По телефону мы уже дружили домами. Доктор строил планы: «Вот вернется Иосиф из Европы, соберемся у меня с Юзиком и выпьем». Он пользовал и Иосифа, а не только меня с Юзиком...

Иосиф вернулся, перспектива, таким образом, приблизилась, но все-таки следовало до того оформить знакомство.

— Что ж вы хотите, — сказал он, терпеливо меня выслушав. — После всего, что на вас свалилось, вы прекрасно себя чувствуете. Главное, не бойтесь. Выпивать вам как раз можно. Только не пытайтесь понять болезнь. Вот этого нельзя. Это невозможно. Никогда не узнаете. И я не узнаю. Она только ваша. Что толку, если вам ее как-нибудь назовут? Я сам очень больной человек, я знаю, о чем говорю.

— А что у вас? — любопытствовал я.

— Да все у меня есть, что в нашем возрасте положено: и сердце, и печень, и все остальное.

Он угостил меня коньячком и не предложил мне рукопись.

«А что, может, и не такие плохие стихи», — подумал я.

Теперь все зависело от Иосифа: как только он решит со своей третьей операцией... Я представил себе наше собрание под рюмочку: Юзика, гордо демонстрирующего свой, от горла до пуза, шрам; Иосифа, снисходительно отвечающего ему своими двумя эвклидовыми, непересекающимися параллельными; себя, скромно демонстрирующего дырку в черепе, точно пулевое ранение; доктора, профессионально уступившего нам привилегию подобного хвастовства, — и мне стало весело.

Домой возвращался, бодро шлепая по лужам, с диагнозом «практически здоров».

На следующий день мы втроем подписали доктору некролог.

11 декабря 1995, Нью-Йорк.

О МЫТЬЕ ОКОН²

Однажды скульптор, заведовавший отделом литературы в «ЛГ», пригласил меня к себе в мастерскую, не иначе как с тайной мыслью, чтобы я о нем написал. Он рассуждал про себя так: у этого парня плохи дела, но он неплохо написал о Сарьяне, пусть напишет про меня так же хорошо, и я напечатаю про Сарьяна.

Время было такое — после оттепели. Никиты уже не было, а коридоры посещенной им выставки все еще гудели от его топота. Все в нем было осуждено, кроме борьбы с абстракционизмом.

Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше... в моду вошло подбирать корешки и камешки, ракушки и сучья, что-нибудь, кроме себя, напоминавшие. Эти уродцы мертвой природы заполнили интерьеры клубов и первых кооперативных квартир, воспроизводились на цветных разворотах журнала «Огонек» — как-никак не абстракция, но и не социалистический реализм: беспартийное восхищение природой. Все эти пни и Паны, лесовики и девы заполняли мастерскую скульптора в производственных количествах и донельзя меня раздражили.

Людам уже хотелось делать что-то для себя руками. С одной стороны, еще недавно не было такой возможности, с другой — они уже не умели. Полочки, шкафчики, постконенковщина.

Зря я на него так уж сердился — в своем восхищении «искусством природы» был он вполне искренен: взгляните, какой корень! вылитый Пришвин! мне почти ничего не пришлось менять — только вот тут и тут чуть подделал...

И действительно, чем меньше было следов его собственного искусства, тем более он восхищался, и в этом начинал проступать даже некий вкус.

Наконец он подвел меня, как оказалось, к завершающему экспонату. Это был причудливый серый камень размером и формой со страусиное яйцо. Такая, скорее всего, вулканическая бомба, похожая на сцепленные кисти рук. Непонятно было, как камень мог так заплестись, в точности воплощая детскую приговорку: где начало того конца, которым оканчивается начало? Так ровно и точно в то же время — ни ступеньки, ни зацепки, ни перехода. Этаким каменный философический концепт. Вещь в себе как таковая. Совершенно ни о чем. Совершенно...

— Правда, совершенно?! — сказал он тут же вслух. — Сначала я хотел вот здесь проявить девичий лик, видите? Буквально двумя штрихами... Но потом передумал: жалко стало что-либо менять.

² Написано по поводу выхода книги Соломона Волкова «Культурная история Санкт-Петербурга» (Нью-Йорк. 1995).

Он ли сказал, я ли подумал: «портить».

В этом единственном, тысяча первом, экспонате он оказался наконец художником, автором финального шедевра. Он любил его.

Другой был режиссер документального кино. И он был художником без сомнения. Говорили о Пушкине, о «Медном всаднике».

— А для меня главная его вещь — «Гробовщик», — сказал режиссер. И пояснил: — Все, кого я успел снять, умерли. Я иногда боюсь себя и ненавижу свою профессию.

Я взглянул на него с пристрастием и тут же ему поверил.

И всплыл Петрополь, как Тритон,
По пояс в воду погружен.

Торжество этих строк всегда казалось мне приговором. Угроза строительства пресловутой дамбы — овеществленной метафорой.

Рассказывают также, ссылаясь на неведомые мне научные источники, что за последние годы, включающие годы аферы с дамбой, вода в Неве химически настолько активизировалась, что стала разъедать те самые сваи, на которых упрочены фундаменты великого города. Сваи эти, пропитанные специальными составами по старинным технологиям, рассчитанные на века, простояв по два века, не выдерживают натиска новейшей экологии. Так что Петрополь как всплыл, так и погрузиться обратно вскоре может. Бедствие такого рода грозит нам едва ли не больше, чем Венеции, но вряд ли вызовет в мире то же сочувствие.

Меня всегда занимал вопрос, трагический в своей праздности: в какой мере поспекает описание за реальностью — до или после? Торопились ли Линней или Брем описать живой мир в наличии прежде, чем тот начал катастрофически убывать? Успел ли Даль сложить словарь «живаго» русского языка, состоящий сегодня из слов, наполовину лишь в нем выживших? Предупредил ли Достоевский угрозу «бесов» или поддержал своим гением их проявление? Успела ли великая русская литература запечатлеть жизнь до 1917 года? а вдруг и революция произошла оттого, что вся жизнь была уже запечатлена и описана...

И как, в таком случае, обстоит с Петербургом? На случай, если он утонет?

Как ни странно, несмотря на наличие великого образа, выстроенного Петром и Пушкиным, несмотря на всю «петербургскую линию» в русской литературе, культуре и истории, в «окно» это все еще слабо видно Европе, еще меньше, быть может, виден с Запада Петербург. Само собой: заглядывая в окно и выглядывая из окна, мы видим принципиально разные вещи. А образ на то и образ — вещь несущественная, нематериальная: ему отлететь едва ли не легче, чем потонуть городу.

В режиме советского времени, в сталинском загоне, культурное описание Петербурга—Петрограда—Ленинграда было остановлено, стало «дореволюционным», но и те книги не переиздавались; все, бессознательно и сознательно, склонялось к забытию. Забытие ведь — необходимое условие разрушения. Переиздание книг по Петербургу в последние годы гласности показало парадоксальную бедность ряда: Анциферов, Курбатов... Практически нет по Петербургу книг. Петербуржцу приходится заглядывать в то же мутное, непромытое окошко уже не Петербурга, а интуристского справочника, как и иностранцу. Оказывается, именно простую, а не гениальную работу сделать в России труднее всего. Чтобы точно, пропорционально, профессионально, а не только лишь тонко или блестяще.

Так что самое время, если уже не поздно, спешить описать Петербург.

Вопрос о том, сам ли пишет Соломон Волков, следует поставить иначе: сам ли он *не* пишет?

Действительно, что он написал сам?

Петербург есть, Ахматова была, и Шостакович, и Баланчин, и Бродский есть...

Но и русский язык был до Даля, Ушакова, Фасмера.

И пирамиды стояли до Шампольона, как продолжают стоять после него.

И стояли бы они без него, если бы его не было?

Ведь это именно он не дал их доворовать.

И где без Шлимана Троя?

Один стоит в камне, другой растворился в звуке, третий испарился в танце.

Это они ничего не написали сами.

Слишком популярной стала сентенция Булгакова, что «рукописи не горят».

Как только была опубликована. Словно она одна и не сгорела.

Не заговаривал ли автор свой роман этой колдовскою фразой? Не уговаривал ли?

Не умолял ли... но *кого*?

Никого рядом не было, кроме вдовы.

Где и как не сгорели «Воронежские тетради»?

О, вдовы!

Софья Андреевна, Анна Григорьевна...

Елена Сергеевна, Мария Александровна...

Надежда Яковлевна. Вот поворот.

Но ведь и Анна Андреевна — вдова!

Сама культура вдовствовала.

Мне уже приходилось писать о «Показаниях» Шостаковича в том смысле, что он почему-то именно Соломону Волкову их дал. И Баланчин никогда ни перед кем не «кололся»... В чем дело? Что, Соломон умнее, красивее, честнее всех, что ли? Один талант, возможно, есть: умение слушать. Более редкий, чем говорить и писать. И другой: рукопись у него не сгорит. Ему можно довериться, как вдове. Господи, как одиноки города и люди!

3 января 1996, Переделкино.

О, ЧЕЛОВЕК!

(Сура 36)

Ужель не хочет человек
Понять, что он из капли создан,
С Творцом торгуясь весь свой век,
Забыв, чьи есть вода и воздух?

Он предлагает притчи нам,
Как будто послан мимо цели, —
Кто может жизнь сухим костям
Вернуть, когда они истлели?

Создатель Неба! Ты один
Исполнен необъятным знаньем.
Ты — моей воле Господин,
И Ты — узда моим желаньям.

Иначе — только взблеск и вскрик —
И помыслы мои иссякли...
Все это длилось сущий миг,
И бритва воплотилась в капле.

15 января, в самолете Москва—Берлин.

КТО КРОВЬ ТВОЮ ВЫПИЛ?..

Сталин — это Ленин, данный нам в ощущении.

Из Гегеля.

1

Мне снится сон про вурдалаков:
Они — мои жена и дочь...
Сынок мой с ними одинаков —
Все перегрызлись в эту ночь.

Я осеняю их знаменьем
Неверной левою рукой...
Топор, как в масло, входит в темя —
И нету рядом отца Меня,
Чтоб отслужить за упокой.

Родителей... и иже с ними
(Кого любил, кого терзал...)
Уж «к легиону близко имя»,
«Как Сади некогда сказал»,
Или Христос, иль тот же Пушкин,
Подсчитывая песнь кукушки.

2

(Из Хайнера Мюллера)

Перечитывая «Разгром» Александра Фадеева:

Ночь, водка... Червивеет небо и вера...
Как смерти личинки, шевелятся звезды.
И пишет он авто-портрет револьвером,
Граненым мазком рассекая воздух.
И осыпается свет последний
От фейерверка Двадцатого Съезда.
Тусуются обок Фюрер и Ленин,
Льют памят-ники кровавые слезы.

3

И встреча последняя. Мы выпиваем
в трансильванском дворце
невиннейшего из вурдалаков...
Обсуждаем возможность
следующего симпозиума на тему
«Оклеветанный Дракула».
Много смеемся.
Я завидую твоей сигаре и блузе
и блеску глаз девушек,
поедающих тебя.

Ты спрашиваешь, о чем я думаю,
а я не думаю, а говорю:
— О соотношении живых и мертвых.

— Кес ке се?
 — Кого больше? и что будет,
 когда наступит равновесие
 тех и других? —
 Ты заинтересовался и повторял всем:
 — Представляете, о чем он думает,
 этот русский?! —
 (И здесь, на этой строке,
 не иначе как в твою честь
 я выронил стакан с водкой
 из-за неверности все той же левой руки —
 последствие скорее пареза, чем пьянства...
 Я смотрел Ей в глаза за год до тебя —
 но это ты — умер, а не я...)

«С утра выпил — весь день свободен», —
 последняя советская поговорка,
 которая тебе так понравилась...
 Это ты налил мне первую водку и отговорил от второй...
 Ты стоишь на крыле «Люфтганзы»,
 на которой я лечу к мертвому тебе...
 Пусть эта вторая, опрокинутая тобой, — твоя!
 Вот уж не думал,
 как мы выпьем еще раз вдвоем.

Так скажи мне теперь,
 кого больше,
 живых или мертвых?
 и не стало ли уже поровну?

4

По-египетски, по-пирамидски,
 «жизнь» — это «мер»...
 Вот наш последний двойной виски:
 русская «смерть»
 и французское «мерд».

5

Что за сон мне приснился под утро,
 под скребок рассветного курда?

29 января, Переделкино.

ПЕРЕД СРЕТЕНЬЕМ...

...и если бы душа имела профиль,
 ты б увидал,
 что и она
 всего лишь слепок с горестного дара,
 что более ничем не обладала,
 что вместе с ним к тебе обращена.

Смерть поэта — это не личная чья-то смерть. Поэты не умирают. Власть — эта воплощенная трусость мира — оказала ему много милостей и почестей, обвинив в тунеядстве, сослав на Запад, как на химию, а затем не дав визы похоронить родителей.

Я боюсь 28 числа по своим причинам и уже избегаю его. Как раз 28-го и случается все. 28-го, месяц назад, я вылетал из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сказал, что не успеет воспользоваться okazjiей. Рейс отменили. «Вот видишь, — позвонил я снова, — судьба предоставляет тебе okazjiю». Вышло, что okazjiя предоставлялась мне.

Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил (кажется, эти слова были обращены когда-то к Ахматовой) как заповедь, как зарок: «Величие замысла может выручить».

Он привиделся мне сегодня под утро. Будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи: «Будем менять». — «Нет, уж я лучше со своим».

Он мечтал быть футболистом или летчиком. Сердце не позволило ему, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей. А он не пустил в себя весь город. 28-е. И особенно 28 января. И особенно в Петербурге. 28 января умер Петр. 28 января умирал Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает «Двенадцать», перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Метафора остановилась, не выдержала. Поэт должен был осуществить выбор: умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце... Ему бы подошло сердце черного автогонщика, погибшего в катастрофе. Сам он не мог решиться. Ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Поэт умер вместе со своим сердцем. И нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий близнец, спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. 28-е... Эта дата насильно возвращает его на Васильевский остров в Петербург...

...в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

6 февраля, Москва.

УЗНАЮ ФАМИЛИЮ

«Этого не хватало!» — подумал я, узнав, что еще и Толик умер.

Он долго оправлялся после операции и не оправился: у него оказался рак.

Толик был мой сосед, муж моей домоправительницы.

Сколько лет я их знаю? Столько, сколько живу в этом доме у Трех вокзалов, в знаменитой «Рыбе».

Шестнадцать лет моя жизнь проходит у них на глазах. Ихняя, соответственно, на моих. За отчетный период умерли Брежнев, Андропов и Черненко, воцарился и был повержен Горбачев, распалась Империя и сверглась Советская Власть, выкарабкались из Афганистана и увязли в Чечне, а мы втроем производили бесконечные размены, так и не покидая нашей «Рыбы». Я менял свою однокомнатную на ее двухкомнатную смежную. Она меняла уже свою однокомнатную и комнату Толика на двухкомнатную раздельную. Я менял свою смежную на их раздельную, поскольку они наконец поженились и могли жить смежно, мне же необходимо было забрать к себе маму, и раздельность была желательна. Потом не стало мамы, а они развелись, и она пришла ко мне с обратным предложением, поскольку двухкомнатную смежную на две раздельные жилплощади никак иначе, как со мной, ей было бы не разменять, но я уже никак не мог на это пойти. Мы приватизировались, и ходов в этом домино больше не было: «рыба». Фактически почти родственники...

Теперь же, после Толиковой смерти, остро вставал вопрос о наследовании его части жилплощади, поскольку ордер был общий и на ее имя, а

приватизация, соответственно, в долях, а комнаты, как уже было сказано, смежные, а у Толика был племянник, собравшийся жениться, и это именно он отвез Толика в Склифосовского, где тот в ту же ночь и скончался, но разведены-то они, выходит, были как раз формально, а фактически состояли все в том же браке, с той лишь разницей, что он больше не пил и не дрался, поскольку уже и с постели не вставал, и до последнего часа она за ним ходила, кормила и стирала, он и штамп себе в паспорт о разводе не поставил...

Так что следовало мне непременно быть хотя бы на выносе тела, чтобы вся евоная родня видела, какие люди пришли с ее стороны. Как единственный и ближайший уже родственник.

Де-факто и де-юре. И дежа вю, как вор в законе.

Ибо за две недели была это четвертая смерть. И была она для меня как одна, но отснятая в обратном порядке: сначала выступил на торжественной панихиде и бросил горсть в свежую могилу, потом участвовал в создании коллективного некролога, потом оплакивал друга, а теперь ждал тело.

Помещение до странности напоминало призывной пункт военкомата и будило воспоминания сорокалетней давности. Родственники призывников толпились в вестибюле, уже слегка притомленные протяженностью горя. Выкликнулась наконец фамилия, и кто-то, как бы уже и обрадованный, расталкивал толпу ожидающих и спускался в потайной низ с обмундированием. Тем временем выносилась предыдущая неумело оплаканная старушка и поспевал новый гроб.

— Хренов! Кто за Хреновым? — И по тому, как ринулся вниз претендующий на наследство племянник, понял я, что Толик-то, оказывается, Хренов был.

Выглядел он хорошо. Все это с удовлетворением отметили, что спокойный, умиротворенный. От природы красивые, даже породистые его черты очистились от накипи беспробудных лет, освободились от перемежки отчаяния, подозрения и агрессии, так искажающих советское лицо, утоньшились и побледнели.

И так, у чужого гроба, глядя в последний раз в такое русское лицо человека, Анатолия Хренова, простился я с тремя дорогими сердцу поэтами: Хайнером Мюллером, Юрием Левитанским и Иосифом Бродским.

3 февраля, Гамбург.

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ СТАРИКА

Памяти О. А. Кедровой.

Сегодня приходил молодой человек. Не помню, кто. Зануда. Долго жаловался на свое здоровье. Говорил, что не даром вывез меня на дачу. Чтобы я гулял и дышал. Не знает, что у меня нога сломана. Я ему сочувствовал, как мог. Слушал внимательно, кивал. Так и не понял: кем ему приходится моя внучка? кем он работает?.. Точно, что не врач.

Сегодня или вчера?.. он насильно одел меня, вставил в шубу, закутал, вывел в сад.

Шел мягонький снежок. Он усадил меня на стул под дерево.

— Так и сиди — не уходи никуда. Дыши!

Хоть его и уволили в запас, а он все командует! Забыл, в каком он был чине... Сильный! так и перенес меня вместе со стулом!.. Причем я был в шубе.

Странные пошли молодые люди. Их вчера по телевизору показывали. Как раз где-то опять война. Погодка славная. Хорошо, что он меня вынес. Снег все сыпет и сыпет. Будто я взлетаю. Легко так, тепло. И он про меня, по-видимому, наконец забыл.

Вышла луна. У меня на плечах эполеты снега. Вот что значит: выйти в отставку!..

Как он постарел!

8 февраля, Переделкино.

АШШАР

(Сура 94)

Не мы ль раскрыли грудь тебе?
И залили души пожар?
Не уступи свой мир борьбе!
Аллаху Слава! и — ашшар!

Не мы ль возвысили ту честь,
К которой частью ты приставлен?
Сумей же дни свои прочесть,
Пролистывая страницы Славы...

Как вдох и выдох, мир живет:
Наступит время сбросить ношу,
И облегчение придет
И тяготы твои раскрошит.

Да, облегчение придет!
Тащи же ту же тяжесть в гору
За высью — высь, за годом — год...
Ни связи нет меж них, ни спору.

Трудись! пока спекутся жилы
В броню от неустанных битв...
Отдай свой долг — верни все силы:
Труд — продолжение молитв.

10 февраля,
день смерти Александра Сергеевича.

ШТУРМ

Теперь это вот как происходит.

Возвращаюсь я, скажем так, из Нью-Йорка. Под самый Новый год. Давненько меня не было. Не в курсе.

Звоню объявиться, поздравить с наступающим... И никакого «здрасьте».

— Ты знаешь, что Юра умер?

— Как-кой Юра?..

Перебираешь в уме ближайших Юр...

— Коваль.

А вот этого как раз не перебрал... Этого как раз и не должно быть. В смысле — не может быть. Этого не бывает, чтобы Юра Коваль... Не надо, чтобы Юра Коваль. Не хочу.

Он же мне только что книжку подарил! Надписал: «Соседу по канаве 1978 года». С намеком.

Намек такой: давненько мы, братец, не того... не встречались. А надо бы, братец, и того... встретиться наконец.

Наконец мы теперь и встречаемся, на похоронах. На них пожимаем руки тех, кто не умер: «Давненько не виделись!»

Да. Приблизительно с предыдущих похорон.

Теперь зато видимся все чаще. За месяц еще троих не стало.

И вот это-то как раз еще не все.

8 февраля 1996. Хроническая «Красная стрела». Москва — Петербург (б. Ленинград). Ленинград уже Петербург, а «стрела» все еще «красная». Нас — делегация, как раз купе. Играем в «слова». Чтоб не меньше шести букв в слове... Красная стрела: страна, карета, трасса, стакан... расстрел! аж восемь букв.

— Ты что, правда не знал, что Лидия Корнеевна умерла?

И тут я опять не успел, не смог... Именно Лидия Корнеевна меня когда-то отучила употреблять слово «смог». Только МОГ или НЕ МОГ, но никаких СМОГ или НЕ СМОГ! Хорошего русского языка...

Приезжаю домой, первый звонок... Одноклассник, энтузиаст ежегодных юбилеев выпуска, бывают такие на редкость преданные памяти люди... Иногда и до меня дозванивается... Радостно:

— Ты знаешь, кто у нас еще в классе умер!..

— ???

— Колька Москвин!

Бывает первая любовь, первая женщина, первая смерть (бабушка)... но бывает и первый друг. Первого класса. Образца 1944 года. Вместе всю десятку отсидели. Бывало, что и за одной партией. Сын великого оператора Андрея Москвина. Андрей Николаевич первым в жизни называл меня «Битов».

Он всегда первым снимал трубку.

— Коля! — кричал он нарочито гнусаво. — Битов просит!

В каждой букве по букве «н». Полвека в ушах его голос и интонация. Не могу изобразить это на бумаге.

Да и Кольку четверть века, поди, не видел. Так иногда мелькнет: надо бы позвонить, и... недосуг.

— Уже четыре! — с удовлетворением перечислил однокашник.

Запорожченко, Вишнеvский, Потехин и вот Москвин. Скоро двадцать процентов.

Первый, Запорожченко, замечательно погибал. Штабной подполковник подводных войск в отставке. Рано вышел в отставку, после инсульта, левая сторона у него была... Вот только точно года уже не вспомню. По метеосводкам можно было бы установить... тогда жуткие морозы стояли, трубы лопались. Целые районы в Ленинграде выходили из строя. Комендантская Дача... или Комендантский Аэродром? Да, именно там он жил, в новостройке. Снова как в Блокаду. Обогревались чем попало. Пожары... Нет, он не сгорел. Он замерз. Застыл. Жена на работе, он один в квартире. Ноль градусов. Ходил по квартире в шапке-ушанке, натянув на себя все свитера, держась за стенку, подволакивая ногу, ходил, чтобы согреться. Не согрелся, упал, застыл. Блокадная смерть. И через сорок лет настигнет. В каком же это году было? Точно, что застой в самом разгаре, безвременье.

Безвременье, впрочем, это не тогда, когда, а сейчас. Это сейчас его ни на что нет. А тогда было. И на дружбу, и на пьянку, а похороны *своих* случались так редко, что все можно было в сторонку отложить, потому что и откладывать было нечего. Теперь, что ли, время — деньги? Нет, тогда. И вот, оказывается, в каком смысле. В смысле, что денег не было, зато время было. Ну уж и пошвыряли мы его! Пачками, пачками! Пятилетками!

А теперь... ни копейки. Времени, говорю, ни копейки. Впрочем, и денег, пожалуй, тоже ни минутки. На секунды счет пошел, хоть секундомер включай. На старт! Внимание... Ответил я на звонок однокашника, пересчитал домашних, хлебнул кофе и — ...арш!!! Успевать на то, чего ради приехал делегацией. О, эти первые вздохи на Невском! Замутненность взора. Радость якобы возвращения... Опаздываю. Троллейбус. Бегом. Окликают.

О, это известный питерский человек, литературовед и критик, либерал и прогрессист, теперь, стало быть, демократ... он еще, помню, прославился тем, что на очередном перевыборном, будучи назначен в счетную комис-

сию, был пойман за руку партсекретарем во время вычеркивания реакционного кандидата из бюллетеня... пострадал старик, пострадал... жертва репрессий, стало быть... сейчас небось спросит, за кого я, за Ельцина или... но нет! И опять без «здрасьте»:

— Ты знаешь, что Лидия Корнеевна...

— Знаю, знаю! Извини, я опаздываю...

— Но ты не знаешь, что Майя Борисова тоже умерла!

«Вы будете очень смеяться...»

Надо же, какое чувство приобщенности! победил, победил... не знал.

Майечка! ты-то зачем?

Отзаседал. Тут уже наконец дома. Тапочки, ужин, телевизор, покой...

Звонок.

— Андрей Георгиевич, вы уже знаете?

— Нет! НЕТ!!!

Олег Васильевич...

— Андрей Георгиевич! Ну, лучше вас ведь никто не напишет...

Так. Значит, считают, что я еще и на лесть падох... Но ведь не на такую же! И не сейчас!

Может, они знают, что я этого человека *любил*?..

Что за подлый этот мой родной русский... Грамматика завозная. Как же это я сразу употребил прошлое время! Отец! папа! почто ж ты меня покинул! ведь я же — СИРОТА!

Не думал уже, что когда-нибудь еще раз так сильно невзлюблю Советскую Власть...

Ты что же, Сука, *еще* делаешь! мстишь, что ли?

Ведь он же запросто бы до ста лет дотянул! Раз уж человек с двадцатью семью годами срока, шестью реабилитациями да, в конце концов, с операцией на легких в восемьдесят лет... охотник с четырьмя языками, до девяноста четырех дотянул, не прогнувшись... что ж ты, падла, канаву раскопала и не закопала или хотя бы не огородила или какой знак остерегающий не предусмотрела?!

Сами посудите, выходит девяносточетырехлетний человек, раритет и дефицит, собственно говоря, гордость всей нации (потому что один такой), собачку свою старенькую прогулять во двор почти ведомственного, по крайней мере элитного, дома и оступается в посреди двора канаву, как в могилу, ничем не огражденную... ломает ногу в колене. Сами понимаете, что значит в таком возрасте перелом.

Так он еще полтора года борется, выстаивает лежа. Сначала поставив себе конечной целью девяностопятилетие и преодолев рубеж, потом, замахнувшись-таки на столетие, вытягивает еще год... и лишь потом, смирясь, отпускает себя на Волю уже только Божью, и ангелы пожалели его...

Что это за халтура злая, наковыряла и бросила, ушла на перерыв, запила, и никто за нее не ответил? Все та же Сонька, спившаяся, опустившаяся, неподмытая... бомжиха Сонька, прикинувшись жертвой демократии, развалилась от Калининграда до Сахалина, облекая похмелье в политические мотивы... и нет ей ни конца ни краю, хоть и ужалась с одной шестой до одной седьмой части света.

Кто ответит, какой начальничек, за сломанное это колено?

Мстит, падла. За то, что уцелел, за то, что выжил, за то, что облика человеческого ни в чем не утратил.

«Я никогда не поеду на Соловки, — решительно сказал мне однажды Олег Васильевич. — Я Секирку слишком хорошо помню».

А я поехал. Там решили школу построить, стали под фундамент рыть. Вонь пошла по поселку! От братских могил, от расстрелов полувековой давности. Показали мне череп с отверстием в основании, и пуля сплюснутая в нем перекатывалась, свидетельство эксперимента — борьба за экономию боевых патронов: если поставить четырех в затылок друг другу, то можно одним выстрелом — лишь в четвертом завязнет.

Что-то вы там мне про Камбоджу? про Никарагуа? про фашизм?

- Не буду я писать вам некролог! Не могу. Не хочу.
- Ну, Андрей Георгиевич!.. Больше некому.
- Крепость пала. Теперь придется самим.

20 марта, сорок дней Олега Васильевича.

27 февраля, Москва.

АЗЗАЛЬЗАЛЯ

(Сура 99)

Когда в конвульсиях Земля
Извергнет бремя
И будет повернуть нельзя
Вспять время,

То будет явленная речь
Земли и Неба,
И в ней дано будет испечь
Подобье хлеба...

Разделится, толпа с толпой,
Людская лава,
Как разлучает нас с тобой
Здесь — слава.

Добра горчичное зерно
И зла пылинку
В одном глазу и заодно
Узришь в обнимку.

С терновым лавровый венец
В одной посуде...
И сварят из тебя супец,
А не рассудят.

В тот день, когда вскипит Земля...
Аззальзаля!

8 марта, Санкт-Петербург.

ГОДОВЩИНА

Про каких еще заек?!
Из современного анекдота.

«Что бы ни сделал в России человек, его, прежде всего, жалко. Жалко, когда человек с аппетитом ест. Жалко, когда таможенный чиновник, никогда не бывавший за границей, спросит вас, какая там погода...»

Под этими словами мне до сих пор хочется расписаться.

Но это не я их написал.

И это не я их прочитал... Я тогда даже не знал, что у Блока есть проза.

Я тогда прозу *сам* писал.

Прозу Блока *открывает* мне вслух Лидия Корнеевна. Высокая, прямая, седая и молодая, величественная, как Анна Андреевна. В смысле: такая же естественная.

Как датировать подобный мемуар?

Значит, Ахматова *еще* жива, а Бродского *уже* судили.

И я привез в Москву первый вариант «Пушкинского дома».

Вот — «молния искусства» образца 1965 года. Шесть-пять.

О, ленинградец того времени в Москве — особая тема!

Значит, я слушатель Высших сценарных курсов. Подал по подсказке Рейна, принят по рекомендации Пановой.

— Зачем вам это надо? — сказала Вера Федоровна.

— И вот еще какая русская проза есть! — восклицает Лидия Корнеевна, извлекая единственный в мире экземпляр уничтоженной книги Бориса Житкова. Сожжение «Ста тысяч почему» вызывает у меня смех. Оказывается, он писал и «потому что».

И вообще был красавец. Денди и джентльмен. В такого и влюбиться, а он не только *про* заек, он еще и *прозаик!*

Таких расстреливали уже за внешний вид, а не только за то, что они написали.

Немногие вернулись с поля...

Если переставить две последние цифры, получится пять-шесть, 56-й.

Пятьдесят шестая — что за статья?.. XX не век, а Съезд.

Наша семья счастливо обошлась: мы никого *не ждали*.

Все на работе. Я один дома: тружусь перед зеркалом с гантелями. Звонок. На пороге какой-то сотканный из пыли человек.

— Кедровы здесь живут?

Не верит, что здесь. Глядит на меня — и не верит.

— И Ольга Алексеевна? И Георгий Леонидович?

Я надуваю бицепсы:

— Я их сын.

— Странно, — говорит пришелец. — А такие красивые родители.

И уходит. Я исключительно оскорблен. Возвращаюсь к зеркалу... и почему-то не нравлюсь себе.

Человеку надо в чем-то отражаться — вот в чем дело. Иначе его нет.

Так что важно, *в чем*.

Ленинградец отражался в Москве как провинциал, как чучмек. «Великий город с областной судьбой» приобретал если и не национальные, то фольклорные черты. Паустовский докладывал своему литсекретарю: «Приходил Битов с пирогом и рукописью». Секретарь пересказывал, смеясь, в ЦДЛ. Я обижался: ходоки, видите ли, у Ленина... топчусь в лаптях в прихожей у барина... оброк принес. Теперь-то я все понимаю: сам стал старик, замученный чужими рукописями, а тогда... надо же все настолько на свой счет принимать! Сам, можно сказать, единственный экземпляр у меня из рук вырвал: дайте почитать! Естественно, не прочел. Так верни!

Естественно, потерял, а признаться трудно. Мама же пыталась подкормить голодающего студента в Москве, увлекалась пирогами, пересылала их с оказией, паковала с немецкой тщательностью... «А это что у вас? Еще рукопись?» — «Нет, это пирог. Мама прислала». — «Печеного мне нельзя». — «Мне зато можно». Вот и весь разговор с классиком. Зато навсегда. Никого не осталось: ни пирога, ни рукописи, ни классика. Один я всех пережил... Мемуаром зацвел.

«Тарусские страницы»... Теперь ругают шестидесятников, а они до сих пор сами себя не поняли. Что это было? — так стремительно поверить, что все наладится: и справедливость восторжествует, и вообще... Зато репутаций, как грибов. Про Максимова слышали? Его сам Мориак гением объявил! А Мориак кто такой?.. Франсуа, что ли...

Ленинградец-то насколько ни во что не верил, настолько же доверчив был. С одной стороны, в Москве все продались, с другой — и снисходительной улыбки довольно, чтобы расцвести и понадеяться на участь. И только что порочимый литературный генерал превращается в доброго и талантливого человека, и дружба навек. В генералы же производились с первой публикации. Правда, смотря *где*. В «Новом», скажем, «мире». Но мож-

но и в «Литературной Москве», или «Дне Поэзии», или вот в «Тарусских страницах». О, эта мечта о «Двух рассказах» в «Новом мире»! — очнуться знаменитым...

В Москву рисковали поодиночке, Москва же высаживалась десантом. Вон она шествует шеренгой от «Октябрьской» до «Европейской», в распахнутых, как у Ленина, плащах: Окуджава, Войнович, Икрамов, Галич... кто там еще? — кто их собрал? кто «Стрелу» оплатил? чем это они так прославились? Ума не приложу. Все-то славы: авторы «Синтаксиса», машинописного издания, за который Гинзбург-составитель еще не сел, но — *сядет*.

Значит, дата уже другая: шесть-ноль, шестидесятый, шестидесятники...

Очень много еще сядет, уедет, сопьется, умрет, чтобы их сегодня все ругали, потому что они именно этого и добились и, может, одно это и обеспечили — чтобы о них вытирали ноги. Именно за это им честь и хвала.

Очень уж это невкусно: ноги мыть и воду пить.

«Тарусские страницы»... Корнилов, Максимов... читали?

Хрущев не только зеков, он еще и *славу* выпустил на волю. Как же она гуляла!

Не в свободе печати, а в свободе славы, оказывается, дело.

Когда ты *сам* ее раздаешь.

Когда ты выбираешь, *кому*.

Но это же и отравка. *Причастность*. Одно дело — вдохнуть славу как свободу, другое — так ее и не выдохнуть. Асфиксия шестидесятничества передается до сих пор по наследству.

Первым об этом мне сообщил Максимов: «Умному человеку достаточно достигнуть славы в областном масштабе, чтобы не стремиться к ней в мировом».

Легко сказать!..

Экспресс «Таруса — Париж».

Только что расправились с Пастернаком, так и не раскусив, кто это такой. Шолохова раскусили. Правда, Ахматова еще была жива. Но еще не было ни Солженицына, ни Бродского, и про Набокова не слышали. Страна жаждала гения. Не была ли то сталинская инерция? — непременно занять пустующий пьедестал... Свобода слова оказалась скованной именно монументальностью роли писателя едва ли не больше, чем идеологией. Загнав вольную русскую классику XIX века на школьную скамью в качестве членов Политбюро, наша пропаганда достигла большего, чем примитивным удушением современной словесности. Толстой с Достоевским оказались виноваты. Раскаялись и дали на себя показания. Практически добровольно, ибо не заготовили себе защитительной речи. «Кто знал?..» — вот название для русского романа вместо «Кто виноват?». Четверть века спустя мы обсудим с Володей эту тему не то в Страсбурге, не то в Париже. Ну почему, почему наша великая литература ни разу не осилила тему русской, именно русской, литературной амбиции? Какой типический, какой хронический герой оказался упущен! Достоевский мог бы... но сам им стал. Когда и как роль литературы была подменена ролью в литературе? С каких пор пьедестал стал важнее текста? Почему до сих пор, когда литература, по авторитетным заявлениям, кончилась, рождаются еще более амбициозные претенденты на свергнутую роль? Не Пушкину ли внушали, что в России писатель может сделать не меньше, чем Петр Первый? Пушкин, положим, справился, оставшись собою.

С тех пор наши писатели все больше утрачивали себя, становясь героями, образами и персонажами отечественной литературы, как бы прекрасно иные из них ни писали. Роль или кабала? Кажется, Иосиф вышел из положения.

Вот о чем мы в последний раз поговорили, посасывая не то абсент, не то перно. Раньше-то мы водку стаканами пили... когда я залезал к нему в окно... жил он тогда в деревянном, дровяном домишке, где, пожалуй, двор был и впрямь посреди неба... ты там финал «Семи дней творения» вслух Булату читал, и я там был... и мне вдруг показалось, что такой голой, такой глагольной прозы еще никто не писал... Так глух был твой голос, так

изящен жест твоей изуродованной руки, и был ты красив, как вор, как урка, обуглен и тощ... Или вот еще помню... до дому было уже не дойти... нас спасла красавица бурятка, отвела к себе... очнулись мы от твоего истошного крика... ты открыл не ту дверь и наткнулся не то на мамонта, не то на саблезубого тигра... мне тоже показалось, что это белая горячка... но хотя бы она не бывает коллективной, а реализм бывает иногда спасительным... то был черный ход в зоологический музей, к которому непосредственно примыкала пещера нашей красавицы!

Мой семилетний сын на днях спросил: «Папа, а когда ты был маленьким, динозавры еще были?»

Были, сынок...

Ему-то что. Он составил свою классификацию Истории: Эпоха Динозавров — Первый Век — Эпоха Революции — Эпоха Трансформеров.

Господи! какими мы были и какими мы стали! чтобы одутловато потягивать в Париже перно!.. «Я умираю. Россия погибла...» — сказал ты в этом Страсбурге.

Я не был доволен подобным заявлением. «Надо уточнить последовательность», — не удержался я.

Выходит, я все еще не мог простить тебе, что ты, именно ты не напечатал мои ответы именно на эти вопросы (Я или Россия?)... У нас это, естественно, нельзя было тогда напечатать.

Но, оказывается, и у вас...

АННОТАЦИЯ — 1979

Ты один мне поддержка и опора...

Словарь эпитетов русского литературного языка. «Наука». 1979...

Трудно заподозрить составителей в чем-либо кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, какие-то были. По возможности точные. Научные. В длинном столбце эпитетов изредка попадает в скобочках примечание типа: (поэт.) — поэтический, (шутл.) — шутливый или (устар.) — устаревший. Так вот — устар. ...

Из 28 эпитетов к слову ДОМ устар. — три: отчий, добропорядочный и честный. Причем добропорядочный дом даже больше чем «устар.» — он «устар. и шутл.».

Из нескольких сот эпитетов к слову РАБОТА устар. — два: духовная и изрядная.

Из 53 эпитетов к слову МЕСТО устар. — одно: живое.

Из 75 к слову СМЫСЛ устар. только — существенный.

Что за слово, однако, УСТАР — и устал, и умер!

Устар «горе отчаянное», и «лето плодоносное» — устар.

Устар «деньги трудные», и «страх божий» — устар.

Устар «опыт фамильный», и «лоб возвышенный» — устар.

Устар «ум хладный», но и «ум мятежный» — устар.

Устар «мысль прекраснородушная», но и «мысль храбрая» — устар.

Устар «надежда вольнолюбивая», но и «надежда конечная» — устар.

Устар МИР — благодатный, благодетельный, благополучный, блаженный.

Устар МИР — неправедный и святой.

РАДОСТЬ устарела: и быстротечная, и забывчивая, и легкокрылая, и лучезарная, и лучистая, и даже нищенская, но и — святая.

Зато ПЫТКА не устарела никакая — ни дьявольская, ни зверская, ни изуверская, ни инквизиторская, ни лютая, ни средневековая, ни чудовищная.

Может, потому, что устарело само слово?.. Так, к слову СОВЕСТЬ вы не найдете ни одного эпитета, потому что слова этого нет в словаре вообще.

Словарь открывается «авторитетом безграничным» и закрывается с «яростью удушливой и четкой».

НЕКРОЛОГ — 1982

Радио сказало голосом друга... как тут выговоришь «бывшего»? Или — прежнего, тамошнего, убывшего?.. Как назвать теперь друга, с которым вы никогда не ссорились и оба, слава Богу, не умерли, а его — нет?

Между тем на второй день разлуки вы поймаете себя на том, что говорите о нем в прошедшем времени, как об умершем, одновременно будучи уверены, что он жив и здоров, и желая ему того же в будущем. Вы говорите в прошедшем: «он был такой остроумный», будто он никогда больше не пошутит, или: «он был такой честный», будто он с тех пор... и уже не ловите себя на слове, даже произнося: «он был такой живой человек». Вот пропасть невстречи: между «завтра» и «когда-нибудь» помещается «никогда». А что более, чем «никогда», равно смерти? Трепетно-уклончивые формулы: «там», «тогда», «по ту сторону», «в ином мире» — слились в нашем сегодняшнем простодушии, одинаково означая и западный мир, и загробный. «Неужели умер?» — «Нет, уехал». «Неужели уехал?» — «Нет, умер». «Как же я не знал? Когда?..» — воскликнете вы в обоих случаях. Глагол «улететь» стал иметь новый корень — Лета. Но если для нас стало так, то как мы для них???

Радио сказало голосом друга, и я вздрогнул (тем же голосом того же друга, но из «того» мира...). Радио сказало по «Загробному Голосу» (16, 25, 31, 49... как годы, метры!)... Радио сказало, что...

Мне стало так обидно, что оно сказало! что он сказал... (своим чуть тронутым Западом голосом).

Он-оно сказали, что никого уже «там» не осталось в литературе, что все уже «здесь». Причем «там» — он имел в виду именно нас, оставшихся дома. Где «там», где «здесь»? Кто из нас «мы», а кто из нас «они»? И не то мне стало обидно, что сам я оказался за ИХ бортом, а не они за МОИМ, — что оказался среди тех, кто «не в счет», кого и нет более, чем мертвецов, что не попал в очередной список или выпал из очередной обоймы. Обидно мне стало не за себя, а ЗА НАС — именно тем чаще прокламируемым, чем встречающимся, чувством патриота: «Как же это НАС нет! а вот — МЫ!..» — стал я (ему) в запальчивости перечислять себя, загибая пальцы и не словив себя на том, что совершенно воспринял его логику, что меньше всего несогласия выразил в подобном протесте... Пальцев хватило. Нас действительно осталось мало. И все-таки... Не все же уехали! Не все! Не уехало нас много больше, чем осталось здесь.

Нет, не чувство оставленной родины, не их ностальгию прибавил я в тот миг к поредевшему самому себе, представляя русскую литературу...

Именно сейчас телефонный звонок — и нет больше Юры Казакова. Уехать он не мог — это почему-то ясно. Значит, он умер. А я и не знал!.. Звонок был после похорон. Я уже опоздал. На похоронах, сказал мне незагробный голос все еще здешнего друга, было очень мало народу. Десятка два человек. Было бы больше на меня одного... Не может быть! Ведь не каждый день хоронят классика!.. Хоронили первого прозаика пятидесятых, и в том, и в другом смысле — первого! Неужто и его сокровенных читателей осталось так же мало, как нас? Его — забыли. Выходит, забыли. Вот ведь убогий тест: кто придет... Никто не пришел. Его смерть не стала, так сказать, общественным событием. Но она была и есть — общественное событие! Еще неведомого нам масштаба, но достаточно необратимого смысла. Пускай он молчал и десять, и пятнадцать лет — он БЫЛ! Молчал он ЗДЕСЬ. Он ни в чем не уронил и ничем не унизил им же впервые достигнутого уровня зарождавшейся было прозы. Молчащий писатель — тоже писатель. Он — не врет. Он тем более писатель, если молчит ЗДЕСЬ и у НАС, в нашем разреженном бору (с которого по сосенке). Здесь он замолчал, здесь он молчал, и здесь он смолчался. Юрий Казаков скончался не просто порядочным и честным человеком: Юрий Казаков никогда не «умирал как писатель» — он умер писателем.

Когда две с половиной тысячи лет назад философа Анахарсиса-скифа спросили, кого больше, живых или мертвых, он переспросил: «А кем считать плывущих?» (Сказалась скифская водобоязнь: это именно он изобрел якорь...)

Так кого же больше — живых или мертвых?.. Вообще-то (через эти две с половиной...) мы уже уточнили этот вопрос. Но если не так тотально, облегчая задачу, поставленную недавно перед нами философом Федоровым... «на сегодня» — кого больше?

Сколько уехало и сколько ушло? сколько уехало и сколько осталось? сколько умерло и сколько выжило?.. Мартиролог семидесятых не менее впечатляющ, чем тот список, который был голосом друга провозглашен по «Загробному Голосу» в качестве «всей» уехавшей русской литературы... И то и другое случилось с ней за одно десятилетие!

Высылка Бродского и Солженицына ничем не может быть уравновешена. Но именно тогда же не стало и Твардовского, не стало Рубцова, Вампилова и Шукшина — первых надежд будто бы именно русской литературы. С отъездом Максимова писательская убыль стала приобретать почти систему: один отъезд — одна смерть. И попробуйте сказать, что они не равнозначны... Можно выстроить два жутких столбика бок о бок: «уехали — умерли», уточняя даты и взвешивая репутации. Не хочется этого бухгалтерского столбика... но разве не равновелики могут оказаться Некрасов и Домбровский, Евгения Гинзбург и Копелев, Коржавин и Глазков, Шпаликов и Горенштейн, Аксенов и Трифонов, Войнович и Казаков?.. Кто уехал — все-таки выжил... Лишь Высоцкий уравновешен Галичем. Ах, я перечислил не всех? Добавьте или вычеркните. Но уже сами.

Да и как построить настоящих писателей в детсадовские пары?

Умер Бахтин (дальше Саранска не ссылавшийся); умер Набоков (ближе Швейцарии не возвращавшийся). Умерла Надежда Мандельштам.

Потери за семидесятые годы и впрямь могут привести к мысли, что литературы, той, какая была и могла быть здесь, не стало. Пускай не утешает нас то небольшое количество имен, что составило русской литературе предыдущего века славу более чем мировую. Ибо если и останется от всех нас в последующих поколениях один человек, то это никак не означает, что остальных могло и не быть. Не было бы и этого, единственного и одного. Великая литература не может состоять из одних великих писателей. И, может, это не Пушкин заслони Баратынского или Вяземского, а они его — высветили. Не могут вымереть все хорошие, оставив в живых самого «главного». И мамонт вывелся не от ущербности или неполноценности, а оттого, что не нашел стада...

Так же тихо, как Казакова, не стало Марии Петровых и Варлама Шаламова... Как они молчали!

Будто не нас одно и то же, а мы друг друга убили. В каком из миров вероятнее встреча, где мы все это выясним, в западном или загробном? На что поставим — на веру или надежду?

Так как же считать умерших ЗДЕСЬ? Можно ли за счет доброй половины этих смертей заявлять, что ЗДЕСЬ литературы уже не осталось?

Как считать плывущих?

Ну вот ты и опубликовал это в своем «Континенте»³. После смерти. Спасибо.

«Надо уточнить последовательность...» — ты сказал?

И ты уточнил. Прости. Ты открыл этот список по новой... Юра Коваль, Юра Левитанский, Иосиф... Лидия Корнеевна, Олег Васильевич... хватит! Можжев.

³ См.: «Континент», 1996, № 87.

День сороковой

Переплетаю Век Двадцатый —
Зиянье вырванных страниц...
Десятилетия на заплаты
Уходят с прочерками лиц,

Убитых, спившихся, опальных,
Не описавших ничего —
Уходят... золотом сусальным
На оглавление его.

Век, как вдова, переживает
Мужей, любовников своих
И на детей перешивает
Все, что изношено у них.

Под траурною вуалеткой,
С облезлой муфточкой страстей
В последнюю из пятилеток
Спешишь похоронить детей.

Ты выглядишь как настоящий
С керамикой и париком,
Но скоро сам сыграешь в ящик
Двехцелетним стариком.

20 февраля — 25 марта,
Москва — Переделкино.

СМЕРТЬ КАК ТЕКСТ

Самоутверждаться в системе оценок, — с одной стороны, паразитизм культуры, с другой — поддержание порядка на этом погосте, — есть единственное обеспечение ее существования. Поэтому стройность и ухоженность этих могильных холмиков и надгробий — понятий, имен, дат и иерархий на кладбищах учебников, монографий, энциклопедий и словарей — является определяющим признаком культуры. В школах и университетах учимся мы лишь тому, что было, что прошло, — прошлому, смерти, убеждая себя в том, что живем вопреки ей. Неприменимость знания к жизни есть тоже признак культуры, причем уже достаточно высокой. Поэтому кто великий, кто большой, кто замечательный, кто знаменитый, кто прославленный, кто выдающийся, кто гениальный есть не только расхожая пошлость человеческих амбиций, в частности литературных, но и устав, в самом армейском смысле, культуры. Устав, на букве которого легче всего чиноподвигается заурядность и посредственность: легче ухаживать за избранной могилкой, подворовывая собственную жизнь, чем жить собственной жизнью с живым человеком. Неистовость прижизненных фанатов — не более чем проекция долгожданного распятия. Прижизненное признание — не самая точная функция современника.

Еще есть категория «бессмертный», применяемая более к творениям, чем к их создателям, и лишь отчасти к их репутациям, с которыми мы ничего поделать не можем, которые прорастают сами, то есть действительно *живут*. Так что бессмертие — это судьба, то есть продолжение той же жизни, но уже за гробом. Не завершенная при жизни жизнь — бессмертна, и не оттого ли наши поэты предпочитали гибель, в которой мы, по традиции, виноватим общество?

...(Самому Набокову, обносимому то Нобелевской премией, то какой-нибудь почетной мантией, то каким-нибудь еще «бессмертным» членством и чванством, ничего не оставалось, как пренебрегать подобными дефинициями, быть выше «этого» и, сетуя на непереваемость русского слова «пошлость», презирать Фрейда с его «венской делегацией», похождения тихих донцов и Доктора Мертваго, социальных популяризаторов типа Оруэлла, или предпочитать стихи Бунина его прозе и назначать Ходасевича первым поэтом XX века, или призывать в наследники смельчака, который простым молотком трахнет по гипсовым головам Томаса Манна, Горького и Бальзака, и т. д. и т. п., что само по себе, по системе тестов кого-нибудь из «членов делегации», свидетельствовало бы о подавленном безразличии к понятию *славы*, то есть некоторой ревности к пошлейшим дефинициям *места в литературе*.

Сам Набоков был не чужд... чего стоит желчная меткость его определений: «парчовая проза» (Бунин), «лампочка, горящая днем» (Достоевский), или даже Гоголь («нос и желудок»), — не чужд, расставляя ученические отметки русской классике (тайная слабость наедине с Верой Евсеевной): то одному четверку с плюсом, то другому пятерку с минусом... и вдруг Тургенев обходит Толстого. И своим фанатам-набоковистам, зарождающемуся набоковедению, выставляет он пятерки и четверки независимо от заверений в преданности и любви.)

Мне здесь хочется заявить, что Набоков, несмотря на ту нишу, в которую его засунут потомки, есть самый бессмертный писатель, бессмертный именно в категориях жизни, потому что бессмертие — его основная тема. И никому не известно, как оно ему воздаст за столь истовое себе служение.

Набоков — певец не жизни или смерти, и не жизни и смерти, и не жизни в смерти, и не смерти в жизни, а именно *бес-смертия* он певец.

(Слово «бес» попуталось... пожалуй, оно тут ни при чем... скорее, тут попутал бес «красного словца»... «красное» нам запахло, и мы в эту сторону не пойдём... так что без-смертие.)

Безсмертие как состояние жизни.

Без-смертны именно весенние цветы, бабочки-однодневки и дезочки лет двенадцати.

Бессмертен комариный укус. Он обессмертен крестиком, продавленным ногтем на лодыжке возлюбленной («Весна в Фиальте»).

Бессмертны потерянные ключи, когда ты стоишь на пороге первого любовного свидания («Дар»).

Бессмертен апельсин в руке матери («The Real Life of Sebastian Knight»).

Бессмертен неразбившийся стакан («Рип»).

Бессмертна глуховатость мужа Лолиты.

Бессмертна ошибка, случай, опоздание, отсутствие, утрата, незнание — *невстреча*.

Бессмертна сама смерть.

Бессмертно все то, что уловлено взглядом и слухом и *запечатлено*.

Набоков изловил бесконечное количество бабочек, но и бессмертие его детали есть та же самая бабочка, но уже человеческого бытия.

Чтобы обессмертить реальную бабочку, ее надо поймать, заморить, препарировать, классифицировать (дать ей имя), поместить в прозрачный саркофаг для обозрения.

Требуется не помять, не повредить пыльцу крылышек...

Чтобы отловить деталь живой жизни, требуется *ничего* не повредить.

Деталь нельзя удалить из жизни. Нельзя и пригвоздить к бумаге.

Для того, чтобы постичь тот эффект Набокова, которым бесхитростно восхищаются его читатели, стоит задуматься, зачем он был так жесток с бабочками и как претворял опыт в метод. (Член «венской делегации» подсказывает мне словечко «сублимация», и я опять недослышиваю, как муж Лолиты: ась?)

Есть много суждений о неверии и чуть ли не атеизме Набокова, которые можно многообразно иллюстрировать из его собственных сочинений всяческими шпильками в адрес церковников. И тут я предамся в очередной раз своим мемуарам о Владимире Владимировиче...

В романе «Подвиг» (в который раз признаюсь, что моем любимом из русских его романов) я набрел на страничку с таким открытым признанием в Вере, что она одна легко опровергала все его прочие высказывания на ее счет или, скорее, ставила их на подобающее место. Желая тут же процитировать это место, я его тут же не нашел. Как сквозь страницу провалилось... Будто он и не написал ее, а нашептал.

(Вот и сейчас — я пишу это в Петербурге — среди многочисленных постсоветских изданий В. В. не нашлось ни одного с «Подвигом». Так что опять странички той нет. А я-то хотел ее здесь как раз процитировать...)

Но один раз мне эта страничка все-таки открылась...

И опять начну вспять, с начала...

В 1991 году, как раз перед пресловутым путчем, я подыскивал для семьи дачу под Петербургом (тогда еще Ленинградом), желательно в районе Токсово, родного для меня места. Нас преследовала неудача. Отчаявшись, направились мы в противоположную сторону по случайному адресу, сорванному со столба ручкой нашей двенадцатилетней (sic!) племянницы. Гатчина... Сиверская... Что-то мне все это напоминало. В Гатчине — дворец и памятник Павлу — оба хороши, и оба оказались на месте; в Сиверской... два воспоминания нависли надо мной, то есть я не мог вспомнить. И оба наметились из одной точки — сочинения Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель». Трактир «У Самсона Вырина», перереставрированная до неправды валютная штучка, означил для меня поворот налево, и прямо передо мной, слева от шоссе, за мостиком, на холмике, открылось... некое равнодушие опять залило мне глаза, и я не посмотрел: мол, как раз поворачивать, надо за дорогой следить, и машина ГАИ как раз сторожит на пути взгляда. Не увидел.

(А невозможно было не увидеть! Свято место пусто не бывает, зато меня в нем нет. Есть у меня такой подсознательный оберег: ни разу в квартире на Мойке, ни разу в Михайловском, вот и в Рождествено — ни разу... а именно оно нависало над инспектором ГАИ, зарифмовавшим себя с Самсоном Выриным!)

Зато — как повернул, шлагбаум миновал, железнодорожные пути перековьялял, к мосту через Оредеж подъехал, уже в Сиверской, — смотрю: заводь с отвесным красным обрывом и сосны поверху — видел я этот пейзаж, знаю его! хотя ни разу в Сиверской не бывал. Во сне видел. А откуда сон? Вспомнил (со слов мамы): перед войной мы тут дачу снимали... Так вот откуда этот берег! через полвека судьба вернула меня на то же место, может, и в тот же дом, он ровно моего возраста оказался... Купил я его.

В прошлом году я побывал в раю. Рай размещался в Чивителла Ранieri, крепком, замечательно отреставрированном (со всеми удобствами) замке XIV века недалеко от городка Перуджа в Умбрии. Здесь меня настигла ужасная русская весть, что в Рождествено сгорела дотла усадьба Набокова. Значит, четыре года уже я помещичествовал в двух шагах, да так и не сподобился... Два века благополучно простояла, дожидаясь хозяев, пережила Советскую Власть, в Набоковском фонде уже поговаривали о необходимости реинституции, ибо Дмитрий Владимирович, сын и наследник, обещал тут же передать все в дар фонду в случае вступления в законные права... нате вам! то есть вот те на! Не побывал.

Из «рая» я переехал в Сиверскую. Тем более не собирался я разрывать сердце на пепелище... Но приехали немцы снимать телесюжет о Набокове, накрыли меня в моей письменной баньке. Пробовал я им изнутри баньки все про Владимира Владимировича рассказать, приблизительно в сторону его усадьбы в подслеповатое окошко указывая, — не прошел номер: им не символика — им вещь дай пощупать... и «Подвиг» на этот раз оказался под рукой, да страничка сокровенная опять не нашлась...

И повлекся я за ними на пепелище, которое и впрямь от дачки моей было в двух шагах.

Выбрались на шоссе и только повернули налево, как тут же мост через Ордеж, и «Другие берега» отворились сами ровно на том месте, где этот именно проезд и описан, и не успел я сравнить открывшийся вид с описанием, как и усадьба открылась.

С трепетом и опаской бродил я по обгоревшим балкам, как канатоходец, и камера преследовала меня. Здесь подобрал я щедрый набоковский дар: прямо посреди пустого холла, прямо возле ноги... обгоревший томик Пушкина юбилейного года издания, ровесник Владимира Владимировича, так что мальчиком, здесь, вполне мог он его читать. И как музейщики, тщательно обшарившие пепелище, не подобрали именно его! Томик обгорел и стал овальным, в середине сохранился текст, окруженный изящным пепельным рюшем, как крылышко бабочки-траурницы. И здесь, в сквозящем на все четыре стороны света обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылся в одну сторону — тот самый мой довоенный пейзаж с красным обрывом, а в другую — храм Божий на соседнем холме. И, глядя на него, раскрыл я наконец «Подвиг» ровно в том, каком надо было, месте...

«Была некая сила, в которую она (Софья Дмитриевна, мать Мартына. — А. Б.) крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божьим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, — сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, — поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность».

(Вот и опять ровно на этом месте... текст «замерз», как в компьютере, и я, уже в Москве, не находил цитаты; а нашел ее здесь, в Переделкине.) И вот что еще замечательно: усадьбу уже начали реставрировать! Нет, не мэрия, не Министерство культуры, ни какая еще власть — «новые русские». Чистюля и Могила были их кликухи. Один составил себе состояние на общественных туалетах, другой — на кладбищах. Бабочки, нимфетки... С чего и начинать обустроивать Россию, как не с туалетов и кладбищ! И музей как вершина треугольника.

Значит, так: Набоков — не такой, как мы думаем. Как и Пушкин, он *не для нас* писал. Скажем так: для чего-то *еще*. И вот это-то *еще* нам уже нужнее воздуха и воды. Россия «Других берегов» бессмертна. Набоков ровно на столетие младше Пушкина; Гоголь напрозорчил нам Пушкина как «нового человека» через двести лет; через три года мы отметим столетие Набокова и двухсотлетие Пушкина; кто же это родится у нас в 1999-м?

Набоков уже другой, чем мы. Раздвоение русской культуры XX века на советскую и эмигрантскую именно в нем преодолено, претворено в мировой феномен непрерывности. Набоков не оправдал наших надежд — зато нам есть на что надеяться после него. А теперь и после Бродского.

Тут и кроется разгадка ложного мифа о снобизме, высокомерии, элитарности, эстетстве: плебейское желание поиметь все сразу и сейчас — не удовлетворено. А то, что Набоков очень застенчивый, нежный, прозрачный, ясный, чистый, даже наивный писатель, еще рано нам открывать. Он сам запечатал это свое целомудрие множеством секретных печаток и тайных замочков, в которых дано сейчас только поковыряться кому-либо из наиболее тонких и незазнавшихся его читателей.

Он приснился мне однажды еще при его жизни. За подлинность я могу ручаться: во сне было по крайней мере две детали, о которых я в ту пору понятия не имел, и они впоследствии (уже после его смерти) подтвердились... Он был на голову выше меня (физически) и приехал в Ленинград инкогнито как энтомолог.

Идея конечности художественного текста намекает на его предшествование, на его наличие до его написанности, на его даже врожденность. Литература же, в таком случае, существует как данность, в смысле — дарованность. И только так хочется тут толковать слово «дарование», с сохранением движения внутри, глагольности. Дарование как посвящение, как крещение. Суперзамысел, гиперзамысел есть, в таком приближении, не только развитие (имперское) литературного жанра как амбиции, но и тяготение к единству текста, тебе врожденного. Начиная с Гомера и кончая «Улиссом» же. Все постмодернистские идеи есть не столько результат развития и поиск пресловутого «нового», а возвращение к изначальности, к первому слову, зачистка врожденного нерва. Мир нуждался в Гомере, чтобы воспеть себя. Слепец не знал письменности. Платон ли автор самого великого героя мировой литературы, или Сократ нуждался в исполнителе, чтобы быть запечатленным? Что сгорело в Александрийской библиотеке? Не столетним ли усердием авторов рыцарских романов сочинен «Дон Кихот» и записан одной рукою? На эти вопросы так же невозможно ответить, как и на вопрос, откуда Веды, Талмуд, Евангелие или Коран. Во всяком случае, если взглянуть на Евангелие как на жанр, то сюжет, пересказанный четырьмя очевидцами под одной обложкой, превзойдет любые авангардистские изыски, а как и кем он был продиктован или нашептан — другое дело.

Золотой Век русской литературы, если ограничить его троицей Пушкин — Лермонтов — Гоголь (так гипнотизировавшей, кстати, и Набокова), создавал в каждом и всего по одному: они пробежали по жанрам, как на тот берег по льдинкам во время ледохода: стихотворение — цикл — поэма, рассказ — повесть — роман, комедия — драма — трагедия, внезапность слова КОНЕЦ до воплощения ГИПЕРЗАМЫСЛА, потому что все написанное в целом как раз им и оказалось. Их ранняя, преждевременная смерть, столь справедливо нами до сих пор оплакиваемая, не более внезапна, чем их рождение, чем их текст. Текст переплетен в даты рождения и смерти с не нами определенной точностью и тщательностью, с наличием «Евгения Онегина», «Демона» и «Мертвых душ» внутри, как и сам Золотой Век переплетен в «Историю Государства Российского» Карамзина и «Словарь живаго...» Даля.

Если определить текст как органическую связанность всех слов, от первого до последнего и каждого с каждым, то это слегка напомнит самую жизнь, в которой, в принципе, нет ничего отдельного, не связанного со всем прочим. Если же предположить, что Поэту (в высоком смысле слова) текст дарован от рождения, врожден, то окончание подобного сверткста означает и окончание самой жизни или обреченность на немоту. Подобная взаимосвязь жизни и текста именуется назначением, неуклонное следование назначению — судьбой, а воплощение судьбы — подвигом. Всегда хо-

чется еще и еще раз подумать, зачем Набоков назвал тот самый свой роман о возвращении на родину «Подвигом». Подумав, любопытно тут же отметить, как много у Набокова героев уже не в литературном, а в героическом смысле слова. Собственно, все его герои, включая преступных, ничтожных и униженных, еще и герои в прямом смысле слова: и Гумберт Гумберт, и Лужин, и Пнин. Решаясь определить пределы личного существования, они заглядывают за пределы, где жизнь существует в неподвластной форме — в форме безумия. И это определенный риск, отдаленно напоминающий писательский опыт. Там жизнь реальна, где не объяснена, где ее не объять умом. Набоков — реалист в том смысле, что именно реальную жизнь он пишет. Ее — мало. Она — бессмертна. Он ловит ее в свой сачок. Текст кончается и умирает. Жизнь, в нем запечатленная, остается бессмертной.

Прожив жизнь в жизни и жизнь в тексте, автор удваивает ее на ее бессмертную половину. Оставив после себя чистый стол.

Карл Проффер рассказывал, что у Набокова в последние его дни не осталось черновиков. Поверхность стола была чиста, как белый лист бумаги. Все было разложено, систематизировано, подшито. Аккуратные папки. Каков бы был энтомолог, если бы жучки и бабочки были разбросаны по кабинету...

Подобные воспоминания существуют об Александре Блоке: необыкновенная аккуратность и чистота стола, уже не энтомологическая, а «немецкая». Это дополнительно давало пошляку возможность говорить о его «исписанности».

Ничего, кроме исписанности, от писателя не требуется.

Им закончен дарованный ему текст.

Блок и Набоков переплетают нам Век Серебряный. Со всем, что внутри.

И с проклятием, и с молитвой
Жизнь не более, чем была...
И обрезана, точно бритвой,
Краем письменного стола.

Я вспоминаю, я воображаю, я мыслю...

Легко сказать.

Попробуйте вспомнить память, вообразить воображение, подумать саму мысль.

Ничего не получится.

Ничего, кроме гулкового свода...

Я хотел аукнуться — рот мой раскрылся и не издал ни звука.

Здесь не было звуковой волны.

То есть не было воздуха.

В испуге я осознал, что грудь моя не вздымается.

То есть я не дышу.

Я прижал свою руку к груди.

Оно не билось.

Я умер?

Превращение жизни в текст (воображение) подобно возвращению текста в жизнь (память). Память и воображение, таким образом, могут оказаться в той же нерасторжимой, взаимоисключающей связи, как жизнь и смерть.

Опыт воображения, то есть представления жизни без себя, без нас, может оказаться опытом послесмертия, который каждому дано познать лишь в одиночку. Воображение — столь же бессмертная часть нашего существования, как сама смерть. Каждый из нас познает, приобретает опыт послесмертия внутри жизни точно так, как получает с рождением память предшествовавших — самой жизни и человечества — генетически. И если мы

люди, то не нарезаны на слепые отрезки жизни и смерти, как сардельки, а содержим всю череду смертей до своего рождения, как и всю череду последующих рождений в своем послесмертии. И если это не дурная бесконечность (в случае самоубийства... перечитаем «Соглядатая»), то единственно осмысляемый нами отрезок может быть от акта Творения до Страшного Суда, который не так уж страшен после всего пережитого, потому что вполне заслужен. То есть — до Воскресения.

Между кладбищем памяти и воображением как смертью наша душа отрывается от тела ежемгновенно. Мы — живем.

Тайна, запирающая для нас вход и выход, рождение и смерть, и есть тот дар, та энергия заблуждения (по определению Л. Н. Толстого), с которой мы преодолеваем Жизнь, чтобы выполнить Назначение.

В этом смысле бессмертие нам назначено.

С отрубленной головой Цинциннат обретает своих.

Жизнь есть текст. И те три, девять, сорок дней, год, в течение которых (кажется, во всех конфессиях) мы перечитываем жизнь ушедшего от нас, переплетенную в его даты, — и есть изначальный жанр любого повествования: рассказа, повести, романа, эпопеи, — где именно замысел есть вершина, а исполнение — подножие, где нам все ясно в отношении конца героя, но не все еще домыслено относительно его рождения, и мы пишем вспять, возрождая его от смерти к жизни, в подсознательной надежде, что когда-нибудь и с нами так же поступят.

29 апреля.

ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ

Заявление

Это только кажется, что все плохо и ничего не получается. Представления заслоняют.

На самом деле и удача сопутствует, и справедливость торжествует.

Я родился в том самом тридцать седьмом, но зато в день основания Ленинграда (б. С.-Петербурга); решимость моих родителей подкреплена сталинским законом о запрещении аборт.

Я родился в самом переименованном городе самой переименованной страны, но вырос в самой непереименованной их части: на Петроградской стороне, на Аптекарском острове, на Аптекарском же проспекте, напротив Ботанического сада, в доме «модерн», успевшем построиться до революции.

Оттуда начинается моя память: блокадная зима 1941 — 1942 года.

В 1967-м я переехал на Невский проспект, поближе к Московскому вокзалу. В 1972-м мигрировал в Москву, в Теплый Стан. В 1979 году оказался без дома. Без работы, без семьи, без денег — без всего, кроме автомобиля. Ночевал по друзьям, по мастерским: найти меня было невозможно. Никто и не искал.

Так проходит год, Теплый Стан переименовали в Профсоюзную улицу, заезжаю я по какой-то более чем редкой надобности к бывшему теперь тестю в Кузьминки. Звонок. Вот те на... Кузнецов, Феликс Феодосьевич.

— Ты развелся?

— Да.

— Тебе негде жить?

— Да.

— Мы дадим тебе квартиру.

— Дареному коню...

И получаю я ордерок на Краснопрудную улицу. Кстати, оказалось, непереименованную, «краснота» в ней от XVII века.

И вот что любопытно: моя последняя квартира в Ленинграде была у Московского вокзала, на третьем этаже, под номером 28, а эта — у Ленинградского вокзала, тоже на третьем и тоже 28.

Конечно же, я согласился, думал: да будь я космонавтом и закажи себе подобное совпадение, никакой Гришин меня бы не послушал. Долго потом друзьям судьбою хвастал. Теперь привык.

Биография, как и история, — это то, что получилось, а не наоборот.

То, что у нас с кладбищами напряженка, я запомнил с 1954 года: бабушку не удалось положить к дедушке. Дедушка был историк и, провозгласив, что через год пол-России будет висеть на фонарях, скончался от сердечного приступа за год до «катастрофы», оставив бабушку с четырьмя детьми в возрасте от пятнадцати до семи лет, и был захоронен рядом с отцом и сестрою на Новодевичьем (в Петербурге) кладбище. Дедушкино кладбище было «закрыто», поговаривали, что начальство ждет, когда оно (кладбище и начальство) окончательно вымрет, чтобы приспособить под собственные нужды. Наконец бабушка упокоилась на Шуваловском, тоже закрытом, но просто, не на ведомственный замок. Вид отсюда открывался замечательный: с облесенного соснового склона на Шуваловское озеро — блоковская строка. «Все чаще я по городу брожу. Все чаще вижу смерть — и улыбаюсь улыбкой рассудительной. Ну, что же?..»

В 1958 году не стало Азария Ивановича... Это был наш не кровный родственник, с 1919 года самый близкий семье человек. И опять цитата: «Между ними сложные отношения... такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете... И вы, получая... по двугривенному за пакость... куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят».

У него никого, кроме нас, не было. И мы, воспользовавшись уже установившимися связями с администрацией кладбища, выдав его за двоюродного брата бабушки, захоронили Азария Ивановича в непосредственной близости, чуть выше по склону, так что с одной могилы хорошо видно другую, через дорожку. Ограниченное дорожкой и склоном, ему досталось неожиданно большое место, вдвое длиннее поперек, чем вдоль, так что рядом образовалось пустующее место, но земля эта уже была наша. Так что когда в 1977-м не стало папы, мы, пользуясь уже как бы и законным правом, выдали папу за двоюродного брата Азария Ивановича. Дело в том, что фамилии у всех троих были разные. Непереименованные.

В 1990-м, когда не стало мамы, мы жили уже в Переделкине; она хотела только в Шувалово.

И вот как единственно можно было это сделать: либо к законному мужу, либо в ту же могилу к матери; теперь она лежит между двумя «братьями», и ее крест возвышается над ними.

В линейку, по-над озером: дядя Аза, мама, папа.

Напротив мамы, ниже по склону, как вершина треугольника, бабушка. Ровный такой треугольник, почти равнобедренный.

В головах у бабушки выросла огромная полувековая береза.

Моя семья живет теперь в Петербурге (б. Ленинград), внучка моя несколько старше своего дяди, живут они через улицу и друг к другу в гости ходят, как брат и сестра, и фамилии у них разные, и когда я выхожу с поезда в левую арку Московского вокзала, то первый дом в городе, открывающийся в арке моему взору, — мой. Квартира опять же на третьем этаже. Правда, номер все-таки не 28.

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.

4 апреля, Переделкино.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОВУ

(Из Раймонда Моуди)

Врожденный идеал был крепок:
Плоть нанизалась, как шашлык.
Перерождение всех клеток:
Все было в строку этих лык...

И получился ты не нужен,
Никчемн. КТО тебя создал,
В Творенье оказался сужен,
Поставил точку и сказал:

Прости! Возился с бегемотом,
Увлёкся натяженьем жил
И в завершенье той субботы
Ошибку Бога совершил.

Ты у Меня не получился,
Я пред тобой должник навек.
Но чтобы ты не устыдился
Происхожденья, Человек,

Я поручу тебе работу:
Стань сам таким, как Я хотел.
Сам выбирай себе охоту
И попотей, как Я потел.

Прошу тебя, будь человеком,
Как можешь, Богу помоги,
На Слово послужи Ответом,
Во Благо потреби мозги.

Не сотвори себе кумира,
Но лишь люби, как Я люблю —
В твоём подобье, — Образ Мира
И не скорби, как Я скорблю.

За безответственность всех тварей
Ответить суждено тебе...
Я — поручил. Не будь коварен
И следуй избранной Судьбе.

Не сетуй. Чувствуй Назначенье
Под грузом участи своей,
Молись — и будет облегченье
Тебе отдельно от людей.

Терпи, трудись. А Я — в ответе.
Тебе усердьё — по плечу.
Что ты оплачешь в этом свете,
Я в Своем Свете оплачу.

Итак, до встречи. Я хотел бы,
Чтоб ты Мой Облик отыскал...
Я одинок. Здесь нет предела.
И нет зеркал.

14 апреля.

ПАСХА

И надо было встать на Землю...
 Ее безвидность с пустотой
 Видна мне стала. Не приемлю
 Я смерть. И свет планете той
 Включил Я. Отделив сначала
 Лишь день от ночи. Чтоб отсчет
 Продолжить. Чтобы отличалась
 Твердь от земли, земля от вод.

Внушало, но не утешало
 Меня Творенье. День за днем
 Творил, но смерть не исчезала,
 А все присутствовала в нем.

Пока возился Я меж гадами,
 Любуясь детством рук своих,
 Я был творцом всемирной падали,
 И смерть торжествовала в них,
 И силы были на пределе,
 Противник был неумолим...
 Так, по прошествии Недели,
 Мой Сын вошел в Иерусалим.

Не сотворив себе кумира,
 За те же дни, которых семь,
 Пошел на разрушение мира,
 Провозгласив ему: «Аз есмь».
 И напролом от смерти к Жизни
 Ввел счет от первого лица,
 Вернув утраченной отчизне
 Ее Отца.

И в стогнах Иерусалима,
 Распявших Сына Моего,
 Такая же окрепла глина,
 Как и в Адаме до него.

Се Человек! И после Бога
 Не остается ничего
 Для восхищения немого
 Опустошенностью Его...

6 июня.

КИНОИКОНА

Дубль

Немой размытой фильмы плеск:
 Все тонет в стареньком тумане —
 Забор, дорога, поле, лес
 С коровой на переднем плане.

Жует корова по слогам,
 Квадратно бьется пульс на вые,
 И драгоценно по рогам
 Стекают капли дождевые.

Никак мгновенье не поймать —
Так миг отрывает капли краток...
И, значит, это — аппарат,
И, значит, это — оператор.

Сосредоточен и красив,
Его волнует диафрагма,
Он заслоняет объектив,
Как сына старенькая мама.

Он так изображенью рад!
Его экран в заплатках манит...
За ручку водит аппарат,
Вот он уже киномеханик.

Никто кино смотреть нейдет,
Хоть фильма выше всяких критик.
Но кто-то сверху дождик льет...
И, значит, у него есть Зритель.

Из-за застрехи чердака,
Кривой из-за дождя кривого,
Смерть так понятна и близка —
Как расстоянье до коровы.



АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ



БЕЗ НАЧАЛА И ПОВОДА



Слуцкий хочет умереть.

По утрам он ходит с авоськой за молоком,
от «Аэропорта» до станции метро «Сокол».

Свой маршрут он объясняет тем, что там его знают.

И действительно, продавщица приветливо ему улыбается.

«Пожалте, Борис Абрамович, какого молочка желаете?»

Потом он хмуро отворачивается и говорит только одно:

«Я скоро умру». Говорит серьезно и с уважением
к будущему процессу своего умирания.

Глаза у него белые и мутные, как у только что
сваренной рыбы, — он действительно умирает.

А Москва дышит летом, у метро продаются люпины,
и небо еще голубое, ни морщинки на нем, ни облачка.

А Слуцкого тянет из города, душно ему и неприятно.

Кончики его седых усов повисли и пожелтели.

Молоко с черным хлебом — привычка, сохранившаяся с детства.

Уехать бы сейчас в эту Тулу-Калугу,

где тебя никто не знает и только проселки тополиные,
пыль на придорожной канаве и шершавые лопухи.

Божья коровка ползет по незагорелой руке,

и небо словно вновь падает тебе на грудь.

Тяжело дышится. Скоро гроза.

Ах, самолет-самолет, увези же меня скорее,

на крутом вираже полупорка поднимает столб пыли,

и шофер с татуировкой на плече весело кричит «о-го-го».

Книги останутся, за все эти годы накопленные,

с закладками и строчками, отчеркнутыми ногтем,

стены не отремонтированные и старые обои с жирными пятнами,

баклажаны со вчерашнего вечера, впрок нажаренные,

смородиновое варенье недоваренное и белье недостиранное.

А можно просто упасть в коридоре, выронив из рук

только что вымытую тарелку, или ночью проснуться

оттого, что вдруг воздуха в груди не хватает.

За небом этим белым, за снегом угрюмым

что ты там думаешь, что читаешь?

Это только струна дребезжит тонко: струйка молока

из порвавшегося пакета, капающая на пыльный асфальт.

Сознание еще так зыбко, как снегирь на ветке,

готовый слететь с нее каждое мгновение.

И всех я могу перечислить по пальцам.

Сумерки

Снова сумерки, снова кровью
тусклый свет на лицо ложится.
Наступает средневековье,
надо снова с бедою сжиться.

То ли посвист лесной пичуги,
то ли грудь или хрипы в сердце...
Просто ветер звенит в фрамуге,
никуда от него не деться.

Это город весь в обороне
ощетинился бердышами,
словно снова в тюремной зоне
на расстрел ведут голышами,

лишь темнеет животным страхом
жизнь, пронзает, как струйка крови,
снег парной или легким взмахом
бритвы — замерший на полслове.

Что могло — все уже случилось.
Кто мне истину в сердце вложит?
Словно счастье вдруг отлучилось,
а вернуться уже не может.

Белым платом, холодным настом
я стою уже у порога,
в этом черном, чужом, ненастном
небе больше не знаю Бога.

За спиною — родные тени,
ведер звон и мороз колодца,
и как будто иголка в сене —
красен луч закатного солнца,

и как отзвук беды насущной —
птицы шорох, в окно летящей,
но прошу — избавь от грядущей,
мне достаточно настоящей.

* *
*

С возрастом бабье в мужчинах сильней проступает,
в характере склочном, голосе, все время переходящем на визг.
То слезы вдруг наворачиваются, то боль тупая
схватывает сердце и отзывается где-то под лопаткой,
так что не выдохнуть.
Редкие монгольские волоски вместо бороды топорщатся,
глаза заплывают, грязная майка из-под расстегнувшейся рубашки
выглядывает,
ширинка все время расстегивается, они этого не замечают и морщатся
на осторожные замечания, как будто что-то другое им уже видится.
Если раньше между ног все время зудело и набухало,
то теперь от мужского достоинства лишь провал какой-то остался,
недоразумение.

Кажется, ткань сама по себе складывалась шалашиком, от нахала
 былого осталась лишь любовь к сквернословию и озлобленность.
 Дряблый бесформенный живот, как у беременной женщины,
 опухшие и короткие сладострастные пальцы,
 уроды российские, которым могилы обещаны
 в земле этой морозной, хрустящей, счастливой, заснеженной.
 Ногтями желтыми слоющимися по полированному столу
 постукивают,
 глазами мутными по сторонам поглядывают,
 еще петушатся, кичатся, красуются и поругивают,
 мальчики бывшие, и свои волосы жидкие нервно поглаживают.
 Мужского как будто и не было в них никогда,
 так — вольнодумие вялое, пьянство и диссидентщина,
 но глаз поволока, животы мускулистые и пах кучерявый, куда
 все это разом исчезло? осталась лишь старая женщина,
 рассеянная, злословящая, едва ли не плачущая
 вдруг от обиды, в носках незаштопанных, нестиранных.
 Просто привыкли мальчики, что мама за ними ухаживает,
 рубашки гладит и цыпки на пальцах выводит,
 привыкли бегать на карьер и книжки читать до полуночи,
 молоком пропахшие мамины детки, на коньках зимою кататься,
 чаем горячим из термоса обжигаться, а ныне — ничьи,
 нежной дворняжкой не в кого уткнуться,
 не к кому набегавшись прижаться.

На трусах вдруг какие-то нелепые заплатки,
 ими же самими старательно пришитые ниткою через край,
 мальчики, мальчики, помню, как крыльями лопатки
 еще проступали у вас под майками застиранными,
 Господи, не забирай
 бледную эту фасолевую поросль,
 бездумную, юную, вертлявую, еще оставшуюся в памяти,
 ведь и сам я такой же сутулый недоросль,
 с женщиной первой испуганно лежащий на накрахмаленной скатерти.
 Бабы оплывшие в тряпках засаленных, сварливые
 уроды в чепцах, носящие кофты растянутые и туфли растоптанные,
 даже в гробу вы тяжелые, толстые и несчастливые,
 и носки у вас такие же грязные и незаштопанные.

Весна в Петербурге

Только эти застывшие, будто во сне,
 кружевные дворцы и зеленые парки
 все еще иногда вспоминаются мне
 смутно, словно чертеж, повторенный на кальке,

на котором рейсфедером или пером
 аккуратно расчерчена архитектура;
 это город, в котором за каждым углом
 повторяется старый пейзаж, как фигура

речи или канала холодный изгиб,
 или фраза, доступная по умолчанию.
 Вот рисунок, который забыт и погиб.
 Вот роман, подошедший уже к окончанию.

Но еще повторяются — ландышей нить,
 бледнотелые боги на старых фасадах.
 Все равно больше нету желанья любить
 этот город в окраинах и палисадах.

И весенний, как будто игла, холодок
с потрясающей легкостью входит под сердце.
По бульварам, дворам или паркам ходок,
я уже не хочу в ваши лица взглядеться.

Только ночью, когда запираюсь на ключ,
когда простынь сбивается в ком подо мною,
когда кажется — тополь, горяч и колюч,
снова водит по пальцам мне липкой листвою...

Повторяю почти как мотор заводной.
Пустота до того невозможная в теле,
что весеннее небо и то надо мной
каменеет уже и не движется еле.

* *
*

Глаза закрываю, и ты улыбаешься снова —
это блаженное чувство ничейной земли,
небо кипящее, желтый песок и полова
на языке, словно марь и свиданье вдали.

Слова невнятного, непроговóренного движенья,
косноязычного, нежного, так чтоб глаза
только и видели рук неподвижных скольженье
по волосам, как опушкой лесной голоса

медленно перекликаются, там, на поляне,
мама, сестра машут издали и налегке,
Женя и Надя о чем-то смеются Татьяне,
озеро желтое плещется невдалеке.

Женя гудит, как олень, и трясет сединою,
Надя торопится вечно его перебить,
щурится рыжий Иосиф, и над головою
взвесь мошкары заплетается в тонкую нить...

Священнодействие — это во сне повторенье...
Мама смеется, куда-то торопит отец.
Кажется, надо всего лишь немного терпенья,
чтобы все это вернулось ко мне наконец.

Art poetica

Я помню, как в зеркало пристально смотришься ты.
«Ты» это говорит о начале лирического сюжета,
рукопожатиях украдкой, бегстве от суеты,
влюбленности и головокружениях в самом начале лета.
Ну а можно просто по имени и фамилии, так
зарифмовывая их, словно «розы» и «слезы»,
добиваясь тем самым достоверности особенной, знак
не поэзии скорее, а «стихопрозы».
Впрочем, я немного утрирую и имя может быть
вдохновением, волхвованием, чередой согласных и гласных,
если сами по себе волхвования эти могут служить
определением поэзии законов неясных.
Но для меня спокойнее будет это абстрактное «ты» —
личные переживания в контексте собственной эмоции:

нету «тебя» и, значит, дохну от пустоты,
 почти физически ощущая тела твоего пропорции.
 Ну а когда в комнате нашей действительно никого нет,
 знаю, что ты часами перед зеркалом простаиваешь,
 себя рассматриваешь, кожу свою на просвет —
 как кровь внутри розовеет, в зеркало себя целуешь, настаиваешь
 сейчас же на ласке, когда возвращаюсь, теперь
 в тебе просыпается ребячливое что-то и на других похожее,
 тебе хочется, чтобы, когда мы любовью занимаемся,
 была приоткрыта дверь
 на лестницу и чтобы в нее могли заглянуть прохожие
 тинейджеры французские после школы.

В Париже

ты на крыше мансарды нагишом загораешь, читаешь.
 Тело горячее, потное, ну что ж ты, ниже, ниже,
 нежнее, нежнее, или не знаешь,
 как нужно... Такие лирические сюжеты вот,
 описания физической близости и переживаний,
 покрасневший, влажный и чувственный рот
 напоминает цветок китайской розы или бледные грозди герани.
 Можно, конечно, тебя по имени назвать — «имярек»
 и дальше эпитетов несколько и определений.
 «Юноша болезненный, римлянин или грек
 с другом своим актером расстался не без сожалений» —
 и далее за поэтом греческим сюжет
 раскручивать, знакомый уже заранее...
 Я лицо свое рассматриваю в зеркале и кожу на свет.
 Глаза опять слепит летнее солнце раннее,
 и ты валяешься на кровати на рю дю Тюренн,
 балуешься, на все лады коверкая мое отчество.
 Искусство поэзии в том и заключается, чтобы выбрать катрен
 и дактилем зарифмовать все, что снится потом или хочется.

Нью-Йорк: последний корабль

Представляю, как пальцы твои в этот жуткий мороз замерзли,
 да и без мороза они всегда были похожи на льдышки.
 Нью-Йорк в эти дни напоминает каток какой-нибудь возле
 райцентра советского — «Локомотив» или бакинские «Вышки».

Над людьми клубки белого пара вздрагивают, как голуби.
 Даже сабвей в эти дни ходит редко, от случая к случаю.
 Несколько сумасшедших в тулупах еще мерзнут у проруби,
 а я все никак не могу понять природу твою сучью,

мальчишечью, впрочем, это не так принципиально.
 Трамвай позвякивает на повороте, как ложечка в подстаканнике.
 Волосы твои окрашены в цвет морковный специально
 для того, чтобы на тебя обращали вниманье охранники.

Кеннеди-аэропорт — лишь место для хоккейного гульбища,
 хотя тебя всегда вид спортсменов волновал, что понятно.
 Сережки в ухе кровоточат — это от стрельбища,
 перепонки лопнуть готовы, и ты говоришь невнятно

о чем-то своем, разум твой то гаснет, то вспыхивает,
 американский сленг с русским смешивается, путается,
 как ибис алый, который то спокойно стоит, то вспархивает,
 так взгляд твой внезапно мутнеет и кровью окутывается.

Нью-Йорк — как корабль со снастями оледенелыми, льдом скован и снегом засыпан до рубки и палубы. Чтоб в тело горячее вжаться — не надо быть смелыми. Ах, как мы смеялись с тобою над этим на пару бы.

Все это — Нью-Йорк, снегом сжатый, как рукопожатием, в котором все жизни — лишь щепы для нового зарева, где ты замерзаешь, прозрачный как льдышка, где сжатием так просто тебя раздавить и не собрать уже заново.

Соседи

1. Людмила

На первое снова бульон из говядины вываренной, на второе — сама эта говядина разваренная, кости мозговые, наверное, на третье. Я не утрирую, так сутками кормила своего мужа соседка моя Людмила.

Он вывез ее из Перми, как из тундры какой-нибудь, где мяса она по благу доставать лишь могла. Затрахала солдатика прыщавого девятиклассница, дебильная, толстокожая, несовершеннолетняя.

Вот и пришлось ему ее в Москву выписывать, дуру ленивую, бревном в постели лежащую. Знаю, потому что слышал, как днем за стенкой он зло трахал ее, заставляя задницей хоть пошевелиться.

За мясом в Москву приехала, дура, второгодница. Сумками ежедневно в дом его из магазина таскала и на балконе хранила: водочку, водочку мужу поставит и мясо горячее, разваренное.

Ну что ей еще в жизни надо? Сипящего и воняющего от сивухи мужика потного под боком, мяса кусок, лучше именно говядины мороженой... Даже не лимитчица упертая, а просто женщина.

Жирное, вареное, подрагивающее мясо, нет, не мамонта, как у Вознесенского, а ничем не примечательная говядина на первое, второе и на третье.

Людоедские эти Людины привычки, школьницы с московскою пропиской.

2. Армянские кладбища

Памятник на армянском кладбище семье покойного обходится в автомашину. Я знаю это достоверно, потому что Размик рассказывал. Он сам мозаику на памятниках выкладывал — фаюмские портреты армян волооких. Конечно, он был влюблен в маму, приезжал всегда с какими-нибудь инжирами и хурмой, которая вязала десны, обещал научить искусству мозаики, чтобы на черный день всегда была профессия,

а однажды и жена его приезжала,
 вся в золоте, маленькая, как и он,
 понятно, что его на русских женщин потянуло.
 А фруктов и соседям доставалось,
 и потому они не очень ругались,
 когда он в ванной фыркал, подмываясь: любовник.
 На бутылках армянского коньяка
 золотая, красная и желтая
 гора, упирающаяся в небо,
 а вокруг нее одни кладбища армянские.
 Так, во всяком случае, мне всегда казалось.

3. Мила Рабинович

Так хочется в Израиль уехать, к морю.
 Слово секретное почти — Израиль.
 Учителя в школе, услышав его, недовольно морщатся —
 «Ну, тебе остается только в Израиль уехать».
 А Мила Рабинович кокетничает,
 оборку на розовом платье перебирает.
 Косы у нее толстые и черные,
 как усы у прусаков флегматичных.
 Я знаю, что она в школе всем щупать себя позволяет,
 крепкая, как бочонок, и сильная.
 И что там щупать? Ядра чугунные
 или пах взопревший? Была радость.
 На окне у Рабиновичей герани цветут,
 на праздники они блины приготавливают.
 И что в них нерусского — понять не могу,
 разве что марки почтовые красивые
 и альбомы, которые справа налево листать нужно:
 Израиль какой-то, страна далекая, арабская.

4. Мамины подруги

Раиса Петровна все время шила —
 для мужа, сына, потом для невестки.
 Уже глаза ничего не видели,
 а все норовила сесть за машинку.
 Татьяна Петровна была горда.
 Детьми своими гордилась, мужа от знакомых прятала,
 чтобы глаза подругам не мозолил или чтобы те
 на чужого мужика не зарились.
 Лидия Петровна всем помогала —
 больничные выписывала и лекарства доставала,
 и когда у нее вдруг схватило сердце,
 то в это даже не сразу поверилось.
 Была еще Нина Петровна
 с двумя золотыми зубами, блестящими весело,
 один ее сын уже в тюрьме отсидел в то время.
 Но она рано умерла от рака.
 На мамин день рождения
 Раиса Петровна приносила селедку «под шубой»,
 Татьяна Петровна, конечно, готовила «столичный»,
 Лидия Петровна — пирожки с яблоками,
 а Нина Петровна водку на смородине настаивала.
 Круглый стол сдвигался к окну,
 все садились на кровать и диван
 и еще табуретку у соседей одалживали,

так и праздновали весь вечер,
бабьей такой компанией,
как будто любви у них никогда и не было,
а мужья лишь так, для того, чтобы потом у метро встречали.

5. *Таня-татарка*

Таня-татарка работала в магазине,
помню, что водкой торговала, это было очень выгодно,
можно было на бутылках до нескольких десятков рублей
в день иметь — и все по-честному.
С мужьями она то сходилась, то расходилась,
поскольку они должны были быть обязательно татарами,
но тут уже самой не до выбора: родители решают.
Мама иногда вместе с ней сменщицей подрабатывала,
веселились, шутили, работали играючи, подруги.
Квартира у нее вся в коврах и покрывалах,
и дочка ее росла как роза тепличная,
звали дочку, конечно, Раей,
какое еще можно имя красивое
для девочки татарской выдумать?
Потом даже овощами Таня торговала,
это когда нехватка в кассе выявилась
и на денежно ответственный пост назначить ее нельзя было.
Но зато к праздникам помидоров можно было купить у нее,
огурцов свежих и даже хорошего мяса через соседний отдел.
Ну а уже после, когда Рая вдруг от рака умерла,
до этого у нее все волосы от облучения вылезли,
пришлось в парике ходить, мать на это облучение
все скопленные деньги потратила, и все же умерла Рая-Роза,
ну так вот, после этого Таня уже где-то директором была,
и когда я ее на поминки приглашал,
то она опять обещала продуктов достать —
свинных ножек и говяжьего языка.
Видимо, только этим и считала сама себя ценной подругой,
других достоинств за собой не замечала, Таня-Танечка.

6. *Ласточки*

Соседи все давно поумирали. Как ласточки,
вылетели с балконов своих и на кладбища приземлились.
Один я еще все сижу на балконе и вишневые косточки
выплюываю: опять мне эти соседи приснились.
Коммунальные эти споры и ссоры и пересуды,
очереди на квартиру многолетние,
одалживания друг у друга на праздники стульев и посуды,
тельняшки мужские и женские платья крепдешинные, летние.
Мальвы во дворе, кем-то с Украины вывезенные,
домино или карты или казаки-разбойники,
груднички, как щенки, матерями своими вылизанные,
благородно в колясках лежащие, как возле подъездов покойники.
Еще помню себя влюбленным в своего одноклассника,
отличника и чемпиона по фигурному катанию,
на мне платье красивое и пальто демисезонное без хлястика,
и я иду к нему делать домашнее задание.
Перед зеркалом сталинским на окраине старого города
друг от друга дотрагивание осторожное, бережное.
Жизнь — только росчерк пера без начала и повода.
И — навсегда отношение к мальчикам нежное.

* *
*

Последний снег еще в окно влетает,
и я прекрасно вижу свысока,
как он дома и крыши заметает,
и реку, что блестит издалека,

и старый парк, и небо, и частями
шоссе, и на углу его ларек...
Начало марта выстлано смертями,
как мелкой хвоей скошенный порог.

Слабеет слух и быстро меркнет зренье,
в могилу свежую не натечет воды,
и птиц какофоническое пенье
собою не заменит лебеды,

тяжелый дух и дерна запах мертвый,
но этот снег, опять зовущий в путь,
как пласт земли — тяжелый, жирный, плотный,
почти уже лежащий на грудь,

все покрывает сумерчным и сонным,
и только ты над миром, словно соть,
плывешь в своем гробу непогребенном
и разлагаешь собственную плоть.

Деревья

Так ли влюбленные ночью воркуют,
селезень селезню перышки чистит,
так ли деревья ночами волхвуют,
словно читают безумные мысли?

Бранная, брэнная и никакая
жизнь не прожита еще, не продута,
тополем семя по ветру пуская
и забываясь тревожно под утро.

Ревность истаяла и истончилась,
юность безумная перестаралась.
Только терпение не истощилось,
только невнятица речи осталась.

Эти деревья, как будто живые,
горлом идут, как зеленая пена,
раны сердечные и ножевые
все зарубцовывая постепенно.

Можно смотреть на других равнодушно
или стараться забыть свои страхи,
если же станет когда-нибудь душно,
просто расслабить ворот рубахи.



АНДРЕЙ ВОЛОС

*

ТРИ РАССКАЗА

СОБАКА

Я лежал и не спал, потому что ждал неминуемого грохота, когда Сережа двинется в темноте на водопой.

Я еще надеялся уснуть, хоть и знал определенно, что выспаться мне все равно не удастся. Дело в том, что, если засыпаешь в половине пятого утра, сон получается кисейным, с прорехами. Это в молодости было славно: голова упала на подушку — бах, и уже на той стороне. Добро, если к полудню растолкают. А теперь не так. Вдобавок собака сопит на подстилке у самого изголовья. Непривычно. Я повернулся на другой бок и протянул к ней руку. Она помедлила и молча, с осуждением лизнула ладонь: не мешай, мол. Сам не спишь, так дай другим.

Обычно она ночует в коридоре. Ни свет ни заря просыпается и начинает робко скрестись в дверь. И поскуливает. Вопросительно так: вы уже не спите? Взрослая собака, а ведет себя ровно малое дитя. Я жил однажды у друзей, и трехлетний их сын спозаранку топтался под дверью с бесконечным, словно заевшая пластинка, вопросом: «Ты спишь, Петлович?..» Вот и собака делает то же самое. Поскребет-поскребет, потом заскулит — уже не вопросительно, а возмущенно. Пойдет прогуляется на кухню. Или в ванной, мерзавка, что-нибудь уронит. И снова под дверь.

Зато ночью попробуй добудись: она вся как из непропеченного теста. На руки возьмешь — на руках спит. Голову только закинет, как пьянчуга в метро, и все дела. А под утро начинается возня и скулеж, и нет с ней никакого сладу.

Нынче ее приютили здесь, потому что в соседней комнате заночевал Сережа, и если оставить собаку в коридоре, а он, к примеру сказать, попрется среди ночи водицы испить и ненароком на нее наступит, собачке каюк. Собачка маленькая, а в Сереже сто килограммов, не считая бороды.

А пить он наверняка захочет. Шестьсот граммов водки, безрассудно закусываемой солеными огурцами, часам к шести утра превратят его железный организм в бетпакдалинский такыр. Знаете, что такое бетпакдалинский такыр? Это нечто запекшееся, растресканное. И звенит при ударе.

Сейчас я усну, а когда он двинется на водопой, с грохотом натыкаясь в темноте коридора на все подряд, я неизбежно проснусь, и проснусь самым худшим образом: с колотящимся сердцем, со сладкой слюной во рту... буду лихорадочно соображать, что же там гремит и рушится... и приведет меня в чувство только знакомый, умиротворяющий шум спускаемой в клозете воды. И, значит, весь день насмарку — невыспавшимся не больно-то поработаешь. А мне хочется доделать то, что начал, дописать наконец последние главы, подвести черту, передохнуть и через месяц-другой почитать внимательно — что же я такое сотворил?.. Досадно, что не хватает терпеху сначала довести дело до конца, а потом уж показывать. Вот и не утерпел, дал Сереже читать кое-какие куски... А он вчера нажрался и ничего мне толком не сказал. Понравилось, не понравилось... Обидно.

Есть несколько дежурных мыслей бессонницы. Одна из них — о бегстве. Я повернулся на другой бок и вообразил, как хорошо было бы уехать на месяц... на два... Приискать тихий домик на окраине небольшого городка. Окна в сад. Стол придвинуть к окну, вплотную к подоконнику. Вставать рано. Рано ложиться. Вина не пить ни в коем разе. Засыпая, видеть волшебные картинки в необъятном пространстве между веками и перламутром глазных яблок: движение людей, цветные пятна встреч и разговоров... Засыпать — и даже во сне чувствовать нетерпение: скорее бы утро, скорее бы сесть за машинку и остаться одному перед воротами ада!..

Я вздрогнул, открыл глаза и некоторое время смотрел в темноту. Точнее, это был сумрак. Было тихо-тихо. За окном мутилась жидкая, разбавленная фонарным светом ночь. А может быть, уже светало. Я лежал неподвижно и слушал тишину. Где-то далеко проехала машина. И снова все смолкло.

И вдруг собака зашевелилась на подстилке у моего изголовья.

Должно быть, она только подняла голову и тоже послушала тишину.

— Спи, дура! — сказал я, свесив голову. В другое время она была бы польщена окликом и тут же подбежала бы, виляя хвостом и заинтересованно глядя в глаза. Вместо этого она неслышно поднялась, сделала несколько беззвучных шагов по ковру и настороженно замерла. Она медленно поворачивала голову, прислушиваясь, и в какой-то момент ее глаза, обычно похожие на блестящие коричневые пуговицы, сверкнули звериным оранжевым пламенем.

И вдруг она вздохнула, встряхнулась, села на пол и стала чесаться, снова превратившись в смешную мохнатую собачонку, похожую на таксу. Нога ее часто-часто ходила вверх-вниз и всякий раз легонько стучала по полу: тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук!..

В этот момент тишина сломалась всюду: за окном хрипло и радостно заорали вороны.

Должно быть, кончилась какая-то особая, звериная минута истекающей ночи. Наверное, в эту минуту проснулись не только вороны, не только собака вскочила с теплой подстилки без видимой причины. Наверное, все дикое, хищное, неприрученное вздрогнуло сейчас от толчка опасности, от ветра ужаса, пробравшего до костей, и, замерев, стало щупать ноздрями черный воздух, пытаясь понять: не поздно ли? не в следующую ли секунду вопьются в горло чьи-то жадные клыки?..

Я чмокнул губами, и она тут же подбежала, полезла с поцелуями.

— Да отстань, — пробормотал я, закрывая лицо одеялом. — Иди спи, зверюга.

Спать ей больше явно не хотелось. Разочарованно понюхав меня, она посидела, положив голову на край постели, потом вздохнула и сделала круг по комнате, тщательно обнюхивая край ковра. Фыркнула. И вдруг, словно что-то вспомнив, пошла по диагонали в противоположный угол.

По ковру она шагала беззвучно. Зато по паркету — цок-цок-цок!

Дойдя до угла, полезла под шкаф, пофыркала.

И вернулась победительной победкой с сухарем в зубах!

То, что это был сухарь, я понял, когда она с хрустом принялась его грызть.

Я чертыхнулся. Мне хотелось спать, а она хрустела. Вскокивать и гоняться за ней по комнате, отбивая сухарь, тоже было бы безумием — после этого уж точно не заснешь.

Оставалось надеяться, что она сгрызет его быстро. Но то ли сухарь окаменел (откуда он вообще взялся?!), то ли ей хотелось растянуть редкое удовольствие...

— Редечка, — умильно сказал я, протягивая руку. — Иди сюда, собачечка, дай сухарик!

Она оставила сухарь на полу и с готовностью подбежала ко мне, приветливо блестя глазами. Может быть, она рассчитывала получить второй.

— Пошла вон! — грубо сказал я. — Принеси сухарь! Апорт!..

Редька озадаченно посмотрела на меня, извинительно вильнула хвостом, вернулась и снова захрустела.

Я вздохнул. Было понятно, что ночь кончилась. Страшно хотелось пить. Я сел и нащупал тапочки. Собака оставила сухарь и подняла голову. Когда я подошел к двери, она подбежала и приготовилась следовать за мной.

— Да куда ты! — шепотом сказал я, отпихивая ее в сторону. — Нечего тебе там делать! Наступит Сережа — и каюк... Грызи вон лучше сухарь.

Дверь крякнула и заскрипела. Я поморщился. Все кругом еще спали. Я стал затворять — она снова заскрипела. Когда осталась совсем небольшая щель, собака юркнула в нее. И оказалась вместе со мной в коридоре. «Вот дура-то!..» — в сердцах пробормотал я, оставшись в полной темноте.

Я сделал шаг и наступил собаке на лапу. В том, что она завизжала, не было ничего удивительного: поражала сила этого звука. Ошеломленный, я совершил во мраке нелепый прыжок и приземлился на сапоги. То, что это были сапоги, я понял позже, а в тот миг решил, что это снова собака, и опять прыгнул, и точно расшиб бы себе в темноте голову о косяк, если бы не схватился за что-то мягкое. Это была кипа одежды, которая тут же и обрушилась на пол вместе с вешалкой. В довершение всего из каких-то карманов высыпалась и с колокольным звоном покатила по полу мелочь.

Я замер, а Редька прижалась к ногам, жалобно постанывая от обиды и испуга.

— Кто? А? Что? А? — хрипло спросил Сережа, высунув всклокоченную голову в приоткрывшуюся дверь. — Кого?

— Это я, я... — сказал я. — Это я.

— А чего ты орешь-то? — поинтересовался он, почесываясь.

— Это не я, — сказал я. — Это собака.

— Надо же! — удивился Сережа, зевая. — А я-то подскочил: что, где... убивают?.. пожар?.. фу... Так нельзя, старик, так ведь и помереть можно... Ты что!.. Я и так вполглаза спал... всю ночь какая-то чертовщина снилась... Вдруг: трах-бах, крик-шум... Ты что, старик?

— Да собачка, понимаешь... — сказал я. — Под ноги, понимаешь.

Он уже бодро натягивал штаны.

— Так нельзя, старичок! — говорил он, выкатывая грудь и затягивая ремень. Голос его креп. — Ты что! Это ж сразу — инфаркт! Что ты, бог с тобой!.. Это просто как выстрел над ухом: бах! А я сплю — и какая-то, главное, дрянь в голове крутится все время... Париж какой-то... Лондон... Я тебе рассказывал, как я в Лондоне под чужим «мерседесом» спал?

Я не стал уточнять, до которого именно часу ночи он пытал меня этим рассказом. Я только кивнул.

— Вот-вот, — сказал он, похохатывая. — И вдруг, понимаешь, трах! Да крик какой-то! Крик-то!.. Душераздирающий!.. Это же просто уголовка сплошная! Я, старик, спросонья-то так и подумал: все, думаю, ножиком кого-то порезали насмерть!.. Сердце колотится как бешеное!.. во рту кисло!.. Бежать? самому крикнуть для начала?.. ни черта не понимаю!.. А это, значит, выхухоль эта! У, собачара!..

Он наклонился и потрепал ее по загривку. Редька тут же полезла обниматься.

— Это не выхухоль, — сказал я. — Это лифт-терьер. Ее в лифте нашли.

— Выхухоль, выхухоль! — грохотал он. — Самая настоящая.

Я пожал плечами.

Он был уже вполне одет и выглядел свежим и выспавшимся.

— Водка-то осталась?

— Откуда водка! — сказал я. — Ты помнишь хоть, сколько вчера выхлестал?

— Ну, старик! — гудел он урезонивающе. — Колосники-то горят! Ты поищи рюмашку-то, поищи!..

Я пошел искать рюмашку.

— Знаешь, — сказал я, наливая ему рюмку, — собаки, оказывается, вместе с птицами просыпаются.

— О! — отозвался он, выпив. — Собаки, старик, — это вообще кладезь! Про них писать и писать! Кто про них только не писал! И еще писать и писать! Толстой писал, Чехов писал, Бунин писал, Казаков писал... ленивый только не писал. Мой тебе совет, старик... — Он налил себе еще одну рюмку и положил на хлеб ложку горчицы. — Ты про это напиши! Про птиц, про собак! Вот прямо как мне рассказываешь — так и напиши! Это же материал! Это же не каждый может! Это увидеть надо было, старик, заметить! Хорошо, талантливо! И пойдет как из пушки — я тебе железно говорю! Это всем интересно, понимаешь? А роман твой — говно, и никто его печатать не будет... давай, старик, за все хорошее!

Он выпил, крякнул и закусил горчицей.

— Все, побегу, побегу... Извини. Ты мне вот что...

Он замолчал, раздумчиво заломив бровь и косясь на бутылку: по-видимому, размышлял, не махнуть ли на посошок.

— Ты мне, старик, вот что... Ты мне дай, старичок, на такси!.. И детективчик какой-нибудь дай! А я через пару дней верну...

Когда я приношу радужную бумажку и томик Жапризо, он, держа в руке полную рюмку, смотрит на собаку, сидящую перед ним и восторженно поедающую его блестящими коричневыми глазами.

— Нет, — говорит он с горечью. — Ну до чего же страшная собака!

И выливает водку за нижнюю губу.

МОМЕНТЫ БИФУРКАЦИИ

С. Устинову.

— А знаешь... — сказала она, поигрывая потертой туфлей: Лиза сидела нога на ногу, и при каждом покачивании туфля, державшаяся на самых концах пальцев, грозила сорваться и упасть на пол; Финистов отчетливо представил звук, с которым она коснется паркета: легкое такое туканье. — А знаешь, ты не поверишь, наверное... но мне с ним по-настоящему хорошо!

Она встряхнула седеющими волосами и посмотрела на Финистова с презрительным вызовом: знала, что он ей ничего значительного в ответ сказать не сможет.

— Почему же не поверю... — Он пожал плечами. — Пожалуйста...

— Одиночество вдвоем... — мечтательно произнесла она. — Ты даже и не знаешь, что это такое!

Он промолчал и посмотрел на часы. По идее, таксист должен был позвонить в дверь. На ее месте он бы поехал на автобусе.

— Может быть, адрес неправильно записали? — подумал он вслух.

— А ведь он старше тебя... Лет на пять, на шесть, наверное... — рассеянно произнесла она, помедлила и продолжила доверительным, если не заговорщицким тоном: — А каждую ночь он меня... ну, ты понимаешь, о чем я... три раза, а иногда и четыре!..

Финистов молчал.

— И ты представляешь, я делаю все, что он захочет! — заключила она со смущенной усмешкой.

Финистов поднес кулак ко рту и покашлял. Туфля упала на пол ровно с тем звуком, которого он ждал.

— Нет, ну ты представляешь!.. — повторила Лиза, округляя глаза. — Я и подумать не могла!..

— Бывает... — пробормотал он.

Она тяжело выпрыгнула из кресла и наотмашь ударила его по лицу сумкой.

— Что ты! — вскрикнул он, закрываясь руками. — Ты что!..

— Чурбан! — визжала она, стараясь добраться до него ногтями. — Какая же сволочь!..

Он отшвырнул ее к дивану, и она повалилась, завыв.

— Сво-о-о-лочь!.. — выговаривала она сквозь рыдания. — Ну почему, почему ты такой!.. Ну почему-у-у-у!.. — Она принялась бить кулаками подушку. — Почему-у-у-у!.. Ну скажи мне хоть что-нибудь! Ну скажи ты хоть что-нибудь человеческое!.. Я останусь!.. Ну почему-у-у-у!..

— Что ты заладила — почему да почему!.. — сказал он и снова потер щеку, по которой пришелся удар.

Почему, почему... Что он мог ей сказать? Она и сама прекрасно знала, почему: потому что он такой человек. Почему, почему... Он такой, потому что такой. Она такая, потому что такая. И дело с концом.

Нет, конечно, про каждого можно объяснить, как он таким сделался. Именно таким, а не другим. Она-то про себя никогда не думала — почему она такая. А он знал про себя — почему он такой. И ей рассказывал. Когда-то это ей нравилось. Она говорила: ученый ты мой... мыслитель... Ласково смеялась...

Финистов вздохнул.

К тому времени, когда ему удалось понять весь механизм мира, наконец-то избавившись от томительного ощущения потерянности и осознав себя единственно верно — элементом неохватной по размерам и сложности, но все же законопослушной машины, он полюбил копаться в памяти, обнаруживая подчас пустяковые обстоятельства жизни, которые по прошествии времени приобретали смысл и превращались в события огромной важности. Главным из них было, конечно, то, что он увидел железочку на тротуаре.

Ему было тогда тринадцать лет... или четырнадцать? Он шатался по городу и увидел вдруг блестящую железочку, валяющуюся на асфальте. Он поднял ее и побрел дальше, рассматривая изгибы и дырки и раздумывая об их техническом назначении. Кто-то тратил время и силы, выделявая этот кусок металла с помощью неведомых ему станков и инструментов. Придуманная для того, чтобы жужжать и крутиться в какой-то полезной людям машине, железка бессмысленно ржавела на тротуаре. А полезная машина, может быть, вышла из строя, потому что не было под рукой вот такой мелкой железки, и теперь люди страдали или — кто знал! — даже погибали из-за этого!

В тот-то момент и представился его воображению некий огромный каталог, список всего на свете, в котором будет учтен каждый элемент мира — до самых незначительных, до самых бросовых железочек, лежащих на тротуарах!

Ему было тринадцать лет или четырнадцать; идея обожгла мозг, и он остановился, потрясенный. Конечно, придется потратить много сил, чтобы составить каталог, но зато сколько пользы можно будет потом из него извлечь! Например, арктический ледокол попал в аварию из-за поломки машины и нет возможности поправить дело без пустяковой запчасти. Толстые льды вплотную подойдут к его бортам, грозя гибелью и кораблю, и экипажу. Но капитан посоветуется с механиком, раскроет этот волшебный каталог и поведет пальцем, ища нужную графу; и вот найдет и с победной улыбкой покажет механику: вот же она! есть такая железочка! она точь-в-точь подходит взамен вышедшей из строя! она лежит на тротуаре в городе Хуррамабаде, на улице Гоголя, сразу за баней! И тут же отдаст короткое приказание, и застрекочет вертолет, поднимаясь с палубы, и помчит в нужном направлении, чтобы скоро вернуться со спасительной железочкой!..

В дверь позвонили.

— Такси вызывали? — спросил человек в кепке, когда Финистов отпер.

— Сейчас, сейчас... — ответил он. — Минуточку.

И придвинул чемоданы к самому порогу.

— Нести, что ли? — угрюмо спросил таксист. — Это за отдельную плату.

— Она заплатит, — сказал Финистов.

Лиза стояла перед зеркалом в ванной и пудрила нос.

— По-хорошему, тебе нужно лечиться, — сказала она, щелкнув замком сумки. — Ты клинический псих. Ты сумасшедший, понимаешь? У тебя тараканы в голове всегда были, а уж теперь... — Она махнула рукой и вышла из ванной.

Напоследок обернулась от лифта и сказала с горечью:

— Прощай, придурок...

Финистов захлопнул дверь и несколько секунд стоял, не выпуская из пальцев прохладный металл собачки.

По чести сказать, она сама была с придурью. Его это всегда поражало до глубины души: существо, в крашеной голове которого нет мысли серьезнее, чем о котлетах на ужин, всерьез считает его умалишенным! Тьфу, дура!.. Чего стоит одна только ее бесконечная болтовня! Трандычит, трандычит, потом запнется, вытаращится и спрашивает: «Да что же ты всегда молчишь?!» Что ему сказать? Котлеты вызывали у него интерес разве что только гастрономический, да и то в чисто потребительском аспекте. А то, о чем он не прочь был бы побеседовать, наводило ее на мысли о сумасшедшем доме.

Нет, он вовсе не был сумасшедшим. Ну вот, например, что касается каталога. Даже в свои тринадцать лет он отдавал себе отчет в том, какая титаническая работа потребуется для составления действительно полного каталога! И не только для составления, но и для дальнейшего поддержания этого всеохватного списка в порядке. Придется неустанно редактировать его, приводить в соответствие с изменением положения предметов в пространстве. В этой области виделись ему и такие проблемы, которые вовсе не могли быть решены вполне и грозили вечно маячить, портя своим присутствием совершенство каталога. Как, например, поступать с вещами, самым предназначением которых является движение, — автомобилями, самолетами, кораблями? Как ни спеши, пытаясь внести в каталог изменения, соответствующие их нынешнему положению, а все же не успеешь — и всегда из-за этого в каталоге будут досадные неточности... Или птицы, животные: с ними тоже предвиделось много мороки, их беспрестанная суетливая беготня грозила стать серьезным препятствием на пути поддержания списка в должном порядке, а это, в свою очередь, могло внести сумятицу в деятельность многих учреждений. Например, охотхозяйств: в списке отмечено, что такой-то и такой-то зверь располагается там-то и там-то, а ловцы, руководствуясь этими данными, обнаруживают в указанном месте его полное отсутствие — и все потому, что тот успел переместиться со времени последней редакции списка!

То же касалось и насекомых. Вообще, чем мельче были предметы, тем сложнее было за ними следить. Трудно было с морями, с океанами: мало того, что глубины их довольно слабо изучены, так они еще и набиты всякой полуневидимой мелочью!.. А между тем совершенный список, полный и последовательно составленный, должен был, по его тайному разумению, включать в себя все вплоть до пылинок, причем каждую следовало описать отдельно. Только тогда, размышляя он, появится уверенность в том, что в ковше экскаватора, который грузит строительный песок, не потеряется ни одной золотой крупички...

Он поднял трубку зазвонившего телефона и сказал:

— Алло!

Через секунду на лбу стали заметны две глубокие морщины.

— Нет, все нормально, — сказал он. — А что?

Морщины сделались глубже.

— Нет, я не могу сейчас, — сказал он и сел на стул.

За окном, оказывается, моросило.

— Нет-нет, не получится... — сказал он и добавил после паузы: — А я-то что могу сделать!

Комната была почти пустой, и эхо его голоса гуляло по углам.

— Завтра, — сказал он. — Или даже послезавтра.

Слушая, Финистов снова наморщил лоб.

— Нет-нет, откуда... Послезавтра.

Было слышно, как в шахте загудел и поехал лифт.

— А Верка-то где? — спросил он. — Ну вот видишь! Я же не виноват, что она в командировке! А если бы я был в командировке, тогда что?

«Может быть, это ко мне...» — подумал он. Но лифт проехал мимо.

— Да у меня и денег-то нет! Ну что ты, в самом деле!..

Он ерзнул на стуле.

— Ну ладно, ладно... если отдашь... Сколько? Два, что ли? Хорошо, минут через пятнадцать... не знаю...

Он положил трубку и стал смотреть в окно. Потом надел плащ, сунул в карман авоську, захлопнул за собой дверь и проверил, хорошо ли она закрылась.

Ему нужно было купить два пакета молока, и уже через пять минут Финистов встал последним в небольшую очередь к молочному отделу.

С годами он стал понимать, что, как это ни обидно, никакие усилия по созданию мыслимого им каталога не могут привести к успеху. Очевидная несообразность мирового устройства терзала его слабый мозг полной своей неразрешимостью. К сожалению, мир был настолько подвижен, что не мог уложиться в сколь угодно полное, но статическое содержание списка. Погруженный в поиски решения и подавляемый отсутствием такового, он бы, наверное, в конце концов спился с круга, если бы не был однажды озарен светом идеи, устраняющей все противоречия.

Он в ту пору размышлял о колебаниях. По его разумению, они хоть и являлись элементами предметного мира, но не требовали каталогизации, поскольку все — от трепетания листа на ветке до пульсирования электромагнитного поля в мультивибраторе — описывались одним строгим законом. Зная этот закон, можно было расчислить каждое из них... Тут-то его и ослепило, и он едва не потерял сознание от мучительной, болезненной простоты своего решения: не только колебания, но и все другое подчинено единому закону!

Мир стал похож на чудовищно сложный, но все же исправно действующий часовой механизм. Мириады колесиков, цепляясь друг за друга, гармонично вращались не выходя из строя, не спеша и не отставая. Некоторые из них, отработав свое, превращались в другие, меняя форму, но по-прежнему четко находя затем свое место в этих часах.

Все зависело от всего, и зависело однозначно. Слово «случайность» потеряло смысл, поскольку ничего случайного никогда не происходило. Каждый атом являлся шестеренкой, вращение которой было строго закономерным; молекула представляла собой набор шестеренок и, в свою очередь, выполняла роль шестерни покрупнее; цепляясь друг за друга, они образовывали еще более крупный элемент механизма, который был жестко связан с подобными ему, — и так до солнечных систем и галактик. Зная закон, можно было расчислить все — форму тучи, которая проплывет завтра над крышей, количество капель дождя, траекторию каждой из них и время, когда можно будет увидеть радуго. Никакой каталог, никакой список не был нужен, потому что местоположение всех на свете железочек и всего вообще можно было узнать и так.

— Два пакета молока, — сказал он, протягивая деньги.

Движение его руки было единственно возможным: рука движется потому, что подан сигнал из коры головного мозга и есть энергетические ресурсы, необходимые для этого движения; они, в свою очередь, строго обусловлены возможностью расщепления питательных веществ и тонким химизмом тех процессов, что идут в мозгу: молекулы сцепляются на время, а потом расстаются, обменявшись атомами и обоюдно изменившись...

Все это происходит единственно возможным образом, который может быть заранее расчислен, если знать закон. Поэтому слово «воля» тоже не имеет смысла — ни применительно к движению его руки, протягивающей деньги продавщице, ни применительно к продавщице, выставляющей на прилавок два пакета молока... Что есть воля, если она — всего лишь элемент в жесткой цепи привязанных друг к другу событий?..

Он вошел в подъезд дома, в котором пролетело детство, и стал подниматься по лестнице. В сущности, открытие Финистова можно было бы назвать Богом — если только представление о Боге допускает его полное отсутствие.

— Костюша, ты? — слабо спросила мать из комнаты.

— Я, я... — сказал Финистов, разуваясь. — Что Верка-то по командировкам все мотается без конца... Не надоело?

— У нее же работа такая, Костюша... — сказала мать извиняющимся тоном, когда он вошел в комнату. — Как же быть-то ей?.. Сестра тебе все-таки...

— У нее работа, а я отдувайся... — негромко сказал он. — Да ладно, чего уж. Вот молоко. Куда его?

Мать, как почти всегда последние два или три года, лежала на диване под вытертым одеялом. В детстве Финистов тоже любил валяться под ним, бездумно теребя шелковый ярлычок, на котором было написано «Одеяло п/ш». «Мам, что такое пэшэ?» — спрашивал он. «Сынок, ну какое еще пэшэ! — говорила мать. — Отстань! Ты уроки сделал?..» В конце концов он сам догадался — полушерстяное, вот что такое «п/ш».

— Лиза от меня уехала... — неожиданно для самого себя сказал Финистов. Ему хотелось всхлипнуть. Наклонив голову, он выставлял пакеты на стол.

— Куда? — удивилась мать, приподнявшись на локте.

— Совсем уехала, — ответил он, посмотрев ей в глаза. Глаза у матери за время болезни совсем выцвели и стали голубыми, как простокваша. — Бросила она меня, — равнодушно добавил он. — Я теперь один живу — вот и все.

— Да как же так, Костюша! — ахнула она, ласково и жалостно рассматривая его сухое, скуластое, с близко посаженными глазами лицо. — Нехорошо одному-то!..

— Хорошо, нехорошо... — отмахнулся он. — Уехала — вот и все. Не любила она меня. Что я могу сделать?..

— Злыдни, злыдни! — горячо прошептала мать, не сводя с него глаз. — И мать-то у нее такая была! Бывало, скажешь: Наталья Михайловна, а как ваше здоровье-то? А она — фырк! Хорошо, мол! Злыдни! Да ты не убивайся так, Костенька, — сказала она почти плача. — Ты себе лучше найдешь! Еще лучше! Разве мало женщин кругом? Ты ведь видный такой мужчина, добрый... У тебя образование!

Он молчал, глядя в окно. Что вообще можно сделать, если сделать ничего нельзя?

— Ладно, пойду я, — сказал он, комкая авоську.

— Может быть, ко мне переедешь? — спросила мать и закашлялась.

Финистов терпеливо ждал — сейчас она бы не услышала его ответа.

— Нет, — сказал он, когда приступ утих. — Я люблю один жить.

— Ой, а я вот не люблю... — сказала она, слабо улыбаясь. — Вот не знаю уже... Может, к кому-нибудь из вас-то и пойду... К тебе или к Верке, что ли.

— Лучше к Верке, — сказал Финистов после короткого раздумья. — У нее там магазины хорошие. И рынок недалеко...

— Что мне магазины! — Она махнула рукой. — Тяжело мне одной, Костюша! Забрали бы вы меня! Или уж хоть бы в дом престарелых какой устроили!..

— В дом престарелых? — задумчиво переспросил он. — Не знаю... Ну, как тебе лучше, так и сделаем. Хочешь к Верке — давай к Верке. Хочешь в дом престарелых — давай туда попробуем... Тебе как лучше-то?

— Ой, не знаю! — шепнула мать, закрывая глаза. — Прямо не знаю!..

— В общем, пойду я. Деньги-то где, мам?

— Ох, правда, деньги! — слабо всполошилась она. — Вон на столе возьми! Чуть не забыла!..

Финистов смел в ладонь монеты.

— Тебе пенсию-то носят? — спросил он от двери, сунув ногу в ботинок.

— Давно уже не было, — прошелестела мать. — Задерживают все... Вот жду...

— А... — протянул он, внимательно рассматривая в зеркале собственное отражение. — Ладно, пока.

Пройдя два квартала, он остановился на углу и задрал голову. Дождь моросил, но было тепло. Последние несколько лет его мучил вопрос: каким было начало? кто запустил механизм? кто пригнал друг к другу его подвижные части?

В сущности, это был вопрос побочный, не практический. Главным было другое: познать закон, понять и постигнуть его численно и обладать полным знанием обо всем.

Он помедлил, глядя в сторону киоска и размышляя, не выпить ли кружку пива. Кто-то махнул ему, и Финистов сощурился, вглядываясь. Костровский?..

— Не узнаешь, старый черт! — Костровский располнел, раздался, морда стала красная. — Давай, давай! — Он крепко взял Финистова за рукав и потянул. — Не раздумывай! Тебе пару, что ли?

— Да у меня и денег нет, — сказал Финистов, смеясь и пожимая ему руку. — Честно!

— Вот удивил! — Костровский захохотал и хлопнул его по плечу. — Вот уж удивил! Ты бы меня удивил, если бы сказал: Серега, я тебя сейчас пивом напою! Вот бы удивил! Когда у тебя деньги-то были? Пару, спрашиваю?

— Давай пару, — согласился он. — С деньгами — это да... А что я могу сделать? Это же не от меня зависит... куда деваться?

Костровский качал головой, сдувая пену.

— Ты где сейчас-то?

Финистов неопределенно пожал плечами.

— Да так, не особенно занят. А ты?

— Там же все! В том же болоте! Эх, Костяк, жизнь-то как быстро летит, а! — Костровский уже принял, и настроение у него было отчетливо философское. — И каждый день уносит, как говорится... А впереди-то у нас что? Вот ведь дело в чем: темнота, Костяк, темнота!

— Ни черта не темнота, — возразил Финистов. — Полная ясность. Нам мешает только недостаток информации. Будущее знать можно. Фактически, оно уже как бы есть, поскольку описывается единым законом. Существует его проект, от которого никоим образом нельзя отклониться. Понимаешь — закон! Дело за малым: собрать информацию, обобщить и закон этот вывести. И все! Полная ясность!

— Как это? — удивился Костровский.

Финистов вздохнул, отставил пустую кружку, придвинул полную и стал рассказывать — как.

Когда он закончил, Костровский неожиданно захохотал, хлопая его по плечу и толкая пузом.

— Что с тобой? — недовольно спросил Финистов, брезгливо отстраняясь.

— Неучем ты, Костяк, был, неучем и остался, — добродушно сообщил тот, похохатывая. — Ну, уморил! Давай еще по одной, что ли?

— Чем я тебя уморил? — холодно спросил Финистов, глядя в его заплаканные глаза.

— Да ладно, что ты, в самом деле! Давай еще по одной!

— Нет, ты скажи!

— Да брось, что ты! Вот пристал!

— Нет, уж ты скажи! Чем это я тебя уморил?

— Чем уморил? — переспросил Костровский, переставая придуриваться. Он опасно сощурился. — Чем уморил, говоришь? Ты про моменты бифуркации слышал когда-нибудь?

Тон его был неожиданно серьезен, и Финистов отчего-то весь похолодел.

— Нет, — ответил он, пытаясь презрительно улыбаться.

— То-то и оно, что нет... иначе бы не городил ахинею... — Костровский фыркнул. — В любой более или менее сложной системе наступает момент, когда нельзя определить, по какому из альтернативных путей пойдет дальнейшее развитие. Даже обладая всей информацией! Вот именно в твоем смысле всей: до последней железочки!.. Знаешь все про железочки — а толку чуть! Ты понял? Вещь важная...

— И что? — тупо спросил Финистов, помимо собственной воли поняв почти все.

— Да ничего! — Костровский рассердился: — Ничего! Кроме того, что мир принципиально непредсказуем! Вот и все! А больше — ничего!.. Ну что, еще давай по одной, что ли... — предложил он, остывая.

Это было так страшно, что Финистов почему-то выплеснул остатки пива в его жирную физиономию и двинулся прочь по абсолютной прямой. Костровский что-то орал ему вслед, но он не слышал. Кружка выпала из его руки на пятом шаге, а на седьмом он ступил на мостовую.

Визг тормозов был совершенно бесполезен.

Его подбросило вверх, а затем он рухнул на асфальт в трех метрах от остановившегося грузовика.

— А-а-а-а!.. — заорал Костровский, срываясь с места. — Костя-а-а-ак!..

Голова Финистова, со стуком ударившись о гранитный бордюр, неожиданно легко раскололась на две примерно равные части.

— Да что же это!.. — пролепетал Костровский, тяжело падая на колени и заламывая руки. — Что же это!..

Водитель заглушил двигатель.

Воздух дрожал от напряжения, и было похоже, что из расколотой головы Финистова сыпались миллионы золотых шестеренок.

ТАДЖИКСКИЕ ИГРЫ

Ах, восточные переводы!
Как болит от вас голова!..

Арсений Тарковский.

В ту пору, когда искусство было не только вечно, но и многонационально, позвонил мне приятель из редакции журнала «Памиро-Алай» и спросил, не хочу ли я перевести статью одного известного драматурга о Кайраккумском землетрясении. Драматург был родом из тех мест и сразу после несчастья поехал проведать родных. Увиденное так потрясло его, что он написал публицистическую статью, которую мне и предлагали перевести.

— А подстрочник готов? — спросил я.

Не знаю, насколько распространена практика работы с подстрочными переводами в других странах. Не исключено, что в других странах все переводчики знают языки, на которых написаны переводимые ими произведения, и подстрочный перевод им не нужен. Но в нашей стране в ту пору, когда искусство было не только многонационально, но и хорошо оплачиваемо, переводчики были готовы переводить с любого языка в диапазоне от абхазского до якутского. Разумеется, они не могли знать все эти языки в совершенстве. Вот тогда-то и приходил на помощь подстрочный перевод!

По заказу редакции какой-нибудь отставной учитель химии из пригородного кишлака садился и за гроши перепирал вдохновенный текст соплеменника на русский язык — строка за строкой, строка за строкой... Единственное, чего он не мог себе позволить, — это ошибиться в количестве строк, поскольку любая ошибка такого рода самым жестоким образом сказалась бы на его гонораре.

Понятно, что текст не мог не утратить художественности — даже в том случае, если она в нем изначально присутствовала. Дело оставалось за малым — поднять высокое искусство из пепла. Этим-то и занимался рифмач-переводчик — как правило, руководствуясь только той бессвязицей, что вышла из-под пера создателя подстрочного перевода, да туманными представлениями о чужой культуре, почерпнутыми в процессе двух или трех застолий.

— Кажется, готов, — уклончиво ответил приятель. — Ты с автором свяжись и выясни.

Я записал телефон.

Автора звали... впрочем, средства русского языка все равно не позволяют точно передать звучание этого имени. В таджикском существует ряд специфических гортанных звуков, обозначаемых на письме прибавлением разнообразных хвостиков к обычным буквам кириллицы. Кроме того, есть слова, в которых после гласной стоит твердый знак. Эта комбинация говорит о том, что гласный следует при произношении не то чтобы удвоить, а как-то так особенно придыхнуть. В имени и фамилии драматурга почти все эти особенности присутствовали в полной мере. Поэтому в самом первом приближении будем звать его Агзам.

— Пастрочник? — легко удивился он, когда я задал свой вопрос. — Э-э-э, пастрочник-мастрочник! Приходите, сядем поговорим! Что мы с вами по телефону! Будет вам пастрочник-мастрочник!..

Я пришел.

Агзам встретил меня в прихожей. Это был худощавый человек лет пятидесяти, рябой, плешивый и несколько скособоченный. Живот у него был расположен до странности низко и выпирал углом.

Смолоду меня поражало, сколько уродов в рядах литераторов. Однако уже в те годы я никогда не забывал о возможности трагического несоответствия формы и содержания.

— О-о-о-о! — протягивая мне руки, запел он сладкую восточную песню, когда я переступил порог. — Как рад, как рад! Столько слышал! Наконец-то!..

Я на сто процентов был уверен, что ни черта он обо мне не слышал. Но обычай есть обычай. Поэтому я тоже протянул руки и стал отвечать, щеголяя итогами двухмесячного ликбеза:

— Шумо чхел? Сихат-саломат? Нагз-ми? Дуруст-ми? Тинч-ми?..

Мы долго жали друг другу ладони, бормоча приветствия и одновременно мелкими-мелкими шажочками перемещаясь в сторону комнаты.

В комнате уже был накрыт стол. Блистало стекло. Благоухали свежие, только что доставленные с Путовского базара лепешки. Сверкала каплями воды зелень.

— Перевод — высокое искусство! — сказал Агзам, когда мы выпили по первой большой рюмке хоть и хуррамабадской, но холодной водки.

Я согласился, заметив мельком, что высоким искусством можно считать лишь перевод с оригинала. Что же касается перевода с подстрочника... — я смущенно пожал плечами.

— А! Пастрочник-мастрочник! — решительно оборвал он меня. — Зачем он нужен, этот пастрочник-мастрочник! Перевод с пастрочника — это пацлуй через стекло!.. За литературу!

Мы выпили. На этот раз я закусил мелко порезанной зеленью с кислым молоком.

— Пастрочник — это профанация литературы! — воскликнул Агзам.

Я кивнул. Мы выпили еще по рюмке, и я рассказал историю о том, как мне в первый раз прислали подстрочники стихотворений.

Имя автора мне ничего не говорило, но я был взволнован — передо мной открывались двери в литературу! Лично для меня это были единственные двери в литературу — стихов моих редакторы не только не печатали, но даже, сдается мне, и не читали. Мудрая моя старенькая бабушка, переживавшая вместе со мной все неудачи моей литературной карьеры, настойчиво рекомендовала писать стихи более жизненные. «Да разве у меня не жизненные! — возражал я. — Разве про любовь — это не жизненно?! Разве про смерть — это не жизненно?!» — «Про смерть — жизненно?.. — сомневалась бабушка. — А ты про хлопок напиши! — наступала она. — Про хлопок — тоже жизненно! Твой дед хлопок сеял! Вот и напиши про хлопок! Про Рагунскую ГЭС напиши! Напечатают — про любовь принесешь...» Мне хотелось, чтобы мои стихи печатали, и я старался написать про хлопок и про Рагунскую ГЭС, но ни черта не выходило — видимо, потому, что я не был ни хлопкоробом, ни энергетиком.

Дверь раскрылась, и улыбающаяся женщина внесла огромное глубокое блюдо. От блюда валил пар. Это был суп из говядины, айвы, чеснока, нута, рейхана, кинзы, корней петрушки и картофеля.

— Ну? — спросил Агзам, когда мы еще раз выпили и как следует закусили.

Итак, я получил четыре подстрочника. На первый взгляд они казались совершенно бессвязными. Особенно поразило меня стихотворение, называвшееся «Родина» (остальные вместо заголовков довольствовались звездочками). Оно состояло из трех строф, каждая из которых представляла собой нечто вроде убогого уравнения, изложенного не цифрами, а корявым языком, изобилующим массой грамматических нелепиц. Это уж позже я понял, что подстрочными переводами занимаются, как правило, люди, оба языка знающие понаслышке, а тогда мне это было невдомек.

В первой строфе утверждалось, что тело земли плюс мое тело есть тело родины. Во второй — что если из тела родины вычесть землю, останется мое тело. В третьей было сказано, что если произвести операцию вычитания моего тела из тела родины, итогом явится земля.

Я начал переводить.

Разумеется, я не стал бы ничем таким заниматься, если бы мог хоть на секунду предположить, что автор предложенной мне в подстрочном переводе абракадабры — это поэт во многих отношениях выдающийся, а его стихотворение «Родина» — такое же известное у таджиков произведение, как у нас «В лесу родилась елочка» или «Гори, гори, моя звезда». Но я этого не знал. И мне ничего не оставалось, кроме как взяться за работу. Она оказалась довольно мучительной. Я просто не мог себе представить, как можно эту дурную арифметику переложить на язык Пушкина. Я черкал страницу за страницей, пытаясь добиться хоть какого-нибудь сходства и томясь полной невозможностью сделать это... В конце концов я создал текст, который более или менее удовлетворил мои художнические претензии. Он не имел ничего общего с первоисточником, но был, на мой взгляд, абсолютно прозрачен. «Я по твоей земле хожу, — бормотал я, с удовольствием отмечая, что перевод, если быть до конца честным, оказался лучше оригинала, — твоих богов молю о счастье... твоей шерстинкою запястье от хвори я перевяжу!..»

Когда сделанное мною вылезло на свет Божий, один мой хуррамабадский друг сказал в сердцах:

— Шерстинкой!.. Эх ты, переводчик! Какой шерстинкой?! Ну, ты само посуди — какой шерстинкой?! Таджикки — племя арийское, земледельческое! Нет, ну так же нельзя, честное слово! Ты бы хоть поинтересовался чем-нибудь для начала! Шерстинки — это тюркские заморочки, скотоводческие! Все эти шерстинки степь русским подарила — степь! кипчаки!.. А таджикки — арийцы! земледельцы!.. От хвори они прикладывают к глазу клок соломы!.. Э-э-э-эх ты!.. Тоже мне — переводчик!..

— Вот! — сказал Агзам, поднимая кверху указательный палец. — Я же говорю: пастрочник — это профанация литературы! Это... — он помедлил, наполняя рюмки, — просто ерунда какая-то, эти пастрочники! Зачем они нужны! Совсем не нужны эти пастрочники!

— Ну а с другой-то стороны — куда от них деваться? — возразил я. — Конечно, если человек знает язык в совершенстве — тогда другое дело. Но я-то только начал!.. Нет, — сказал я, смеясь, — нам с вами, Агзам, без пастрочника никак!

Агзам покачал головой:

— Да ничего, ничего!.. Зачем он нужен, этот пастрочник! Мы и без пастрочника все переведем!

И он с некоторой поспешностью предложил выпить.

— Я что-то не пойму... — сказал я. — Вы что, не заказывали пастрочник?

— А! — Агзам преувеличенно беззаботно махнул рукой. — Зачем он нужен, пастрочник-мастрочник!

Мне это уже стало надоедать.

— Так закажите, — предложил я.

— Не успеем, — ответил он со вздохом. — Я в понедельник улетаю в Ташкент. Пока то, пока се, пока туда-сюда, пока закажем пастрочник, пока переведут... А статья поставлена в пятый номер!

— Ну хорошо, — сказал я и в свою очередь вздохнул, прикинув соотношение работы и гонорара. — Давайте оригинал, я сам сделаю пастрочник. Мне хорошо для практики, — добавил я, пытаюсь обнаружить в этой ситуации хоть какой-нибудь плюс. — Ничего — посижу со словарем, переведу! Ну что делать, если в пятый номер!

Агзам пригорюнился.

— Нет оригинала, — сказал он, разводя руками. — Я не писал оригинал!

Я недоверчиво рассмеялся:

— Да как же без оригинала-то?! Какой же может быть перевод, если нет оригинала?!

— Зачем он нужен, оригинал-маргинал! — с напускной беззаботностью отмахнулся Агзам. — Я и так вам все расскажу — отличный перевод получится!

Так оно и вышло. Три дня подряд я приходил к нему рано утром, и мы садились за большой письменный стол. Агзам раскрывал свою записную книжку и, в упор глядя на меня сквозь очки, рассказывал о том, как он приехал в Кайраккум на следующий день после землетрясения. Для начала он без тени улыбки произносил что-нибудь в таком духе: «Страшный удар стихии обрушился на город, полный боевых коммунистов».

— Это что значит, Агзам? — осторожно спрашивал я.

Агзам закрывал блокнот, снимал очки и разъяснял мне, посасывая дужку:

— Понимаете, если бы не коммунисты, страшный удар стихии разрушил бы весь город. Коммунисты приняли на себя удар, и город сохранился. Понимаете?

Честно говоря, у меня ум за разум заходил.

— Понимаю, — говорил я. — Скажите, вы там были? Вы видели это своими глазами?

— Конечно! — обижался он. — Я же говорил — я приехал в субботу, а перед этим в пятницу...

— Что именно вы видели? — не отступал я. — Конкретно!

Он раскрывал блокнот, цеплял очки и читал, поглядывая на меня на этот раз уже поверх стекол:

— Партийная организация города, возглавляемая городским комитетом партии, грудью встала на защиту населения...

Я поражался — ведь он записывал это, расхаживая по искалеченному городу и наблюдая живые картины человеческого несчастья!.. Что мне было с ним делать? Когда мне удавалось навести Агзама на разговор о

том, что он действительно *видел* в городе на следующий день после землетрясения, он с недовольным вздохом закрывал блокнот, хмурился, и было похоже, что он рассматривает беседы на эти темы как чистую потерю времени или, на худой конец, законный перерыв в напряженной и плодотворной работе.

Отчасти благодаря моей настырности, отчасти же тому, что ровно в тринадцать ноль-ноль нас приглашали в другую комнату, где был накрыт стол, а после двухсот граммов холодной хуррамабадской водки рассказы Агзама о его поездке несколько очеловечивались, мне удалось вытянуть из него небольшую толику живых подробностей.

В воскресенье мы с ним отобедали в последний раз. На первое был подан суп из черной травы — сиё-алаф, на второе — пряная баранина, запеченная в тесте. Пошатываясь в прихожей, мы долго жали друг другу руки. «Замечательная статья! — говорил я. — Замечательный будет перевод!..» Агзам смущенно отмахивался: «А, подумаешь!.. Публицистика!.. Видишь, а ты говоришь — пастрочник-мастрочник! Кому он нужен, пастрочник-мастрочник!..»

На следующий день он отбывал в Ташкент, в мои же задачи входило немедленно создать текст и в трехдневный срок представить его в редакцию журнала «Памиро-Алай».

Скажу без ложной скромности: я его создал.

Эпизоды довольно ловко прилепились один к другому. Мысль в эту композицию, как в «Войну и мир», была вложена истинно народная — Агзам мельком упомянул, что заезжал в кишлак к родственникам, и в этом кишлаке дома, построенные по новомодной технологии, то есть богато украшенные резным ганчем¹ и деревом, но не имеющие в глинобитных стенах вперекрест заложённых каркасных балок, сильно порушились, и еще счастье, что никто не пострадал. Старые же дома, построенные по заветам предков, остались стоять как ни в чем не бывало — только кое-где выпали глиняные сегменты из промежутков между балками. Это свидетельствовало о том, что народная культура способна уберечь человека от многих несчастий. Конец очерка должен был быть оптимистичным: автор уезжает из разрушенного города, сердце его полно скорби, но тут он видит нечто такое, что позволяет ему утвердиться в мысли, что жизнь продолжится, народ непобедим, а стихия преходяща. Но вот что именно?

Может быть, пришло мне в голову, он видит играющих детей? Дети снова играют — значит, несчастье позади! А играют они в какую-то такую чисто народную, национальную игру... Но какую? Я понял, что не знаю ни одной национальной таджикской игры!.. Я снова и снова вспоминал свое хуррамабадское детство... Черт, у нас все игры были русские! Прятки, казаки-разбойники... Что-то вроде городков... И ни одной таджикской!

Мой друг Зиё тоже был поэтом, но вдобавок еще и членом Союза писателей. В ту пору он работал в аппарате Союза — в отделе пропаганды. В его обязанность входило трезвонить на предприятия города и в близлежащие колхозы в попытках организовать выезд писателей на поля и заводы. Иногда ему это удавалось. Организаторская деятельность оставляла ему довольно много времени для основного занятия — поэзии. Зайдя к нему в кабинет, всегда можно было обнаружить пару-другую таких же молодых поэтов. Они сидели вокруг стола, пили чай и говорили о стихах.

Так было и на этот раз.

— О-о-о! — протяжно воскликнул Зиё, поднялся из-за стола и пошел на меня, раскрыв объятия. — О-о-о-о-о!..

Мы троекратно поцеловались.

— Нагз-ми? — говорил я, пожимая руки всем по очереди. — Чхел? Тинч-ми? Сихат-саломат?..

¹ Г а н ч — разновидность алебаstra, применяемая для отделочных работ.

— Как жизинь? — спрашивал Зиё. — Все в порядке? Как дома? Все благополучно? Все о'кей?

— Все нормально, — сказал я. — Перевел эту дурацкую статью. Только конец никак не могу перевести. Там, видишь ли, по моему замыслу дети должны играть в какую-нибудь национальную игру. Понимаешь? А я не знаю — в какую именно. Какие бывают таджикские игры?

— А как в оригинале-то? — поинтересовался Рахмат.

— Э! — я махнул рукой. — В оригинале! Если бы я знал, как в оригинале!

Я рассказал им про оригинал.

— Поня-я-ятно... — протянул еще один поэт — Низом. Он обвел присутствующих взглядом и сказал: — *Мумкин², рахгатон?*

И первый же прыснул.

Я не знал, что такое *рахгатон*.

Зиё смущенно хохотал, сконфуженно закрывая рот ладонью. Узкоглазый, тюркского обличья Низом трясся, утирая слезы.

— Что такое *рахгатон*? — спросил я.

Зиё никогда не мог никого обмануть.

— Понимаешь, — сказал он и беспомощно оглянулся на приятелей. Те продолжали посмеиваться, но было заметно, что им неловко. — Понимаешь, это такая игра... ну, не игра, а... развлечение... это когда дети... не маленькие дети, а большие такие дети... — он неопределенно помахал рукой, — э-э-э... подростки... берут ослицу... и... понимаешь?

— Понимаю, — хмуро сказал я. — Хорошая игра. Особенно после землетрясения...

— Ну, не обижайся, — сказал Зиё, протягивая мне пиалу свежего чаю. — Низом пошутил.

— *Мумкин, чормагзбози?* — спросил Низом, извинительно пожимая плечами. — Может быть, а?

— *Чормагзбози!* — обрадовался Зиё. — Это... как это?.. это игра в орехи! Это знаешь, как играют? Значит, смотри! Проводят вот на земле линию... — Он вскочил и прочертил по полу носком ботинка. — Так? Все ставят по одному ореху... на эту линию — так?.. И потом...

— На какую линию! — закричал Рахмат, тоже вскакивая. — Нет, не так! Линию никакую не проводят, а орехи кладут... — Он щелкнул пальцами и спросил, оборачиваясь к Зиё: — *Тупаланг* — как это?

— В кучку, — сказал Зиё. — Только у нас ставят на линию...

— А у нас по четыре штуки! — вмешался Низом.

— Э! — возмутился Зиё, потряс сведенными в щепоть пальцами и перешел на таджикский: — *Э, фикр кун, чи мегуи!..³*

Они долго выясняли правила игры *чормагзбози*; я переводил взгляд с одного на другого, пытаюсь понять хоть что-нибудь; от них веером, будто брызги, разлетались неизвестные мне слова: *сакача, чорнай, думби сар...*

— О-о-о-о-о-ой, — сказал Зиё, садясь за стол и хватаясь за голову. — Понимаешь, у нас везде по-разному играют... Низом из Гарма — там у них, видишь, в кучку кладут... А Рахмат с юга — у них там, видишь, вообще по-другому... Вообще, я не понимаю, как они там в *чормагзбози* играют!.. — Он безнадежно махнул рукой. — А этот Агзам — он откуда?

— Агзам — он, кажется, колхозабадский... — неуверенно сказал Рахмат.

— А кто у нас еще колхозабадский?

— Колхозабадский?... Нуриджон Сафои — колхозабадский! — победно воскликнул Низом.

Я перевел взгляд на Зиё. Зиё молчал.

— Как-то неудобно... — сказал он в конце концов. — Нуриджон Сафои — *устод*... мастер... Неловко с такими пустяками... Он, конечно, знает все об их колхозабадских играх, но... — Он вздохнул. — Ну ладно, давай попробуем.

² Может быть (тадж.).

³ Подумай, о чем говоришь! (тадж.)

Зиё аккуратно постучал, приоткрыл дверь и просунул голову.

— *Бьё, бьё!*⁴ — услышал я голос *устода* Нуридждона Сафои.

Зиё стеснительно протиснулся в кабинет.

Кабинет был большим, светлым.

За огромным столом, заваленным кипами газет, какими-то книгами и тетрадями, сидели два пожилых человека — один розовощекий и седой как лунь, другой худощавый, в очках; он то и дело подносил ко рту кулак и покашливал.

Зиё уважительно прижал ладони к груди и начал речь. Время от времени он поворачивался ко мне и указывал на меня пальцем. Я в эти моменты кивал. Нельзя сказать, что я не понимал ни слова. Кое-что мне удалось уловить — *тарджумон... аз Маскав... рисола... чормагзбози...*⁵

Речь его лилась плавным потоком, и когда завершилась, я остался в уверенности, что ему удалось описать ситуацию исчерпывающим образом.

Седоволосый покачал головой и открыл рот. Как и Зиё, он говорил очень напевно, изредка покачивая в такт словам пухлой ладонью. Второй *устод*, сидевший возле, время от времени кивал, подтверждая слова первого. Кивал и Зиё. На его лице было выражение заинтересованности. Я тоже иногда кивал — так, для приличия.

Время шло, седовласый все говорил и говорил. Уже на пятой минуте я смотрел на него не только с уважением, но и с завистью. Черт возьми! — думал я, прислушиваясь к непонятному мне воркованию. Столько всего знать о национальных таджикских играх! Да это же просто энциклопедия, а не человек! Интересно, он толкует об одной только *чормагзбози* или вспомнил какие-то другие? Как подробно он о них рассказывает! Честно говоря, мне было странно представить, что когда-то этот седовласый, полный и склеротично розовощекий человек был ребенком, способным предаваться национальной игре *чормагзбози*. Однако приходилось признать, что он является крупнейшим специалистом в этой области, — речь его все лилась и лилась... Зиё кивал (я пожалел, что он не взял с собой листка бумаги: запомнить все ему окажется явно не под силу), второй *устод* тоже кивал, а я с восхищением переводил взгляд с одного на другого.

— *Тамом!*⁶ — сказал в конце концов седовласый *устод* и сделал рукой такой жест, словно выпускал нас на волю.

— *Ташаккур!* — бормотал Зиё с мелкими полупоклонами. Он снова прижал ладони к груди и в таком виде пятился к двери. — *Бисёр ташаккур, муаллим!..*⁷

— Ну? — сгорая от нетерпения, спросил я, когда мы оказались в коридоре. — Что он сказал?

Зиё обхватил голову обеими руками и стал стонать, пошатываясь, как перед припадком.

— Ты чего? — тормозил его я. — Что он сказал-то? В линию или кучкой?

— О-о-о-о-о-о!.. О-о-о-о-о!.. Что сказал! Он сказал, что нужно подождать возвращения глубокоуважаемого автора, чтобы он сам сообщил тебе правила игры!

Мы помолчали.

— Ну и что же мне написать? — машинально спросил я.

Он оглянулся и сказал мне на ухо — что именно.

Я долго колебался, но в конце концов все же написал, что дети играли в камушки.

⁴ Заходи! (*тадж.*)

⁵ Переводчик... из Москвы... статья... игра в орехи... (*тадж.*)

⁶ Все, конец! (*тадж.*)

⁷ Спасибо!.. Большое спасибо, учитель! (*тадж.*)

МИХАИЛ СОКОВНИН

(1938 — 1975)



МЕЛЬ С РАЗВОДАМИ ВЕТЧИНЫ

Тирады

Первая поэма набросков

...И, отодвинув занавески,
смотрю бессмысленно туда —
гнилой какой-то запах. Невский.
Ах да. Конечно: ведь вода.
Считаю: раз, два чемодана, —
не разойтись без роковой...
Трах! — скособоченная дама.
Хлоп! — вышла. Долгий разговор.
Скорее бы из виду Химки —
назойливая каланча.
Кончайте ваши чмоки, хмыки,
отча!
отва-ливай-давай, калоша!

И заработали колеса

...Берега, берега
из окошек кают
убега-ах, убега-
ют
на юг, на юг, на юг.
И в окошко растерянно —
мы плывем быстро-быстро,
пароход серый-серенький,
черный дым из трубы...

...Обгоняем, но без охоты.
— Что там — стерлядь или томат?
— Сухогрузные теплоходы
«Мамалыш» и «Стерлитамак».

Михаил Евгеньевич Соковнин жил в Москве. При жизни не печатался. Еще в школе издавал с друзьями самодельный журнал «Дымоход». Потом учился в пединституте по специальности русский язык и литература. Работал в московском театральном музее им. Бахрушина — читал лекции по русской драматургии. Умер от болезни сердца в 37 лет. Основная часть его литературного наследия опубликована в книге «Рассыпанный набор» (М. Фирма Граффити. 1995). В нее вошла проза — сборник коротких и сверхкоротких рассказов «Книга Вариус» и повесть «Обход профессора», четыре поэмы, которые автор называл «предметниками», «Замечательные пьесы», а также стихотворения.

Публикация ИВАНА АХМЕТЬЕВА.

...Проходят по палубе долгие громы,
у борта швартуются «Тихие горы».
И кто-то там: тону-тону! —
гудит у входа в темноту...

...А на Волге — лодки,
а на Волге — лодки,
парусники и моторки,
пароходики и катерки,
пароходики и катерки —
наперегонки́,
наперегонки́,
наперегонки.

А на берегу реки,
на берегу реки —
дворики и скверики,
а на берегу реки,
на берегу реки —
домики и сумерки.
И повсюду рыбаки:
на берегу рыбаки,
на берегу рыбаки.
Рыбаки на Волге.

...Пароходик шлеп-шлеп-шлеп.
Поворотик. Пристань. Стань
у причала: это Плес.
Для начала, просто так.
Скоро в лодке закачает
зуб волны, высокий взбег.
Скрипы весел. Вскрики чаек.
Хохот врезавшихся в берег...

Середина 60-х годов.

Москва — Пермь — Москва

Поэма набросков

...Проплыли только полканала,
уж светит солнце вполнакала.

...Берег померк.
Берег померк.
Свет уходит поверх,
свет уходит поверх.

Неплохой теплоход

В пристань белый теплоход
выпустил свистков обойму.
Отошел. И вот — плывет.
Медленно плывет.
Достоинно.

...Пошлепываем тихо-мирно:
Ново-Окатово и Кимры,
ту-ту! — приветствуем гудками
расположившийся Тутаев,
и от Тутаева — ту-ту! —
отваливаем в темноту.

...Поднявшийся со дна покойник —
Калязинская колокольня...

...Церкóвки, будто я расставил
и так оставил, — Ярославль...

*Конечно,
Кинешма:*

Вот это Волга!
Вон как! Вот как!
С обрыва лодка —
точка
только,
и даже самый теплоход
отсюда точно
поплавок.

...Эх-ма,
Балахна!
Кабы не такая тьма...

...Переплываем за луной.
Еще придется пароходу
стучать колесами, работать
остаток ночи остальной.

Луна отдельно от небес
висит, глядит неуголимо,
по черным волнам гуталина
плывет ее тяжелый блеск.

...Как ты жив-здоров, старый город Нов,
город Горький — Нижний Новгород?

...Погрузка.
Смесь татарской, русской,
свист!.. И опять черно-мокро
с огоньками Васильсурска,
слипшимися за кормой.

...Косею от прямого блеска —
луна. И час на всю Казань.
Немного мало, так сказать.
До света далеко не близко.

...В Дагестане было три имама...
...А теперь в Казани три Кабана...
...Первый был — один имам...
...Три кабана... Царь Иван...

Кама

А вот и утро. Сколько зим!
 Повей еще, еще подуй!
 Скользим по Каме, как по льду,
 плывем по Каме, как скользим.

И снегом из-под колеса
 плывет вода, плывет. Водой
 затоплены, стоят... Постой:
 леса затоплены, леса.

И холод за руку берет.
 Табачный лист! И — черный лист!
 Сквозь воздух — он немного мглист —
 белеют косточки берез.

Леса стоят как на позор,
 о снисхождении моля.
 Водохранилища! Моря!
 А в корне — похороны, мор.

А за кормой — разрыхлый след,
 как от саней, как от саней.
 Синей, еще синей. Синей.
 О, сколько зим! Каких уж лет...

...Воткинск.
 Скользкий ужас шлюза —
 высыхающая лужа.
 — Всё, что есть на берегу! —
 Поздно. Крикнуть не могу.
 В эту темную коробку
 на веревках
 долго, ровно,
 долго, ровно,
 долго, ровно —
 опустили пароход.

Что же — после похорон?

...Елабуга,
 Тихие горы,
 кладбище.
 Разговоры:

— Леса-то сплыли? — Лесосплав.
 — Все правильно: Росстрой, Госстрах...

...Мель с разводами ветчины.
 Ветер. Набережные Челны.

...Гуляем: Галима и я.
 Пустырь как свежая могила.
 Вдруг — рынок. Семечки. Калина.
 Рыбёш-Дербёш-галиматья!

Товаров на копеек тридцать.
 Наверное, для интуристов...

...Высыпали крыш осколки
на зеленый косогор.
С добрым солнышком, Соколки!
Вы, Соколки, — высоко...

ПРИЕХАЛИ. СИДИМ В ПЕРМИ.
ВСЕ ТО, ЧТО СЗАДИ, — ВПЕРЕДИ.

...Матушка-Пермь-матушка!..

*Разговоры
по дороге:*

- А на озере Светлом Яре...
- Ну а в городе Ярославле?
- По горам да по валунам...
- И на острове Валаам.
- Быстро, выгодно, все удобства!
- И до само-Сольвычегодска?
- В Соловецком монастыре...
- А советские показали?
- А Москва стоит на Москве-реке.
- И Казань стоит на Казани...

Казань

Так рано. Даже воробьям.
А я иду. Все знаю. Странно.
Вот, в стороны от Татарстана, —
Тукаевская. Нур-Баян,

Булак: бульвар-канал, за ним —
Проломная, по ней налево —
большой собор Богоявления
трезубец в темноту вонзил,

а дальше — улочек разброд:
Казань — Москва, Москвы изнанка,
река Москва, река Казанка,
Москва — Казань. Наоборот.

Светает. Вспыхнул гастроном.
Через — по мостику трамваи
прошли. И, точно при Иване,
по небу пролетел дракон —

ну, просто утро. Тем годам — !
И, розовея в синем небе,
возникла башня Сююмбеки.
Но тихо озеро Кабан.

...Где там Москва ваша?! —
Набережные Моркваши...
Пустые Моркваши...

ШЛИССЕЛЬБУРГ И СВИЯЖСК —
ассоциативная связь.

И я тоже за туристами
тропинкой ползу от пристани
всё в гору. Кусты, жара.
Живые: больные, при смерти,
могильщики и сторожа.

Пустые, в лесах, соборы,
и лесом стоит крапива.
Но нету здесь ни столовой,
в которой — ни кружки пива.
Все-таки так красиво!..

*По дороге
разговоры:*

— Пятипролетный, через Волгу
и, вместе, конструктивен, прост,
не правда ли? — Конечно, ловко:
здоровый мост.

— Луна в озере.
Озеро Неро...
— Унавозили,
и — зазеленело...

— Вы что посадили — саженцы?
— Посажены под Казанью.
— Скажите, а вы не скажете?
— Знаете, я не знаю.

...А на стекле поет комар,
что за стеклом плывет канал.

...Чух-чух. Чух-чух. И — та-та-та! —
Над головой колесами.
Лиловые, бегут туда
короткими полосками.
А солнце мост
и все размост.
Вот прежний пост
проходит поезд.

...По каналу плывем в Москву,
и колеса — и в такт и в лад:
вот-так-так,
вот-так-так,
вот-так-так...

Мост.
И — никого на мосту.

Солнце село. Спустили флаг.

1966.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ



УБЕГАЮЩИЙ ОТ ПЕЧАЛИ

Передо мною груда папок, в которых хранятся исписанные листы бумаги с ровными, плотными строчками мелких букв, а я, как Гобсек, разложивший свое богатство, дрожу над ними, лью слезы, вздыхаю, благословляя каждую строку.

Миллиарды букв, начертанных рукой Георгия Семенова. Записи последних десяти лет, труд, скрытый от читателя. Этюды, неоконченные сочинения, зарисовки с натуры, наблюдения, поиски образа, творческие планы, лица, судьбы. Горькие утраты, грустные раздумья о себе и быстротекущем времени, радостные и тревожные надежды. Мысли и чувства — сиюминутные и вечные.

12 января 1996 года ему исполнилось бы всего шестьдесят пять лет.

Потомственный москвич, все деды и прадеды которого покоятся на московских кладбищах, а потому все его творчество связано с Москвой, которую он очень любил.

«Мои деды и прадеды украшали Москву, будучи знаменитыми для того времени краснодеревщиками (Художественный театр, Третьяковская галерея, Музей изящных искусств, Морозовская и Пятая градская больницы, церкви: Покрова Богородицы в Марфо-Мариинской обители и Сергия Радонежского на Бородинском поле, кинотеатры: «Колизей», «Художественный», «Эрмитаж», Елисейский магазин, рестораны: «Яр», «Метрополь», «Савой», особняки: Морозова — нынешний Дом дружбы, Рябушинского — музей М. Горького и многие другие. Дед, Георгий Петрович Жирнов, работал с такими известными архитекторами, как Шехтель, Щусев, Клейн, Чичагов... Я, окончив Строгановское училище, украшал здания Москвы лепкой (университет на Воробьевых горах, ФИАН на Ленинском проспекте, многие дома на Ленинградском проспекте). И хотя литература не украшательство, — писал он, — я все-таки старался дать положительную оценку моему городу, сыном которого я имею честь быть».

С 1976 года Георгий постоянно сотрудничал с журналом «Новый мир». Здесь был опубликован первый его роман «Вольная натаска», повести «Городской пейзаж» и «Ум лисицы», рассказы «Неволенка», «Звезда английской школы», «Отраженная в чистой воде», «Герцог», «Жертва истории», «Утренние слезы», «Ручная работа» и многие другие, а в 1991 году увидело свет последнее его большое сочинение «Путешествие души».

Четыре года прошло с того рокового дня 30 апреля 1992 года, когда ушел из жизни Георгий Семенов, но боль утраты не утихла, а усилилась, и все тяжелее и острее становится чувство одиночества.

Четыре года разбираю его записи, которые он делал ежедневно. Они все глубже затягивают меня в мир его души. Казалось бы — сорок лет, прожитых вместе! Все обдуманно, обговорено, не раз прочитано и перепечатано и знаешь о человеке все до самого днышка, но оказывается, что многого не знала и не в силах была постигнуть всей его глубины...

Нашла в его записях название для ненаписанного рассказа «Убегающий от печали» и подумала, что оно о самом Георгии, человеке и художнике, который чувствовал себя свободным и счастливым только наедине с природой и за работой, убегая в нее, обретая в ней то гармоническое состояние души, которого не могла дать окружающая действительность.

Думаю, что благодаря публикуемым ниже записям, последним записям писателя, мы сумеем лучше понять и почувствовать внутренний мир художника, дарившего своими книгами радость людям.

Как говорил Сервантес устами Дон Кихота, «одна дверь затворилась, другая открылась». Остается надеяться только на это.

В дни всеобщей смуты и грызни, проклятий прошлому и полного неверия выйти из кризиса надо идти своей дорогой, и пусть люди говорят что хотят. Надо писать рассказы о любви и нелюбви, о красоте Божьего мира, в котором страдает человек, не находя себе места или теряя все — надежду, веру, любовь. Надо писать то, что Бог тебе на душу положил, делать то, что умеешь, и не гнаться за политическими, скандальными историями. Как можно дальше от скандалов! И как можно ближе к истерзанной душе человека. И ни в коем случае не поддаваться отчаянию! Пусть молчит критика, а ты не думай об этом — пиши.

Надо два, три, пять романов на одну и ту же тему, об одном и том же, чтоб услышали, заметили, обратили внимание. Как это делал Достоевский... Об одном и том же! Иначе — случайность! Летний дождик, который пролился и окончился... Ах, какой дождик — грибы пойдут! И все... Больше никогда и не вспомнят: был дождик — и прошел. Хотя о грибах будут думать и говорить. Но это уже о грибах.

Так и одинокий роман, даже очень талантливый, как этот дождик. Может быть, «грибы» и пошли после него, но о нем уже и не помнят. Нужен целый сундук ожерелий из всевозможных камней, браслетов, перстней, золота и серебра... Всего надо много, нужно богатство, чтоб на тебя обратили внимание равнодушные ко всему люди... О, это богач! Надо бы посмотреть, что там у него. Только так. И они присмотрят за этим сундуком, кое-что присмотрят и для себя, думая, что сами всегда так же чувствовали и так же думали, что они так же красивы, как и герои прочитанной книги. И слава Богу, слава ему! Только хватило бы сил, только бы свершить волю Божью, не мою, нет! Но Божью волю... Дай мне сил, Господи! Дай мне сил, чтобы исполнить волю твою. Да будет воля твоя, а не моя.

Холодно на улице. Воздух остывший, а не прохладный, не морозный, что было бы хорошо, а стывший, неприятный, как холодный суп. Плохо на душе. Хочется снега, тишины и, как это ни странно, — снежного тепла, свежести воздуха, его запашистости. Скоро, конечно, выпадет и снег, но ждать уже надоело. Все уже в лесу приготовилось к зиме, а она никак не наступает...

Написал сегодня маленькой кисточкой маленький пейзажик акварелью и радуюсь, что он такой свеженький получился, красивенький, как мечта старой бабки, потерявшей силы ходить по земле и любующейся каким-нибудь цветистым ковриком над кроватью. Вот и я тоже: речка, кусты и церковь вдали... Что еще надо? Сижу тоже и поглядываю на пейзажик, говорю: «Не знаю, как тебе, а мне очень нравится!»

А Лена тоже любит. «Я, — говорит, — такое розовое небо помню здесь, во Внукове. Такое же нежное и теплое».

Ну и отлично! Очень доволен собой, кичем своим восхищен!

Название для рассказа, строчки из «Маньчжурских сопок», из вальса. «Ветер туман унес»...

Они встречались с ней в запущенном Донском монастыре, среди запыленных надгробий, где были изваяния Мартоса И. П.: склоненные ангелы над драпированными, поэтизированными складками одежд окаменевших душ умерших; среди черных стволов кленов, сбросивших на эти изваяния свои желтые, бледные листья, которые шуршали под ногами этих двух влюбленных... И так продолжалось до весны, когда памятник Гоголю, свезенный в ту пору в монастырь, замененный бездарным весельчаком Томского, этим искрящимся смехом весельчаком, — когда поверженный памятник в дорожной ши-

нели бывал уже согрет мартовским солнцем и с макушки страдальца таял снег, проливался каплями влаги в глубокую глазную впадину, а из впадины на кончик носа, на котором эта капля сверкала соленой, легкой слезой, — вот тогда, в эти времена далекого прошлого, он остановился как-то возле плиты из мрамора, на которой аллегорически изображалась битва славян с галлами (остатки разрушенного храма Христа Спасителя), и, страшно смущаясь, словно бы вдохновленный смелостью славян, сделал ей предложение, сказав, что, как это ни странно звучит в наше время, просит у нее руки и сердца... Она была так встревожена, так разволновалась, что вдруг расплакалась и сказала, что никак не ожидала от него сейчас, именно в эту минуту предложения, но что она согласна.

Это была мраморно-бледная, болезненная девушка, худенькая и очень тонкая, но он любил ее за эту худобу и тонкость, чувствуя себя рядом с ней героем, способным защитить ее от всяких жизненных невзгод.

Счастье наше — что вода в бредне. Вот и счастье наше.

Почему-то все думают, что ИМЕТЬ лучше, чем НЕ ИМЕТЬ, как будто если я буду не иметь, то я не увижу снега на ветвях зимнего леса, не услышу птиц весной, не надышусь ветром, дующим над рекой. Скорее даже наоборот! Как было раньше, когда я не имел ничего, кроме полной свободы от самого себя. А когда человек что-то имеет, он обременен этим, и ему трудно передвигаться по земле, словно на плечи ему навалили груз, который он не в силах перенести. Имеющий не имеет! Но все равно хотят только иметь, иметь, иметь.

Строгановка была, так сказать, моим Лицеом, вольницей моей, когда все казалось достижимым, когда независимость души, духа такая, что готов был по каждому пустяку лезть на рожон, чтобы отстоять свои принципы, свой взгляд на искусство. Каждый из нас мнил себя великим художником, но и в самом деле все были талантливы — набор был удачным. Молодежь и фронтовики. С ними, с фронтовиками, опоздавшими учиться, было хорошо и как-то по-мальчишески уютно, беспечно — все тебе прощалось, любая твоя глупость. Обоженный танкист, за которого вышла самая красивая девушка-скульптор. Это было для всех святым делом, вершиной искусства. Оба они были для нас идеалом красоты, и истина сама как будто просилась в наши души. Мы все любили друг друга так, как потом никогда и нигде не любили никого.

Все-таки есть в этом что-то очень важное: «Богатый с деньгами, бедный с весельем», — это очень по-народному звучит в сознании, особенно — по-русски.

Стал бояться одиночества на московских улицах. Иду и знаю, что меня никто не знает, и становится страшно. Не то не знает, что я какой-то там писатель, а то не знает, что я есть я — Семенов Георгий — простой человек. Это странное одиночество незнакомо деревенскому жителю. Ему легче.

Солнышко за облаками зазевалось, скучно стало на земле, серо и тускло.

Кинотеатр «Авангард» (церковь Казанской Божьей Матери, построена на пожертвования и при участии деда Жирнова). Раньше там отпевали покойников, и моего деда, которого не мог помнить, «тоже» отпевали. Я же, зная — не зная об этом, сидел и смотрел на экран, чувствуя себя счастливым зрителем там, где, может быть, стоял гроб с телом моего деда... Кошмар! Может быть, именно на том месте церкви, где был откидной стульчик, на котором я сидел, стоял гроб...

Только теперь понимаешь этот вандализм властей, превративших храм в кинотеатр. И даже не в том дело, что сменились, так сказать, «религии», а в том, что люди здесь плакали, прощаясь с усопшими своими родственниками, а другие люди смотрели (тогда!) «Сердца четырех» и смеялись. Убили не религию, а человечность.

Вот ведь где прошла история! По нашим душам протопала окровавленными и грязными сапогами.

Мои деды, и Семенов Николай Степанович, и Жирнов Георгий Петрович, — оба они пережили революцию и умерли оба от этого потрясения России.

Вполне понятна мне эта трагедия. Оба родились и жили для строительства России и не смирились с трагедией Родины. Для того, чтобы жить, нужна была красивая, а стало быть, процветающая Россия, для процветания которой они оба положили свои жизни, каждый в своей области. Один был бухгалтером, а другой создал паркетно-столярную мастерскую, получая заказы от лучших архитекторов России, а особенно, конечно, Москвы. Но ни того, ни другого я, родившийся в 31 году, не застал уже в живых — у меня не было деда, увы.

Все мы осколки большого и чистого зеркала, которое разбилось в 17 году, и остались куски побольше и поменьше. Другого не дано в силу исторических причин!

Когда-то была в моей жизни Большая Калужская улица и кирпичный дедовский дом, из окон которого я каждое утро видел напротив Горный институт, на фасаде которого, на высоких пилястрах, как на пьедесталах, чуть ли не под самой крышей серого здания, такие же серые, как фасад здания, опирались на отбойные молотки шахтеры в широких рабочих шляпах, похожие на романтических мушкетеров, изваяния геологов в штормовках и с кайлом в руках или геодезистов с теодолитом — все эти фигуры казались мне неотъемлемой частью того пейзажа, какой был судьбою вписан в проем окна дедовского дома и той маленькой гостиной, которая давно уже утратила свое бывшее назначение в старом доме, являясь нашей спальней, о чем мы с братом даже не догадывались в то блаженное время. Большая кровать, на пружинном матрасе которой не было большего счастья оказаться в вечернее время, в тепле отца и матери, принимавших меня в свои объятия, а если я, распаренный в этом неземном блаженстве, засыпал, перенесенный в прохладную свою постель, то знал каждое утро, что я любим этими живыми и душистыми людьми, дарившими меня своей лаской.

Брат мой был еще так мал и, как я считал, глуп, что мама с папой еще не успели так же нежно полюбить его, как они любили меня. Ревность к брату было первое очень острое мое чувство. И бывало, я готов был драться с ним за свое первенство и каждое утро подозрительно следил за мамой, когда она проявляла свою любовь и нежность к моему брату, который почему-то вдруг жил рядом со мной, требуя своей доли любви.

Старые липы, дождь, стволы у лип черные, как головешки. В мостовой жидкие отражения светофора, точнее, желтые его вспышки. В черноте лощеного тротуара желтые пяточки листьев. Шипит дождичек, шипят шины, врываются в общий шум, то шумнее, то тише... Переулок пустынен и стеклянно-черен. Лишь за стеклами книжного детского магазина светятся медведи и кошки.

Вечер зимний, горячие изразцы голландки, запах навощенного, поблескивающего холодным дубом паркета, венские стулья с гнутыми спинками. А в комнате два брата и две сестры. Собрались просто так, даже не на чай, а просто поговорить, посмотреть друг на друга. В углу комнаты старый рояль. Один из братьев играет, другой поет.

Одна из сестер прислонилась спиной к горячей печке, покачивается, то отстраняясь от горячих изразцов, то прикасаясь снова, другая сидит за столом и смотрит на брата, на его руки, когтисто ударяющие по клавишам... Сестры слушают.

Так было в нашем старом доме: Федя пел, Митя играл, мама сидела за столом, Кока у печи... А мы с Вовкой на кровати Митиной. Жаркие изразцы голландской печи — белые, блестящие — отражали комнату, делая все предметы искаженными, но и загадочными в то же время.

Я со дня рождения слышал Митину музыку и так привык к тому, что звуки музыки стали обычными для меня, словно бы именно так и должна быть

озвучена жизнь. Музыку я слушал так же, как слушал шум ветра за окном или летнюю грозу, крики играющих ребят или звон троллейбусных проводов. Просто это был еще один звук в моей жизни, который не мешал мне, потому что казался естественным и неизбежным, как голос матери или отца.

Митя, который окончил Гнесинское, отказывался выступать, до войны еще собирал и монтировал детекторные, а потом и ламповые приемники и перед самой войной слушал крик Гитлера. Лицо его в эти минуты изображало сарказм и какое-то мстительное удовольствие оттого, видимо, что впереди ему мерещились бои и смертельные схватки с врагом.

— Здравствуй, владыка Юрий, — говорил мне.

С детства, чуть ли не с пеленок, знал, что есть такая страна — Финляндия, в которой все люди ходят на лыжах, дядя мой Федя участвовал в лыжных соревнованиях и привез оттуда много лыж. Первые свои шаги на лыжне я тоже сделал на финских лыжах — упругих и легких, с высоко загнутыми носами. Это мне досталось от дядькиного богатства.

Ночью небо в Москве палевое, переулки ярко освещены. Всю ночь орали вороны, кем-то напуганные, и не давали спать, рождая в сознании смутные ощущения вселенской тревоги, будто надвигалась никому не ведомая вселенская катастрофа, которую предчувствовали вещие птицы, предупреждали меня об опасности. Никак не мог уснуть, вслушиваясь в заполночный их ор, в их ворчание, похожее на то, какое издают весной грачи, усевшиеся вокруг своих гнезд.

Все смешалось в моем сознании, дремота рисовала мне вдруг картины ранней весны, склоны полей, обнажившихся с южной стороны, раскисшую под солнышком землю, перенасыщенную влагой, и белоклювых грачей, которые ремонтировали свои гнезда на старых березах. Первую желтую бабочку в прохладном воздухе, пропахшем талой водой и благовонием земли. Улыбка ласкала душу. Но я опять и опять возвращался в истинную действительность, слышал крики и ворчание ночных ворон, видел предметы в комнате, слабо освещенной ночным внешним электричеством, и, понимая, что за окном декабрь, чувствовал себя так, будто меня лишили свободы до пригрезившейся весны.

Стал жутким психом! Уйдет Лена из дома — волнуясь ужасно: не случилось бы что, если она вдруг задерживается где-то. Радуюсь, как дурак, когда все дома — сидят все по своим углам.

Так нельзя. Нервы напряжены ужасно, а я еще их напрягаю, пугаю себя воображаемыми картинками всяких бед.

Самая красивая птица подмосковья? Это смотря когда — зимой? Синица, конечно, дятел пестрый, сорока. Все птицы изумительно красивы.

С юности, с давних пор, помню молодого морского офицера в золотых погонах на черном кителе с золотыми пуговицами, сияющими в черноте сукна, с кортиком в золоченых ножнах. А рядом с ним налитая соком красивая блондинка в пестром платье, с прекрасно вздыбленным животом и с усталой улыбкой на лице... Они оба на художественной выставке на Кузнецком мосту. Стоят любуются каким-то пейзажем, но видно, что они любуются друг другом, не забывая ни на миг о третьем, который рядом с ними, внутри их душ. Красота осталась в моей душе — красота, любующаяся другой, иллюзорной, красотой на холсте и ждущая новую, еще не родившуюся красоту... Где они, эти красивые люди? Красота мгновенна и вечна, но никак не протянута во времени... Хотя на самом-то деле красота вечна и протянута во времени, если она явилась тебе в счастливый миг твоей жизни, — она жива в твоей душе, а то, что родило ее, выставило напоказ, может и должно увянуть и исчезнуть. Вот потому-то красота мгновенна и вечна — мгновенна в своем проявлении и вечна в памяти, в душах увидевших ее.

Искусство и призвано останавливать это мгновение, но, останавливая, продлевать во времени — иначе остановленная красота будет разрушительной. Гений способен на продление красоты во времени. И всякий, кто способен это делать, — гений. А просто остановить красоту может и фотограф. Но это не то.

Название для рассказа: «Любимый мой пьяница». Его женщины любили за это и тем самым портили, заставляя исполнять свою роль до конца. Многим мужчинам, участникам попойки, казалось, что будет высшим проявлением справедливости, если его хорошенькая жена изменит своему пьянице. Но все попытки восстановить или, точнее, установить эту справедливость оканчивались безрезультатно: красавица, с немецкой кровью в бирюзово-нежных жилах, любила своего пьяницу и оставалась ему верна даже тогда, когда сама ненавидела пьяную тушу ругающегося мужа, потерявшего рассудок. Она знала, что утром, протрезвев, он будет каяться и молить о прощении, и ждала этого часа с печалью в сердце, с неиссякающей надеждой на чудо...

А ведь как хорошо-то в ледниковый, осенний день, когда вся листва на земле, а в небе угольный дым облаков — какой был и в прошлом году, и тысячу лет назад на этой милой земле, — как хорошо горячего сладкого чая с бутербродами... А бутерброды чтоб с колбаской любительской, с острым сыром. А? Куда все это ушло? Почему нам так тяжело?

Посадил под окном веточки плакучей ивы, давшие корни в банке. Прижились и пошли на второе лето в рост, теперь, на снегу, который выпал, когда еще не облетели листья, кажутся они бамбуковыми ветвями, молодыми его побегами.

Сценка в аптеке. Женщина, очень милая на вид, лет сорока от роду, одетая плохо, по-рабочему, что, впрочем, не умаляет ее мягкую красоту, покупает аллохол, а мужчина лет пятидесяти говорит ей, как старой знакомой: «А чтой-то вы аллохол берете? Печеночка?» — «Да, что-то, — отвечает и она так же. — Тянет что-то!» — «А ведь небось и не знаете, как его употреблять. Давайте-ка я вам расскажу все по порядку»...

И вот уже семнадцать лет рассказывает, усыновив ее мальчишку, который стал уже взрослым и сам женился. Внучка у них Анечка, и счастливы они, как если бы знали друг друга с детства. Он уже старик, да и она не молодая. Но рядом с ним просто молодка. Жизнь ее благодаря аллохолу повернулась к ней всеми своими радостями и засветилась радугой в дождистом небе. А он ей говорит иной раз в минуты расслабленности душевной: «Я как увидел тогда тебя, так понял, что мы наконец-то встретились... Ничего о тебе не знал — и в то же время все знал. Мне с тобой сразу легко стало... Боль душевная отлегла, и я успокоился. Я сразу знал, что у нас с тобой долгая жизнь впереди. Это как перед дальней поездкой: сборы, волнения, проводы на вокзале, а поезд тронулся — и есть захотелось. Ха! И усталости как не бывало. Так и мне с тобой. Все еду, еду, смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу. Ты очень разная! Все мне в тебе интересно, ей-богу, не вру. Нравится мне жить с тобой, а до тебя все не нравилось, все не по мне»...

Художник говорит: размалевка — это подготовка будущего, что будет изображено на холсте. Но многие так и выходят к людям — с размалевками.

Возле дуба стоял фонарь на деревянном столбе, по ночам горела лампочка, освещая тьму ночи. А ночь была чистая, звездная. Дуб рос сдвоенный. Два ствола уходили в небо. Наполовину высохший, корявый, он простирал голые сучья в лохмотьях коры в звездное небо. Огромный и суровый, он словно бы смотрел вниз на меня и, мрачно воздев в звезды голые свои ветви, укоризненно молчал. Бог знает какие мысли вызывал во мне этот мертвый или, вернее, умирающий дуб, который губила человеческая деятельность, вся эта химия и все эти выбросы в атмосферу и в почву. Сколько их таких стоят в Подмосковье и в других пригородках, заканчивая свой век с голыми вершинами, в

обтрепанной листве, дуплистые, но все еще зеленеющие по весне, жаждущие солнца и дождевой влаги.

Сегодня проснулся от ужаса: приснилось, будто Юра Казаков — покойный — стал меня целовать, да так азартно, что я едва не задохнулся. К чему бы это? Неприятный какой-то сон, но в то же время — вот и Казаков приснился. Кажется, впервые. Был он ласковый и очень серьезный в своей дружеской любви ко мне, словно прочитал мою еще не вышедшую в «Новом мире» повесть и поздравлял.

Но проснулся я весь в нервном ознобе. На улице за окном опять капает, капли ухают по подоконнику, все серо за окном, и Москва вся грязная, неуютная. По радио все в один голос говорят о Рождестве, праздновать которое разрешило нам Российское правительство, что, конечно, многого стоит. А сегодня сочельник. Все-таки очень жаль, что Юра не дожил до наших дней! Очень! Царствие ему небесное!

Москва когда-то была изрыта овражками, ручьями, речками и речушками, которые были потом спрятаны в подземные трубы. А был город как бы сочный, звучный, запашистый, с весенними половодьями и нежными журчаньями талой воды, на месте которой летом поднимались густые травы.

Это надежда меня тешит, что было когда-то так, а ведь были помойки, свалки, вонь, мухи, крысы и мыши, с которыми уживались тогдашние москвичи, были сбросы «Трехгорки» в Москва-реку, и эти сбросы казались тогда благом, особенно рыбакам, которые ехали на своих лодках ловить язей и голавлей на струю этого сброса: для рыбы было интересно, чем там запахло так необычно? Может быть, еда какая-нибудь.

До сих пор, как эти голавли и язи, не понимаем, что губим жизнь, среди которой затесались, и не знаем своей роли. Все спорим, кто кого подвел под пулю, под руку палача. А забываем, что рядом люди после субботника жгли мусор там, где росла курчавая, сочная трава, и что в этой траве были побеги акации, и что все жили рядом с этой травой и были спокойны, а когда ее выжгли — хотели они того или нет, — забеспокоились. Уж лучше бы мусор, чем эти черные метровые в диаметре дыры.

А была Москва душистая от цветущих всевозможных трав.

Помню еще Красную площадь, бой курантов и гудки автомобилей. Сначала включали площадь, раздавались гудки машин, а потом уже звон курантов. В черной картонке репродуктора хриловато-гулко шумели моторы машин, редкие гулкие сигналы пронзали этот эфирный шорох. Видимо, это была запись площади, а казалось, что именно сейчас, сию минуту ты слышишь, как шумит морской раковиной Красная площадь и как шум этот покрывался раскатистым боем курантов.

Ночью в туманном, сыром и теплом воздухе пахло опавшими листьями. И я подумал, что к запаху этому есть уже привычка. Когда приезжаешь в Москву, ощущение такое, будто со свежего воздуха захожу в накуренную комнату — так заметен стал бензиновый перегар, который раньше не замечался. А тут свежий запах вялых листьев в сыром воздухе, туман после холодного дождя, шорох падающих веток, капель. И тьма.

Ищем утешения для себя, и только для себя. Умерла мама, отпевали ее в день Казанской Богоматери, иконой которой благословляли маму, то есть это ее икона. Она лежала в гробу светлая и словно бы разгладившая даже морщинки на лице — чистая и радостно-спокойная, пока шла обедня, а потом отпевание всех до нее стоящих покойников. И вот наконец она, последняя в ряду других... А нам все кажется, что она сама всего этого хотела и специально подгадала, чтобы быть в этот день (4 ноября) похороненной, а потому словно бы лежала умиротворенная и благостная. Ах, все мы эгоисты! И ничтожества, оправдывающиеся перед Всевышним в своем ничтожестве.

«Смирение» от слова «мир», «с миром». «Иди с миром», — говорят, то есть «смирись». А потому это высшее, что может достичь человек в нравственном своем совершенствовании.

Он был так обаятелен, так хорошо пел, что, входя в дом друзей, дарил себя людям, зная, что его очень любят и рады видеть его. Он как бы счастье приносил в дом и, зная об этом своем свойстве, радовался.

Примерно так вдова сказала о Валерии Агафонове, гениальном исполнителе русского романса, увы, ушедшем уже из жизни. Блокадный мальчик, родившийся в Питере в 41 году.

То же (в какой-то степени) можно, наверное, сказать о Юре Ковале, которого тоже радостно всегда видеть и слушать, хотя в последнее время что-то он хандрит: пятидесятилетие свое переживает, полувековой юбилей. Это бывает.

Он пел, и виолончель сопровождала его басистый баритон, сливаясь звуком своим со словами арии. И было это так красиво, что и слов-то, певшихся, наверное, по-итальянски, на непонятном ему языке, не надо было понимать, потому что это не важно даже, что там хочет сказать герой оперы, тоже, кстати, неизвестной ему, которую он никогда не знал, не слышал и никогда вообще не понимал оперной музыки. Но тут вдруг что-то до слез пронзило его красотой, и он замерз от восхищения, какого никогда раньше не испытывал. И вся прожитая жизнь толкнулась болью и радостью в сердце, стиснула его и радостно отпустила, напомнив ему сразу все, что он забыл, потерял, не понял в свое время, пропустил мимо, не обратив внимания... Что такое?! Почему? Для чего все это произошло вдруг так неожиданно? Ведь все это не просто так! Все это для чего-то было нужно... Для чего же? С этими вопросами он, удивленный и радостный, прислушался к себе и понял, что не все еще потеряно.

Иоганн Штраус, кажется, сказал: мой жизненный путь — любовь и радость.

Жизнь так коротка, что человек не успевает, в общем-то, набраться опыта, чтобы учить других: молодой — старый, это понятия относительные — все молодые, юные, не успевшие ничегошеньки!

«Я здоров, предо мною весь мир!» И хватит ныть! Довольно — изнылся! Надо полнокровно и радостно жить! И хватит мне думать и страдать из-за политиков, Господи! Что они могут, если не захочет народ? Ни-че-го. Кто из них придет к власти — какая разница? Лишь бы люди захотели жить и работать со знанием дела и с любовью. Все это очень просто и ясно, почему же я страдаю так из-за этой политической борьбы? Зачем это мне надо?! Мое дело — сочинять рассказы и повести, если, конечно, даст Бог. А душа болит.

Общее название «Прохладные тени», а подзаголовки: «Особняк на Большой Калужской», «Слабая струна» — и все это как-то смутно, туманно, как в памяти, связано между собой. Но — связано! Одни и те же герои проходят сквозь сочинения. Там и просто рассказ, и фрагмент повести или романа, обрывающийся на трагической или радостной ноте... «Канатчикова дача», например, — рассказ о Москве тех лет, о нашем промысле мотылей в речушке... «Бездомный» — рассказ о москвиче, потерявшем отчий дом. Речки, ручейки и пр., и пр., вливающиеся в море житейское. «Всякому от себя» — сюда же. Рассказ, как мать продала в ломбарде два бриллианта, очень дорогих! За бесценок... Продала, чтобы прокормить нас. А бриллианты остались ей в наследство от родителей, от бабушки моей. Договорилась с приемщицей. Та была любезна и ласкова. Сколько же ушло тогда дорогих вещей в руки людей, знавших, как надо наживаться на несчастьях людей. Бог ты мой! Война рождает проходимцев и убивает героев.

Бомба упала во двор Апаковского трамвайного парка, а другая — в пруд Центрального парка. Но волна взрывная прошла над домом и не выбила сте-

кол, зато в Институте нефти все стекла были выбиты. Волна как бы перешагнула через наш дом и ударилась о стену высокого здания. А мы с Вовкой и мамой сидели тем временем в бомбоубежище Института стали и сплавов, в полуподвальном помещении с окнами, видневшимися над тротуаром. Грохот слышали и дребезг стекол.

Вышли под утро. Воздух весь был пропитан незнакомой холодной вонью, и было в сумерках мглысто, как будто в глазах было пыльно.

После этой ночи нас эвакуировали. И я был рад уехать, потому что мне стало вдруг страшно жить в Москве, особенно было страшно в тесноте бомбоубежища.

Письма времен войны были живее самих людей, потому что в них трепетала душа, умолкавшая в общении. В словах и строчках дышала идеальная любовь, какой не бывает на свете, печалилась настоящая печаль, какой не сыскать в обычном мире, а лишь только в идеальном мире возможна она. Каждое слово тех писем материализовалось, превращаясь в сияние глаз, улыбку губ, в морщинку, в запах волос и цвет глаз, в объемное звучание родного голоса. Можно было вглядываться в каждую букву письма и видеть человека за чернильной или грифельной строчкой. Ни один гений мира не создал ничего более яркого, чем простое письмо родного человека тяжелых военных лет.

Петя (бывший офицер царской армии) сидел посреди комнаты на венском стуле и, расставив ноги, с ласковой, но тупой улыбкой смотрел на своего племянника, то есть меня. Я его инстинктивно побаивался и тоже смотрел с туповатой улыбкой, как если бы все понимал. Но, увы, я ничего не понимал, не зная, что он уже собрался «к себе» в «Белые столбы», предчувствуя обострение своей болезни и как бы говоря: пора уже, пора. Мешочек с ляжкой на коленях, грубые башмаки на ногах и обмотки. Лицо, не бритое несколько дней, черная щетина и короткий бобрлик отрастающих волос.

Он был, вероятно, убит в своей больнице, когда немцы в 41-м подошли к Москве. Федя ездил хоронить его и искал труп в страшной поленнице замерзших, черных останков и нашел... человека, сознание которого словно бы только оттого помутилось, что он знал свой жуткий конец, видел его внутренним взором.

Так вся жизнь и прошла: товаров в московских магазинах много было всяких, но денег у меня ни гроша. Потом деньги появились, но товары стали исчезать. А ведь как, бывало, мы с женой обедали. Купим макарон и ливерной колбасы... Самое дешевое, что было! Так и прошла жизнь — то товары были, то деньги. Никак у меня не совпадало, чтоб товары в магазинах и деньги в кармане. Не получилось.

Москва как огромный цветок с ядовитой пылью, которая во время сильных юго-западных ветров сдувается с города, и он очищается, сияет вечером чистыми и многочисленными огоньками под темными, коричнево подсвеченными тучами. В тихие же, теплые вечера — все в этой пылице.

Лепные вставочки над окнами, изображающие орнамент из листьев водяных лилий, заляпаны старой краской и побелкой.

И все так. Решетка на балконе — заржавела. Во дворе остатки бывшей ограды, чугунной, из пик и каких-то обыкновенных колец, — с каплями засохшей неряшливой краски. Как капли слез моего детства. Все прошло, сделанное когда-то для утешения взора, для радости глаза и души. Все заляпано краской, которая похожа на орнаментованную пыль веков.

Надо бы написать эссе: «Плач по Прекрасному».

Ах, какая была полянка над Угрой! Вся в цветах, окруженная сосенками и березами, едва промятая резиновыми шинами машин, и по этим колеям я проезжал, покачиваясь на бугорках и слыша, как постукивают головки ромашек по днищу автомобиля. А потом тишина и запах земляники пополам с со-

сновым духом, растворенным в сочном, чистом воздухе благословенной земли... Что там теперь? Не запорошило ли Чернобылем?

А как красиво и счастливо жили мы в ту пору там, среди цветов, бабочек, звона кузнечиков и запаха свежей рыбы, которую я ловил в Угре! Будут ли еще такие минуты в жизни? Вряд ли...

Говорят: «Акция — экология и красота». На ум приходят другие акции, например, акция уничтожения евреев в фашистских лагерях. Слово «акция» никак не согласуется с красотой. Но — не понимают.

На погубленной земле, в которую закопали бульдозером наши «строители» весь хлам кирпичный, цементный и даже железный, оставшийся от возведения коттеджа, мы с Леной, долбя ломиком каменную эту землю и удабривая эту землю хорошей землей, посадили немало хороших деревьев и кустов, возрождая ее будущее и красоту.

В этом и есть добро, которое может и должен делать человек на земле, все остальные организационные меры — пустой звук, если человек сам в течение многих лет не трудится на земле, превращая ее в сад или даже в частичку леса, который когда-то шумел на месте этой каменистой земли. Не в огород, а именно в лес с дубками, березами, кленами и теми же яблоньками, вишнями, сливами, рябинами и прочими красивыми и добрыми деревьями.

Нет некрасивых цветов — даже самый невзрачный из них прекрасен.

Нет некрасивых женщин и не должно быть, но они есть, если развратны, грешны и являются проводниками греха в людское общество. Внешняя же некрасивость женщины — сущий пустяк, если красива душа и мысли, если женщина любит себя и свое тело, которое она должна любить, ибо из этого тела, из чрева его, родился даже Сам Иисус Христос, Сын Человеческий, самый красивый и мудрый из сынов Бога и Человека, единственный и непревзойденный.

Как же не любить женщине свое тело, созданное для рождения Прекрасного?! Грех не любить!

Ах! Какая женщина может назваться некрасивой, если есть на свете мужчина, которому она дороже всего на свете? Нет некрасивых!

Что такое любовь, знают и понимают только дети, а взрослые забывают и ждут наслаждения для плоти, думая, что это и есть любовь. Лишь люди с эстетической памятью знают об этом и помнят, что они искренне любили в 5 — 6 лет. У многих из них был идол, которому они поклонялись и в то же время желали его ласки, — то была чистая девочка в белом платьице и таких же белых трусиках. Это было покрывало, скрывавшее великую тайну бытия, ключик от которой уже позванивал в детской душе. Он не знал еще, как открывается потайная дверь, но догадывался чувством, что все возможно. Те же из детей, кто узнал и поверил, что все это просто делается, — пропал на всю жизнь, которая еще и не начиналась. Пропал без права вернуться в тайну. А таких великое множество.

Одно имя этой девочки проносилось мимо меня майским ветерком, утренней той прохладой, какая воцаряется во всей Москве в майские праздники, в певучие эти дни, когда «утро красит нежным светом». Где-то на Большой Калужской или на Донской улице, возле «Красного пролетария», ухающие звуки барабанов или звенящей меди тарелок, голоса собравшихся на демонстрацию рабочих, на которые, к моему великому несчастью, никогда не ходили мои родители и дядьки с теткой, словно это никого из них никогда не касалось.

А утро между тем красило «стены древнего Кремля», похожие отдаленно на стены дедовского кирпичного дома, а прохлада или, точнее, «холодок бежит за ворот». И так все это было радостно знать, потому что в это утро я мог случайно увидеть заспанное лицо милой моей Владилены, от любви к которой я страдал, не понимая еще, что и в самом деле страдаю от великой той любви, какой я еще даже не подозревал в себе. А меня, беднягу, мучило одно очень серьезное обстоятельство, потому что я, увы, узнал, что Владилена, ви-

дение мое и моя радость, училась в то время в четвертом классе, а сам я был всего лишь во втором и, стало быть, был на два года младше этой девочки, и мне, несчастному, никогда не быть ее мужем, потому что какой же я ее муж, если она на два года старше меня.

Потрясение мое было так велико, что я заболел.

Дело не в том, чтобы больше увидеть за жизнь, а в том, чтобы увидеть глубже. Свобода человека в глубине познания самого себя. Все остальные свободы — политические, социальные и пр. — завоевываются или нет. Эта же свобода дается Богом или нет, а потому эта свобода является высшей наградой судьбы, если она дана тебе.

Писать надо по совести, а совесть — прирожденная правда. Вот и страшно поэтому звучат призывы писать правду, как будто может человек сначала писать не по правде, а потом, когда ему разрешат, возьмет свое перышко и с облегчением душевным напишет всю правду. Так не бывает! Если человек не умел и не хотел писать по совести, стало быть, погубил себя навсегда. И тут уж никакие покаяния не помогут, ничто уже не в силах поправить дело.

На долгостройке живут приبلудные собачки, и их подкармливают строители. У них родились щенята, два палевых и один пестрый. А сегодня, на октябрьском рассвете, щенок свалился в котлован, где вели коллектор. Орал что есть мочи. Из сторожки, из бытовки, вышел сторож и, проклиная щенка и собак, которые юлили возле его ног, полез в котлован спасать щенка. Вынул его оттуда, а сам еле-еле выбрался спросонья. Собаки умные, они переживали теперь за человека и рады были безмерно, когда он выбрался сам.

Пошел, ругаясь ворчливо, в свой теплый домишко, измазанный в земле, грязный и словно бы разозлившийся на весь мир за проявленную свою доброту.

В этом весь русский человек, он понимает беду незащитного существа и лезет спасать, а случись беда у крепкого мужика, только позлорадствует и махнет рукой. Побил, попав в аварию, какой-нибудь тип свою «Ладу» или «Москвич» — он еще посмеется: «Что, тля, не лошадь водить!»

Гипотеза, что душ не хватает на всех, многое объясняет. Люди (мужчины и женщины), никогда не любившие и не знающие, что это такое, — люди эти остались без души, а оттого и несчастны на всю жизнь. Любят только телом, размножаются, как животные, и считают, что про любовь врут во всяких стихах и романах, а в жизни ее нет. Выступают в роли реалистов, посмеиваются над романтическими бреднями художников и писателей, не ведая, что обделены Богом органом истинной любви — душой. Можно пожалеть таких людей, но что-либо поправить, увы, никто не в силах. Есть лишь один случай, когда художник что-то еще может: это тот случай, когда душа была забита и затоптана и, больная, забила в страхе. Вот тогда еще что-то можно сделать.

Кого-то удивил, кому-то внес в душу тревогу и жажду к познанию... Разве это зря прожитая жизнь? У других и этого нет. Другие до этого не доживают, до состояния растворенности в своей любви к человеку.

И все-таки если бы не было этого: «Мороз и солнце, день чудесный...» — ничего бы не было. Это, конечно, взгляд русского человека, одаренного чувством красоты. Хотя, разумеется, у каждого из нас было это: «Мороз и солнце, день чудесный...» — было, но не всякий увидел, а стало быть, и не знал, что без этого ничего нет... Но ничего у него и нет, потому что Бог не дал дара чувствовать красоту. Такая вот карусель.

Проснулся, а в утренней прохладе, в солнечном, ветреном мире за окном, пела своим ломким свистом иволга, перемежая свою песню, свои разбойничьи посвисты кошачьим ворчанием. Подумал: а что же еще тебе надобно, старче? Разве не об этом мечтают тысячи и тысячи? Да, конечно. Но что же с душой-то? Зачем она так тревожится?

Господи, как же жалко, что мама не дожила до Рождества Христова. Смотрела бы сегодня службу из церкви, радовалась бы. Но вот чья-то сила взяла ее, и ее нет с нами, а тело ее лежит в земле, вместо того чтобы греться среди родных у экрана телевизора. Всего-то ей и оставалось, что радоваться, глядя на цветной экран. Да вот — не дожила, увы. Прости, Господи, роптание мое. Да будет царствие ей небесное. Она много пострадала на земле, на земном своем пути, и в глубокой старости, уже без ноги, обретя нечто похожее на смиренную любовь ко всему живому, что окружало ее, жила без тени раздражительности или тоски. Видел в ее глазах только радость и любовь.

Лес белый от инея, над лесом неслепкий шар солнца, маленький, как лунный диск, а в небе разлито топленое молоко. Белый лес под желтым небом.

Потом это снежно-оранжевое небо стало дымчатым, тусклым, а заиндевелые ветви деревьев сделались сизыми, темнее неба, как и должно быть, хотя недавно было наоборот, и засветился на небе никелевый серпик молодой луны.

Чтобы насытиться хлебом, сначала надо посеять зерно, бросить его в землю, то есть отдать земле, чтобы потом взять.

В жизни все так — сначала отдай, а потом возьми. А не наоборот!

Все-таки почему же мне в свое время мидовцы отказали в визе на поездку в США? Кто сей человек? Не американцы, а это, так сказать, наши «гаврики» советские. Из-за них я не месяц, как все, а всего около двух недель пробыл там, и то потому, что Саша Михайлов поскандалил с Иностранной комиссией. Без него я уж совсем было отказался ехать и хлопотать.

Щегол, как я понимаю, заливается упругим своим крещендо. А вот в Америке в это время совсем другие птицы, другие песни. Мне бы, несмотря ни на что, пожить бы в Америке, где-нибудь в штате Монтана, годик-другой — пожить богатым человеком, в своем доме на бережку форелевой речки. Господи! Привык же я спать днем, а работать ночью, стал совой — вот потому и славно бы пожил я в Америке, где все наоборот: «ночью» я бы бодрствовал, а «днем» спал сладким сном.

Все-таки главное впечатление от Америки — страна, горячо любимая ее жителями, страна ухоженная, заботливо очищенная от всяких миазмов, так сказать. Вот такое впечатление! Цветущая или каменная — не в этом дело. Она вся в цвете, в красках, и красках очень чистых. Нью-Йорк — перламутровый, Вашингтон — зелено-белый.

Душевный покой — это состояние человека, которое позволяет ему сделать что-то очень хорошее. Беспокойство — разрушительная сила. Но достичь душевного покоя никак не удастся.

Кстати, душевный покой не имеет ничего общего с равнодушием и тем более с успокоенностью. Это гармония души и разума — главное условие творческой энергии.

Надо же убрать кладбище с Красной площади! Как это можно? На Красной, то есть красивой, площади — кладбище? Она же всегда торговой была. Уж лучше бы оставалась торговой, чем превращаться в кладбище.

После снегопадов ветви елей, опустившиеся под тяжестью снега, были и в самом деле похожи на лапы белого медведя. Именно лапы с белыми, мохнатыми пальцами и зелеными коготками, спрятанными под шерстью. Лапы эти распущены, словно медведь спит зимним сном.

Вспоминаю и не могу никак вспомнить, хотя природа не обделила меня памятью, когда и где я впервые пожал руку Виктору Астафьеву. Кажется порой, что знаю его со времен туманного детства, хотя тот десяток лет, что разделяет нас, проложил меж нами пропасть глубиной в целую жизнь: он воевал, я не успел...

Писатель, в отличие от классического ученого, алхимик, который в поисках золота открывает более ценное для человечества средство, не думая об этом открытии, а случайно угадывая.

Он столько дней и ночей провел на берегах рек и озер, столько раз отчаливал от берега в лодке, рассчитывая поймать много крупной рыбы, что последнее это путешествие через Стикс, путешествие длиною в вечность, для него не будет большим испытанием — душа его привыкла к невзгодам в волнах житейского моря, привыкнет и к вечному плаванию, в которое отправляется в надежде, что Бог примет ее с миром.

Нельзя судить о чистоте воды, налитой в грязный сосуд. Если же представить себе вместо воды — жизнь, то, оглядываясь назад, смею утверждать, что сосуд был чист и никто никогда, кроме, быть может, меня самого, не грязнил этот священный сосуд, данный мне для наслаждения жизнью.

Мороз 15 градусов, снежно и светит солнце, одиннадцать утра. Снег понижу, не освещенный солнцем, холоден и мрачен, а тот, что на ветвях елей раскинулся в тихом безветрии, золотится на солнце и кажется украшением вместе с золотисто-коричневыми маковками елей, усыпанных шишками. Стволы дубов в заснеженной красоте малахитово-зелеными изваяниями застыли под бледно-голубыми небесами, затаив до весны мощь своей замерзлой жизни. Посвистывает на их ветвях поползень, тенькают синицы, и где-то в глубине елей ветрено свистит снегирь. Декабрь. Редкий солнечный день. До весны далеко. А вот как придет она, как проклюнутся заячьим ухом листья дуба, как зацветет медуница, а потом и ландыши, так и оглянуться не успеешь, а лес уже зашелестит влажно, как дождь, молодыми листьями и заторопится к близкой осени, а там, глядишь, к вечной зиме... Нам бы зиму любить! Родная она нам и самая долгая, а весны, леты да осени — гости, каждая из которых краше красного, но уж очень быстро уходят, не засидчивые, а потому и желанные.

Никто из окружающих не знает, как много я пишу, сколько энергии у меня уходит, из меня уходит! А куда? В тексты? Это еще хорошо бы... Хожу веселый и шустрый, а сам страдаю от критического одиночества.

Господи! Что ждет меня в новом году? Кто может ответить мне на этот вопрос. Пройдет ли он в заботе о хлебе насущном или о духе? Или то и другое займет достойное место в моей душе.

Будь гармоничным и радостным, новый год! Подари мне несколько счастливых минут! Что тебе стоит! Дай мне сил духовных и физических, чтобы труд мой был полезен и нужен людям. Прими меня в свое время, пройди сквозь мою душу легким дуновением, вдохни великое вдохновение и не дай зачахнуть душе в мелочных заботах. Окрыли меня для работы... Я обещаю, я все свершу, что задумал.

Сегодня синий, солнечный морозный день. Градусов десять, но кажется, что тепло. Лес так красиво убран снегом! День и ночь летели кристаллики дымчато-солнечного или звездного неба, сверкая в лучах звездочками, не слипавшимися в снежинки, — все заблестало, засияло вокруг... Январь.

Всю жизнь, невольно, с детских лет выхожу и смотрю, ищу в темном небе Большую Медведицу. До старости лет одно и то же созвездие. Других и не знаю словно бы, хотя и знаю, конечно. Созвездие Ориона, например, но ведь не ищу его, а Медведица сразу бросается в глаза. Стожары тоже. Так, наверное, с каждым, кто с Севера.

Сладкий сон тебе приснись, — пела мама. Господи! Царствие ей небесное.

Как же я радовался, когда мне дарили на Новый год цветные карандаши, а среди них оказывался белый. Ни на что не нужный белый цвет. Но радость была особенная, будто наконец-то коробка оказывалась настоящей, не поддельной, не детской.

Когда бушуют в стране политические страсти, художник обязан уйти в подполье и писать о любви, цветах и деревьях, склоненных над водой, — о вечном. Должен он быть противовесом этим страстям, иначе он не художник, а всего-навсего политик, использующий беллетристику как инструмент для достижения своих целей.

Художник же всегда противовес, балансир общества, а не возбудитель страстей. Оттого-то признанные художники, великие поэты, всегда попадали под прицел политиков, обвинявших их в аполитичности и уходе от борьбы, в замкнутости, в испуге перед бурей и т. д. и т. п. Тут и башня из слоновой кости, и прочие изолирующие стены, за которыми якобы скрывается художник. Нет! Он борец, когда общество спит и когда тираны довлеют над ним. И он певец вечной красоты, когда общество бурлит страстями. В этом смысле он и противовес.

Где призывы — там толпа, где толпа — там насилие, где насилие — там кровь и жестокость.

Красота мира и красота человека в этом уцелевшем пока мире — единственная способность понять художнику себя в этом мире низких и высоких страстей.

Не отвлеченная красота, а красота Земли спасет мир.

Ее чистые реки, озера, ухоженные леса и сбереженная чистота городов. Это и есть истинная красота, способная спасти мир, то есть красота Природы, колыбели и дома Человечества, без которой оно мертво, ибо человечество — придаток этой природы, зависимое от нее существо, связанное пуповиной с красотой Земли. Не просто Земли, а Красивой, то есть удобной и приятной для жизни.

Туманно-серые ели, черные стволы дубов, снег пронзительно-лиловый с синевой — сумерки. Идет снежок, обещают похолодание.

Когда сидишь и пишешь эти заметки какой уж месяц подряд, а целого ничего не составляется, не кристаллизуется, вот тогда тоска тебя гложет и душа и тело страдают, и кажется, что жизнь уже прошла и нет впереди про-света, встаешь, моешься, приводишь себя в порядок, пьешь чай или кофе, что-то ешь и опять садишься записывать всякие мыслишки, а удовлетворения как не было, так и нет. И все это пока не сел за стол, за рассказ. А иначе — графоман, страдающий манией записывать свои «мысли». Именно это и раздражает!

Нужна новая русская эстетика, а ей есть на чем произрастать. Взять хотя бы «Темные аллеи», написанные Буниным в конце жизни, после всех страданий и душевных бурь, после «Окаянных дней», — он нашел свою «тихую гавань» и, можно сказать, открыл врата в русскую прозу, которой принадлежит будущее. Он сумел найти русскую идею в извечных, всечеловеческих проблемах отношения мужчины и женщины, и вряд ли кому-нибудь взбрдет в голову обвинять его в «легкомысленных» писаниях.

Платонов и Булгаков познали законы искусства, а потому были счастливы, хотя так и не дождались публикаций многих своих сочинений. Были счастливы за работой, которая им давалась, а это — главное гармоническое состояние человека.

Человек с верноподданнической психологией! До сих пор выступают, рвутся к трибуне, требуют слова. Вот уж, действительно, тесто в квашне, подходит и подходит. Даже страшновато делается: неужели история их ничему не научила?

Кстати, людишки эти клянутся, что они истинные патриоты России, а гордость русской нации и демократизма, каким восстал из пепла Сахаров, они готовы были проклясть. Когда человека сгоняют с трибуны хлопаньем в ладоши, это уже не демократия, а толпократия, с чем я вас и поздравляю. В толпе не страшно! Хлопайте и дальше!

Родина Бердяева и С. Булгакова, Солженицына и Сахарова — достойна славы. И сумеет, даст Бог, приукраситься чистотой своих помыслов и дел, придет в объятия Человечества, а оно примет, как отец блудного сына, воскресшего все равно что из мертвых, нашу страну, заблудшую на дорогах истории и погрязшую в страданиях.

Молиться об этом надо, прощения просить у Бога, да вот забыли, не знаем и ленимся узнать молитвы, чтобы донести до небес свое покаяние и мольбу о милости.

Ультрамариновый снег и такое же небо в шесть часов вечера в ясный солнечный день 2 февраля. По приметам, весна должна быть ранней, потому что в полдень светило солнце и мороз упал, а вернее, помягчал.

Чтобы написать большую вещь, нужно организовать такую несметную громаду слов, что тут не только талант нужен, но и усидчивость, трудолюбие необыкновенное. А что такое усидчивость? Это прожитые дни, месяцы, годы, когда ты ничего, кроме листа бумаги, букв и фраз да той помощи, которая утешает тебя, не видишь. Так и жизнь пройдет, а ты все будешь мечтать пожить по-человечески. Вот что обидно! Людям ведь кажется, что ты живешь в свое удовольствие, что ты хорошо, так сказать, устроился: не ходишь на работу, не устаешь и пр., и пр. глупости.

Надо бы бросить курить, не для того, чтобы бегать там или ходить на лыжах, а для того, чтобы хватило тебя на эту усидчивую жизнь, на проклятие это, которое слаще всех других наслаждений.

Что такое традиционная русская литература? Это литература — романы, повести, рассказы, — способная очаровать человека. Без очарования нет русского писателя, а в самом понятии «очарование» заключен, по-моему, весь комплекс воздействия на человека, то есть, очаровывая, писатель выводит своего читателя на любые этажи человеческой этики, его нравственной и социальной позиции и т. д. и т. п.

Говорят, что-де художнику трудно было выстоять — многие сломались и ушли в конъюнктуру. Неправда все это! Художнику выстоять очень легко, он даже не прилагает никаких сил, чтобы выстоять, — это его особенность, если — если! — он художник. Но дело в том, что истинных художников всегда было очень и очень мало. И они выстояли. Выстояли, даже погибнув физически, то есть будучи убиты. А тот, кто не выстоял, тот, увы, и не был никогда художником.

Пришвин, Булгаков, Платонов, Паустовский, Казаков... Этот список можно было бы продолжить — писателей, которые не погрестили против истины. Ведь продаются только те, кто хочет быть купленным, или, наоборот, покупают только тех, кто хочет продаться.

Тот же Можаяев или Конецкий, которые не отступили, не отдали ни пяди в борьбе за свое, Трифонов или Астафьев...

Можно уверенно продолжить список и насчитать не один десяток честных, твердых в своей художнической правде писателей. Но вот что беспокоит — нужна ли нашему современнику правда?

Конец февраля, солнце сияет в снегу, а округа лесная вся в птичьих голосах: чечетки где-то щебечут, синица в звон пошла, поползны посмеиваются, вороны каркают, вороны кланкают... Весна уж скоро.

Небо набрякло теплой водой и нависло потолком над осевшими, но все еще очень белыми снегами, а между этим белым и свинцово-серым — золотистые, коричневые, сиреневые деревья, звенящие птичьими голосами. В небе весенняя тьма, а земля еще зимняя, светлая. Хотя именно из тьмы, сверху вниз, и идет истинный свет и тепло. Дышится тяжело этим воздухом, как если бы душа была больна томительным ожиданием зеленой весны.

Вряд ли нужно начинать рассказ с пейзажной зарисовки, но так уж привык к этому, что редко удается избежать шаблонного зачина, будто в пейзаже, то есть в описании заката, рассвета, дня и ночи, в шуме ветра или дождя, в тишине туманного утра, заложена главная эстетическая ценность будущего рассказа, будто без них, без этих нежных или грозных картин, и рассказ не будет рассказом.

Что повлияло на меня, пробудив во мне желание заниматься литературой? Все повлияло: люди, природа, дух времени, и среди всего этого, конечно, немаловажное место занимает М. М. Пришвин, потому что проза его вплелась в живую ткань нашей реальной жизни и стала как бы объективной данностью нашего времени, его духом.

Все-таки надо помнить главное слово в предложении и следующее за ним — главное тоже, необходимое для смысла первого, потом третье слово, без которого тоже никак не обойтись, и, наконец, — четвертое, пятое и, может быть, шестое, без которых вообще немыслимы все первые слова.

Вот тогда будет упругая и нежная, мощная и легкоранимая фраза, строка на странице, ради которой написаны все остальные фразы, которые, в свою очередь, тоже главные по отношению к этой фразе. Короче, надо сплести корзину из живых прутьев, а в корзину положить трепещущую жизнь, как в чрево матери плод, рождение которого произойдет, когда книгу прочтет читатель.

Это довольно трудная, но безусловно счастливая, увлекательная работа, доставляющая почти сладострастное наслаждение.

Надо! Изящно и гибко, пластично писать переходы (только!) от одной сцены к другой. Это обязательно, а сами сцены можно грубо, резко, угловато. Сойдет! Даже очень хорошо будет.

Вальс «Грезы» неизвестного автора объявили по радио. И гавайская гитара запела одинокой душой, пробуждая в каждом свои грезы, свои мысли о счастье. Кто он был, этот неизвестный? О чем грезила его душа, голос которой до сих пор летает над грешным миром?

Вырос человек — и осталась у него потребность вызывать своими поступками восторг и восхищение людей, ибо с малых лет — найдет ли он белый гриб, принесет ли земляники, нарисует цветными карандашами «картину» — все: и мама, и отец, и бабушка с дедушкой — восторженно встречали добрые дела его. А это впитал он и стало потребностью его души — делать радость людям. Так любовь к нему обернулась любовью к людям и к себе как человеку.

Первая гроза 15 апреля, в семь часов вечера, в легких сумерках. Первый гром. Первый ливень. Температура всего лишь плюс два, в лесу глубокий снег, давно нет солнца, вся Европа под облаками. Но вот сверкала молния, гремел гром. Авось! Хотя ветер и холод.

Весна охотничья прошла без всяких удовольствий. Но вот сегодня в девять вечера пошел на перекресток дороги и вырубки, рядом с домом, постоял, послушал дроздов, и вдруг вальдшнеп один вылетел, торопливо, на крутом вираже, часто махал крыльями, маленький какой-то, — промчался и скрылся. Собственно, это не тяга была, а так — случайность.

Слово — как «строительный материал души», — сказал Виктор Борисович Шкловский. Когда-то мы с ним говорили на лестнице в журнале «Знамя» о литературе, спорили как будто, оживленно говорили, как равный с равным. А тогда у меня только-только появились «Сорок четыре ночи». «Это вы написали?» — спросил он и по-дурацки умно, как он всегда это делал, посмотрел на меня, не сказав, читал ли, понравилось ли, нет. А я не решился спросить. И правильно сделал. Он сказал, прощаясь: «Ну, если мы на лестнице еще говорим о литературе, значит — хорошо. Все хорошо».

Вчера умерла Инна Гофф. Не хочется верить. Бедный Костя (Ваншенкин. — Е. С.)! А она панически боялась грозы, молний, сверканий ее и грома. Трусиха была ужасная! Ах ты, Господи! Прими ее душу с миром.

Только что узнал, что вчера же, не приходя в сознание, умерла Лида Обухова. Две сокурсницы Литинститута, две соперницы в творчестве! И подруги. Печально это и тоскливо.

Нервы, конечно, но я даже смерть мамы не то чтоб легче, но как-то смиреннее принял, чем вот эти — Инны и Лиды... Нельзя так! Судьбу свою не объедешь ни на каком коне — ни на белом, ни на черном, ни на серо-буромалиновом. Значит, так записано было в их книгах жизни. Надо и себя «взять в руки», относиться ко всему философски, как я стараюсь и к своей будущей кончине относиться. Все равно изменить уже ничего нельзя, увы. Царствие им небесное и долгая память.

Все мы гости на грешной земле!

«Когда падаешь, — говорила мне Инна Гофф по телефону, — надо зажмуриваться, тогда не страшно». Говорила месяца за полтора-два до смерти, советуя мне, как вести себя в подобном случае. Она не знала о своей смертельной болезни и «упала», наверное, не зажмурившись, бедная!

Сила слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его пути в пространстве и времени. Погасшая для себя звезда для нас, людей, горит еще тысячу лет. Человека того нет, а слово остается и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды во Вселенной.

Чует сердце, опять сбивается стая из всяких «писателей», из бывшей и нынешней пьяни, которую опять позовут «в стаю», чтобы снова начать кликом травлю еще одного русского гения нашей земли — Астафьева Виктора! Чует сердце, что пойдут они стаей на него, да, думаю, поломают об него свои клыки. Да и не дадим поругать славу русской земли!

Написать рассказ о реке, которая стала «грязной», то есть берега ее запырило радиоактивными осадками Чернобыля. Об этом в конце как о горе, о вечной беде, которая выбила из моей жизни уголок земли, где я бывал счастлив с женой, ловя на тюкалку голавлей. О цветах и землянике, о могилах погибших, где и немецкие, и наши могилы. О красно-коричневых стрекозах.

Волны голубые в зеленом море — это вероника среди майской травы, свежей и сочной. Нынешний год — ее год. «Год вероники» — можно рассказ называть. «Год голубой вероники»... что-нибудь в этом роде.

Надо начинать с того, чтобы обрисовать культурный облик народа, а потом уж к этому выстраивать все экономические и социальные задачи для достижения намеченной цели.

Что мы умеем лучше всего? Чему научились? Мы научились лучше всех других разрушать собственное Отечество, губить всю его культуру и смеяться при этом. Видеть это грустно и очень тяжело.

А вокруг такая мироколица, такая красотища, что смотрю — и не могу насмотреться. Иначе и назвать не могу — мироколица, потому что все это родное, мое, близкое, как будто вышел за околицу родной деревеньки, а тут весь мир перед тобой.

Все наши эмигранты взяли на себя в какой-то степени роль Курбского. Но, увы, Грозного помнят и всяк по-своему трактует, а о Курбском, писавшем горькую правду царю, знают только историки. Неужели правда не нужна народу? Но что же это за народ тогда?

Был бы казнен Курбский, может быть, вспомнили бы...

Вспышка сверхновой, восторг астронома, выступающего по телевизору. Еще бы! Со времен Бориса Годунова не было такого.

А в те времена-то! Глад и мор великий! Смутные времена.

Вся трава в конце мая зеленая, сочная, густая, подкрашена одуванчиками и сине-голубыми всплесками вероники, которая тут и там раскинула свои платы. И такая это красота получается, что и невозможно повторить ни на чем — ни на бумаге, ни на холсте.

Глаза цвета голубеньких незабудок среди ярко-желтых одуванчиков... На этом контрасте и взяла меня. Увлекла в бездну будущих лет, о каких я тогда и подумать не мог.

Счастье двух влюбленных осеняет и тех, кто видит этих счастливых. Эгоизм счастливых — аура, в облаке которой становятся счастливыми и обездоленные этим чувством.

Художник должен, обязан, призван Богом и небесами создавать, творить не таблетку витаминизированную, а апельсин, у которого и кожура есть ненужная, и пленочки всякие. Сок можно, конечно, выпить с жаждой и удовольствием, но все-таки апельсин с ветки — ах как славно! А корочка — она ведь апельсину нужна, чтоб он вырос, набрал соку и созрел. Как и рассказ, кстати. Он тоже должен быть в кожуре, сочной, душистой, но не нужной для еды, для насыщения и утоления жажды. Она — для души. Она то лишнее, что делает погоду.

31 мая, в теплый, влажный денек, словно по какой-то договоренности, из всех скворечников и всех дупел разом вылетели скворчата. Весь день наполнен шумом и трепетом, треском голосистых птенцов, волнением родителей. Ах-ах! Пролетел соколенок над макушками деревьев, и все издали какой-то особенный свисточек, убрались с глаз долой.

Благословенный день. Последний день весны.

Нынешний июнь весь белый от цветущей дудки (тонкой в этом году и изобильной), словно все опушки, луга и овраги засыпаны известью.

Букет крупных, отцветающих уже ландышей — как россыпь жемчужин среди темно-зеленых листьев. Все бутоны открыты, а нижние уже желтеют слегка. Но аромат — великий!

Сумерки дня, когда мы втроем ходили в лес: Лена, Илюха и я.

Сегодня во Внуково впервые после горя должен приехать Константин Ваншенкин, а я заранее уже страдаю и, Боже мой, пугаюсь встречи с ним. Что я скажу ему?

Что я скажу в этот прохладный и очень ясный, сине-бело-зеленый день, когда все цветет — и трава, и деревья, и все кустарники, когда поют все птицы, а у него на душе тоска и глухая тьма одиночества. Что? Ничего не скажешь...

«Лес возвратился в заброшенный сад» (Роберт Фрост). Прекрасно! Высшая поэзия! Это мне Костя Ваншенкин сказал эту строчку. Гениально. Лучше и не напишешь и про нашу рукотворную полянку под окном во Внукове.

Литература — высший род деятельности художника вообще.

Слово всеильно и всеобъемлюще, хотя бы потому, что словом стараются объяснить живопись, музыку, скульптуру, архитектуру и даже балет. Плохо ли, хорошо ли, но объясняют.

Истина вне подробностей, считал Лев Толстой, не стоит ломаного гроша. Библия бессмертна не своим замыслом, а своими подробностями.

Мы — счастливые люди, нам не надо искать утром дела. Оно нас само ищет.

Есть вещи, которые я сам пишу, владея ими от начала до конца, а есть вещи, которые меня, так сказать, пишут сами, и я не знаю, что о них думать и как к ним относиться: они как бы сами по себе, а я сам по себе. «Городской пейзаж», например.

В работе Юрия Карякина лучшим размышлением надо считать размышление о мертвом времени, о времени как о Родине, о том, что дано человеку для осознания самого себя и своего места в жизни. Мертвое время — это, собственно, и есть застой души. Время как Отечество, с холмов которого человек оглядывается, видя прошлое своего народа, настоящее и, по мере возможности, будущее. А мертвое время — это яма.

Вот не помню, хотя и знаю по рассказам, какая погода была 22 июня 1941 года. Началась война, и солнце как будто исчезло: было светло днем, но как бы не от солнца, а просто нужно было всем, чтобы было светло... Но «светло» это осталось в памяти, будто оно было в темных сумерках. Никому не было дела до того, какая нынче погода, светит ли солнце или идет дождь. Сразу же, с первой минуты, как только объявили о нападении, все потемнело, и в сознании оставались только люди, их лица, их глаза, их взгляды — эшелоны с новобранцами, теплушками с раздвинутой пастью, перечеркнутой белой перекладиной, на которую опирались разные люди, их руки, локти, опять локти, руки, зубы улыбающихся ртов, руки, ловящие полевые цветы... И все это по Белорусской дороге в сторону Минска.

А какая была погода — Бог ее знает! Никакой погоды — словно бы! — и не было. Были одни люди, которых до этого дня как будто бы не было, а была только Москва-река, серебристые ельцы и уклейки на крючке, течение воды, шуршание стрекоз над осокой. Но потом вдруг сразу стало темно, хотя и видно все было вокруг очень хорошо, лучше, чем до этого мига, разделившего мир и войну.

Сколько пород деревьев, насколько они рознятся по возрасту, столько и оттенков зеленого цвета — разобраться в них искусство.

Если Солженицын своими работами дает картину трагедии народа, то Олег Васильевич Волков — трагедию человека с его слабостями и величием. Волков делает тебя одиноким и бессильным ребенком перед страшной машиной, убивающей тебя, а Солженицын вызывает в тебе ужас и мстительность.

И не знаю, кто из них ближе к истине...

Глубина правды и чистота чувств — вот главные основы любого художественного произведения. Будь то поэзия или проза, музыка или живопись. Это, так сказать, воротные столбы, меж которыми идет дорога в прекрасное, в райское состояние души. А краеугольным камнем, замыкающим эту арку, эти врата, есть талант, дар Божий.

Золотая поляна в лесу и сизый рогатый лось, дерущийся со своей тенью... Перелив и перепляс могучих мышц. И вдруг — испуганное бегство при моем появлении. Ах, какие глупые богатыри!

Старая липа в июле, когда цветет, вся жужжит от насекомых, которые выются до самой ее высоты, — стоит какой-то хмельной и шумный праздник. А осенью желтые пятачки на земле все гуще и гуще, пока не облетит вся липа. Образ Родины, что ли. Чего-то очень дорогого. Весной же каждый листик аккуратно сложенный, напряженно затянутый, вкусный, лезет из почки каким-то чудом. И прекрасен он, этот листик, как чудо, как ребенок.

Сделал мальчику сачок для бабочек. Кое-как! А он счастлив был и все просил научить его ловить бабочек, просил, чтоб я ему поймал павлиний глаз. Надоело ужасно! А у него никак не получается. Тогда он говорит, когда я ему сказал, что мне некогда: «Научи ловить бабочек мою маму, а она меня научит».

Рассказец можно написать о «маме», отдыхающей с мальчиком. О том, как «я» учил ее ловить бабочек и что из этого вышло. Рассказ назвать «Павлиний глаз» (подмосковная идиллия).

Настоящая проза таинственна и неуловима, как утренний туман. Все остальные писания — протокол жизни, не более того.

«Калитка» — название для повести. Калитка открыта — должна быть казнь, должен войти в город палач? Нет. Но тогда что же, люди, идущие через калитку, — палачи, уничтожающие сами себя? Тоже нет. Или, может быть, калитка открыта и все на свете забыли, что она открывалась только в день казни? Может быть, может быть... Пусть будет калитка открыта, потому что, когда она закрыта, надо ждать казни, закрытая калитка — напоминание о тиране.

Но тут и калитка нашего старого дома, которого давно уже нет. Двойное отчуждение — нет бабушкиного дома, который стоял на Татищевой улице (мама отца), как нет теперь даже названия этой улицы. Нет дома другой бабушки, как нет названия Большой Калужской улицы, на которой он когда-то стоял. В его калитке, в ее нише, всегда стоял охранник, зимой в коричневом пальто с черным каракулевым воротником, — Калужская была правительственной трассой.

Все утопии о социальном равенстве и справедливости не обходились без рабов, исполняющих тяжелую работу. Социализм без рабов тоже не получился (тысячи заключенных — бесплатный труд рабов).

Встреча в толпе вокзальной суеты, на Ярославском вокзале в 1956 — 1957 годах, когда стали возвращаться из лагерей.

Встреча, вырванная случайным взглядом: обглоданный, заросший синей щетиной человек, жилистый при этом и какой-то очень прочный, втянувшийся в тяжелую жизнь, приостановился перед мальчиком лет пятнадцати, с каким-то оскалом улыбнулся вдруг и молча, как и сам мальчик, порывисто обнял его. Мальчик заплакал, а отец скалился все время, блестя глазами, и никак не мог сказать ни слова, только как-то грубо мекал.

Мелкий дождичек после зноя радовал душу. Хотелось радостно лениться. Леня эта была исполнена особого значения, словно бы душа праздновала случайное и кратковременное благополучие. Детский голос был счастьем. Илюшка хохотал, и звонко! Казалось, что соловей рассыпается трелью. Или это дедовское мое умиление рисовало эти звуки? Цветы за окном поникли, отягощенные влагой. Птицы с птенцами поскрипывали в мокрых дубах. Пришла мокрая кошка и тоже скрипуче стала мяукать: все хотели есть в этот дождливый, туманно-зеленый денек, все были ворчливы, писклявы — один только я наслаждался и блаженствовал, чувствуя себя так, будто у меня впереди жизнь мечтательно-прекрасная и бесконечная.

Не застойные годы надо говорить, а — провальные. Так будет и точнее, и честнее. А насчет Сталина — это особый вопрос. Нам вроде бы сродни причина. Вот в чем дело-то. А причина у нас образовалась страшная — из революционной необходимости создали культ на все времена этим стражам, так сказать, безопасности. Чтоб без опасности что? Чтоб без всякой опасности можно было задавить человека и остаться невинным, даже правым во всем, чуть ли не героем.

Связь Иконникова (персонаж будущей повести. — Е. С.) с тем, что был тогда в Ангарске, или, как его хотели назвать, Сталиноангарске, с тем кудрявым. И вот он старается понять и осмыслить этого типа, живущего теперь стариком. Идея оставшихся невредимыми охранников и прочей падали.

Вот тут — обязательно! — идею о том, что сейчас моцарты ходят в стукачах (сальери пытаются их выдать за таковых), а сами сальери — в деятелях.

В конце июля, похожего на август, из-за долгой жары, которая улеглась на земле с начала весны, на лесной опушке лиловели сочным цветом фригийские васильки, а среди них светились голубизной цветы цикория. И это сочетание ярко-лилового и ярко-голубого удивляло глаз, как если б это было чудо. Ни в одном саду не увидишь такого удивительного цветотворения, какое с щедростью бросила тебе под ноги природа, — иди, топчи, продирайся сквозь заросли цветов, милый мой человек. Это все тебе, ты любимое создание. Ты один способен оценить величие природы и ее вечную красоту. Не забывай, что ты именно для этого рожден мною на свет.

А вот ведь и опять август! Вышел, слушал, как звенят в подсохшей траве кузнечики, а в светловатом небе звон тоже вдруг раздался — утки дикие пронеслись. Тепло.

Часто вспоминаю аромат летних яблок, которыми мы загрузили в Белоруссии свой «Москвичок». Только это и осталось в памяти, хотя вся поездка была очень интересна. Но в памяти этот возникающий вдруг из небытия бодрящий, всепобеждающий запах яблок, только что сорванных с ветвей. Какие сорта там были — не помню. Там и розовые, и желтые с царапинками красными, и светло-зеленые — все это грудой лежало сзади, на полочке стекла, на сиденье, в корзинах, в которых недавно были маслята и белые грибы... Странно все-таки! Все запахи машины были побеждены запахом яблок, и все шумы движения — неумолчным стрекотом кузнечиков за открытыми окнами. А вся техника с ее грохотом, шумом, запахами и вонью — все отодвинулось на задний план, и мы мчались по ароматной яблочной дороге, озвученной стрекотом миллионов кузнечиков.

И кажется теперь, что это и было счастье, которое мы тогда не ценили, зная, что все это будет еще много-много раз. Но вот! Больше такого не было. Хотя были и яблоки, купленные в дороге, и кузнечики по обочине, и все такое же зеленое и чистое, ветреное и шумное... Только душевный взгляд и слух и обоняние были направлены уже не на встречу с внешним миром, а внутрь самого себя, как будто весь мир переместился в душу и я созерцал его в себе. А это совсем другое! Счастье — когда внешний мир рядом, а не внутри тебя. Но, видимо, профессиональные занятия литературой все сместили, поменяли местами в этом живом мире. Потому и нет счастья художнику.

Августовская ночь, тишина, которая была пронизана звенящим шепотом стрекочущих кузнечиков, так приблизила далекое шоссе, что машины, пробегающие иногда по нему, казались очень близкими, словно проносились по глухому лесу, за ближними деревьями, по лесным полянам. Ощущение странное, будто звон насекомых объединил и приблизил все звуки ночи, сделал их как бы рожденными в гулкой бочке, в овале, границы которого придумал тебе разум.

Дождик подкрался и пролился из черных кучевых туч, одна из которых бабахнула резким громом. А дождик пошел ленивый, как если бы засочился несерьезно, не для добрых дел, а словно бы извинившись перед людьми в предосенний этот денек, 17 августа 91-го.

Сегодня ночью арестовали Горбачева. Решились-таки! Сколько же еще прольется крови в России. Господи! Не дай погибнуть молодым силам России!

Спасибо, Господи, что дал мне дождаться перелома в этом заговоре гаденышей, которые, даст Бог, сгинут окончательно.

Прошу считать себя погибшим за свободу и счастье России. Не рассматривайте, люди, эти слова выпренными. Как ни горько сознавать, что реакция опять победила, знаю, что Россию не забудет Бог!

Меня сейчас бесят и возмущают люди, которые не возмущаются, а ждут, чтобы выжить, плюнуть на все гнусности, которые творят эти новые «чрезвычайники».

Сегодня, слава Богу, народ победил, и Москва освободилась от гари и железа! Кланяюсь в ноги и радуюсь, Господи!

Плакал все эти дни. Было ощущение, что танки раздавили не мостовые Москвы, а проехали по мне, босоногому мальчишке, разбрызгивающему лужи на асфальте после теплого летнего дождя...

Все хорошо, все хорошо... Прохладно и тихо в зеленых еще лесах. Птицы давно уже окончили свои песни. Но кое-какие посвистывают еще в небесах.

Москва и москвичи спасли Россию, а Россия спасла мир от катастрофы ядерной войны.

Вот и синицы засвистали на опадающих лиственницах. Дело к концу августа.

Многие, которые до сих пор казались мне приличными людьми, назвали этот ужас в Москве опереточным путчем, они забыли и не вспомнили о муках раздавленных молодых патриотов, о пролитой крови. Они грешники и моральные уроды, за них надо молиться.

Кровь, пролитая за Русь, всегда была одного цвета, что литвина, погибшего на Куликовом поле, что здесь в Москве, пролитая за свободу и честь России.

В сентябре после сухих дней зарядил дождь, а лес весь запах молодой листвой, словно наступила весна и распустились почки, кора налилась соком.

Елки потемнели, когда пожелтели клены, и лес вспыхнул контрастами, противореча красками.

А много ли сил нужно, чтобы пережить и остаться в живых после мгновенных нервных вспышек, которые, как фейерверк, возникают то там, то здесь, поражая ядовитым блеском и треском переутомившийся мой мозг. Но, даст Бог, выберусь из этой карусели и еще повиляю хвостиком, похрюкаю от всяких удовольствий и хорошей радости... Даст Бог!

Юру Карякина видел я на баррикадах, когда он в первых числах путча мелькнул на телеэкране, забираясь вроде бы поудобнее, а я Лене сказал про него и, признаться, позавидовал, что не смог из-за сосудистых этих приступов быть в эти минуты там — сил физических не было, хотя душа моя парила и гнездилась где-то там, где был счастливчик Карякин. Ах, молодец! От меня только Володя дежурил там с 19-го по 21-е в живой цепи. А мы волновались за него, слушая, как гудят танки по близкому от нас шоссе — сначала к Москве, а потом, к счастью, от Москвы.

Когда-то Б., узнав, что я охотник, сказал мне, что мне отомстится за это и что пусть, мол, каждая утка или заяц отзовутся твоей больной печенью и прочими внутренними органами.

Я тогда задумался и счел это жестоким, но гуманным призывом человека, знавшего смерть на фронте и проклявшего убийство как таковое. А что он сказал бы теперь, когда призванные им войска раздавили русских молодых москвичей, среди которых был еврейский мальчик, — все они остались живы в Афгане, но раздавлены танками в родной Москве? Что бы он сказал? Со своим «словом к народу» он пришел бы к матерям этих мальчиков, погибших за Россию и ее свободу. Или прочитал бы это «слово» тем афганцам, которые хоронили своих друзей на Ваганьковском кладбище. Как это можно не знать, чем отзовется это «слово». И какое кощунство назвать свою подлую трескотню великим Словом, которое навсегда останется в сознании русского «Словом о полку Игореве»?

Но, Господи, помилуй его душу, если есть в тебе силы, помоги ему остаться человеком.

Все-таки старые дачные поселки, построенные еще в те времена, когда люди знали себе цену, завораживают своей полудикой-полузаброшенной природой. В какой-нибудь переулочек в дождливую пору пробьется вдруг луч сол-

нца, туманный, водянисто-подвижный меж зеленых ветвей деревьев, а сердце ахнет в восторге от предчувствия красоты во Вселенском доме! Должна же она согреть русского человека. А вниз этого проулочка трусит светлая тропа под зеленым же заборчиком. А за заборчиком счастливые люди, к числу которых я так и не смог себя причислить. Какое это было бы блаженство — иметь свой дом за забором, чтоб хорошо работать, работать и еще раз работать. За что, Господи! Значит, так надо, наверное, так надо.

Дождь в конце сентября — серый, как суровая нитка, холодный и тяжелый. После него засветились еще больше желтым листом тропинки и дороги в лесу.

Написать рассказ о московском донжуанчике, о переулках, о голубях, об одежде героя, о бедности, в которой он жил, и об уверенности в прекрасном будущем, о московских красавицах. Рассказ коричнево-золотистого цвета — вечерний по тональности.

Какая-нибудь мыслишка поэтическая, бывает, вынесется, как коктейль-ский фернампикс плоской пенной волной на плоскую поверхность морского песка, вынесется агат лошадиным глазом лилового цвета и тут же вторым накатом такой же плоской, грязно-пенной волны унесется во тьму шумящего, мутного у берега моря. А ты даже не успел понять, что произошло, не успел очухаться от удивления и восторга. И уже никогда, никогда не будет в твоей жизни этой странной откровенности, открытости, не будет этого восторга, который не успел материализоваться камнем на мокрой ладони... Так и мыслишка поэтическая... Ее надо «хватать», а ты понадеялся на память, как на волну, и все пропало — никогда уже не осенит!

Солнце над золотом и темной зеленью, а в этой темной зелени бедные сороки, которых загнал туда пепельно-прекрасный сокол, атакуя их, выгоняя на чистое место, чтобы взять и съесть. А сорокам не хочется! Орут, чиркают, перепрыгивают от сокола с ветки на ветку. Сокол меня испугался и улетел, так и не пообедав. А может, он пугал их, пребывая в хорошем настроении, заигрывал.

Кстати, при взгляде на очень многих сразу видно, что они очень хотят быть писателями, называться писателями, откликаться на «писателей». То, что мне так и не удалось испытать в полной мере. Как ни странно, я никогда не мечтал быть или стать писателем, а став, не очень этому изумился или, точнее, не очень даже обрадовался. Шалость только в голове от сознания, что я пишу, а меня печатают. За что? Отсюда и шалость, свист в голове, сквозняк.

Очень хорошо по этому поводу где-то писал Шукшин, о том, кажется, что ему как бы позволили писать, но в любой момент могут сказать: «Ну, хватит, мол, побаловался — и хватит, пора и делом заняться». Что-то в этом роде. Очень точно.

Истинные рассказы, какие писали Бунин и Чехов, не переводятся ни в один другой жанр, из этого ничего не получается. В них, в этих рассказах, слишком много воздуха и так называемых «лишних слов»...

Тургенева называют устаревшим писателем! Не знают, видимо, что его в мире читают больше всех других писателей, особенно в Европе, и в Америке тоже.

Ничего себе — устаревший. Это мы в своей оголтелости и злости, в каждодневной заботе о хлебе насущном состарились для тургеновской прозы, а проза Тургенева еще не открыта, не прочитана нами как следует. И разве не Тургенев изменил в России общественное мнение в пользу отмены крепостного права?

«Убегающий от печали» — название для рассказа.

В детстве он пальчиком показывал на большую фотографию в книге Брема и говорил: «Бай-бак, бай-бак»... Ему нравился этот суслик, стоящий на задних лапках. Так нравился, что он его всего исчертил красным карандашом, за что получил нагоняй от отца. А потом в Иркутской области видел, как издевались над двумя «бай-баками» охранники. Но не вспомнил о детском своем умилении, а ужаснулся этой «забаве».

Вот о чем рассказ. «Вам не понять моей печали» — назвать.

Лагерь на берегу Ангары, молодой лепщик, перед окном мастерской которого доски источают смолистый дух, а на досках — красавица «в законе». Ее моет бригадир перед обедом.

И другая девушка, у которой седые волосы. «Ах, если бы вам все рассказать», — говорила она и внимательно смотрела на него. А он уходил. Уходил от главного. Он «романтик», ворвался в этот мир, погубил там что-то и сбежал...

Рассказы написать можно: как жгли сусликов; как били женщину за украденную лопату; как издевались над Колей Цветковым. Как ловили моего героя, давая ему на лапу, и как он устоял.

И, конечно, об Ангаре, набитой мальками, о той, которую даже Валя Распутин уже не видел — мальчишкой он приехал в Иркутск в 56 году, а я там был в 50-м.

Вот уж и первый снег — белый на охристо-светлой, обмороженной траве. Там гряда желтой осоки возвышается бумажной своей сухостью, а там стебелек иван-чая в серебряных бородах.

В шорох опадавших листьев, в шум золотисто-синего, холодного ветра вплелись тихие крики высоко летящих журавлей — скрипучие и зычные, они таяли в вышине и волновали своей недосыгаемой грустью. А вопли их то усиливались, то затихали, — видимо, ветер относил или приносил звук — пока не растворились в небесах и не умолкли до весны.

За что я осень люблю глубокую? А за то, что можно закрыть глаза и мечтать о весне, о дальних поездках, об охоте на вальдшнепов. Но! Приходит весна — и некогда, некогда. Находишь массу причин остаться в лени и комфорте городского быта. Когда же это въелось в душу? Когда что-то заржавело во мне, затихло, отозвалось скрипом ржавых петель. Надо же, какая жалость!

Начались темно-лиловые зори, какие бывают в ноябре уже, если выпадет и ляжет на землю снег... За окнами лилово-сине все. Особенно когда зажигаешь лампу. У каждого времени года свой ярчайший цвет. И нет на Земле ничего бесцветного, кроме некоторых душ, не осененных благодатью.

Странно, но только к пятидесяти пяти годам пришел я к давно известной мысли, что проза Пушкина — высшее достижение всей русской прозы.

Что же затрудняло понять и принять эту мысль? Расплывчатость представления о том, что есть проза? Или собственная бездарность? Красочность, за которой скрывается пустота? Скорее всего это.

Великие писатели обладают удивительной судьбой: они словно бы никогда не рождались и никогда не умирали — они прошли по времени и пространству, оставив людям свое мироощущение, с которым люди живущие, рождающиеся и умирающие могут соотносить свои мысли и поступки, соображать, как им жить и как умирать.

На темном фоне тучевого неба ярко освещен голый предзимний лес, и он, соломенного цвета, трагически нежен и беспомощен перед морозами, раздетый донага.

Чувство трагичности оттого возникает, что краски его в солнечном освещении напоминают весенние, радостные, теплые, а впереди не лето, а лютая, судя по обилию рябины, зима. Кажется, будто лес обманулся и расцвятился,

как перед весенним теплом, и его жалко и подсказать хочется, что ошибся он и зря надеется, голенький, как перед расстрелом, приставленный к стенке из туч.

Ехали из Предуралья в ноябре сорок третьего, долго и медленно, но ехали домой, а на какой-то узловой станции по соседству стоял товарный поезд, набитый людьми в цветастых одеждах, ехавшими в сторону Урала. Кто они были? Ингуши? Или еще какой-нибудь гонимый народ... Бог их знает! Но они ехали, насильно сторгнутые с мест своего обитания, от дома, в неизвестность. Хотя мы, ехавшие домой, и предположить не могли, что их гонят из дома.

Промелькнула эта сцена и исчезла, не осталась даже в памяти. А вот всплыло и мучает вопросом: кто они были, эти гонимые, о которых тогда даже не подумалось, что они гонимые, что им предстоит страшная жизнь на чужбине, голод, холод, к которому они не привыкли, и смерть, которая везде и у всех одинаковая, хотя умирать на чужбине, наверное, страшнее, чем на земле предков.

Рафаэль какой национальности? Он по национальности — гений. И только духовные пигмеи ищут кровь в жилах человека, как вампиры, сосут ее, если она чужая. И больше их ничего не интересует! — насосались, отвалились и принялись переваривать эту кровь.

Я не собираюсь при жизни памятники ставить никому, но Фазиль Искандер для меня и русский писатель, и абхазский, и даже немножечко испанский. Почему испанский? А его «Сандро из Чегема» напоминает мне героя сервантесовского «Дон Кихота»: Санчо Панса — такой же мудрый и хитроватый, находчивый в трудную минуту человек. А как же сам рыцарь? А рыцарь — это автор, Фазиль Искандер. Вот потому и испанский.

Пороша сегодня к вечеру, а к двум часам ночи все успокоилось. Раньше я страдал, что нет времени и денег поехать на охоту, потропить зайца, а теперь смотрю и просто радуюсь, что вот, мол, пороша какая хорошая. Воздух свежий, душистый, снегом пахнет — следы кошек хорошо печатаются.

А вот, между прочим, Коля Рубцов, написав в «Глухих лугах», как, перекинув это из «глухих лесов», «глухого леса», сделал важное открытие, очень точно определив луга глухими — там звук глохнет, меркнет, не звучит. Даже выстрелы на открытии утиной охоты раздаются бумажными хлопками, тутукают без эха, так сказать, в отличие от леса, который не бывает глухим (в этом смысле), а всегда бывает звонким, откликаясь на крик гулом, эхом, а то и птичьим гомоном.

Как ни странно, но, по рассказам о Феллини, мы с ним в некотором смысле похожи. Мазина, как и моя Лена, «заставляла» его совершенствоваться, как и Лена меня... Насколько моей Лене удалось это? Нет предела! Но каков уж я сам — вот в чем вопрос. Скорее всего, Мазине с мужем повезло гораздо больше, чем Лене. Увы!

Вот и юбилей у моей Ленки! А она для меня все та же девочка, перед которой я немел когда-то. Хотя и прошла моя «немота», а все-таки иногда восторгаюсь в тишине души: ах-ах, думаю, какой я!

А надо так людям жить: Бог дал людям быть вместе какое-то время — спасибо ему за эту благодать. Взял Бог одного у другого — ничего не поделаешь! Воля его, а не твоя. И на том спасибо, что соединил друг с другом, дал встретиться в хороводе людском, не потерять друг друга. Разве это мало?

Под музыку Бортнянского, под божественные хоры он то засыпал сладостно, то в нежной какой-то радости просыпался, чтобы снова уснуть, провалиться в сон, пока красота хоров не пробудила его окончательно. (Засыпал в мечтательной уверенности, что опять брошу сигаретами дымить, но, проснувшись и очнувшись от красоты, опять набросился на них и совсем отчаялся.)

Было время, когда сам жил баловнем на свете, дивясь щедротам жизни, брошенным мне под ноги счастливой судьбой.

Любил и был любим, слушал музыку, шум леса и пенье птиц, не прятался от врага и с улыбкой встречал друга, прощал и был сам прощен не раз, обожал детей, и они смотрели на меня с восторгом. Грешил и каялся, заслужив на старости уважение в разросшейся семье, душой которой стал мой внук. Все было в жизни — радость и слезы, смех и печаль.

Сегодня 31 декабря, очень яркое, синее небо и яркие снега, морозец, все светло и тихо вокруг. Иногда ветер раскачивает вдруг ветви, и с них сыплется вниз снег белым водопадом, будто большая птица села на еловую ветвь. И опять тишина и покой, опять терпеливое ожидание великого свершения — весны. Зима вся в ожидании: скоро ли весна? Далеко еще...

Господи! Спасибо за красоту и благодать. Кланяюсь в ножки и благословляю твою прекрасную землю, на которой суждено мне было родиться и жить...



ВРЕМЯ И ПРАВДЫ

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ



В НРАВСТВЕННОМ ТУПИКЕ

И прежде и посегодня западное общество представлялось и представляется большинству наших свободолюбцев как альтернативная и возжеленная для России возможность. Независимых, вдумчивых голосов, зовущих взглянуться в затратную потребительскую цивилизацию аналитично и трезво, звучит немного; их носителей сразу заподозривают в изоляционизме.

...Тоталитарная пропаганда делила мир на светлый и темный по принципу исповедания марксистской идеологии. Соответственно, велик был искус поменять знаки и видеть образец — в противоположном навязываемому. С этим и поехали в перестройку на Запад те, кому это прежде не разрешалось. А возвращаясь, кропали по-неофитски восторженные очерки о свободном мире и рынке без берегов; подробный перечень товаров ближайшего тамошнего супермаркета при этом торжественно, бывало, включался в текст, как «список кораблей» в «Илиаде». Та же инерция доминирует и теперь: в цивилизации видят то, что хотят видеть, — не глубину, а поверхность; приверженность ее принципам почему-то сделалась синонимом демократических убеждений.

Реальность же, как всегда, в не полярных делений. Глобальный кризис в канун XXI века стягивает в свою воронку в се человечество; и за глянцевой яркостью западной жизни — общие драматичные проблемы, связанные с ненасытностью рыночных потребительских механизмов, размыванием фундаментальных ценностей, на которых цивилизация строилась, усыханием духовных корней и обмелением высокой культуры.

Самый азартный сегодня спор: должна ли Россия стремиться влиться, так сказать, в общее мировое цивилизованное развитие — или у нее свой особый специфический третий путь. Ошибочная дилемма! «Третий путь» актуален отнюдь не для одной России, в нем действительно нуждается вся цивилизация в целом.

...Эмигрировавший пятнадцать лет назад, В. М. Ошеров знает мир, о котором пишет, изнутри; занимается историей и социологией США, идейными и политическими особенностями западного консерватизма.

Юрий Кублановский.

1

В своем цикле лекций об американском образовании один из крупнейших католических философов XX века, Жак Маритен, говорил: «Не важно, какими недостатками может отличаться семья в определенных конкретных случаях, не важно, какие беды, какой раскол вносят в семейную жизнь экономические и социальные условия наших дней, природа вещей не может быть изменена. И эта природа вещей состоит в том, что сила и благо любви впервые развиваются в семье. Не только пример родителей и правила поведения, которые они внушают, и религиозные привычки и чувства, которые они поощряют, и передаваемые ими семейные предания, короче, непосредственно выполняемая ими воспитательная работа, но и в более общем смысле взаимный опыт и взаимные испытания, усилия, страдания, надежды и повседневные труды семейной жизни и повседневная любовь, вырастающая из них, создают нормальную сферу, где чувства и воля ребенка естественно формируются. Общество, состоящее из его родителей, его братьев и сестер, — это первичное человеческое общество и первичная среда, в которой сознательно и

бессознательно он... получает свою нравственную пищу»¹. Такая старомодная, явно не укладывающаяся в культуру 90-х годов нашего века точка зрения на семью подтверждается тем не менее всеми данными современной статистики. Да и удивительно ли, что дети, лишенные нормальной семьи и связанных с ней наглядных уроков любви, послушания, совместной жизни с близкими и дорогими людьми, составляют подавляющий контингент будущих правонарушителей и людей, которым трудно уживаться с законами и правилами человеческого общежития?

Об этом вспоминаешь, когда речь заходит о тревожной и, разумеется, «неразрешимой» проблеме Америки: молодежных бандах в больших городах. В них насчитываются десятки тысяч членов, и самое невинное их развлечение — пачкать стены домов разухабистыми «граффити». Неуклонно растущее число убийств среди подростков напрямую связано с жестокими разборками в борьбе за территории и сферы влияния в торговле наркотиками. В ежедневных перестрелках с применением самого современного автоматического оружия погибает и много невинных прохожих, в основном — детей. Все дети, живущие в трущобах-гетто, не только мальчики, но и девочки, сталкиваются с постоянным давлением со стороны сверстников, побуждающим их вступать в банды. Пресса и телевидение полны страшных историй и кадров окровавленных жертв и рыдающих матерей; политиканы произносят громовые речи, требуя то запретить огнестрельное оружие, то устраивать в многоэтажках, где живут малоимущие, повальные обыски и облавы; им с не меньшим гневом возражают поборники индивидуальных свобод, освященных Конституцией, — права на ношение оружия и запрета на обыски и аресты без санкции суда... Закон, запрещавший ношение огнестрельного оружия вблизи школ, был недавно объявлен Верховным судом неконституционным. Даже либерал Билл Клинтон высказал по этому поводу возмущение, и с ним можно согласиться. Юридические игры продолжаются, их участники выглядят необычайно принципиальными, но что делать с молодежью, так никто и не знает.

По данным ФБР, самая быстрорастущая категория преступников — дети от 10 до 17 лет. Если в 1965 году число арестов среди этой возрастной группы составляло 137 на каждые 100 000, то в 1990-м эта цифра выросла до 430. Хотя численность населения в США выросла с 1960 по 1990 год на 41 процент, но общее число насильственных преступлений увеличилось за тот же период более чем на 500 процентов. Источники такого феноменального роста становятся понятны, когда мы посмотрим, например, данные о численности незаконно рожденных детей в США: 1970-й — 6 процентов от общего числа детей; 1992-й — 26 процентов. Среди негритянского населения это число в 1992 году составило 64 процента (!). Что же тут удивляться росту молодежной преступности?

Но важны даже не эти цифры. И не то, что говорят о молодежной преступности социологи, юристы и политические деятели; важно, что члены банд говорят сами о себе. И вот что выясняется. В банду идут не потому, что нужда заставила (в Америке никто не голодает), и не потому, что преступные наклонности заложены в некоторых людях с детства (хотя такое возможно), и даже не от страха атомной войны и общего отчуждения конца XX века. Нет, главная причина, и это открытым текстом говорят сами члены банд, — банда заменяет им семью, которой дома у большинства из них нет. Семью, разрушенную десятилетиями безжалостной «культурной» и «научной» борьбы против традиционной морали, против религии, против авторитета родителей; разрушенную безмозглой социальной политикой вэлферизма. Вся культура XX века (да и XIX в значительной мере) занималась воспеванием «бунтаря», борца с оковами обскурантизма и буржуазности. Жаждали освободиться от бремени всяких обязанностей — вероисповедных, семейных, гражданских. Вот и освободились.

И теперь юные бандиты прямо говорят: нам нужен чей-то авторитет, чье-то руководство. Большинство из них — дети и внуки матерей-

¹ Maritain Jacques. American Education at a Crossroads. New York. Charles Scribner's Sons. 1943, p. 96.

одинок и анонимных отцов. Отцы эти были воспитаны, в свою очередь, такими же «родителями», жившими в тех же уличных джунглях и окруженными разнузданной, полупорнографической масскультурой. Они, пожалуй, никогда и не задумывались о том, что есть такая вещь, как полноценная семья, что существует родительская любовь и забота, есть родительская ответственность. Детям нужны отцы и любящие семьи, а не «паханы» в банде и в неизбежно следующей за бандой тюрьме. Но именно «паханами» все и кончается.

О чем еще они говорят? О том, что, живя в городском гетто и не имея «верных» друзей, готовых всегда за тебя заступиться, ты просто-напросто рискуешь жизнью. В любой момент к тебе могут подойти на улице, придраться к тому, что ты «не так посмотрел», и всадить нож или пулю. Оружия, находящегося в свободном обращении, — более 200 миллионов единиц, но дело совсем не в оружии. Дело в том, что уже никто не верит, что полиция и судебные органы способны справиться с преступностью. Дело в культуре беззакония в стране изошренного законничества. Уже не совсем ясен ни смысл наказания, ни сами понятия о дозволенности, о преступлении, о личной ответственности. Система правосудия в США подорвана начавшейся еще в 60-е годы ускоренной либерализацией всего общества. Но главное — разрушена семья, где все эти понятия изначально воспитываются.

Упадок традиционной семьи среди беднейших слоев американского общества — крайнее проявление эффектов сексуальной революции. Менее драматична, но столь же серьезна проблема огромного числа разводов и того, как это отражается на судьбе детей. Но и даже там, где имеется нормальная семья с обоими родителями, делаются неустанные попытки вырвать детей из-под родительского контроля под предлогом защиты «прав детей». Например, права детей на неприкосновенность личной жизни, приватности. Так, в случае, если тринадцатилетняя девочка собирается сделать аборт, ей должно быть дано право ничего не говорить родителям. Речь идет даже не о запрете на аборт: девочка так или иначе его сделает. Нет, просто родители лишаются даже права что-либо знать о личной жизни их ребенка. Речь идет о сознательном разрушении семьи, семейных связей. Все отдается на волю государства с его бюрократическим аппаратом. Причем, как и во многих других случаях, наступление на права родителей носит международный характер, и здесь вновь приходится упомянуть недобрым словом ООН. Существует Конвенция о правах ребенка, подписанная 176 странами. Недавно специальная комиссия ООН по наблюдению за выполнением этой Конвенции осудила власти Великобритании и Северной Ирландии за то, что там родители имеют возможность решать, будут ли их дети посещать занятия по сексуальному воспитанию в школе или нет. Комиссия решила, что в данном случае «нарушается право ребенка на собственное мнение». Согласно статье 12 Конвенции, «дети имеют право выражать свое мнение по всем вопросам». Если точно следовать букве и логике этой статьи, дети не только могут игнорировать мнение родителей по поводу содержания школьных программ и множества других вопросов, но родители не имеют права и наплевать строптивое чадо по мягкому месту!

Понятна тревога общества за судьбу детей, с которыми иные родители могут обойтись жестоко, грубо. Мало кому в наши дни придется по душе и телесные наказания во имя школьной дисциплины. Это все бесспорно. Но ведь для того, чтобы семья существовала как единое целое, как первичный прототип общины, общества, в семье непременно должна быть внутренняя связь и иерархичность (как и в нормальном обществе). В семье это должно основываться на любви, на понимании, на готовности уступить свои права ради общего блага. Мне могут возразить, что в случае с абортом, да и в других подобных случаях речь идет не о любви, а о страхе. Хотим ли мы, чтобы дети боялись своих родителей, боялись наказания? Следует поставить вопрос по-другому: хотим ли мы, чтобы дети огорчали своих родителей? Я отвечаю — да, безусловно. Потому что дух семейной любви и привязанности как раз и выражается в нежелании огорчить, причинить боль дорогому тебе человеку. И уж если говорить о страхе — а почему бы детям чуть-чуть и не бояться родителей? Страх Божий всегда почитался одной из великих христианских добродетелей. В страхе самом по себе нет ничего дурного, не следует его путать с трусостью. Важно только, чтобы эта боязнь была тесно сплете-

на с любовью. Так христианство и понимает отношения между Богом и человеком: это отношения между Отцом и Его детьми.

Интересно, что нынешние неурядицы традиционной семьи на Западе были предсказаны с удивительной точностью отцом современной социологии Питиримом Сорокиным. Еще в 1957 году, во времена непревзойденного с тех пор спокойствия, благополучия и процветания Америки, он писал: «Семья в качестве священного союза мужа и жены, родителей и детей будет продолжать распадаться. Число разводов будет расти, пока не исчезнет какая-либо существенная разница между браком, одобряемым обществом, и незаконной половой связью. Детей будут отрывать от родителей все раньше и раньше. Основные социокультурные функции семьи будут и дальше уменьшаться, пока семья не станет просто случайным сожителем самца и самки, а дом — всего лишь промежуточным пунктом половых отношений»². Такая тенденция логически вытекает из общих идей эмансипации, идей установления новых отношений между мужчиной и женщиной, давно внедрявшихся в общественное сознание, особенно после Первой мировой войны.

60-е же годы ознаменовались радикальным и массовым отречением от большинства традиционных запретов в сфере сексуальных отношений. «Секс — единственный мистический опыт, предлагаемый материализмом, и именно к сексу обращаются «устремленные к счастью» с жадностью и самозабвением, едва ли превзойденными доселе, — писал Малькольм Мэггеридж³. — ...Необъятное, маниакальное излияние эротики в любом возможном виде и форме в книгах, фильмах, пьесах и на эстраде, в теле, слове и деле, так что избежать этого невозможно никому. Хромых и увечных, трясущихся от старости и больных призывают хоть как-нибудь выдавить из своей немогущей плоти подходящую реакцию. Плоть животворит, дух не пользуется нисколько⁴, со-ripulo ergo sum: «я совокупаюсь — следовательно, существую» — новая версия знаменитой аксиомы Декарта. Все возможные препятствия сметены в сторону; нет никаких моральных табу, нет и юридических. Один оргазм в день, не важно, как достигнутый, сделает вас здоровым»⁵.

Сексуальная революция занимает особое место в истории разрыва западного общества с религией и религиозной этикой — и не только христианской. Заповедь «не прелюбодействуй», то есть запрет на внебрачное или добрачное сожителство, оказалась единственной, которую не просто нарушали (как это делалось во все времена), а официально объявили «недействительной» — согласно данным науки. Особую роль в этом сыграли работы Зигмунда Фрейда. Свою руку к воспеванию благ свободной любви приложили не только ученые, но и писатели, такие, например, как Д. Г. Лоуренс⁶ и Маргарет Мид⁷. Им с сочувствием внимали и вторили приверженцы таких разных политических течений, как коммунисты, социалисты, феминистки и даже нацисты — вообще все борцы с церковностью и «буржуазностью». Процесс эрозии традиционной морали шел на протяжении всей первой половины XX века, но особенно резкий слом произошел в 60-х годах.

Успехи науки, в частности медицины, вкупе с влиянием современной культуры отнюдь не пошли на пользу традиционной семье. Вот что пишет католический священник и профессор Фордхемского университета в Нью-Йорке о. Френсис Канаван: «Что люди всегда искали пути отделить половой акт от продолжения рода — правда. Но современные методы контрацепции сделали такое разделение легко и широкодоступным... Контрацепция поставила под

² Цит. по журн.: «News Weekly», 1993, September 11, p. 7.

³ Мэггеридж Малькольм (1903 — 1990) — английский публицист, радиокомментатор, проповедник христианства. Одна из крупнейших фигур в мировой журналистике XX века.

⁴ Перефразировка евангельского «дух животворит, плоть не пользуется нисколько» (Иоанн. 6: 63).

⁵ Цит. по сб.: «The Portable Conservative Reader». New York. Penguin Books. 1982, стр. 618, 619.

⁶ Лоуренс Дэвид Герберт (1885 — 1930) — один из влиятельнейших английских писателей XX века, автор нашумевшего романа «Любовник леди Чаттерли».

⁷ Мид Маргарет (1901 — 1978) — известная американская писательница, исследовательница примитивных культур, антрополог.

вопрос само определение полового акта. Спрашивается: если позволительно стерилизовать половой акт в момент его совершения, то почему его вообще надо совершать с помощью соответствующих органов размножения? А если это необязательно, то почему половая деятельность должна ограничиваться только лицами противоположного пола? Или если они лица противоположного пола, то почему они должны быть обязательно супругами? Это — те вопросы, которые, несомненно, возникли у многих людей в нашем обществе. Совершенно очевидно также, что те из нас, кому эти вопросы не по душе, не имеют на них убедительного ответа — как только мы принимаем, что контрацепция морально допустима»⁸.

В статье под названием «Абортная культура» Канавану вторит известный консервативный публицист Джозеф Собран. «Превратив секс во времяпрепровождение, левая культура делает детей лишними на празднике, от которых надо избавиться. Мы даже слышим лицемерные сожаления по поводу «нежеланных» детей, родить которых было бы жестоко. Защищать безответственность никто не осмелится. Вместо этого левые изображают аборт как признак ответственности, а попытки препятствовать ему — как неуместное вмешательство»⁹.

Вопрос о контрацепции, о контроле над рождаемостью и особенно об абортах — далеко не простой, запутанный целым рядом факторов исторических, социальных, экономических и, не в последнюю очередь, медицинских. Вопрос болезненный. В Америке, как известно, с тех пор, как Верховный суд «открыл» конституционное право на аборт, полемика так и не утихает, хотя многие уже смирились. Одни смирились, а другие буквально берут правосудие в свои руки, как было в нескольких случаях убийств врачей, производящих аборты в США и Канаде. Когда начинаешь говорить на эту тему с друзьями в России, когда пытаешься обратить внимание на то, что аборт есть убийство, — полное непонимание. «Ты что, обалдел?» (или что-то похлеще). Аборты стали настолько общепринятыми, что тут как бы и сомнений не может быть. Особенно сейчас, когда многим стало трудно себя самих прокормить, не то что детей. Но говорить надо, и прежде всего потому, то дело отнюдь не в уровне жизни. Аборты — знак времени, знак духовного упадка. Но даже и в такой атмосфере псевдоконституционное решение суда многих не удовлетворяет.

С тем, что человеческая жизнь священна, вроде никто не спорит. Почему-то особенно напирают на священность жизни тогда, когда это касается жизни убийц и насильников, приговоренных судом к высшей мере наказания. А как быть с еще не родившимся человеком? Тут начинаются всевозможные ухищрения вроде попыток определить, с какого момента человеческий эмбрион становится «жизнеспособным». Но согласно самой элементарной научной логике, эмбрион жизнеспособен, то есть представляет собой живое существо, с момента зачатия. Именно так считает и католическая церковь, которую никакие досужие попытки как-то научно или социологически оправдать аборты так и не смогли убедить.

Разумеется, всегда бывают исключения. Аборт может быть оправдан, когда речь идет об опасности, грозящей жизни матери, или когда существует полная уверенность в том, что ребенок будет физически или умственно неполноценным. Есть беременности в результате изнасилования или кровосмешения. Во всех подобных случаях необходимо принимать решения, повинаясь голосу разума и совести. Но абсолютно аморально пытаться изображать аборты просто как еще одно противозачаточное средство — а именно этого добиваются борцы за неограниченное право на аборт.

«Аргументация по поводу абортов, — пишет в упомянутой статье Д. Собран, — подверглась подозрительной эволюции. Когда-то это было неизбежным злом, вредные последствия которого надо было свести на нет легализацией. Затем нас убеждали не судить других; это подавалось как «религиозная» проблема, по поводу которой светское государство не должно было издавать

⁸ Цит. по еженедельнику: «Conservative Chronicle», 1994, October 17, p. 26.

⁹ Цит. по сб.: «Keeping the Tablets», New York. Harper & Row. 1988, p. 330.

законов. А сегодня нас призывают видеть право на аборт в несомненно положительном качестве, как одно из «основных прав». Мы не только должны терпимо относиться к абортам, но и платить за них из общественных средств. Это стало «правом совести», а что касается совести тех налогоплательщиков, кто не хочет за это платить, то их можно игнорировать»¹⁰.

Уже ясно, что, не имея под собой твердой этической основы, даваемой нравственно-религиозным миропониманием, вопрос об абортах решить невозможно. Как, впрочем, и все остальные. В частности, вопрос о половом воспитании — «sex education». Как известно, половому воспитанию, особенно в школе, придавалось на Западе огромное значение. Несмотря на протесты многих родителей, школьникам начиная с весьма раннего возраста давалась биологическая информация о половой жизни — информация весьма откровенного свойства. Считалось, что это — наилучший путь борьбы с растущими проблемами ранних беременностей, матерей-одиночек, венерических заболеваний и т. д. Сейчас общепризнано, что вся школьная программа полового воспитания не справилась ни с одной из поставленных задач, а в иных случаях усугубила ситуацию, доказательством чему служат все те же статистические данные. Почему? Очень показательно, какое объяснение дает наш старый знакомый, д-р Бенджамин Спок, в своей новой книге «A Better World for Our Children» («Нашим детям — лучший мир»), выпущенной в 1994 году. Он пишет: «Половое воспитание в целом фокусировалось на физиологии секса, контроле над рождаемостью, профилактике болезней и ликвидации чувства страха и вины в нормальном половом поведении. И это имеет свою ценность. Но затруднительность, с которой многие современные американцы способны говорить о своих чувствах вообще, и особенно о своих сексуальных чувствах, об идеалах, *плюс конституционное табу, наложенное на преподавание религии в школах* (курсив мой. — В. О.), означали, что огромная, сложнейшая и богатейшая сфера духовных аспектов сексуальности осталась в стороне, ее игнорировали. Молодежи полезно знать о людях с высокими идеалами, тех, кто... на протяжении истории предпочитал отложить половую близость до времени женитьбы...»¹¹

Спок не зря сетует на «конституционное табу». Не столь давно один судья в штате Луизиана постановил, что воспитание у школьников понимания важности полового воздержания отражает религиозные предрассудки и противоречит Конституции и Первой поправке. В школе запрещено говорить о психологических и духовных последствиях половой распущенности. Зато десятилетним детям рассказывают о разнице между вагинальными, оральными и анальными половыми актами. Более того, судья посчитал, что проведение границы между совокуплением животных и людей также невозможно, так как это чисто религиозная концепция. Религиозной догмой было сочтено и признание духовного начала в человеке в качестве отличительного признака. Таким образом, человека приравнивают к животному, а с другой стороны, животных постоянно пытаются поднять до статуса человека, обнаружить и сформулировать «права животных». Этот абсурд и есть логическое завершение либеральной «озабоченности» недостаточным разделением церкви и государства.

Вот почему так важно, когда в конституции страны ясно говорится о Боге, о высшем авторитете, стоящем над всеми мирскими, человеческими — научными, политическими, социальными, экономическими — и прочими интересами. Не случайно, например, в объединенной Германии аборт был объявлен Конституционным судом фундаментально неконституционным. Причем за такое решение было подано подавляющее большинство голосов — шесть против двух. В своем решении от 28 мая 1993 года суд заявил: «Женщина должна знать, что неродившийся ребенок имеет свое собственное право на жизнь». И: «К абортам можно прибегать только в исключительных обстоятельствах». Это не значит, что аборт, сделанный в первые три месяца беременности, будут считаться преступлением. Но на них не будет распространяться государственная медицинская страховка. В итоге каждый дей-

¹⁰ «Keeping the Tablets», p. 331.

¹¹ Spock Benjamin. A Better World for Our Children. Bethesda, MD. National Press Books. 1994, p. 115.

ствительно поступает согласно велению совести и несет личную ответственность за свои поступки.

Государство не должно никого принуждать, но должно твердо знать, на каких этических основах оно строится. Такое решение представляется куда мудрее и справедливее, чем решение Верховного суда США по делу «Роу против Уэйд» в 1972 году, безоговорочно узаконившее аборт в Америке. Но немецкие судьи смогли принять свое решение только потому, что в преамбуле к Конституции Германии есть такие слова: «Мы, немецкий народ... сознавая свою ответственность перед Богом и людьми...» Ибо расплывчатые понятия о свободе, плюрализме и личных правах в конечном итоге отнюдь не идут на пользу обществу, скорее всего, лишают его прочных моральных ориентиров, поощряя безответственность и эгоизм.

Кстати, интересно отметить, как подействовал недавно принятый в американском штате Миннесота закон о том, что родители несовершеннолетних девушек, прибегающих к аборту, должны заранее уведомляться об этом врачом. За четыре года действия этого закона число абортотворений снизилось на 27 процентов, а число ранних беременностей — на 21 процент. Учтя интересы и заботы родителей, закон стал действенным элементом полового воспитания, он учит личной ответственности.

Рождаемость в западном мире, как известно, снижается, зато благодаря успехам медицины увеличивается средняя продолжительность жизни и, соответственно, растет процент пожилых людей, которым надо обеспечить достойную старость. Социальное обеспечение уже составляет в США более 40 процентов национального бюджета и продолжает неуклонно расти. Где взять средства? Повышаются налоги, кормильцы приносят все меньше и меньше денег в дом. При этом аппетиты общества потребления все растут и растут, и все большему числу женщин приходится идти работать (а совсем не из-за агитации феминисток). Разве можно отказать себе в еще одном автомобиле или моторной лодке или поездке на Багамские острова? На детей просто нет времени; лучше не рожать. Значит, все меньшему числу работающих приходится тащить на себе все увеличивающееся налоговое бремя. Число разводов почти не снижается, растет число неблагополучных семей, а это отражается на всем обществе, прежде всего на уровне образования. Качество образования отражается на качестве производства, качестве товаров. Конкуренты — Япония, Южная Корея, Тайвань — отвоевывают у американцев все большую часть мирового рынка. Растет дефицит торгового баланса; Америка тратит все больше денег на импорт.

В обществе, отделенном от религии, но зато с множеством свобод и «правом на счастье»¹², вдобавок к старикам все увеличивается армия профессиональных иждивенцев: наркоманов, алкоголиков, матерей-одиночек и, главное, преступников, содержание которых в тюрьме обходится государству не меньше (а возможно, и больше), чем их пребывание на свободе. Безудержно растут расходы на поддержание правопорядка, профилактику преступлений, на лечение наркоманов и их детей, на выплату компенсаций пострадавшим... А американцы еще удивляются, откуда у них такой дефицит бюджета. Когда-нибудь, возможно скоро, счета придется оплачивать. И никто, по существу, не знает, как.

Может быть, начать потихоньку избавляться от безнадежно больных и немощных, не тратить деньги на попытки продлить им жизнь? И уже появилась на американском горизонте фигура Джека Кеворкяна, отставного патологоанатома по кличке «доктор Смерть», помогающего, из сострадания, отправиться на тот свет с помощью точно рассчитанной дозы яда. Хотя его уже несколько раз судили, и поделом, но он все разгуливает на свободе и продолжает свое неторопливое дело. И самое удивительное, что для многих Кеворкян стал своего рода героем, борцом за справедливость, за «право на смерть», и под его «практику» подводится философская база, раздаются призывы узаконить эвтаназию, то есть юридически оформленное самоубийство.

¹² Составная часть «триады» неотъемлемых прав, провозглашенных в американской Декларации независимости (Жизнь, Свобода и Стремление к Счастью — Life, Liberty and Pursuit of Happiness).

Характерно, что Стивен Рейнгардт, судья в Сан-Франциско, в недавнем решении по делу об эвтаназии фактически уже признал такое право на смерть. При этом он сослался как на прецедент на упомянутое выше дело «Роу против Уэйд». Согласно его логике, помочь человеку (находящемуся в здравом рассудке) убить себя или умертвить его с его же согласия — вполне допустимо, поскольку он «личность». Личностью считается и женщина, решившая избавиться от ребенка, пользуясь «правом распоряжаться собственным телом». Почему же тогда не признается личностью убиваемое в результате аборта живое и растущее человеческое существо? Не потому ли, что эмбрион не умеет писать и не может высказать свое отношение к происходящему?

Но похоже, что сейчас на Западе, в Америке в частности, начинает крепнуть традиционное понимание брака и супружеских обязанностей — несмотря на непрерывное давление со стороны доминирующей либеральной культуры. Своего рода сенсацией стали результаты обследования, проведенного Чикагским университетом в конце 1994 года. Газета «Чикаго трибюн» пишет, что долгое время ученым не давали опубликовать эти данные, опровергающие все предыдущие, иногда заведомо искаженные цифры и факты, позволявшие либералам утверждать, что меняется сознание людей, что имеет место прогресс не только в поведении, но и в психологии. Прежде всего, вопреки многолетней обработке со стороны прессы, телевидения, кино и литературы, сексуальная революция на самом деле выглядит совсем не как царство свободного и счастливого секса. Уже неоднократно отмечалось, что все «блага» этой революции пожинаяются в основном мужчинами; женщины, как правило, остаются в проигрыше. Среди взрослого населения США — от 18 до 59 лет — понятия о том, что такое нормальный брак, остаются теми же, что и прежде. 85 процентов замужних женщин и 75 процентов женатых мужчин заявили, что они блюдут супружескую верность. Вообще, при современном уровне занятости и мужчин и женщин просто-напросто не хватает времени на адюльтер. Кроме одноразовых случайных связей «в командировке», похвастаться нечем, да и эти «достижения» говорят скорее о распущенности, чем о сознательном выборе.

Даже если принять, что не все участники университетского опроса и не во всех случаях были стопроцентно искренни, тем не менее убеждение, что половая распущенность есть что-то, чего надо стыдиться, разделяется подавляющим большинством американцев. Причем это характерно как для состоящих в браке, так и для холостых. Более полувека борьбы за сексуальную свободу так и не смогли убедить большинство в том, что моногамия, супружеская верность и девственность до замужества — устаревшие понятия. Собственно говоря, другого было бы трудно ожидать: слишком уж очевидны издержки «сексуальной революции».

Именно вспоминая о ее идеологических корнях, о том, как моральные запреты, основанные на авторитете религии, были ниспровергнуты именем науки, мы можем сейчас говорить, что неудача сексуальной революции научно подтверждает правоту христианства. То, что развод — всегда травма как для родителей, так и для детей, известно всем. Что продолжительность жизни у состоящих в браке больше, чем у холостых, наверное, можно было наблюдать с давних времен. Сам развод как массовое явление существует не более ста — ста пятидесяти лет. В упомянутой выше книге Бенджамин Спок вспоминает свое детство. Говоря с любовью о родителях, воспитывавших его отнюдь не так, как он потом рекомендовал другим, Спок пишет: «Мы не знали никого, кто состоял бы в разводе, и сама возможность развода в нашей семье даже не приходила нам в голову... Все родители, которых мы знали в те годы, были намного больше, чем сегодняшние родители, уверены в себе и в том, как они должны воспитывать своих детей»¹³.

Характерно, что в политической жизни США в 90-е годы, особенно в ходе президентской кампании 1992 года, тема поддержки семьи, возрождения семьи звучала со все большей силой. Во время выборов в конгресс в ноябре 1994 года в семи штатах в избирательные бюллетени был включен вопрос о

¹³ Spock Benjamin. A Better World for Our Children, p. 65.

внесении в конституции соответствующих штатов следующей поправки: «Право родителей направлять воспитание и образование своих детей нерушимо». До какого же положения надо было дойти, чтобы понадобилась такая поправка? Последние данные говорят об очень медленном, но стабильном сокращении числа разводов. Соответственно, с 1990 по 1995 год наблюдалось небольшое увеличение числа семей с детьми и обоими родителями. Вообще именно сейчас наметилось все более усиливающееся массовое движение за принятие законодательных мер, поощряющих традиционные семьи с двумя родителями и возможно большим числом детей.

Стоит отметить здесь, насколько разительно упомянутая выше неудача «научных» программ полового воспитания контрастирует с успехом экспериментальных программ по воздержанию, внедряемых в отдельных школах вопреки либеральному давлению, но особенно тех, что проводятся церквями. «Когда программа «Teen Aid» («Помощь подросткам») вводилась в одной из средних школ Калифорнии, среди учащихся было 147 беременных, — пишет журнал «Полиси ревью» («Policy Review»). Два года спустя только 20 девочек были беременны»¹⁴. Далее журнал отмечает поразительный успех программы «Истинная любовь способна ждать» («True Love Waits»), начатой одним баптистским пастором в штате Теннесси. За один год полмиллиона юношей и девушек взяли на себя обязательство хранить девственность до брака. Эта программа распространилась среди 26 различных христианских конфессий, включая католиков.

На международном уровне также чувствуется растущее неприятие либеральных взглядов на сексуальные проблемы. Недавняя каирская конференция по народонаселению в целом отвергла попытки ослабить семью под предлогом расширения «прав женщин» (против выступили Пакистан, Египет и многие латиноамериканские государства, где сильна католическая церковь). Так же обстояло дело с вопросом контроля над рождаемостью и венерическими заболеваниями среди молодежи. В мусульманских странах внебрачные или добрачные половые связи вообще не могут быть предметом обсуждения. Здесь, в отличие от Запада, никогда и не отказывались от воспитания подрастающего поколения в духе воздержания, и сексуальной революции нет и, скорее всего, не будет. На «женской» конференции в Пекине представители западноевропейских стран так и не смогли добиться, чтобы в резолюциях было отражено либеральное понимание права на «сексуальную ориентацию» (эвфемизм, означающий одобрение лесбиянства и гомосексуализма), а формулировка «safe sex»¹⁵ была заменена на «safe and responsible sex»¹⁶, что в корне меняет весь смысл резолюции. И несмотря на усилия делегатов из Европы отстоять «свободу слова», подавляющим большинством голосов была осуждена порнография.

Традиционное понимание роли семьи отражается и на социальной политике таких стран, как Япония и Сингапур. Они не приемлют западную систему государственной социальной защиты, порождающую иждивенческие настроения и в конечном счете разорительную для национальной экономики. Если в Японии функции пенсионного обеспечения выполняются в основном работодателями, то в Сингапуре недавно был принят закон о том, что содержание престарелых родителей — обязанность старших детей в семье. Надо было видеть, какое возмущение этот закон вызвал в западных средствах массовой информации, сколько крокодиловых слез было пролито по поводу несчастных молодых людей, которым не придется на всю катушку воспользоваться прелестями земного существования! Но люди не слепые; они видят последствия ложных идей, догматически принятых на веру Западом, и не желают повторять их у себя. Сингапурский дипломат Билахари Каусикан очень точно суммировал такую точку зрения в американском журнале «Нэшнл интерес» (издаваемом И. Кристолом): «Разве Бог избрал Запад в качестве единственно верной модели?.. Есть основания подозревать, что западные пристрастия отражают не высокомерие, а настолько глубокую деморализованность, что лишь немногие смеют признаться в ее существовании. Многие на Западе еще

¹⁴ «Policy Review», 1995, Summer, p. 56.

¹⁵ Букв.: «безопасный секс», использование противозачаточных средств (англ.).

¹⁶ Букв.: «безопасный и ответственный секс», то есть включающий воздержание (англ.).

не приспособились психологически к миру после холодной войны... Вместо того чтобы приспособиться самим, они настаивают, чтобы другие перенимали их же проблемы. У них нет уверенности в том, что их образ жизни достоин существования, пока он не станет обязательным для всего рода человеческого»¹⁷.

В 1993 году в нашумевшей статье «Столкновение цивилизаций?» крупный социолог из Гарварда Сэмюэл Хантингтон писал: «Запад, по существу, использует международные организации, военную силу и экономические ресурсы для того, чтобы руководить миром так, чтобы сохранить западное превосходство, защитить западные интересы и распространять западные политические и экономические ценности... Западные идеи индивидуализма, либерализма, конституционализма, прав человека, равенства, свободы, законопорядка, демократии, свободных рынков, разделения церкви и государства зачастую вызывают только слабый отклик в исламских, конфуцианских... буддийских или православных культурах»¹⁸.

2

Вспоминая Америку 50-х годов, мы имеем право говорить о гигантском культурном сдвиге, происшедшем с той поры. В этом сдвиге главная роль принадлежит интеллектуальной элите Соединенных Штатов — деятелям науки, литературы, искусства, работникам средств массовой информации. И несомненно, что либерально-атеистическая эволюция американского общества была бы невозможна без активного участия всей системы образования, особенно школьного.

Почти сорок лет назад, ранним туманным утром 4 октября 1957 года, Америка проснулась с острой головной болью. Причиной такого состояния послужил запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Разумеется, всем хочется быть первыми, особенно в таком деле, как освоение космоса. Понятно и то, что Америка в те времена была бесспорным мировым лидером в науке, технике и экономическом развитии. Как же удалось большевикам так просто «обставить» Америку? Этот вопрос задавали себе многие. И пришли к выводу, что система образования в США, особенно средняя школа, оставляет желать лучшего. Шума по этому поводу было много, и кое-какие меры по поднятию качества академической успеваемости были приняты. Как известно, к концу 60-х годов Соединенные Штаты явно вышли вперед в космической гонке. Сыграла ли в этом какую-то роль школьная реформа — вопрос спорный. Но Америка успокоилась, и на длительный период американские школы оказались вне фокуса общественного внимания.

Только в 1975 году выяснилось, что уже в течение двенадцати лет вновь наблюдается непрерывное падение показателей успеваемости, причем этот факт тщательно скрывался от внимания прессы. Удалось это отчасти путем занижения уровня академических требований к учащимся, например, в математике и физике, что крайне невыгодно контрастировало с гораздо более высокими стандартами, принятыми в СССР, Японии, Германии и других странах. Снова было много пересудов в средствах массовой информации и среди политических деятелей, но только в начале 80-х годов, при Рейгане, по инициативе правительства было проведено фундаментальное обследование и опубликован доклад под многозначительным названием «Нация в опасности». Стали предприниматься реальные шаги к исправлению ситуации.

Как это чаще всего бывает, первым делом посыпались требования о выделении дополнительных денежных средств. Добрый дядя Сэм вынужден был сильно раскошелиться. Начали повышать зарплату учителям, затем потребовались деньги на строительство, благоустройство школьных зданий, на наглядные пособия, компьютеры, спортивный инвентарь и т. д. В 1960 году на каждого учащегося в среднем тратилось 2035 долларов в год (по уровню покупательной способности доллара на 1990 год). В 1990 году эта цифра составляла 5247 долларов. Каковы же были результаты? За тридцать лет средние показатели SAT

¹⁷ «The National Interest», Spring 1994, p. 107, 108.

¹⁸ «Foreign Affairs», 1993, October, p. 40.

(Scholastic Aptitude Test), общеамериканских тестов, проводимых среди желающих поступить в высшие учебные заведения, упали еще на 80 пунктов. При этом надо отметить, что сам уровень требований значительно снизился: в 1992 году за одни и те же ответы по одному и тому же тесту учащийся удоставлялся оценки от 18 до 30 пунктов выше той, какую выставили бы в 1960 году.

Проведенный Институтом Гэллага в 1988 году обзор географических знаний среди взрослого населения показал, что каждый седьмой американец не может найти Соединенные Штаты на «слепой» контурной карте без названий. Каждый четвертый не мог указать местоположение Тихого океана. Только 50 процентов всех школьников знали, что Панамский канал сокращает путь от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Заметно понизился уровень грамотности и умения считать без помощи электронных калькуляторов. Молодежь испытывает трудности в области словесной коммуникации — налицо пониженная способность адекватно выражать себя в общении, будь то в сфере личных или деловых отношений.

Широкое недовольство качеством образования в Америке — хорошо известный факт. Недовольны буквально все: родители, учителя, предприниматели, — но у каждой группы есть свои, не всегда совпадающие, причины и поводы недовольства. Снижение уровня образования — не самый главный показатель благополучия общества. По этому поводу пусть беспокоятся бизнесмены, работники государственного аппарата, министерства обороны и т. д. Это у них под началом будут служить тысячи неучей, которых на ходу и ценой собственных нервов и времени придется все равно учить тому, чему не успела научить школа. А вот те, кого беспокоит будущее нации, ее моральный дух, должны обратить главное внимание на другие симптомы.

Во время недавнего опроса американских старшеклассников был задан вопрос: что они ценят больше всего в Соединенных Штатах? Большинство ответило: «Индивидуализм — и тот факт, что у нас демократия и можно делать все, что захочешь». И: «У нас действительно не существует ограничений». Что и говорить, индивидуализм — вещь заманчивая. Как приятно чувствовать себя личностью, индивидуальностью, особенно когда не несешь никакой ответственности за свои действия. Как говорится у классиков, «сбылась мечта идиота». Но вот каково при этом учителям и какая польза обществу от таких индивидуальностей — совсем другое дело.

Говоря об учителях, стоит обратить внимание на то, какую роль в упадке средней школы сыграли учительские профсоюзы, которые, как и следует ожидать от «образованных» профсоюзов, до сих пор живут социалистическими и марксистскими идеями. Главное сопротивление у профсоюзных заправил всегда вызывали требования повысить ответственность учителей за показатели успеваемости учеников. В течение многих лет, если не десятилетий, профсоюзы боролись за то, чтобы качество работы учителей не бралось в расчет ни при оплате, ни при найме на работу, ни при составлении программ. Они настаивали, что все учителя, имеющие дипломы, обладают совершенно одинаковой квалификацией и должны получать одинаковое материальное вознаграждение — типично социалистическая уравниловка.

Надо сказать, что путем обычной профсоюзной тактики давления — забастовок, бойкотов, демонстраций, пикетов и т. д. — им своего добиться удалось. Учителя сейчас получают гарантированный минимум зарплаты — и это очень неплохой «минимум». Параллельно с этим было сделано все, чтобы максимально облегчить работу учителя. Сокращено число учеников в каждом классе, программы пересмотрены в сторону все большей их упрощенности (разумеется, не ради учителей, а для «пользы учеников», в согласии с самыми последними педагогическими теориями), а домашние задания все больше напоминают стандартные анкеты, где ученики ставят галочки и учителю остается только подсчитать «правильные» галочки и выставить оценку. Были сокращены учебные часы в школе и, соответственно, время, потребное для подготовки к урокам — и для учеников, и для учителей. Впереди маячили счастливые времена.

Но случилось непредвиденное. В 1985 году, когда уже ни для кого не было секретом, что американская школа находится в состоянии развала, председа-

тель Американской федерации учителей Альберт Шенкер, бывший в течение более двадцати лет полновластным боссом и лично возглавлявший успешную борьбу за учительские привилегии, наконец вынужден был признать, что все эти «победы» так и не смогли сделать профессию учителя привлекательной. Наоборот, за эти годы наблюдалось неуклонное снижение интереса к учительской профессии. Что предложил Шенкер? Ни много ни мало как повышение ответственности учителей за уровень знаний учащихся! Для профсоюзного деятеля такое было равносильно превращению Савла в Павла.

Надо сказать, что западные профсоюзы вообще демократичностью не отличаются. Дела решаются не в согласии с волей большинства членов, а в соответствии с идеологическими или политическими интересами боссов. Учительские профсоюзы — отнюдь не исключение. Верхушка подчас даже не считает нужным проконсультироваться с рядовыми членами, прежде чем объявить забастовку или принять иное важное решение. С этим все уже смирились. Именно поэтому так ошеломили многих покаянные признания диктатора Шенкера. Но секрет его «обращения» весьма прост. Обстановка во многих государственных школах, особенно в негритянских районах, — критическая. Постоянно учащаются случаи изнасилования, избиения учителей, даже убийств, а уж о наркотиках и алкоголе как-то и говорить неудобно: это само собой разумеется. Учителя не выдерживают в неравной борьбе с распоясавшимися детьми, уходят из школ, меняют профессию. Не помогают даже высокие зарплаты — здоровье дороже.

Учителями все чаще становятся не по призванию, а по необходимости: при общей тенденции к безработице в госшколах всегда много вакансий, туда берут всех, не глядя на опыт или показатели успеваемости в университетах и колледжах, и платят хорошо. «Встречный» процесс происходит и среди родителей, не желающих доверять воспитание своих детей посредственным учителям и разнузданной «вольнице» государственных школ. Итог — все более усиливающийся «отток» учеников из государственных школ в частные. Если в 1976 году только 7,6 процента всех учащихся средних школ учились в частных школах, то уже к 1983-му это число возросло до 12,6 процента. А в частных школах учительские профсоюзы обладают куда меньшим влиянием. Так что воинствующий социалист Шенкер вдруг забыл про уравниловку и стал пропагандистом ответственности, качества преподавания и конкуренции.

Между прочим, во многих частных школах учителя получают более низкие зарплаты, чем в государственных, и эти школы тем не менее находятся в числе лучших по показателям успеваемости и дисциплины. Есть, разумеется, и очень дорогие школы. Но в среднем по Америке обучение одного ученика в государственной школе обходится в два раза дороже, чем в частной. Так что дело совсем не в деньгах. При этом налоги, на которые содержатся госшколы, платят все граждане, в том числе и те родители, которые вдобавок выкраивают из семейного бюджета деньги на частную школу. Ирвинг Кристол¹⁹ писал: «Учителя — не самый главный фактор в нашем кризисе школьного образования. Достаточно ли им платят или нет — вопрос справедливости. Это — не педагогическая проблема. Считать, что наши учителя учили бы наших детей лучше, если бы им платили больше на несколько тысяч долларов в год, — глупая клевета. Но это та клевета, какую не стесняются распространять в своих узких интересах учительские профсоюзы»²⁰.

Поразительно, что именно там, где деньги могли бы реально помочь в деле налаживания школьных дел, неожиданно, как по мановению волшебной палочки, возникают препятствия. Характерная дискуссия проходила недавно по поводу введения школьной формы в некоторых штатах и школьных округах. Как известно, в целом ряде стран, таких, как Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, многие школы, особенно частные, имеют свою форму, свои гербы, знаки отличия. Доказано на практике, что школьная форма дисциплинирует детей, дает им чувство принадлежности к коллективу, гордости за свою школу, да и просто приучает их к опрятности и чистоте — как раз тем вещам,

¹⁹ Кристол Ирвинг (род. в 1920) — крупнейший американский публицист, социолог, культуролог; ведущий представитель неоконсерватизма.

²⁰ Из статьи «The Tragedy of Multiculturalism». — «The Wall Street Journal», 1991, July 31.

в которых остро нуждаются госшколы в США. Разумеется, такая мера могла быть принята только с согласия большинства родителей и преподавателей. Но ведь мнение большинства сейчас, в условиях современной западной демократии, уже ничего не стоит, если остается хотя бы два или три голоса против. Тут же начинаются стенания по поводу принуждения, дискриминации, неравенства, финансовых трудностей и т. д.

В связи с этим вспоминается моя старая, 110-я школа в Мерзляковском переулке. У нас тоже было неравенство; но такое, какое Америке и не снилось. У них чаще всего самые богатые ходят в одни школы, а кто победнее — в другие: так спокойнее всем, и совесть никого не мучает, и меньше поводов для зависти. У нас — в одной школе, в одном классе — учились дети членов Политбюро и дети работяг, алкоголиков, уголовников, дворников, уборщиц. Одних «персональные» шоферы привозили со всей Москвы, зачастую с дач, из Барвих и Горок, на «ЗИС-110»; другие ютились по подвалам, по пять-шесть человек в одной комнате, в окрестных переулках — Столовом, Скатертном, Ножовом. Этим машина была ни к чему; они жили рядом и были приняты в школу «по месту жительства». Было много из «прослойки», в том числе — евреев.

Короче говоря, с одной стороны, было кричащее неравенство, с другой — все были равны, всех учили одинаково и, в общем, одинаково наказывали, хотя, как всегда, имелись любимчики. Все, разумеется, ходили в одинаковой форме. Так что любителям щегольнуть одеждой перед другими было трудно. Много ребят, «сверху» и «подвальных», дружили между собой. Думаю, все-таки немалую роль в этом играла школьная форма. Вот так разумные внешние ограничения и дисциплина помогают воспитывать терпимость и смирение. При этом нищету не игнорировали, не делали вид, что ее нет, и старались помогать. В школе регулярно устраивались благотворительные вечера, сбор от которых шел на покупку обуви и одежды детям бедняков. Собирали деньги и к праздникам, и так от случая к случаю, и родители побогаче давали, сколько могли.

Удивительно было то, что в тогдашней сталинской России, при тотальном контроле, где все было в руках государства и где конечно же благотворительность была официально запрещена (поскольку бедности просто «не могло быть»), люди находили пути делать добро помимо государства. Может быть, потому, что все поголовно находились в рабстве? Общая беда уравнивала? И воспитывала... Не случайно как раз тогда в школе училось будущее поколение шестидесятников. Для меня это — еще один пример того, насколько реальная жизнь оказывается сложнее любых теорий, любых попыток ее регламентировать, не важно, в каком направлении — в тоталитарном или демократическом. Сейчас о таком и рассказывать неудобно: на смех подымут. Достаточно посмотреть на «новых русских» — и все станет ясно. Боюсь, что их дети вряд ли вырастут достойными гражданами демократического государства, способными приносить в жертву свои интересы ради блага других.

Что же касается Америки, то хотя школьную форму там пока еще не ввели, но даже Билл Клинтон поддерживает это начинание. Не важно, из каких соображений это делается, но несомненно одно: меры по укреплению дисциплины становятся все более популярными. Еще один признак того, что век «свободы без берегов» близится к закату. Когда нет внутренней дисциплины, нужны внешние ограничения.

Говоря о других причинах кризиса, нельзя не сказать о методах преподавания. Известно, что современная либеральная культура склонна многое сводить к проблеме прав. В сфере образования, где, казалось бы, акцент должен делаться на обязанность учащихся прилежно заниматься и усваивать то, чему их стараются научить, на самом деле внимание сосредоточено на правах. Главное из этих прав, оказывается, — «право на неудачу». Students have a right to fail — еще одно, почти конституционное, право. Чтобы никого не обидеть, отменяются экзамены, оценки успеваемости или всем ставятся усредненно-приличные оценки, всех хвалят, независимо от их достижений и старания, домашняя работа сводится к минимуму. Главная задача — вытравить всякий намек на «дискриминацию». По либеральным понятиям, школьные оценки — вообще форма дискриминации, поскольку они выявляют определенные различия меж-

ду учащимися. Придумано даже негативное словечко, как часто у либералов, самого замысловатого свойства. Это слово-урод: «ableism» — от корня able, то есть способный, могущий. Вот этот «эйблеизм» сейчас всячески изгоняется из средней школы как порождение несправедливого капиталистического мира, в котором каждый получал по труду и по способностям, а не поровну, как хотят борцы за справедливость. Разве можно допустить, чтобы ученики старались учиться лучше других, быть первыми в классе?! Дух соревнования, конкуренции — страшнейший пережиток, чума, от которой надо всеми силами избавляться.

Еще один важный фактор — все большее распространение заранее размноженных на ксероксе (о, блага технического прогресса!) всевозможных опросных листков, вопросников, письменных заданий, состоящих в том, что ученику надо лишь вписать пропущенные слова, подобрать к вопросам верные ответы, проставить «да» или «нет» и т. д. Такие листки используются и во время уроков в классе вместо того, чтобы требовать устных ответов или развернутых письменных работ. Так быстрее — «научная организация труда»; да и для многих посредственных учеников легче ставить галочки, чем грамотно излагать свои мысли, если таковые имеются. Не удивительно поэтому и всеобщее падение уровня грамотности и снижение качества так называемого communication skills (умения общаться, вербализировать) среди выпускников госшкол.

Из либеральных нововведений, получивших довольно широкое распространение за последнее время, стоит отметить ОВЕ (Outcome-Based Education — буквальный перевод: обучение, базирующееся на конечном результате). Вот что пишет по этому поводу журналистка и общественный деятель Филлис Шлафли: «Перед лицом совершенно очевидной неудачи государственных школ в деле, которое им было поручено, школьный истеблишмент придумал Outcome-Based Education в качестве способа удержать контроль и скрыть собственные ошибки. ОВЕ подается в качестве «реформы», но на самом деле это план перестановки шезлонгов на палубе тонущего «Титаника». ОВЕ основано на теории, что каждый школьник может в итоге достичь одного и того же установленного «результата»; просто одним детям для этого требуется больше времени. И всем учащимся разрешается вновь и вновь сдавать экзамены, пока они не сдадут, и ни один не может двигаться дальше, пока вся группа не сдаст. При ОВЕ у учеников нет никакого стимула учиться, прилежно трудиться и сдать экзамен, потому что все можно повторять до бесконечности. Поскольку главная задача — развить самоуважение и быть частью коллектива, а не выучиться и достичь успеха, то ОВЕ уничтожает дух соревнования, дух отличия и традиционные предметы и оценки»²¹.

Итак, несмотря на громкие слова либералов об индивидуальном подходе, о правах детей и т. д., первое, что бросается в глаза в американской государственной школе, — тенденция к обезличке, к нивелированию. Школьная уравниловка в Америке — только частное проявление идеи всеобщего равенства, которую изо всех сил пытаются воплотить либералы. Цель — приведение всех к общему знаменателю, при этом на практике — к самому низкому, чтобы никого не «обидеть». Это желание никого не обидеть, эта «чувствительность» либералов, которую довольно успешно прививают вот уже третьему поколению американцев, перерождается в составную часть того морального релятивизма, которым заражено школьное воспитание в США. Все равны, и всё относительно, у каждого индивидуума — своя личная система ценностей.

Но, по существу, уравниловка — это прежде всего неуважение к тем, кому трудно учиться, это оскорбительное высокомерие по отношению к нуждающимся в помощи, в стимуле, а не в поблажке. Вместо того чтобы побуждать их учиться в полную меру способностей, помогая им забыть, что они «трудные дети», им постоянно об этом напоминают, тычут в нос: «Ты, дескать, несчастный, недоразвитый, но мы тебя не обидим, потребуем только самых простейших знаний. Не беспокойся, школу ты закончишь независимо от успеваемости». Немалую роль играет и концепция Self-esteem — «самоуважения». Как заметил в «Нью-Йорк таймс» профессор психологии Гарольд Стивенсон: «Педа-

²¹ Еженедельник «Conservative Chronicle», 1993, December 3, p. 18.

гоги, старающиеся подбодрить отстающих учеников, разработали опасный миф: что поднятие уровня самоуважения у детей — верное средство улучшить их успеваемость и решить многие социальные недуги страны... В итоге американские учащиеся довольны собой, но показывают плохие результаты на экзаменах. У японских учащихся уровень самоуважения ниже, но зато успеваемость намного выше. Находясь во власти самоуважения, Америка становится страной самодовольных посредственностей»²².

В результате дети постепенно утрачивают способность систематически и прилежно трудиться. Когда им все-таки надо сдавать выпускные тесты, им все труднее заставить себя сесть и позаниматься. Надо заметить, что этот процесс ограничивается в основном средней школой. При поступлении в университеты и колледжи так или иначе существуют средние проходные баллы. Эти баллы основаны на оценках, выставляемых нейтральной госкомиссией выпускникам средних школ, желающим продолжать свое образование в высших учебных заведениях. Оценки выставляются на основании анонимных письменных работ. Требования если и не завышенные, то вполне определенные: ни на какие скидки рассчитывать не приходится²³.

И тут происходит пробуждение от летаргии. На ученика, которого постоянно гладили по головке, уверяя его в том, что он прекрасно успевает, вдруг выливается ушат холодной воды. Высшие учебные заведения гораздо больше, чем средние школы, вовлечены в реальную жизнь. Инженерные, научные, медицинские факультеты должны выпускать квалифицированных, образованных людей, которые составят будущую активную и производительную часть общества. Работодателям, нанимающим выпускников на работу, не до прекрасных грез о равенстве. Они платят своим работникам настоящие деньги и хотят видеть результаты. Те, кто не оправдал надежд, быстро пополняют число безработных, а выпустившее их учебное заведение приобретает сомнительную репутацию. Университеты яростно конкурируют между собой, они борются за государственные дотации, за деньги частных благотворительных фондов, за пожертвования со стороны корпораций и большого бизнеса. Тут борьба за престиж идет всерьез, без лишней идеологической пены.

В принципе, попасть в университет или колледж нетрудно, за исключением особо престижных, где нужны или деньги, или подлинно высокая успеваемость, чтобы получать стипендию. Но даже поступив в вуз, тот школьник, которому средняя школа не смогла привить настоящей дисциплинированности и трудолюбия, оказывается в тяжелейшем положении: университетские программы очень интенсивны и требуют больших затрат времени и энергии (я не включаю сюда гуманитарные факультеты, где леволиберальная идеология превратила высшее образование в продолжение сладкой жизни средней школы). И происходят срывы, происходит отсев, и ведь снова парадокс: «расслабленное» школьное образование, провозглашенное во имя равенства, во имя уважения к правам детей, меньшинств, правам неспособных, то есть из самых благородных побуждений, на деле оказывается прямым предательством этих самых объектов повышенного внимания. Хотя американская Декларация независимости провозгласила, что «all Men are created equal», то есть «все люди созданы равными», но, конечно же, дети не равны, они, как и взрослые, являют собой весь бесконечный спектр человеческих характеров и свойств. Есть среди них и такие, что, несмотря на всю разлагающую атмосферу школы, упорно продолжают трудиться с полной отдачей, стараясь взять от школы все, что можно, и отличиться от своих товарищей даже тогда, когда это никак не поощряется учителями.

Здесь-то и проявляются индивидуальные качества, врожденные или воспитанные семьей: трудолюбие, усидчивость, честность, добросовестность и т. д. Обследование 645 тысяч детей из 4000 школ показало недавно, что существует прямая, определяющая связь между успеваемостью ученика и его социоэкономическим положением. Известный социолог Кристофер Дженкс писал: «Ха-

²² Цит. по: «Conservative Chronicle», 1994, October 22, p. 9.

²³ Тем не менее, когда речь идет о приеме в вузы представителей меньшинств, многие «прогрессивные» профессора готовы подчас игнорировать результаты тестов во имя «восстановления справедливости».

рактика школьного выпуска в значительной степени зависит от одной исходной характеристики, а именно: *характера детей, поступающих в школу*. Все остальное — школьный бюджет, школьная политика, качество преподавателей, — все это или второстепенно... или вообще не имеет значения»²⁴. Где же формируется этот детский характер до школы? Практика подтверждает, что ни деньги, ни программы не оказывают такого влияния, какое оказывает семья. Особенно отличаются в этом смысле эмигрантские семьи, начинающие новую жизнь на новом месте с нуля. Они восполняют то, что «прогрессивная» педагогика отвергла как пережиток, — требуют от детей дисциплины, высоких оценок, поощряют их на достижение успеха, помогают им всеми силами.

Дети из таких семей, несмотря на все нивелирующие усилия учителей, выходят из школьных стен хорошо подготовленными к дальнейшей жизни. Но другая категория, постоянно растущая, — дети из неблагополучных семей, дети алкоголиков, наркоманов, матерей-одиночек, хронически безработных — низов урбанизированного общества. Эти, можно сказать, обречены. Половина из них просто не оканчивает школы. Девочки беременеют, рожают, садятся на пособие, и — жизнь кончена. Мальчики идут в уличные банды, связываются с наркотиками, оканчивают в тюрьмах или становятся жертвами преступных «разборок». Цифры детской и молодежной смертности говорят сами за себя. Лишенные морального воспитания в семье, развращенные масскультурой, а затем преданные либеральной школой, эти загубленные души продолжают пополнять ряды отбросов общества, и надежды для них нет. Только чудо может вывести таких «равных» из заколдованного круга нищеты и отчаяния. И все это — в богатейшей стране мира.

Особенно жаль тех «серединка на половинку», у которых при более жесткой системе школьного обучения и воспитания было бы гораздо больше шансов найти достойное место в жизни и способствовать не только своему процветанию, но и благополучию всей страны. Представьте себе способного парня или девочку, у которых в доме мало кто интересуется школьными успехами своих детей. Это могут быть вполне обеспеченные, даже богатые родители, по тем или иным причинам считающие, что они уже выполнили свой долг, обувая, одевая, кормя своих отпрысков и давая им деньги на карманные расходы. Дети вроде бы довольны, особых неприятностей родителям не доставляют — и слава Богу. На самом деле дети избалованы, не привыкли трудиться, и школа только поощряет такую жизнь «спустя рукава». Это может быть и семья, где нет отца, где мать — «современная» женщина, работает, прилично зарабатывает, не забывает развлекаться, но... на детей уже времени просто не хватает. А ведь эта модель эмансипированной женщины — как раз то, что так рьяно проповедует вся западная «враждебная культура». Делается это, конечно, исходя из предположения, что институт традиционной семьи устарел, что государство вполне может взять на себя многие функции семьи. В итоге же в проигрыше все — дети, родители, государство.

Еще недавно в США категорически, под угрозой судебной ответственности, запрещалось учить детей дома. Многие семьи, особенно семьи верующих, по вполне понятным причинам не желали отдавать детей в государственные школы. Государство пыталось пресечь это движение драконовскими мерами, в том числе лишением родительских прав. Слава Богу, после многолетних тяжб мужество родителей и поддержка квалифицированных юристов привели к тому, что домашнее обучение стало в Америке не только законным, но все более распространенным. Большими тиражами издаются специальные учебники, программы, методические пособия; домашнее образование после сдачи экзаменов экстерном позволяет получить официальный сертификат, равноценный аттестату любой средней школы. Вообще, можно констатировать, что в последнее время в США действительно наметился определенный сдвиг в сторону возвращения к игнорировавшимся многие годы традициям. Это проявляется и в последних решениях Верховного суда, и в результатах выборов, и в высказываниях политических и общественных деятелей. В целом ряде штатов, невзирая на упорнейшее сопротивление учительских профсоюзов, всерьез об-

²⁴ Цит. по: «Conservative Chronicle», 1993, March.

суждается введение системы денежных ваучеров, выдаваемых родителям и позволяющих им выбирать для своих детей любые школы, в том числе частные и религиозные.

Обнаруживается еще одна закономерность в соотношении между средствами, затрачиваемыми на обучение, и академическими показателями. Цифры средних затрат на каждого ученика разнятся от штата к штату. И вот выясняется, что наилучшие показатели — грубо говоря, количество академических баллов на доллар — выше всего в штатах Айова, Северная и Южная Дакота, Юта. Следом за ними идут Висконсин, Миннесота, Небраска, Теннесси. Что это за штаты? Одно объединяющее их всех качество: они наименее урбанизированы, а значит, все язвы урбанизации — разрушенные семьи, преступность, засилье масскультуры — здесь оказали меньше влияния. Там, где еще сохранились консервативные традиции, семейные отношения, в выигрыше оказывается все общество.

«Либеральные» запреты (включая запрет на ознакомление школьников с Десятью заповедями) прямо способствовали росту числа религиозных общеобразовательных школ, составляющих 72 процента всех частных школ в США. Например, если в 1965 году христианских школ насчитывалось около 1000, то к 1985 году их уже было 32 000! Именно в это время и наметился небольшой подъем в общенациональных показателях успеваемости. Исследования показали, что в христианских школах успеваемость была намного лучше, чем в государственных, но — что еще важнее — в то время как в госшколах она продолжала падать, в христианских школах показатели успеваемости росли. Хотя в частных школах (включая религиозные) учится всего 12,6 процента всех американских школьников, но число тех, кто добился там наивысших результатов, составило 39,2 процента от общеамериканского числа отличников.

Попытки исключить религиозные элементы из всех сфер общественной жизни США прежде всего отражаются на образовании и воспитании. Какие бы философские взгляды мы ни исповедовали, духовное наследие христианства — неотъемлемая часть европейской культуры. Даже не будучи верующим, ни один уважающий себя современный историк, философ или социолог не может обойтись, например, без знания основ христианского богословия. Отрыв от религии ведет к интеллектуальному оскудению, как это можно ясно видеть на примере советской науки и культуры. Жак Маритен говорил в 1943 году, выступая перед студентами Йельского университета: «...теологические проблемы пронизывали все развитие западной культуры и цивилизации, и они продолжают глубинно действовать и поныне, настолько, что тот, кто игнорирует их, окажется принципиально неспособным проникнуть в смысл нашего времени и его внутренних конфликтов. Такая ограниченность сделает его подобным ребенку-дикарю, блуждающему среди непостижимых деревьев, фонтанов, статуй, садов, руин и недостроенных зданий старого парка цивилизации. Интеллектуальная и политическая история шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, Реформации, контрреформации... достижений отцов пилигримов... и последующие события мировой истории — все берут свое начало в великих спорах о природе и благодати классических веков (христианского богословия). Ни Данте, ни Сервантес, ни Рабле, ни Шекспир, ни Джон Донн, ни Уильям Блейк, ни даже Оскар Уайльд или Д. Г. Лоуренс, ни Джотто, ни Микеланджело, ни Эль Греко, ни Сурбаран, ни Паскаль, ни Руссо, ни Медисон, ни Джефферсон, ни Эдгар По, ни Бодлер, ни Гёте, ни Ницше, ни даже Карл Маркс, ни Толстой, ни Достоевский не могут быть поняты без серьезного знания теологии»²⁵.

Но в том-то все и дело, что эти великие имена просто-напросто исчезают из школьных, да и университетских программ. И отнюдь не случайно. Моральный релятивизм неизбежно вступает в противоречие со всем великим, что было создано мировой культурой. Даже если это не стопроцентно христианские авторы, даже если это люди, бунтовавшие против церкви, тем не менее все они утверждали вполне определенные моральные ценности. А для современных релятивистов такое совершенно неприемлемо.

²⁵ Maritain Jacques. «American Education at a Crossroads». New York. Charles Scribner's Sons. 1943, p. 73.

В открытую, конечно, это почти никогда не признается. Новая инквизиция, пытающаяся стереть из исторической памяти великие имена, прикрывается довольно примитивной демагогией. Идет спекуляция на оскорбленных чувствах меньшинств — негров, индейцев, феминисток, педерастов и т. д., — требующих компенсации за прошлые лишения. При этом происходит следующее. «Провинившегося» классика обвиняют в каком-то страшном грехе против одной из «обиженных» групп. Чаще всего — в расизме. Под эту категорию можно подвести немало прекрасных писателей прошлых веков. Очень часто труды такого «расиста» изымаются из программы и заменяются каким-нибудь бесцветным и второсортным, но идеологически выдержанным автором. Многие великие художники прошлого обвиняются в «мужском шовинизме», то есть покровительственном, или предвзятом, или враждебном отношении к женщине. Долой такого «шовиниста» из всех учебников и хрестоматий!

Если учесть, что еще недавно такие требования «политической корректности» были бы сочтены за бред сумасшедшего, что многие вещи, кажущиеся современным блюстителем справедливости недопустимыми, были бесспорны и общеприняты, то понятно, что очень мало великих деятелей мировой культуры способны пройти «отбор», не пострадав. К примеру, Достоевский и Гоголь, уж не говоря о Лескове, могли бы попасть в «черные списки» у рьяных борцов с антисемитизмом в американских университетах.

Речь идет, разумеется, не только о писателях или художниках. Мы знаем, какое воспитательное значение имеют великие исторические личности в качестве примеров для юношества. Но в жизни любого исторического лица всегда можно «отыскать» и такое, что сразу поставит под вопрос уместность подражания. Этим «развенчиванием» как раз и занимаются уже много лет современные западные историки, особенно марксистского направления.

Профессор Аллан Блум²⁶ недавно писал, что студенты уже приходят в университет с твердым убеждением, что истина относительна. Это стало само по себе абсолютной истиной, аксиомой. Когда студентам предлагается подумать, а не ошибаются ли они, их первая реакция: «Вы что, абсолютист?» В течение пятидесяти лет, по словам Блума, единственной добродетелью, которая внушалась американским школьникам и студентам, была «открытость» — *openness* (забавно, что русская «гласность» часто переводилась на английский язык как *openness*).

«Открытость, — иронизирует Блум, — и релятивизм, который превращает ее в единственно возможную позицию перед лицом всевозможных притязаний на обладание истиной и разнообразия образов жизни и людских типов, — великое прозрение наших дней. Главный враг — человек, твердо верящий во что-то. Изучение истории и культуры показывает, что в прошлом весь мир был безумен; люди всегда считали, что они правы, это приводило к войнам, преследованиям, рабству, ксенофобии, расизму и шовинизму. Задача состоит не в том, чтобы исправить ошибки и поступать правильно; нет — лучше совсем не считать, что ты прав»²⁷.

«Каково действие доктрины моральной эквивалентности всех идей — кроме религиозных идей — на общество? — спрашивает публицист Пэт Бьюкенен, один из кандидатов на пост президента США. — Это то же самое, что разрешить сбрасывать в реку одновременно всевозможные отбросы и хлорировать воду для ее очистки». Бьюкенен приводит слова видного американского католического богослова Фултона Щина, написанные в 1931 году в эссе «Мольба о нетерпимости»: «Говорят, что Америка страдает от нетерпимости. Отнюдь нет. Она страдает от терпимости: терпимости правого и неправого, правды и заблуждения, добра и зла»²⁸.

...Как правило, релятивизм весьма избирателен. Например, в Америке ярые поборники абсолютной свободы слова и выражения почему-то оказываются не столь либеральными, когда речь заходит о так называемой «hate

²⁶ Блум Аллан — известный культуролог, профессор Чикагского университета.

²⁷ Bloom Allan. *The Closing of the American Mind*. New York. Simon & Shuster. 1987, p. 26.

²⁸ Цит. по: «Conservative Chronicle», 1995, April 1, p. 7.

speech»²⁹ или «fighting words»³⁰ — выражениях, несущих в себе элементы расизма, антисемитизма, оскорблений в адрес гомосексуалистов, умственно неполноценных и т. д. Можно согласиться: ничего положительного в таких выражениях не было и нет. Но почему тогда оскорбление патриотических чувств, сжигание флага в знак протеста, богохульство, оскорбляющее чувства миллионов верующих, — почему все это считается вполне допустимым? Под прикрытием красивых слов о всеобщей терпимости в современной Америке, по существу, культивируется нетерпимость к религии. Джозеф Собран пишет: «При сегодняшних скользких законах можно легко представить себе, как учитель, произносящий молитву в классе, может быть отдан под суд за нарушение Первой поправки³¹ — в то время как другой может показать классу порнографический фильм, пользуясь защитой Первой поправки»³².

Возвращаясь к теме образования в США, можно было бы сказать, что переживаемый кризис есть следствие целого ряда обстоятельств, внешне не связанных между собой. Обстоятельства эти можно свести к следующим основным:

1) Происходили перемены в идеологическом подходе к самому делу школьного образования. Особое влияние приобрели модные теории о том, что детям надо дать больше выбора, позволить им самим принимать решения. Это все шло в русле общей либерализации, частью которой были, например, рекомендации доктора Б. Спока. Под влиянием тенденции ко все более и более полному «равенству» стало доминировать негативное отношение к соревновательности в классе, к жестким экзаменационным нормам, оценкам, тестам. Снижались требования как к учащимся, так и к учителям.

2) За период с конца 50-х до 90-х годов (именно в это время и происходила борьба учительских профсоюзов за освобождение от всякого контроля) необычайно возросло влияние массовой культуры, особенно телевидения с его пропагандой вседозволенности, релятивизма, пренебрежения к авторитету. Это самым прямым образом отразилось на дисциплине, на моральном состоянии учащихся.

3) Полным ходом шло разрушение традиционной семьи, особенно в негритянских гетто больших городов. Выросло число матерей-одиночек, детей без отцов, детей разведенных родителей и т. д. Это, в свою очередь, усугубило разлагающее влияние масскультуры.

4) Принятое в 1954 году решение по делу «Браун против Управления образования» отменило расовую сегрегацию в школе. Проведение данного решения в жизнь по всей стране делалось принудительным путем, что не замедлило повлечь реакцию: вместо того чтобы послушно интегрироваться, множество белых семей предпочло уехать из больших городов в предместья, где поблизости не могло быть никаких негритянских или латиноамериканских районов, а потому школьная сегрегация не просто осталась, но стала еще глубже и осложнилась общим социальным кризисом городских гетто.

5) Как будто для того, чтобы еще усилить эти негативные факторы, в 60-е годы в государственных школах запретили ежедневную молитву и чтение Библии.

Совершенно очевидно, что нельзя винить во всем этом учителей или учительские профсоюзы. Даже сейчас, когда проводится гораздо более умеренная политика как в смысле деятельности профсоюзов, так и в смысле внедрения новых педагогических методов, когда повысился родительский контроль и дается больше свободы религии, ситуация продолжает оставаться критической. Нет, дело не только в учителях, в программах, в неудачной расовой политике или в школьной молитве и школьной форме.

Давайте посмотрим на каждый из пяти перечисленных выше факторов (их на самом деле больше) с христианских позиций.

²⁹ «Выражение ненависти» (англ.).

³⁰ «Воинствующие слова» (англ.).

³¹ Первая поправка к Конституции США: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями о прекращении злоупотреблений».

³² Цит. по сб.: «Keeping the Tablets», New York. Harper & Row. 1988, p. 330.

Новая педагогика целиком построена на отрицании авторитета родителей, авторитета взрослых, бывшего краеугольным камнем воспитания и образования во все времена, во всех культурах и религиях. Она отдает все на откуп профессионалам-учителям, как правило придерживающимся леволиберальных взглядов, или индивидуальным капризам несформировавшихся детей и подростков. Уравниловка, игнорирование разницы во врожденных способностях и воспитанных семей различиях в усидчивости и трудолюбии — попытка человеческими силами исправить неравенство, установленное Богом и снимаемое только равенством перед Богом; отрицание того, что все наши врожденные качества, все недостатки — знак принадлежности, усыновленности Богу и часть Его жизненного плана для каждого из нас.

Релятивизм всей современной либеральной культуры, включая массовую, — это отрицание понятий нормы, понятий добра и зла, законов нравственности, установленных Богом.

Распад семьи — одно из самых характерных последствий выхолащивания религиозного содержания института брака, отрицания его богоустановленности и священности, священности человеческой жизни, освященных Библией отношений между мужчинами и женщинами, понятий о родительском долге.

Запрет на школьную молитву — прямое и недвусмысленное проявление враждебности к религии. Но он оказался запретом и на то небольшое — при прочих равных, — что еще было в распоряжении учителей для поддержания дисциплины. Сейчас они всё более беспомощны перед лицом школьного «беспредела».

Попытка искусственной интеграции черных и белых чисто административными, принудительными мерами, вне христианского или иного религиозного контекста, игнорирует духовную сторону межрасового конфликта в США, необходимость многолетней терпеливой внутренней работы по воспитанию взаимной терпимости и прощения.

Вся сфера образования (включая высшее) оказалась под властью секуляризованной культуры. И школа только отражает более общие явления — потребительство, гедонизм, материализм, духовную бедность и аморализм литературы, кино, телевидения и прессы.

* * *

Обо всем этом полезно помнить сейчас, когда в России налицо явный переизбыток реформаторов, главной страстью которых, к сожалению, стала безудержная либерализация ради либерализации. Плачевные результаты их деятельности (прежде всего в области экономики, но и в области культуры тоже) не только фактически затормозили процесс необходимых реформ, но и чреватые серьезными политическими последствиями. Что касается сферы образования, то, слава Богу, до радикальных реформ здесь еще не дошло (возможно, потому, что нет денег), но уже есть признаки все той же разрушительной страсти к эмансипации и новизне. Вера в то, что все новое обязательно должно быть лучше, «прогрессивнее», — воистину неистребима. Как бы то ни было, автору представляется, что воспитание будущего поколения российских граждан есть самая главная долговременная задача общества — куда важнее всех экономических, политических, юридических и прочих реформ. Если эта задача не будет решена с должной осмотрительностью, без спешки и скороспелого радикализма, России еще долго не видать ни свободы, ни демократии, ни материального достатка. И решить подобную задачу в России невозможно без теснейшего сотрудничества, теснейшей связи между гражданским обществом, государством и религиозными организациями — Русской Православной Церковью прежде всего, но и всеми другими христианскими конфессиями и приверженцами всех главных религий на территории России.

А. ПАНАРИН



О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Судя по многим признакам, человечество — на пороге решительных перемен, затрагивающих основные принципы жизнестроения, ценности и приоритеты. Похоже, что мы находимся в преддверии нового «осевого времени» (К. Ясперс), ибо прежние, столь долго служившие нам ориентиры сегодня ведут в тупик, закрывают горизонты существования. Современная культура испытывает кризис сразу в трех своих базовых установках.

Во-первых, это касается жизнеориентирующей функции культуры — принципов жизнестроения, связанных с установками «прометеева человека», покорителя природы и истории, насаждающего инструментальное (технологическое) отношение к миру. Именно такое отношение породило современные глобальные проблемы, дальнейшее обострение которых чревато гибелью биосферы. Речь идет не только об угрозе разрушения природы, но и об угрозе разрушения ткани человеческих отношений — по мере тотального распространения на них утилитарно-прагматического, инструментального принципа. Безудержная «прометеева воля» в сочетании с моралью успеха чревата полной бесчувственностью к духовной жизни, к высшим тайнам природы и космоса.

Радикализация принципа инструментального отношения к миру, превращаемому в средство, породила, с одной стороны, жесткие промышленные технологии, угрожающие природе, а с другой — социальные и политические технологии, угрожающие автономии человеческой личности.

По всей видимости, человечеству необходим поворот, идейным предтечей которого можно считать русский космизм. Он близок сформулированной Джеймсом Лавелоком концепции Геи, согласно которой планета ведет себя как единый одушевленный организм. Так же и общество необходимо рассматривать не технократически — как «большую фабрику», а как культурную целостность, в которой утилитарно-функциональные связи не доминируют, а носят подчиненный характер.

Во-вторых, кризис захватывает ценностно-мотивационную сторону культуры, что проявляется в снижении тонуса цивилизации: если сформированные ею прежде ценности и идеалы перестают убеждать и воодушевлять, стареют морально, то повсеместно ощущается апатия, утрата смысла жизни, энергии и культурной инициативы. Этот дефицит источников человеческой энергии сегодня представляет несравненно более серьезную опасность, чем дефицит энергоносителей промышленного назначения. Опыт показывает, что цивилизация не знает автоматически действующих социальных систем и подсистем — любая из них питается волей и энергией человека, верящего в их незаменимость. Как не существует и навсегда отлаженных систем производственно-технологических: любая из них начинает давать сбои, если персонал утрачивает личную заинтересованность в работе, теряет инициативу.

Не существует и самовоспроизводящейся демократии: она поддерживается людьми, для которых ее идеалы и принципы сохраняют жизненный смысл. Ощущаемая повсеместно сегодня эрозия культурно-нравственного, ценностного каркаса цивилизации ведет к ее полной порче. Необходим мощный реформационный сдвиг, обновление жизненных ценностей — для того, чтобы чело-

век не утратил возможности быть субъектом социальных процессов, сохраняющим их в границах заданных целей и смыслов.

Если верить Н. Винеру, то Истина, Добро и Красота, Порядок и Культура представляют наименее вероятные состояния по сравнению с осаждающим нас хаосом. Но человек приходит в мир за тем, чтобы эти наименее вероятные состояния сделать все же более вероятными — усилить их присутствие в мире. Для этих целей ему необходимы воля и энергия, источником которых является вера в свое высшее призвание, в осуществимость идеала. Это обновление духовной веры — вторая сторона ожидаемой культурной реформации.

В-третьих, кризис захватил нормативную сферу. Влиятельная ныне философия постмодернизма утверждает, что современный человек, равно как и культура в целом, утратил надежные критерии отличия порока от добродетели, прекрасного от безобразного, реальности от мифа. Но главное не в этом преувеличении, а в самой оценке надвигающегося кризиса норм, ценностного релятивизма. Одно дело — видеть здесь проблему культуры, разрешимую в обозримой перспективе, другое — приветствовать наступивший нормативный кризис, усматривая в нем высшую стадию эмансипаторского процесса, инициированного Новым временем. Современные радикалы постмодерна объявили о смерти Отца в культуре. Симптоматична в этом плане реабилитация Эдипа. Если Фрейд говорил об «эдиповом комплексе», связанном с чувством вины за «отцеубийство», то постмодернисты приветствуют Эдипа как устранителя архаичной и ненавистной фигуры Отца, носителя ограничений и норм. «Смерть Отца» означает, что норма как источник ограничений и самоограничений наконец-таки утратила всякую силу и мы вступаем в эпоху «высшей свободы» — свободы от всякой традиции, в том числе и моральной. Из двух взаимосвязанных сторон культуры — новации и традиции, творчества и преемственности — пытаются утвердить только первую.

Задумаемся всерьез: способны ли выжить культура, цивилизация, человечество в условиях этой постмодернистской одномерности? Не приведет ли «смерть Отца» в культуре к тотальному нигилизму? Перед лицом обострения глобальных проблем и нравственной деградации в большинстве современных обществ у современного человека есть, как нам кажется, все основания искать новые крепкие опоры для спасительных нормативных начал. Речь идет, например, о экологической аскезе — самоограничении appetitов потребительских обществ в связи с иссяканием ресурсов и угрозой разрушения природы; и о духовной аскезе — ввиду повсеместного «реванша чувственности» над разумом и моралью; и об аскезе социальной — ввиду угрозы превращения былого «разумного эгоизма», не посягающего на «категорический императив» Канта, в неразумный эгоизм всеобщего хищничества и «войны всех против всех».

Инерция прежних тенденций индустриального развития западной цивилизации должна быть остановлена творческим использованием потенциала, накопленного другими мировыми культурами и цивилизациями в ходе длительного исторического опыта. Западная цивилизация высокодинамична, но сформированные ею принципы жизнестроения не рассчитаны на долгую перспективу. Другие цивилизации оказались гораздо менее эффективными по целому ряду критериев, но их способность существовать в масштабах длительного планетарного времени подтверждена историей. Проблема состоит в том, возможно ли — и в какой мере — сочетать инструментальную эффективность Запада с «экзистенциальной» эффективностью других цивилизаций, меньше дающих человеку в повседневности, но благоприятствующих его сохранению как вида.

В истории нередок парадокс, когда прорывы в культуре, в духовном, нравственном, эстетическом опыте осуществляют не наиболее преуспевшие по меркам материального благополучия и могущества, а, напротив, несущие бремя экономической или военной неудачи. Они развивают мощную компенсаторскую активность в сфере духа и, случается, «завоевывают» своих завоевателей по меркам духовного производства, по критериям стиля и вкуса. Так, греки в свое время «завоевали» победивших их римлян, став «референтной группой» поздней античности. Германия начала прошлого века, разгромленная Наполеоном и экономически отставшая от Великобритании, противопоставила униформизму французского Просвещения и английскому эмпиризму «не-

мецкий ренессанс» в культурной сфере. В известной мере аналогичный феномен представлен русским религиозно-философским и политическим ренессансом серебряного века — после исторического провала 1904 — 1906 годов. Способна ли российская культура на повторный прорыв в условиях, когда многие стартовые материальные и духовные условия ухудшились, а критерии отбора ужесточились? Не исключено: ведь культура нередко утоляет свою печаль на «дне отчаяния»; «темные эпохи» рожают светлое искусство, окружающая распушенность — порыв к святости, аскезе и покаянию.

Не вступает ли сегодня Россия в новую фазу социокультурного цикла, инверсионную по отношению к крайностям радикал-либерализма и западничества? И каков возможный потенциал этой фазы: хватит ли ее на разумную продуктивную альтернативу одномерностям цивилизации или дело ограничится новым изданием «квасного патриотизма» и стилизованного почвенничества?

По специфическим «критериям успеха», доминирующим в эпоху индустриального общества, славянство проиграло соревнование с романо-германским миром. Многие, слишком многие ценности были принесены в жертву индустриальному молоху, но в конечном счете он обманул ожидания: попытка соревнования с Западом, так сказать, на его «поле» окончилась неудачей. Теперь кое-кто отводит Россию в «третий мир» — синоним «варварства» по критериям одномерного технико-экономического прогресса... Но как быть с рафинированным духовным опытом великих цивилизаций Востока, сегодня включаемого в «третий мир»? И каким образом самоопределиться России: настаивать на принадлежности к «первому миру» (вхождение в «европейский дом»), заняться срочной реконструкцией «второго мира» (недавно олицетворяемого «социалистическим лагерем») или признать свою принадлежность к Третьему Миру, сообщив последнему понятию значение великой цивилизационной и социокультурной альтернативы?

При этом альтернатива техноцентричному модернизму может мыслиться по-разному: одномерность технической цивилизации по-своему отвергает художник, по-своему — моралист. Главное — преодолеть комплекс, присущий интеллектуалам еще со времен эпохи Просвещения: страх показаться консерватором, «реакционером», защитником архаики.

Ведь ныне в известном смысле архаичны такие понятия, как героическая мужественность, жертвенная женственность, волевая нравственность, бескорыстная прямота и др. — соответствующих характеров сегодня несравненно меньше, чем в прошлом, и в этом смысле они «архаичны»; но сможет ли человечество вообще обойтись без них?

«Архаичность» российской культуры проявляется в ее синкретизме — в слитности Истины, Добра и Красоты. Со времен европейского Ренессанса наука как средство выпытывания тайн природы энергично эмансипируется от религиозной морали, что, в свою очередь, чрезвычайно ускорило становление особого инструментального разума, которому современная техническая цивилизация обязана своими успехами.

Вслед за этим началось активное обособление искусства (и шире — культуры) от морали — во имя творческой свободы без берегов. Надо отдать должное: научный и художественный «авангард» открыли в мире такое количество действительно новых сил, о каком консервативный моральный разум, возможно, даже и не догадывался. Но эти новые раскрепощенные силы, хорошенько погулявшие по миру в своей секуляризированной самости, нуждаются в приручении духом — пока их разрушительная сила не стала необратимой. Требуется восстановление фильтров, отделяющих культуру от бесовщины. И в этой великой работе по воскрешению идеала, восстановлению суверенитета нравственного сознания — традиции русского нравственного максимализма, которыми насыщены классические русская литература и философия, приобретают особое значение.

Завещанный восточной патристикой потенциал православно-византийских традиций — отнюдь не какое-то отягощающее нас историческое бремя: многое в этом наследии актуализируется со временем. Например, ключевое понятие синергетичности — согласования, сопряженности разнокачественных начал — существенно отличается от западного субъект-объектного принципа,

при котором «инобытие» выступает не в самостоятельном и самоценном качестве, а только как объект приложения покоряюще-преобразующей воли.

В своей самоуверенности воля эта не знает предела. Современный протестантский теолог Поль Рикёр метко называет Маркса, Ницше и Фрейда, работавших на природно-материалистическое занижение всех высоких духовных мотивировок, «учителями заподозривания»¹. Русская культура и здесь может сыграть роль веского коррелянта, если вместо обезьянничанья обопрется на историческую традицию.

...Теоретически грядущую реформацию (то есть трансформацию потребительской цивилизации в принципиально новое общество) можно представить двояко: либо последовательная и творчески-бесстрашная самокритика Запада, готового к ревизии привычных основ жизнестроения, либо конструктивно-настойчивая критика его со стороны, которая будет тем принципиальнее, чем меньшую готовность к самоанализу обнаружит Запад. Возможность последовательной самокритики у Запада ныне резко уменьшается из-за ощущения победителя в «холодной войне». Не случайно на Западе определение нашей эпохи как посттоталитарной конкурирует с ее определением как постиндустриальной. Второе определение внутренне предполагает самокритику Запада, первое, напротив, укрепляет его самомнение. Сегодня самосознание Запада как победителя в «холодной войне» резко замедлило назревшую работу цивилизационной самокритики, переосмысления устаревших подходов к миру.

На другом полюсе находятся побежденные. Сегодня, после распада Советского Союза, единственным ответчиком в судебном процессе над тоталитаризмом, по сути, выступает Россия. Все остальные — и в постсоветском пространстве, и в масштабах «социалистического лагеря» — поспешили зачислиться в невольные жертвы.

Именно в российском сознании, кажется, начинает совершаться процесс, позволяющий осмыслить моменты совпадения критики индустриализма с критикой тоталитаризма, обнаружения их общего прометея, модернистского корня. России необходимо решить проблему расставания с тоталитаризмом так, чтобы индустриальное насилие над природой и политическое насилие над человеком раскрылись бы как две стороны одной медали. Антитоталитарная и антитехнократическая установки углубляют и усиливают друг друга. Совпадение их предопределено технократической доминантой большевизма (общество как единая фабрика, управляемая на принципе жесткого единоначалия) и его промышленным титанизмом (индустрия как воплощение воли к власти над природой и историей).

...Парадокс Запада состоит в том, что сформированный им принцип плюрализма — диалога, консенсуса, терпимости — ограничился внутрицивилизационным пространством партийно-политического плюрализма и практически никогда не распространялся на отношения с другими культурами и цивилизациями. Парадокс России прямо противоположный: в ней принцип культурологического плюрализма, внимания и терпимости к инокультурному опыту сочетался с политическим монологизмом власти, не терпящей оппозиции. Сегодня у России нет никаких шансов рассчитывать на «плавильный котел»: процесс этносуверенизации, при всех его издержках, активизировал национальное самосознание и культурную память народов. Следовательно, неизбежная тенденция к цивилизационной реинтеграции постсоветского пространства будет реализовываться не в унитаристских формах «плавильного котла», а в форме диалога культур. И здесь диалоговый «архетип» российской культуры — отзывчивость, презумпция ценности другого, способность к кооперации с носителями иных типов опыта — приобретает судьбоносное значение. Драматичность настоящего периода в России в том, что политические решения монополизированы властной элитой, в основном вышедшей из коммунизма и давно уже отчужденной от традиций русской культурной классики, от гуманитарного жизнетворчества, преобразующего духовные и национальные ценности в политическую волю. Западническое эпигонство нашей элиты и ее недо-

¹ Е. В. Барабанов. Новая политическая теология И. Б. Меца и Ю. Мельтманна. — «Вопросы философии», 1990, № 9, стр. 78.

верие к собственной культурной традиции основаны на традиционном для интеллигенции «освободительном» идеологизме. Между тем задачи, стоящие перед Россией, и ее миссия в Евразии требуют совершенно другого уровня мышления.

Российский цивилизационный синтез качественно отличается от западного тем, что требует не нейтрализации культурно-ценностных измерений, а, напротив, их активизации в некоем новом ракурсе. Запад решает проблемы своей цивилизационной стабилизации — согласования разнородных социальных, этнических и конфессиональных элементов — путем дистанцирования от ценностно-эмоциональных начал на путях формализации. Формализованная этика Канта — это нравственность, свободная от привязанностей и ориентированная целиком на психологический и культурно-нейтральный категорический императив.

Теория обмена также утвердила принципы сотрудничества, не имеющего какой-либо ценностной окраски — как полезность без сочувствия. В политике, в свою очередь, насаждался особый тип культуры, запрещающий спорить о ценностях: дело ограничивается возможным компромиссом, касающимся интересов.

В профессиональной области «научная организация труда» также имела в виду неангажированных индивидов, умеющих четко разграничивать работу и жизнь, функцию и воодушевление.

Словом, западная цивилизационная стратегия в целом построена на эмоциональном и ценностном «остужении» человека. Специфическая «ирония» этой цивилизации связана с умением освобождать осуществление любой общественной функции от ценностных нагрузок.

Веберовская технократическая рациональность отразила, таким образом, общецивилизационный идеал Запада. Универсалии этой цивилизации, язык ее общения представляют собой определенный тип редукции — выбраковки всего того, что чревато «излишним воодушевлением». Большинство западных институтов исключают этику воодушевления в пользу этики рационально-функционального соответствия. Однако эти принципы социального автоматизма и «бесчувственной полезности» плохо работают в незападном пространстве и в особенности в России. Дело не в том, что российский цивилизационный тип иррационален; из двух отмеченных М. Вебером типов рациональности он гораздо ближе рациональности по ценности, чем рациональности по цели. (Разумеется, мы понимаем, что подобного рода обобщения строятся на известной доле допущения, но если его не делать, они и вообще невозможны.)

...В России личностный вклад в тот или иной вид деятельности бывает либо больше того, что функционально запрограммировано, — если личность ценностно ангажирована, либо несравненно меньше требуемого — если она индифферентна по отношению к сверхзадаче. Не работает здесь и теория обмена: люди либо чувствуют себя призванными к «высшему служению» — и тогда они готовы к самоотдаче без расчета на взаимность, либо не чувствуют — и тогда педантизм эквивалентного обмена ни к чему их не обязывает. Российский цивилизационный тип является этикоцентричным — не в смысле особого нравственного превосходства над другими, а в смысле неспособности проводить последовательное различие между повседневными рутинными обязанностями и высшим служением. Этот тип мироощущения хорошо выразил Семен Франк, разделяющий русскую неприязнь к законнической, формализованной, «фарисейской» этике, свойственную нашей традиционной духовности: «Из всех сил, движущих общественной жизнью, наиболее могущественной и в конечном счете всегда побеждающей оказывается всегда сила нравственной идеи, поскольку она есть вместе с тем нравственная воля, могучий импульс осуществить то, что воспринимается как правда в общественных отношениях»². В последние годы «новой» идеологией предпринята вторая после «культурной революции» большевизма попытка изменить российский культурный генотип. На высшем уровне — это беспощадные сарказмы интел-

² Франк С. Л. Духовные основы общества. М. 1992, стр. 100.

лектуалов в адрес национальной традиции, национальных героев, всего, так сказать, комплекса отечественных культурных заветов; на низшем — массивное воздействие порноиндустрии и других сильнодействующих средств массовой культуры, призванных вытравить источники нравственного пафоса.

Не сформулированная отчетливо цель этой новой либеральной педагогики — максимально «остудить» ценностно ангажированную личность, придать ей эмпирическую ориентацию, соответствующую «законам рынка», вытравить из мировоззрения пафос.

Однако, ослабив «рациональность по ценности» (принимаемую за иррациональность), добились не воцарения целерациональности западного типа, а массового взрыва асоциальных стихий. Теперь возникает жесткая дилемма: либо продолжать дело культурно-ценностного разоружения населения России, в надежде, что из цинизма и духовного одичания почему-то родится рациональный тип западного образца, либо срочно остановить это развенчание ценностей и заново мобилизовать высокий ценностный потенциал отечественной культуры. На нашей почве духовная анемия и ослабление ценностей — никак не меньшая опасность, чем переизбыток идейного энтузиазма. Из ценностного и культурного вакуума может родиться лишь нигилизм, который ничего, кроме перманентной «криминальной революции», породить не способен. А она, в свою очередь, — верная дорожка к новому варварству. Нет дилеммы — вестернизация или варварство. Напротив, вестернизация, сопровождающаяся массивной ломкой норм и развенчанием ценностей, и втягивает непосредственно в варварство.

...Каждая цивилизация выработала свою стратегию преодоления варварства, формы проявления которого также разнятся. Важно не ослабить этот цивилизационный потенциал человечества на путях «силовой» вестернизации и ослабления культурных генотипов, а, напротив, объединить его в ходе взаимобогащающегося диалога мировых культур.

Культура не может быть служанкой одного типа сознания или нескольких последних, «прогрессивных», как им мнится, поколений. Ее ландшафт, разнообразный и многомерный, вмещает разные типы жизнестроения, конкурирующие стратегии. Культуру нельзя сводить к морали успеха: в ней находит свою нишу и стоическая мораль неуспеха, и христианская мораль «блаженства нищих духом». Для того чтобы культура обеспечивала долгосрочную стратегию выживания, она должна включать множество альтернативных кодов, языков и практик. Торопливая функциональность, обязывающая культуру служить «передовиком прогресса», насаждать эффективную на сегодня модель поведения, забывает, что сам прогресс со временем меняет и свои предпосылки, и свои критерии и, следовательно, не может требовать от культуры «полной капитуляции» перед идеологией, отнюдь не только коммунистической, но и в самых либеральных одеждах. Благоговение перед культурой — то же, что и благоговение перед жизнью: оно связано с признанием ее самоценности. В противовес материалистическому сознанию следует признать первичность культуры по отношению к науке: перевороты в последней готовятся сдвигами в системе ценностей. Культура — это «подсознание» науки, давление которого ведет к преобразованию исследовательских парадигм. Ввиду этого обстоятельства мы должны вычленив в культуре две разные системы принципов, одна из которых стала источником классической западной науки, а вторая становится фактором современного реформационного поворота.

Западная цивилизация по-настоящему продемонстрировала миру свою специфичность только с эпохи Ренессанса. В этот период складываются следующие общекультурные идеи, ставшие базовыми для классической науки. Во-первых, это — социоцентризм. Начиная с зарождения буржуазного способа производства общество утверждает свою независимость от природы и осознает себя самодетерминирующей системой. Происходит разрыв социума с космосом, который механизмуется, теряя свои прежние пантеистические свойства, обязывающие человека к сопереживанию и пиетету. Теперь космос — это мертвая материя, ни к чему человека не обязывающая, — источник ресурсов и место свалки. Самооправданием социоцентризма является принижение, омертвление природы, превращаемой в косную материю.

Таким образом, вторым основанием научно-рационалистической гордыни является механистический редукционизм. В науке утверждается дихотомия живой и неживой природы, но при этом именно вторая выступает в качестве универсальной модели познания. Живое в природе, со всеми его «неправильностями», рассматривается как источник искажения геометрической строгости искомого научного порядка и списывается со счета как исчезающая малая величина в системе мертвого космоса.

Наконец, еще одной идеей, оправдывающей сугубо технологический, утилитарный подход к миру, является конгломеративность. Неживая, косная материя потому, в частности, становится эталонным пространством науки, что выступает как конгломерат, не препятствующий технологическому произволу. Здесь лишнее, нефункциональное — «бесполезное» для человека — можно решительно устранять, полезное — изымать. Ученый нового времени поступает с природой примерно так же, как современный радикальный реформатор с культурой: отсекает все то, что ему сегодня кажется «лишним», не укладывающимся в прокрустово ложе его «научной» идеологии.

Надо сказать, что, может быть, наиболее решительный и в то же время осознающий свои предпосылки бунт против механического рассудка «промеевой науки» готовила русская культура серебряного века. Русский религиозно-философский ренессанс подготовил альтернативную установку и для собственно научного мышления. Как писал А. Ф. Лосев, «Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным *ratio* и восточнохристианским, конкретным, богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно поднимающимся на новую ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом»³.

В русской культуре XIX — XX веков складываются несколько течений, мощно корректирующих западную научную классику.

Во-первых, русский космизм альтернативен социоцентризму, отрывающему человека от природы и проповедующему независимость социума от космоса.

Как писал выдающийся представитель русского космизма В. И. Вернадский, «на основании всего эмпирического понимания природы необходимо допустить, что связь космического и земного всегда обоюдная и что необходимость космических сил для проявления земной жизни связана с ее тесной связью с космическими явлениями, с ее космичностью»⁴.

При этом русский космизм отличается от восточных мировоззренческих постулатов, отводящих человеку роль песчинки мироздания и обрекающих его на пассивность, утверждением человека как активного полноценного соратника.

Русский космизм предвосхищает современную коэволюционную парадигму науки — идею соразвития мира природы и мира цивилизации на Земле. Философски это обосновал Владимир Соловьев, который выделил три типа отношения человека к природе: традиционный восточный — «страдательное подчинение ей», классический западный — отрицательно-деятельное отношение, выраженное в активной борьбе с ней, в ее покорении, в пользовании ею как безразличным орудием, и, наконец, положительно-деятельное отношение, для которого характерно утверждение ее идеального состояния — того, чем она должна стать через человека⁵. В последнем, «постклассическом», или «посттехнологическом», типе отношений наука сама подчиняется ценностному императиву: иницилируемые ею практики должны быть соразмерными, сопричастными природе как целостности, сберегаемой человеком.

Другое течение в русской культуре представлено философией всеединства. Центральная идея этого течения альтернативна представлениям о конгломеративности и мозаичности окружающего мира, в свою очередь попустительствующим экологическому нигилизму технической цивилизации.

Философия всеединства возвращает нас от образа природы как мастерской к образу природы как храма, пространство которого будит в нас мотивации

³ Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М. 1991, стр. 217.

⁴ Вернадский В. И. Живое вещество. М. 1978, стр. 311.

⁵ Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах, т. 1. М. 1988, стр. 427.

высшего порядка, несовместимые с безответственным потребительским эгоизмом. Предмет истинного знания науки, возобновившей свой союз с ценностными сферами культуры, есть — по определению Владимира Соловьева — «общая природа всех вещей, и если предмет истинного познания есть внешний, реальный мир, то не как простая совокупность вещей, а как природа вещей»⁶. Принцип всеединства явился общеметодологической предпосылкой современных понятий биоценоза, геобиоценоза, приобретающих значение не только ориентиров научного знания, но и нормативных принципов, обязывающих уважать целостность Космоса. Так наметился переход от эмансипированной науки, подстрекающей технологические авантюры «прометеева разума», к науке, соединяющей теоретический и практический (в кантианском смысле — то есть моральный) разум. Соответствующие предчувствия выражают корифеи современного естествознания. «Мы считаем, что находимся на пути к новому синтезу, новой концепции природы. Возможно, когда-нибудь нам удастся слить воедино западную традицию, придающую первостепенное значение экспериментированию и количественным формулировкам, и такую традицию, как китайская, с ее представлениями о спонтанно изменяющемся самоорганизующемся мире»⁷.

...Еще одно течение-установка русской культуры эпохи религиозно-философского ренессанса — своеобразный натурфилософский органицизм. Если для классической западной науки универсальной моделью мира и источником исследовательских установок является неживая природа, то у нас доминирующим оказывается теллургический образ живой матери-Земли и живого Космоса. Западный технологический активизм реабилитирует свои установки посредством образа косной материи, которая не имеет внутреннего «лада» и ни к чему человека не обязывает. К тому же, как отмечалось выше, ее относительная простота воодушевляет рационалистическое самомнение науки, основанное на редукционистских процедурах. Для русской культуры, напротив, характерно восприятие неживых элементов природы в контексте натурфилософии глобального органицизма. Биоморфная модель в познании со времен Коперника переворота считалась архаичной. Русская натурфилософская школа в лице В. В. Докучаева, А. Л. Чижевского, В. Н. Сукачева, а также исследователей, примыкавших к течению евразийства (последний представитель — Л. Н. Гумилев), имеет смелость перевернуть перспективу, отставив доминанту живого в космосе и сам образ космоса как органической целостности, «живого огня». Как показал новейший опыт, эта смелость была оправданной: современная наука все больше склоняется к версии самоорганизующегося космоса, ведущего себя не как мертвый механизм, а как живой организм. Этот реванш «романтической» натурфилософии над классическим механицизмом в значительной мере подготовлен усилиями русских деятелей серебряного века, что представляет их немалую заслугу перед человечеством.

В постреволюционные эпохи, как правило, торжествует романтическая метафора живого организма, связанная с осуждением волюнтаристско-преобразовательных амбиций технологического или политического радикализма. Так было, например, в эпоху реставрации во Франции. Современную эпоху можно считать «реставрационной» в двойном смысле: во-первых, она является постиндустриальной, характеризующейся экологическими прозрениями и запретами на безудержный технологический активизм; а во-вторых, она же является посттоталитарной, связанной с культурологическими прозрениями и культурологическими запретами на революционаристские эксперименты с обществом.

Раньше всех соответствующие предостережения сформулировала, причем на достаточно рафинированном научном языке, русская культура серебряного века. По сути, она совершила попытку российской цивилизационной альтернативы западным принципам жизнестроения, породившим крайне жесткие промышленные и политические технологии, эгоистично не рассчитанные на завтрашний день человечества.

⁶ Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах, т. 1. М. 1988, стр. 613.

⁷ Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М. 1986, стр. 65.

Увы, победил марксизм, завоевавший полную монополию в результате большевистского переворота; в России была установлена жесточайшая цензура на любые попытки возрождения духовной и реальной альтернативы западному технологическому активизму. Большевизм продлил жизнь западного некротимого Прометея, одновременно сняв с него последние ограничения культурного и нравственного характера и тем самым крайне огрубив и обезчеловечив его.

Чем ознаменуется в конечном счете новый натиск Запада на Россию? Россия мощная, умеющая защищать и свои традиции, и свои материальные ресурсы, бесспорно, способствовала бы ускорению процесса насущного реформирования цивилизации. Напротив, Россия эпитонствующая, капитулировавшая духовно и политически, превращаемая в сырьевой придаток, создает соблазн продлить существование экологически безответственных потребительских обществ за счет обильной ресурсной подпитки.

Достанет ли у нас мужества и воодушевления для того, чтобы в конце XX века возродить цивилизационную альтернативу, обещанную миру в начале этого века? И достанет ли у Запада мудрости признать своевременность этой альтернативы, понять профетический характер российского «традиционализма»?



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЧУДАКОВ



«МЕЖДУ «ЕСТЬ БОГ» И «НЕТ БОГА» ЛЕЖИТ ЦЕЛОЕ ГРОМАДНОЕ ПОЛЕ...»

Чехов и вера

Владимир Соловьев когда-то писал: «При сильном желании <...> можно, конечно, приписать Пушкину всевозможные тенденции, даже прямо противоположные друг другу: крайне прогрессивные и крайне ретроградные, религиозные и вольнодумные...»¹ Именно это и делалось в пушкинистике XX века — особенно, конечно, в советской: побывал поэт даже в идеологах крестьянской революции. В последние годы все энергичней эксплуатируется предпоследний соловьевский вариант: Пушкин теперь — православный поэт. «Благочестивое пушкиноведение», по меткому слову С. Бочарова, быстро набрало силу.

Нечто похожее происходит и с изучением других русских писателей: те же лица, которые писали статьи и книги, озаглавленные «Женская доля в поэзии Некрасова», «Поэзия гнева и борьбы», выступают с докладами «Христианские мотивы в поэзии Некрасова». И. С. Шмелев, вернувшийся в Россию недавно, попал в эту струю сразу и был зачислен в исключительно духовные писатели — это было хорошо видно на двух шмелевских конференциях, где довелось участвовать автору настоящей статьи.

Похожее происходит и с Чеховым. Из врача, естественника, дарвиниста, атеиста, о котором в этом качестве написаны десятки статей и книг, он стремительно превращается в верующего христианина (причем и в работах зарубежных славистов почему-то именно теперь, хотя им никто не мешал делать это и двадцать, и сорок лет назад).

Вопрос сложен; свидетельство тому — достаточно рано появившиеся компромиссные решения: «Душа Чехова — не знала Бога. Никакого Бога. Но это не значит, что она не хотела его знать»². С. Булгаков полагал, что в произведениях Чехова «стыдливо и быть может несколько нерешительно отражается крепнущая религиозная вера<...> христианского оттенка»³. В специальной статье, до сих пор самой обстоятельной на эту тему, первый биограф заключал: «Температура веры, если можно так выразиться, не была в Чехове настолько высока, чтобы религиозность его прорывалась помимо его воли, обвевала зноем приближавшихся к нему. Но он не был и индифферентом веры, ни того менее, верующим „на всякий случай”»⁴. Примерно о том же говорил позже и И. С. Шмелев: «...врач, рационалист, к религии внешне как будто равнодушный, он целомудренно-религиозен, он свой в области высокорелигиозных чувствований»⁵. Писалось — как бы в робкое подтверждение тезиса о наличии веры — о понимании и изображении Чеховым красоты православного обряда.

¹ Соловьев Вл. Литературная критика. М. 1990, стр. 227.

² Германов В. О. О религии А. П. Чехова. — «Церковно-общественный вестник», СПб., 1914, № 28, стр. 10.

³ Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель. Киев. 1905, стр. 23 (лекция, читанная осенью 1904 года в Ялте и Петербурге).

⁴ Измайлов А. Вера или неверие. (Религия Чехова). — В его кн.: «Литературный Олимп». М. 1911, стр. 174.

⁵ Шмелев И. В. Творчество А. П. Чехова. — «Русская речь», М., 1995, № 1, стр. 55 (статья 1945 года).

Все это напоминает попытки прислонить Чехова к какой-нибудь доктрине: либерализму, консерватизму (нововременству), космополитизму, шовинизму, а то и к политическому индифферентизму — или определить его отношение к этим направлениям как компромиссное.

Однако подобные вопросы у всякого большого художника не могут быть решены в том духе, что как будто и верил, но как бы не совсем.

1

Позиция Чехова в вопросе веры, кроме собственно художественных сочинений, зафиксирована в нескольких текстах. Важнейшие из них — три известных высказывания, счастливо дошедшие до нас.

Первое сохранено памятью Бунина, одного из самых точных чеховских мемуаристов. Чехов, по его словам, «много раз старательно и твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор. <...> Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное: „Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт”»⁶.

Главное в этом тексте — несведенность двух высказываний, равновозможность для их автора обоих противоположных взаимоисключающих мнений. Обе точки зрения допустимы равно: объект мысли является феноменом такой сложности, что может быть описан только при помощи двух полярных характеристик, причем каждая в отдельности не может претендовать на полноту описания, но только — по принципу дополнительности — обе вместе.

Второй текст — слова Чехова в I записной книжке. Эту запись он перенес в начале февраля 1897 года в свой дневник. Тем самым она была изъята из художественного контекста, где могла потенциально принадлежать будущему персонажу, но стала выраженьем собственной мысли Чехова. Цитируем по дневниковому тексту, слегка отредактированному по сравнению с записной книжкой:

«Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно не знает ничего или очень мало».

О чем этот краткий, но значительный текст?

1. Есть две крайние, противостоящие позиции: «есть Бог» — «нет Бога».
2. Русский человек принимает только одну из них.
3. Каждая «из этих двух крайностей» как таковая не значит «ничего или очень мало». (При переписывании в дневник идея крайности усилена — вставкой слова «потому».)
4. Между ними лежит «середина», некое поле.
5. Оно очень велико.
6. В прохождении этого поля, труде его преодоления и есть весь «интерес», истинная мудрость.
7. Кому это не интересно, тот не истинный мудрец.
8. Не дан вектор, не указано направление, в котором движется «истинный мудрец»: от «есть Бог» к «нет Бога» или наоборот. Это доказывает слово «какую-либо», говорящее: важно, не из какой точки поля начато движение, а то, что кем-то игнорируется основное — само поле.

Главной ценностью оказывается громадность поля и процесс его прохождения, а также человек, взявший на себя этот труд. И не случайно, что символом свободы, которую только на пороге смерти обретает герой «Архиерея», оказывается именно поле: «А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!» Б. Зайцев считал, что «шел он, конечно, просто к Богу»⁷. Шел он не к Богу,

⁶ «Литературное наследство». Т. 68. М., 1960, стр. 666.

⁷ Зайцев Б. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова. 1954, стр. 229.

но, конечно, и не от Бога — он шел по полю абсолютной свободы, отряхнув пред ликом вечности со своих ног все, что связывало его: сан, условности, житейскую суету.

Третий важнейший текст на эту тему — письмо Чехова к Дягилеву 30 декабря 1902 года.

«Религиозное движение, о котором вы пишете, само по себе, а вся современная культура сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».

В терминах поля это значит: современное религиозное движение (имеются в виду прежде всего петербургские Религиозно-философские собрания) из-за своего слишком определенного характера есть нечто известное, уже «пережитое», «конец». Оно по этой причине не нужно современной культуре, находящейся в движении, в работе, которая будет продолжаться «десятки тысяч лет», то есть бесконечно. Твердую, как «дважды два», божественную истину человечество познает только тогда — практически никогда: возможность осуществить такое снимается этими непредставимыми тысячами. Главная задача и особенность современной культуры, как ее видит Чехов, переносится, таким образом, в сферу работы, движения — в том самом громадном поле, о котором он писал в своем дневнике.

Человек поля, с напряжением всех душевных сил идущий к познанию «в далеком будущем» «истины настоящего Бога», не присоединяется ни к одному из известных решений, ни к Достоевскому, ни к современному религиозному движению, но находится всегда в самом поле, в его разных точках.

2

Однако полюса («крайности») поля были реальным распределением общественного сознания века. Каково было отношение Чехова к этой реальности?

Для первого полюса, для той сферы, которую Чехов охарактеризовал как «есть Бог», основной показатель — отношение к христианским догматам.

Последовательному христианскому сознанию догматы предносятся как абсолютные, не допускающие никакого релятивизма.

Но сознание Чехова не вмещало безоговорочных утверждений; догмат в полноте своей утверждающей силы для него неприемлем ни в какой сфере. Догматично у Чехова только одно — осуждение догматичности. Никакая неподвижная, не допускающая коррективов идея не может быть истинной.

Релятивизм Чехова безграничен. «Я сомневаюсь во всем», — мог бы сказать он вслед за героем «Анны Карениной». Но этого не мог бы повторить за своим героем сам Толстой. Единственно, чего не приемлет Чехов у Толстого, — его «генеральство», философскую «деспотичность», то, что он считает возможным жизненно-сложное решить догматическим путем: «Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия, — это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия — это <...> произвольно <...>. Почему текст из Евангелия, а не из Корана?..» (М. О. Меньшикову, 28 января 1900 года).

Откровение — не панацея от сомнения, сан не избавляет от обыденно-человеческого. Послушники, дьяконы, священники, настоятели, архиереи у Чехова такие же люди, как прозекторы, купцы, батарейные командиры, следователи, извозчики. Нищий священник в богатом доме прячет в карман рясы кренделек для своей жены («Кошмар»); преосвященного растирают водкой с уксусом («Архиерей»); о. Христофор, как с удивлением видит Егорушка, носит под рясой «настоящие парусиновые брюки» («Степь»); и не только брюки есть у священнослужителей — известна домашняя шутка Чехова: «Мамаша, а монахи кальсоны носят?»

Пробный камень в вопросе веры — отношение к Священному писанию, и прежде всего — к Новому Завету. В библеистике чеховского времени уже были представлены оба основных течения — каноническое, с безусловным доверием к евангельским чудесам, и критически-позитивистское, подходившее к Библии как к любому другому историческому источнику. Для Чехова первое связывалось прежде всего с английским христианским историком Ф. В. Фарраром, на которого он ссылался, а второе — с известным писателем, филологом, историком Ж. Э. Ренаном, с работами которого он был знаком с молодости: в материалах к «Врачебному делу в России» (1884 — 1885) находим методологически важную для этого труда цитату из Ренана.

Естественно, что отношение к этим направлениям должно было проявиться в единственном публицистическом сочинении Чехова на библейскую тему — «От какой болезни умер Ирод?». Тема статьи предрасполагала к ренановскому подходу. И действительно, Чехов, опираясь на комментарий византийского христианского писателя блаж. Феофилакта, пытается путем критического использования «одного лишь предания» восстановить «клиническую картину» Иродовой болезни. Однако статья начинается с сочувственного цитирования Фаррара, стоявшего на христианских позициях в вопросе высшей исторической справедливости: «Ненасытный кровопийца, приказавший избить четырнадцать тысяч младенцев, погиб, как известно, от злейшей болезни, при обстоятельствах, возбуждавших в современниках отвращение и ужас. По словам Фаррара, он умер от омерзительной болезни, которая в истории встречается только с людьми, опозорившими себя кровожадностью и жестокостями».

В рассказе «Студент» — любимом своем сочинении — Чехов изображает библейские события (последняя земная ночь Иисуса, тайная вечеря, поцелуй Иуды) предельно конкретно, «по-ренановски»⁸. По сравнению с изложением этих событий у евангелистов в рассказе художественно реконструируется (конечно, по-чеховски лаконично) душевное и физическое состояние Петра, вещная обстановка ситуации: «...Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна <..> Тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания». Но здесь же, в рассказе, находим и иной, «канонический», взгляд — веру в букву Евангелия, в то, что сбылось предсказание Иисуса: после троекратного отречения Петра пропел петух. И в то, что происходившее «девятнадцать веков назад имеет отношение к настоящему <...>, ко всем людям. <...> Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Все это совершается в пасхальную ночь в сознании миллионов людей уже девятнадцать веков: религиозный смысл евангельских исторических событий очевиден для любого читателя.

Человек поля не ангажирован раз и навсегда. В творческом переживании в каждом своем сочинении он свободно избирает позицию.

3

Второй полюс, о котором говорит Чехов («нет Бога»), к концу XIX века прочно отождествлялся с понятием «научная картина мира». Это позже получили распространение теории, в рамках которых стало можно утверждать, что дарвиновская идея эволюции «каким-то образом влила новую кровь и в христианские перспективы и надежды»⁹ и что «религия и философия, восприняв достигнутые научным мировоззрением данные, все дальше и дальше расширяет глубокие тайники человеческого сознания»¹⁰. Но еще в 1910-х годах попытки философа Н. Ф. Федорова объединить науку и религию вызвали почти все-

⁸ «Художественное изображение истории есть бесспорное, крупное достоинство Ренана» (Трубецкой С. Н. Ренан и его философия. — «Литературное обозрение», 1993, № 3-4, стр. 77).

⁹ Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М. «Наука». 1987, стр. 32.

¹⁰ Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М. «Наука». 1981, стр. 55.

общее неприятие и едва ли не насмешки¹¹. В чеховские времена, в эпоху все еще продолжавшегося господства позитивизма и рационализма, в глазах просвещенного общества только наука могла претендовать на истину в объяснении сущего. Известно чрезвычайно положительное отношение Чехова к дарвинизму, научному методу вообще.

Для Чехова научное подвижничество равноценно религиозному. Об ученых-путешественниках он писал в некрологе «Н. М. Пржевальский»: «Их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу».

Уже делались (например, американской слависткой З. Юрьевой) сопоставления повести Чехова «Скучная история» с житийным жанром. Действительно, Чехову была близка идея святости во вполне секулярном облики — идея подвижничества и мученичества во имя науки.

Но столь высоко ставя науку, Чехов «не смог, подобно большинству своих современников, стать фанатиком рационализма»¹². По Чехову, целые сферы жизни не могут быть познаны рациональным путем, непознаваемы вообще.

Как это ни парадоксально, Чехов больший иррационалист, чем некоторые из известных мистиков из символистского лагеря, его в излишнем рационализме упрекавших¹³.

Как человек поля будучи бесконечно свободен, не стоя ни на одном из полюсов, Чехов, благодаря этой вневходимости, как сказал бы М. Бахтин, мог думать о синтезе науки и веры. Вот как он говорил об этом на своем неспекулятивно-конкретном языке, который не оставлял и при обсуждении подобных вопросов: «Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновенье», то становится не беднее, а богаче, — стало быть, мы имеем дело только с плюсами...» (А. С. Суворину, 15 мая 1889 года). В сознании Чехова антиномически сосуществовали христианские представления о телеологии мироустройства и научный антителиологизм (в дарвиновском смысле).

Человек поля абсолютно свободен относительно всяких идеологических вех и границ: он может подходить к ним, удаляться от них в непредсказуемую сторону, у него нет прямолинейного пути от А к В — это разнонаправленное движение в пределах поля. Но поле он никогда не пройдет: Ахиллес не догонит черепаху. Чеховская позиция — не колеблющаяся стрелка на заданной шкале, но множественность стрелок, указывающих на плоскости самые разные направления. Или еще резче: эта позиция находится, быть может, вообще в другой плоскости или в другом измерении.

Чехов в разные периоды своей жизни был ближе то к одной, то к другой полюсной позиции поля. Но никогда — настолько, чтобы с ней отождествиться или хотя бы на ней задержаться и перестать быть человеком поля.

Известно отрицательное отношение Чехова к «Выбранным местам из переписки с друзьями», ироническое высказывание о тенденциозности автора «Войны и мира» в изображении Наполеона.

Позицию вне и над — позицию и цели вечного искусства — Чехов полагал высшими и подмену их любыми другими, от политических до религиозных, считал для него губительной — даже у Гоголя и Толстого.

4

Позиция человека поля — не только неприсоединения, но принципиального несближения с полюсами (это касается и более частных философов и идеологов типа радикализм — консерватизм, идеализм — материализм), — позиция пребывания в нефиксированной и идеологически резко не обозначен-

¹¹ См. нашу вступительную статью к публикации: Георгиевский Г. П. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. — «Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения». Рига. 1988, стр. 40 — 41.

¹² Курдюмов М. Сердце смятенное. Paris. «УМСА-Press». 1934, стр. 148.

¹³ Подробно см.: Чудаков А. П. Чехов и Мережковский. (Два типа художественно-философского сознания. — «Чеховиана. Чехов и „серебряный век“». М. «Наука». 1996, стр. 57 — 58.

ной точке поля оказала существенное влияние на структуру художественного мира Чехова на всех его уровнях.

Любая художественная система, ориентированная на твердую идеологическую позицию, открыто отбирает и типизирует. В такой системе на уровне предметного мира — одни вещи в рисуемое не входят как не важные, другие с таких высот просто не видны. Взгляд человека поля, броуновски движущегося в предлежащем мире, захватывает в свой обзор все вещи вне их эмпирически-социальной и философской иерархии. Близкий Чехову по духу художник мог написать и «Над вечным покоем», и «Ветхий дворик». Недаром в письме М. В. Киселевой от 14 января 1887 года рядом со знаменитыми словами о том, что «литератор должен быть так же объективен, как химик», всплывает это имя: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. <...> Суживать ее функции такую специальностью, как добывание «зерен», так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы». В строяемый Чеховым мир жизнь входит в ее индивидуально-текучих, частных, случайных чертах, в ее неотобранной целостности.

Свободная позиция поля оказывает несомненное влияние на отбор эпизодов, их освещение, то есть в конечном счете на сюжет. Приведем два-три примера из сферы, близкой к теме. У Чехова нередко ироническое освещение фигур и ситуаций, связанных с церковью, верой, что до сих пор смущает ортодоксальных христиан. Мысли о Христофоре («Степь») о духовной пище и пользе учения «запросились наружу» «после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо»; в другой раз его еще более пространные рассуждения об изучении богословия, философии и прочих наук перемежаются такими деталями, как намазывание икры, питье чая с блюдечка и т. п. В «Мужиках» при чтении Евангелия Ольга внезапно начинает плакать, услышав слово «дондеже», которого она не понимает. В «Архиерее» юмористически обыгрывается «Иегудиилова ослица», которая то ли есть в Писании, то ли нет. Автор не боится, что ирония заставит усомниться читателей в его серьезном отношении к церковному богослужению, к наукам духовным и светским или к народной вере. Он свободен в своем отношении к Евангелию и студентам, толстовству и ученым, прогрессу и мужику-богоносцу.

Позиция человека поля, свободного от диктата оценок с полюсной точки зрения «партии», продуцирует невиданную социальную недетерминированность идей чеховских героев (при формальной скрупулезной обозначенности их статуса). Чехову было не важно, кем является его герой — консерватором или радикалом, обывателем или террористом, архиереем или сотским, профессором или гробовщиком. Философия Вершинина («Три сестры») о жизни через двести — триста лет никак не связана с тем, что он артиллерист и подполковник.

Для Чехова невозможна бескомпромиссная христианская позиция, приводящая Достоевского к образу Зосимы. По Чехову, нет целиком хороших людей. «Плохой хороший человек» — удачная характеристика Лаевского (названия фильма по «Дуэли»). «Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников» (М. В. Киселевой, 14 января 1887 года). Чехов охотно прощает своим «положительным» героям их слабости, но эти слабости есть у них у всех. Портрет великого путешественника в статье «Н. М. Пржевальский» лишен теневых сторон не потому только, что это некролог, — в нехудожественных высказываниях, в публицистике, письмах Чехов бывал односторонним. Таких людей, как Пржевальский, он сравнивает с солнцем. Но в навеянных этой фигурой художественных страницах он не может не упомянуть о пятнах на этом солнце: «Он идет, идет, идет куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идет и идет...» («Дуэль», гл. IX).

Если все же говорить о персонажах, коим отданы симпатии автора, то это всегда люди, отбившиеся от одного берега и не приставшие к другому, — Максим Торчаков («Казак»), Васильев («Припадок»), Иванов, Николай Степанович («Скучная история»), Лаптев («Три года»), Мисаил Полознев («Моя жизнь»), Надя («Невеста»).

Истину у Чехова ищет не «герой-идея», не «типический представитель», но рядовой человек, невынимаемо вплетенный в быт, в вещный мир. Л. Шестов утверждал: «„Человек“ может построить башню — но до Бога он не доберется. Добраться может только <...> тот единичный, случайный, незаметный, но живой человек, которого до сих пор философия так старательно и методически выталкивала заодно со всем „эмпирическим“ миром за пределы „сознания вообще“»¹⁴. Чехов не решал вопроса, кто ближе к Богу. Но только такого «единичного, случайного» человека он и изображал¹⁵.

Ситуация человека поля, характер художественной системы, с нею связанный, и образ ее творца оказались непривычными для русской литературы, долго не понимаемыми критикой и не вполне раскрытыми до сих пор. По значимости этот феномен сопоставим с диалогическим мировидением Достоевского, а по влиянию на собственно искусство, возможно, и превосходит его, начав литературу и театр XX века.

¹⁴ Шестов Л. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М. «Наука». 1993, стр. 34.

¹⁵ Ср. в письме Чехова И. И. Орлову от 22 февраля 1899 года: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям».

ДМИТРИЙ БАК



БИОГРАФИЯ НЕПРОЖИТОГО, ИЛИ ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ ЧУДЕС

Фантастика Станислава Лема на рубеже столетий

С кем же, в конце концов, имеет дело «лемолог», кого он «держит в руках»? Может быть — только пресловутый симулякр, куклу, муляж, «маску» писателя, истинное лицо которого — не более чем интеллектуальная мозаика, которую без конца конструируют и перестраивают толкователи его книг.

Ежи Яжембский.

Самое время написать о Станиславе Леме. Накануне 75-летия польского фантаста его образ в сознании читателей и критиков явно утратил былую четкость. С одной стороны — всемирное признание, миллионные тиражи книг на десятках языков. С другой — явное перемещение на периферию читательского внимания, восприятие под знаком кибернетического ретро 60-х годов. Во вступлении к недавнему сборнику статей о Леме составитель, известный краковский писатель и литературовед Ежи Яжембский, говорит о наступлении новой эпохи в восприятии и освоении наследия писателя, когда «его взаимопонимание с критиками достигается все труднее... дороги писателя и критиков начинают расходиться»¹. Концепции и гипотезы Лема живут уже вне всякой связи с книгами, в которых они были впервые сформулированы. Так обстоит дело в Европе и Америке. Что же касается России, говорить о каком бы то ни было корпусе значительных «лемоведческих» работ сегодня вообще затруднительно.

Не парадокс ли: именно в этот момент выходит в свет первое обширное собрание сочинений Лема на русском языке², причем не просто выходит в свет, но имеет успех, мгновенно исчезает с прилавков и... не порождает никакого серьезного разговора в критике. В какой контекст вписалось лемовское собрание? То ли изящно оформленные книги в суперобложках заняли место на полке любителя остросюжетного бульварного чтения, по соседству с бесконечными томами триллеров и детективов, то ли пополнили библиотеку шестидесятника, тоскующего по собственному юношескому чтению. Что ж, книги имеют свою судьбу, и оба возможных ее варианта достаточно бесхитростны и безотрадны. Либо судорожно-запойное чтение профана, либо торопливое перечитывание-перелистывание лемовских книг ностальгирующими ценителями, ныне увлеченными совсем другими идеями.

Между тем собрание Лема, выпущенное издательством «Текст», в высшей степени любопытно. Примечателен в первую очередь принцип распределения романов, пьес, повестей, сказок по отдельным томам. Составители не только стремились соблюсти естественную хронологию опубликования произведений Лема, но учитывали и динамику их вхождения в кругозор русскоязычного читателя. Так, с романами, впервые переведенными еще в 60-е годы («Эдем»,

¹ «Lem w jednakach lemologow». Teksty drugie. Kraków. 1992, № 3, s. 3.

² Лем Станислав. Собр. соч. в 10-ти томах. М. «Текст». 1992 — 1995. В том же, 1995 году появились два дополнительных тома, обозначенных номерами I и II.

«Солярис», «Возвращение со звезд»), соседствуют ранние вещи Лема, увидевшие свет по-русски только в 80-е («Расследование», например) либо вообще публикуемые в России впервые (скажем, «Рукопись, найденная в ванне» или «Больница Преображения»). В новом собрании сочинений впервые обрисована целостная и логичная картина литературного пути Лема.

Наряду с хронологическим в двенадцатитомнике последовательно реализован и жанровый принцип компоновки текстов. Особенно важен уникальный опыт сведения в самостоятельные книги двух классических лемовских циклов («Кибериада» и обширная, создававшаяся на протяжении 1953 — 1985 годов серия рассказов о космическом Мюнхгаузене по имени Ййон Тихий). Концепции шестого и седьмого томов русского собрания сочинений Лема отныне, безусловно, будут приниматься во внимание всеми его издателями и редакторами.

Необыкновенная популярность польского фантаста в 60-е и 70-е годы обусловила появление многих параллельных переводов одних и тех же его произведений. Сегодня, например, весьма нелегко выбрать «лучший» из двух переводов «Солярис» (Дм. Брускина и Г. Гудимовой — В. Перельман). Каждая из русских версий самого известного романа Лема имеет свою историю, складывавшуюся из последовательных доработок, восполнений цензурных пропусков и т. д. Сложность в том, что даже «неверные» по сравнению с оригиналом решения Дм. Брускина (мужской, а не женский род имени «Солярис», написание «Хари», а не «Хэри») уже освящены своего рода традицией. Возвращение к «правильным» вариантам перевода порою столь же затруднительно, как была бы затруднительна, скажем, фонетически вполне оправданная замена нормативного написания имен Э. По (Poe) и Б. Шоу (Shaw) на Поу и Шо соответственно.

В абсолютном большинстве случаев выбор перевода для публикации в двенадцатитомнике вполне достоин одобрения (а ведь порою выбирать было из чего: так, например, известны целых четыре (!) перевода рассказа «Испытание», открывающего цикл о пилоте Пирксе). Особое внимание обращалось на устранение неполноты ранее опубликованных переводов. Читатель наконец получил возможность познакомиться с полными вариантами романов «Глас Господа» (прежде польское «Głos Pana» по соображениям атеистически-эвфемистическим передавалось по-русски как «Голос Неба») и «Магелланово облако» (в свое время сокращению подвергся даже этот ранний роман, не свободный от общественно-оптимистических иллюзий à la «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова).

Впрочем, работа составителя не ограничивалась отбором лучших переводов. Скажем, ранее переведенный на восемь языков роман «Рукопись, найденная в ванне» впервые опубликован в редакции, соответствующей авторской воле. Написанное в силу цензурных обстоятельств предисловие помещено в приложении к основному тексту в качестве самостоятельного футурологического трактата. Так любопытнейший прогностический текст через тридцать пять лет после первой публикации был освобожден от конъюнктурных функций. Текстологическое решение, принятое при публикации русского текста «Рукописи...», в будущем наверняка послужит основой для польских и иноязычных изданий романа.

Итак, за пределами собрания остались лишь лемовские трактаты: «Сумма технологии», «Диалоги», «Философия случайности», «Фантастика и футурология». Можно понять издателей, не решившихся отягощать массового читателя объемистыми томами теоретических рассуждений, к тому же из всех перечисленных книг на русский переведена только «Сумма технологии», да и то в сокращении. Однако обосновать принятое составителями разграничение в наследии Лема «литературы» и «не-литературы» было бы весьма затруднительно. Ведь практически каждая из зрелых вещей писателя содержит обширные «теоретические» фрагменты, а «Глас Господа», согласно общепринятому жанровому определению, есть не что иное, как роман-трактат, содержащий систематическое изложение философских построений, практически лишенный фабульной динамики.

Описанные обстоятельства, вероятно, и стали причиной отказа от обширного предисловия, в котором была бы всесторонне обоснована концепция издания. К томам приложены лишь краткие «Библиографические справки»,

тщательно составленные К. Душенко и содержащие информацию об основных польских и русских изданиях лемовских текстов³.

Существует ли общий «смысловый горизонт» для всех разнообразнейших книг Лема? Как обозначить родство между «нефантастическими» романами («Больница Преображения», «Высокий замок») и тетралогией о космическом Контакте («Эдем», «Солярис», «Непобедимый», «Глас Господа»), между произведениями, напоминающими классические детективы («Расследование», «Насморк»), и причудливыми лемовскими притчами («Маска», «Рукопись, найденная в ванне»)? А есть ведь еще фольклорно-кибернетические «Сказки роботов» и многосерийная межпланетная одиссея Ийона Тихого, цикл историй о профессоре космической зоологии Фомальгаутского университета Астрале Стерну Тарантоге и радиопьесы... А как быть с опытами Лема в изобретенных им самим жанрах рецензий на несуществующие книги (цикл «Абсолютная пустота») и предисловий, излагающих идеи книг, написание которых у автора просто-напросто не хватило времени и сил («Мнимая величина»)?

Если в очередной раз отказаться от поисков единого подхода ко всему наследию Лема, то придется либо зачислить писателя в реестр авторов science fiction, либо отнести его по ведомству серьезной социологии и футурологии, либо... Ясно, что подобные попытки сузить поле творческой активности Лема ни к чему не ведут. Похожие ситуации бывали и в прошлом. Стоило, например, по инерции изъять из корпуса лирических текстов Тютчева политические стихотворения, как немедленно возникали несколько несовместимых друг с другом творческих ипостасей поэта. Утонченный лирик-философ и политик, проповедник панславизма — ненужное зачеркнуть. Еще один, более близкий по времени, пример. Российское (да, впрочем, и европейское) литературоведение за долгие годы приучило «массового» читателя не замечать книг Макса Фриша, опубликованных до знаменитых романов «Штиллер» и «Ното Faber». Результаты не замедлили сказаться. За Фришем прочно закрепилась репутация писателя одной темы (человек в поисках идентичности и т. д.), что, разумеется, не соответствует действительности.

Сам Лем не раз пытался всерьез размышлять о своей писательской эволюции. Вот одна из типичных формулировок: «Центр тяжести моей работы постепенно перемещался в сторону некой первоначальной идеи, концепции, замысла»⁴. Действительно, год от года Лем словно бы утрачивает интерес к сюжетной конкретике, его книги все более превращаются в дайджесты идей и гипотез. А коли так, то именно научную гипотезу легко признать за некую универсальную «порождающую модель» книг Лема. Это, собственно, и делалось уже не один десяток раз теоретиками science fiction.

В обозначенной перспективе развитие Лема представляется предельно логичным. Познавательные построения все более отчетливо «всплывают на поверхность» текста, отождествляются с ним, постепенно упраздняют биографические подробности ранних «нефантастических» романов, психологическую нюансировку в изображении персонажей, детективные перипетии сюжета... Дело обычное: в творческой манере писателя важнейшим объявляется то, что сформировалось в итоге длительных поисков, проб и ошибок. Все прочее относят к случайностям и заблуждениям юности.

Между тем мы решаемся сформулировать в немалой степени парадоксальный исходный тезис: основная характеристика творческого развития Лема — всепроникающее стремление к биографизму. Только с учетом основных примет «биографического метода» возможно приблизиться к пониманию единого смыслового горизонта лемовских произведений.

³ В последние годы К. Душенко приложил немало усилий для популяризации книг Лема в России. Вот и в двенадцатитомнике он принял весьма деятельное участие как переводчик, редактор и текстолог, что, как ни странно, не нашло отражения в выходных данных издания.

⁴ Лем С. Моя жизнь. — В его: Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 1, 1992, стр. 23.

* * *

Конечно же, мое сердце осталось во Львове. Возможно, это юношеская ностальгия...

С. Лем, интервью газете «Известия».

Книги порою рождаются, чтобы избавить своих создателей от навязчивых мыслей (фрейдистские проблемы, разумеется, не в счет). Сын известного львовского врача, гимназист, впоследствии экс-студент медицинского института, в 1946 году выехавший в Краков, Станислав Лем вспоминает о своем детстве довольно часто. Львовскому мальчишке немало довелось повидать во времена отрочества и юности: немецкая оккупация, подпольная работа польского Сопротивления, установление просоветского режима... Однако в своих размышлениях о прошлом Лем не столько акцентирует масштабные исторические события, сколько пристально всматривается в мельчайшие подробности ежедневного существования людей в те далекие годы. В «Высоком замке» он писал так: «Что за колдовство кроется в вещах и мостовых нашего детства, колдовство, придающее им свойства магические и исключительные? Откуда в них это непрекращаемое стремление, чтобы после их гибели в хаосе войны и на свалках я засвидетельствовал их былое существование?»

После написания в 1948 году «Больницы Преображения»⁵ и публикации «Высокого замка» (1966) воспоминания о прошлом никогда больше не становились для Лема поводом к созданию самостоятельного произведения. Кажется бы, тема исчерпана тридцать лет назад, однако слишком важное она имела значение для всей последующей работы писателя, слишком мало о его автобиографических книгах говорили и писали, чтобы сейчас ограничиться сказанным.

В «Высоком замке» немало узнаваемых фактов, мест и событий. Всем бывавшим во Львове (а для автора этих строк город был родным на протяжении целого десятилетия) знакомы старые или новые названия упоминаемых в романе площадей и улиц, театров и парков. Любому сведущему в философии и эстетике читателю будет небезынтересно узнать, что математике гимназиста Станислава некоторое время учил европейски известный философ-феноменолог Роман Ингарден. Но суть, как говорится, не в том. Главное в «Высоком замке» — не факты, но способ их воссоздания, отношение к ним героя-гимназиста и взрослого автора воспоминаний. Обыкновенные события в сознании мальчика вырастают до титанических масштабов. Например, в кабинете директора гимназии его питомцы провидят «всеприсутствующий и одновременно тотально материализованный Абсолют». «Впрочем, — продолжает рассказчик, — и домашние сферы жизни, не тронутые бациллой расслабляющей автоматизации, являли мне все богатство литургического действия. Взять хотя бы катаклизм, именуемый Большой Стиркой...»

«Литургический» масштаб вещам и событиям, таким образом, придает не их историческая значительность, а точка зрения наблюдателя, его умение разглядеть большое в малом. Но — и это основная смысловая оппозиция биографических вещей Лема — мир детства одновременно и предельно насыщен смыслами, до отказа переполнен отзвуками и намеками, и — пуст, неопределен, непознаваем. «Двойное зреньё» вспоминающего и всеильно, и бессильно. Тем, а не иным деталям прошлого придается метафизическое измерение в зависимости от того, что впоследствии сбылось. А значит, вспоминающий не в силах реализовать главнейший свой замысел — «выделить, дистиллировать из всей моей жизни детство в чистом виде, так, словно бы всех последующих наслоений... никогда не было». Следовательно, «любой человек

⁵ Роман опубликован в 1955 году в качестве первой части автобиографической трилогии «Непотерянное время». С 1975 года публикуется только как самостоятельное произведение. Лемовскую «Больницу...» неоднократно сопоставляли с «Волшебной горой» Томаса Манна. Действие происходит в изолированной от внешнего мира лечебнице для умалишенных, куда приходит на работу юноша-врач, оказывающийся свидетелем поголовного уничтожения больных немецкой зондеркомандой.

может написать множество мало похожих одна на другую автобиографий в зависимости от избранной точки зрения и критериев отбора»⁶.

Как же все-таки получается, что из множества возможностей, потенциально присутствующих в прошлом, верх берет только одна — та, которая и приводит в конечном счете не к возможному, не к потенциальному, но к настоящему настоящему? И если, приступая к реконструкции прошлого, мы заранее осведомлены о его последствиях, то не вынуждены ли мы волей-неволей исказить облик прожитого, подменять живое столкновение возможностей ложным и косным детерминизмом?

При создании автобиографии, по мнению Лема, все именно так и происходит: «Лишь теперь, вторично, словно детектив, идущий по следам совершенного преступления, которое состояло в ловком упорядочении даже того, что в свое время вовсе не было ни упорядоченным, ни указывающим в мою — литератора — сторону, я вижу во всем, что написал, эту нацеленную в меня — повзрослевшего на четверть века — стрелу». Лем не раз формулировал одну из ключевых оппозиций собственного творчества: «Мое перо притягивают два противоположных полюса. Один из них — это случайность, второй — организуемая нашу жизнь закономерность»⁷.

Воссоздать облик прошлого с наименьшими потерями, с учетом случайности и неопределенности как неотъемлемых свойств жизни — вот ключевая установка биографических произведений Лема. Переполненный подробностями, узнаваемыми деталями мир детства писатель стремится описать так, чтобы по возможности сохранить непосредственность, вариативность ушедшей в прошлое жизни. Но ведь и в фантастических книгах писатель, по сути дела, пытается разрешить ту же проблему. Будущее, изображенное здесь, тоже претендует на подлинность, живую изменчивость. Однако повседневность в вымышленном мире science fiction подобна вакууму, в ней отсутствуют узнаваемые детали, нет тесноты событий и фактов. Не потому ли во многих произведениях Лема герой, едва оказавшись в непривычных условиях, тут же садится за учебники или попросту отправляется в библиотеку? Так поступает и Кельвин в «Солярис», и Гэл Брегг в «Возвращении со звезд», и шагнувший в будущее пилот Темпе в романе «Фиаско».

Законы построения возможных миров Лем выводит из достаточно строгих гипотез и эволюционных допущений. Однако в мире, лишенном повседневной событийной пластики, вероятность непредсказуемых происшествий многократно возрастает. Причем случайность нередко интересует Лема не только в качестве метафизической категории, но и в облике невероятного совпадения, в корне меняющего нормальное течение событий (например, появление безобидной комнатной мухи в пилотской кабине держащего экзамен курсанта Пиркса — в рассказе «Испытание»). Случайное совпадение нескольких заурядных обстоятельств, в конечном счете складывающихся в нечто грозное и таинственное, нередко составляет сюжетную основу «детективных» книг Лема («Расследование», «Насморк»).

Случайность как существеннейшая характеристика жизни играет важную роль и в последнем большом романе Лема «Фиаско» (впервые опубликован по-немецки в 1986 году). Полет на Квинту обставляется знакомыми атрибутами космической одиссеи: проникновение огромного корабля в звездные дали с целью Контакта, постоянные совещания для обсуждения возникающих в ходе полета проблем, бледные силуэты астрогаторов и психоников вместо портретов живых людей... Есть и новое: экспедиция — не один из многих последовательных шагов на пути освоения космоса, но шаг единственный в своем роде, эксперимент, который нельзя будет повторить в случае неудачи. В силу целого ряда объективных, научно доказанных обстоятельств «вероятность следующих экспедиций с такой же целью ничтожна. Наши потомки будут относиться к нам... как мы относимся к аргонавтам, поплывшим за золотым руном». Присутствие на борту философствующего теолога-доминиканца, «мифологические» названия летательных аппаратов («Эвридика», «Гермес» и т. д.) — все направлено на то, чтобы любое происходящее событие выглядело

⁶ Лем С. Моя жизнь, стр. 13.

⁷ Там же, стр. 8.

уникальным и приобретало, таким образом, универсальный мирозидущий смысл. Так, например, глава, в которой описан полет на Квинту корабля-разведчика под названием «Гавриил» (!), названа, разумеется, «Благовещением». На первый взгляд, читателю предъявлено абсолютное царство закономерности, необходимости. Мелких, несущественных событий попросту нет, любое предпринятое действие имеет всемирные последствия.

Однако экспедиция, в конце концов, терпит крах не из-за возникших объективных затруднений (на Квинте идет тотальная война двух сверхдержав) и даже не в результате нравственных сомнений землян в своем праве вмешиваться в дела и судьбы иной цивилизации (ср. классический роман «Трудно быть богом» братьев Стругацких). Контакту помешала случайность вовсе не метафизическая: пилот-разведчик Марк Темпе, первым приземлившийся на Квинте, был столь одержим желанием увидеть наконец таинственных квинтян, что пропустил условленное заранее время выхода на связь с экипажем «Эвридики». Посчитав его погибшим, земляне открывают по планете шквальный огонь. Так несостоявшееся Благовещение оборачивается в конце концов Содомом и Гоморрой.

За несколько лет до опубликования «Фиаско» Лем пишет автобиографическое эссе «Моя жизнь», в котором с исчерпывающей полнотой и ясностью формулирует взаимную зависимость личного жизненного опыта и художественных поисков в области фантастики. При этом роль промежуточного звена между биографическим и творческим началами Лем отводит как раз категориям случая и судьбы. «Есть ли какая-нибудь причинно-следственная связь между тем, что я рассказал, и моим писательским призванием? ...Я думаю... что вовсе не случайно такую важную роль играет в моих книгах случай как создатель судьбы»⁸.

Нельзя сказать, что такая позиция в научной фантастике абсолютно нова. Вспомним, например, о двух в свое время нашумевших текстах: о рассказе Рея Брэдбери «...И грянул гром» и о романе Абэ Кобо «Четвертый ледниковый период». И в том и в другом речь шла о соотношении случайного и закономерного. Путешественник во времени, ненароком убивший бабочку, мирно порхавшую на просторе за сотни тысяч лет до его рождения, вернувшись в свое настоящее, увидел за окнами совсем другой мир. Все его трансформации (политические, экономические, религиозные) имели первопричиной всего лишь смерть ничтожного насекомого. У Абэ Кобо происходит нечто подобное, только проблематика закономерного и случайного отнесена не в прошлое, а в будущее. Чем более точно предсказывается грядущее, тем радикальнее меняется настоящее. Все просто: люди стараются приблизить то из предсказанного, что им дорого, и избежать столкновения с ожидаемым злом. В результате — первоначальный точнейший прогноз отрицает сам себя, отменяется благодаря сознательным попыткам людей жить в мире с известным завтрашним днем.

Да-а, скажет проницательный читатель, вот мы и угодили наконец на территорию научно-фантастического гетто, в мир хроноклазмов и бластеров. Ничуть не бывало!

В последние десятилетия ни один разговор о вероятностных моделях в истории не обходится без ссылки на высказывание Шлегеля, ошибочно приписанное Пастернаком современнику немецкого романтика:

Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.

В этом четверостишии кроме парадокса, привлечшего столь широкое внимание, содержится еще и суждение вполне очевидное, почти банальное. Предсказывать будущее и воссоздавать прошлое — не одно и то же (потому, кстати, и кажется необычным сближение функций историка и пророка). В самом деле, историк имеет дело с огромным массивом фактов, его предельная

⁸ Лем С. Моя жизнь, стр. 14.

цель — дать известным событиям «правильное» истолкование. Перед пророком с самого начала разверзается бездна, некое безвоздушное пространство, лишенное событийной конкретики. Здесь интерпретация, смысл неизбежно предшествуют фактам⁹.

Именно так выглядят и обычные для нашего столетия футурологические труды. Лем переносит биографический метод (тщательное разгадывание смысла уже состоявшегося, хорошо известного, конкретного события) в область исследования будущего, причем, как видно из приводившихся высказываний писателя, он делает это совершенно продуманно и последовательно. Открывая очередную книжку Лема, читатель должен помнить, что имеет дело не с «пророком, предсказывающим назад»¹⁰, но, напротив, — с «историком, предсказывающим будущее».

Многие лейтмотивы, характерные для фантастических книг Лема, присутствуют в ранних его биографических вещах. Возьмем, например, проблему нравственных оснований науки. Лем рассуждает об опасности превращения в уничтожительное оружие практически любого научного открытия («Глас Господа», «Мир на Земле», «Фиаско» и т. д.). Однако и эта проблема была сформулирована все в том же «Высоком Замке», причем гораздо более обобщенно и глубоко, хоть и не без иронии. Вспоминая свои школьные годы, Лем говорит, что мог бы написать теоретическое эссе на тему «Гимназия как субкультура» или «Гимназия как стихия». Вот один из фрагментов этого ненаписанного опуса: «У старой доброй парты было два углубления для чернильниц; у нас была в ходу особая их разновидность — стеклянные баночки с отверстием-воронкой, довольно глубоко уходящей внутрь, из-за чего чернила должны были не выливаться, если чернильницу перевернуть. Уверяю вас, они выливались, а если не хотели делать этого сразу, мы им помогали. ...Мы своими действиями доказывали, что нет предмета, который бы нельзя было поставить на службу целям, противоречащим намерениям его создателя». Далее, разумеется, следует мини-трактат, достойный «Суммы технологии». Умение различить в бытовом эпохальное, увидеть в стирке отголоски мирового катаклизма — вот мост между биографическим методом *an sich* и его вариациями, адаптированными к жанру футурологического трактата или фантастического романа-предупреждения.

Еще пример трансформации биографического метода. Коль скоро создать единое и единственное жизнеописание собственного прошлого невозможно, то что же такое мое Я? Об этом постоянно размышляет Лем в биографических произведениях. Но ведь проблематичное самотождество человеческого Я — одна из магистральных тем Лема-фантаста. Она обсуждается и юмористически (вспомним, как в седьмом путешествии Ийон Тихий сосуществует сразу с несколькими собственными «копиями», извлеченными из понеделника, среды и прочих дней недели), и совершенно всерьез (какая из двух Хэри в «Солярис» более подлинна — та, что много лет назад покончила с собой, или присланная Кельвину Океаном?). Да и в трактатах Лем уделяет вопросу о возможности создать точный дубль человеческой личности немало внимания. Так, еще в «Диалогах» (первое издание появилось в 1957 году) Лем задавался вопросом: «Существую ли «я вчерашний» сегодня либо нынешним днем никакого «вчерашнего я» уже нет?»¹¹

Итак, приемы биографически конкретного воссоздания реальности играют немалую роль и в зрелых книгах Лема, биографический подход присутствует и за пределами сугубо жизнеописательных ранних романов. Ну а как обстоит дело с героями лемовской фантастики, в какой мере они наделены ощущением собственной личностной конкретности и уникальности?

⁹ Неспроста в классических античных пророчествах связь между событиями и их истолкованием намеренно осложнялась. Разгадыванием занимался не только прорицатель, но и тот, кто пытался воспользоваться предсказанием, то есть понять скрытый смысл упоминаемых событий.

¹⁰ Точная формулировка Шлегеля: «Историк — это пророк, обращенный в прошлое» (Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х томах. Т. 1. М. 1983, стр. 293).

¹¹ Lem Stanisław. Dialogi. Krakow. 1984, s. 26.

* * *

Я, право, не знаю, почему я выбрал путь научной фантастики; я могу лишь предположить, что она имеет или... должна иметь дело с человеческим родом как таковым... а не с отдельными индивидами, все равно — святыми или чудовищами.

С. Лем, «Моя жизнь».

Тезис об отсутствии в science fiction специального интереса к человеческой индивидуальности — одно из общих мест современного «фантастоведения». Главная роль в фантастическом произведении безоговорочно отводится научной гипотезе, футурологическому прогнозу, модели общественной ситуации как таковой — всему, кроме судьбы конкретного героя в ее биографической полноте. Так ли обстоит дело у Лема? И можно ли сомневаться в правоте авторского profession de foi, вынесенного в эпиграф?

Нельзя не видеть в высказывании Лема явную полемическую заостренность. В его фантастике герой далеко не всегда демонстративно освобожден от памяти о прошлом, о детстве, о предках и т. д. Скажем больше: наличие либо отсутствие биографий главных героев — важнейший «различительный признак», позволяющий судить о творческой эволюции Лема. Во многих его повестях и романах общая теоретическая посылка не предшествует появлению на сцене того или иного уже «взрослого», личностно сформировавшегося героя. Наоборот, герой, зачастую еще не знающий себя самого, вынужден почти вслепую нащупывать контуры реальности, разгадывать ее загадки. Избегая прямолинейного персонализма, желая рассуждать только о человечестве в целом, в лучших своих вещах Лем вновь и вновь возвращается к судьбам конкретных людей, заброшенных в таинственный мир необходимости и случайности.

«Все романы типа «Солярис», — говорит Лем, — написаны одним и тем же способом, который я сам не могу объяснить... Я и теперь еще могу показать те места в «Солярис» или в «Возвращении со звезд», где я во время писания оказался, по сути, в роли читателя. Когда Кельвин... встречает Снаута, а тот его явно боится, я и понятия не имел, почему никто не встретил посланца с Земли и чего так боится Снаут. Да, я решительно ничего не знал о каком-то там «живом океане», покрывающем планету»¹². Можно, видимо, говорить об отождествлении повествователя в «Солярис» не только с читателем, но и с персонажем, жизненный опыт которого в момент завязки интриги на станции «Солярис» явно недостаточен ни для прояснения тайны далекой планеты, ни для простого понимания заданных Океаном первоначальных условий игры.

Главный герой романа «Глас Господа» описывает постепенное приближение к прозрению как процесс «проступания истины». Истина у Лема «проступает» в сознании персонажа, а не излагается в виде готовой научной гипотезы, заранее сформулированной автором вне всякой связи с сюжетом.

Примерно так же обстоит дело и в романе о пилоте Гэле Брегге: «В «Возвращении со звезд» я тоже натолкнулся на стену — когда астронавта пугается первая встреченная им девушка, а потом произносится слово «бетризация». Я не знал еще, что оно, собственно, означает, но... знал, что должно быть какое-то непреодолимое различие между культурой, с которой навсегда простился герой, отправляясь к звездам, и культурой, с которой он знакомится по возвращении».

Как видим, герой, сталкивающийся с непознаваемостью жизни, не уверенный в собственных силах, но настойчиво пытающийся сделать правильный выбор, — этот герой придумывается Лемом прежде, чем появляется футурологическая гипотеза. «Бетризация» (то есть якобы осуществленная в будущем принудительная вакцинация человечества против насилия) служит лишь мотивировкой для действий героя, а вовсе не наоборот. Лем в очередной раз создает жизнеописание, только основными его вехами в итоге оказываются события, в реальности невозможные.

¹² Лем С. Моя жизнь, стр. 21.

Биография непржитого — вот одно из возможных жанровых определений лемовских романов «типа „Солярис”». Гэл Брегг — всего лишь один из «отцов», чувствующих себя неуютно и отчужденно в мире «детей», которые, в терминах тургеневского Павла Кирсанова, исповедуют иные «принципы и правила». Брегг часто вспоминает о временах юности, о горячем стремлении своих сверстников к звездным далям. В том будущем, куда попадает Брегг после возвращения экспедиции, космической романтике больше нет места. И дело не просто в том, что с течением времени сменились философские ориентиры и бытовые устои («тургеневская» ситуация). Тотальное «медицинское» вмешательство в человеческую природу изменило сущностные установки цивилизации как таковой, невозможность насилия обернулась утратой вкуса к риску, к упоению бездны смертной на краю. Однако все эти глобальные (и цивилизацией землян на самом деле не прожитые) перемены читателю дано почувствовать опять-таки только через сознание и самоощущение героя.

Брегг не в силах выстроить свой жизненный путь в единую линию, пережить зрелость как осмысленный результат юности. Ни одна из обычных схем «романа воспитания» здесь не работает (утрата отроческих иллюзий, адаптация к условиям «взрослой» жизни, острое переживание ранее неведомых истин и т. д.). Между разными возрастами, эпохами жизни человека вырастает непреодолимая стена, причинно-следственные отношения деформируются, оказывается разрушенной какая бы то ни было биографическая связность. И в этой-то жизнеописательной несурразице, алогичности как раз и состоит ключевая особенность самоощущения лемовских героев. Именно там, где традиционная биография ставится под сомнение, начинается у Лема биография непржитого.

В романе «Солярис» тоже речь как будто идет не об отдельных людях, но обо всей земной цивилизации, столкнувшейся в глубинах космоса с неразрешимой загадкой. Океан, покрывающий целиком планету Солярис, не вписывается в земные представления о сознании, разуме, целесообразном действии. Затруднительней всего втиснуть в рамки привычных знаний тот факт, что представитель внеземной жизни существует «в единственном экземпляре». Отсюда следует, что он начисто лишен стимулов ко многим поступкам, составляющим сущность человеческих желаний (биологическое продолжение рода, продление жизни и обретение бессмертия, колонизация космоса, технологическое усовершенствование быта). Соляристика переживает упадок, расцветают паранаучные спекуляции на «проблеме Солярис», огромная орбитальная станция в окрестностях планеты находится на грани закрытия. И все же смысловой центр романа — судьба отдельного человека, психолога Криса Кельвина. Он так же, как и Брегг, не в силах совместить разные эпохи собственной жизни. «Синтетическая» Хэри, с неизвестными целями присланная к Крису Океаном, постепенно заслоняет собою Хэри прежнюю, преданную Кельвином и вынужденную свести счеты с жизнью. Зачем психолог Кельвин остается на станции? В ожидании пресловутого Контакта? В надежде на возвращение любимой? Планетарный и личностный масштабы событий оказываются неразрывно связанными друг с другом. Крису бесконечно близки исконные, «докосмические» ценности (семья, любовь, дом), однако надеяться на их обретение можно только здесь, в окрестностях далекой планеты. Так складывается биография непржитого по Крису Кельвину.

Андрей Тарковский в своем замечательном фильме, поставленном по мотивам романа «Солярис», верно почувствовал ностальгическую земную ноту в космических событиях, описанных Лемом. Всем памятна заставка картины: музыка Баха на фоне сельских пейзажей, потом рокошущие автомобили на многоярусных городских эстакадах — земная жизнь во всем ее разнообразии. У Тарковского Кельвин обретает отца и мать, родительский дом — все то, о чем вроде бы и должен был думать лемовский герой.

Должен, но... не думает, по крайней мере мы об этом ничего не знаем. Режиссерская интерпретация в какой-то момент подменяет логику автора романа. Проблема, мучающая Кельвина, становится совершенно земной, биография непржитого, парадоксальная коллизия ожидания неведомого, стремления к невозможному замещаются простым желанием обрести в Океане собеседника, способного без труда понять земные ценности. Знаменитая фраза

Снаута («человеку нужен человек») у Тарковского обретает характер неоспоримой истины. В финале картины Океан «понимает» Крису и рождает из своих пучин остров, на котором располагается точная копия родительского дома Кельвина, обретает вторую жизнь его отец...

«Версия Тарковского», безусловно, имеет право на существование, однако Лем не раз высказывался о ней весьма недвусмысленно: «Мы с Тарковским, который сам писал и сценарий, разругались навсегда. Я во всех своих основных книгах удирал в космос. А Андрей пытался заземлить сюжет «Солярис», дать Крису земную жизнь, обложить его со всех сторон семьей и родственниками»¹³.

Финал романа гораздо сложнее, нежели «антропоморфный» контакт по Тарковскому: «Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания... будет взволнован трагедией двух людей. ...Но уйти, — продолжает рассуждать Кельвин, — значит зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении, возможность, которую несет в себе будущее... Какие свершения, надежды, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес». Формула «время жестоких чудес» — исключительно точное определение биографии частного человека, вписанной в контекст событий, не прожитых не только им самим, но и земной цивилизацией.

Биографические проблемы частного человека не обсуждаются у Лема в романах-трактатах, не говоря уже о циклах пародий, притч, ложных рецензий и предисловий. Так, в «Эдеме» герои лишены имен (Химик, Координатор, Доктор) и воспоминаний о собственном земном прошлом, хотя этот роман Лема остроумно интриги, событийной насыщенностью напоминает скорее «Солярис» и «Непобедимый», нежели вещи типа «Философии случайности» или «Мнимой величины». Но бывает и наоборот: герои произведения вполне теоретического, состоящего в основном из логических построений, озабочены главным образом собственной биографической идентификацией.

Возьмем «Глас Господа». Роман легко может быть воспринят как обширное теоретическое рассуждение о сигналах, дошедших до Земли из галактических просторов. Что представляет собою таинственное нейтринное Послание, зарегистрированное учеными, — информационный шум или результат целенаправленной деятельности разумных существ? Случайность или цифровую транскрипцию основного закона развития Вселенной? От фатальной двойственности в интерпретации Послания никуда не уйти: то ли вселенские процессы, стоящие за ним, протекают сами по себе, естественным образом, то ли Некто специально их смоделировал в лабораторных условиях. Совсем как в гениальном тютчевском философском трактате, состоящем из шести стихотворных строк:

С горы скатившись, камень лег в долине. —
Как он упал? никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Иль был низринут волею чужой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса!

Обсуждение фундаментальных теоретических проблем в романе дано читателю не непосредственно, а в рамках автобиографии гениального математика Питера Хогарта, во время работы над проектом «Глас Господа» сделавшего несколько эпохальных открытий. Хогарт в самом начале своих записок предупреждает, что будет «говорить о себе, а не о человеческом роде». Таким образом, отвлеченные рассуждения получают глубоко личностную подоплеку. Автор мемуаров прежде всего подчеркивает несоответствие реальности многих его биографий, писавшихся «со стороны». Впрочем, Хогарт тут же настаивает на неисчерпаемости любой человеческой жизни и совершенно в духе раз-

¹³ «Известия», 1996, 16 марта.

мышлений самого Лема пишет, что «при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных».

Опровергая расхожие мнения, Хогарт объявляет о своей почти маниакальной приверженности злу: «Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной». Ученый пишет нечто вроде саморазоблачительной исповеди, причем последовательно устанавливает связь между человеческими нравственными качествами и абстрактными категориями математики. Самая точная из наук, по Хогарту, — лучшее средство для сохранения и культивирования в себе детского ощущения собственной множественности, которое для зрелого человека с моральной точки зрения весьма двусмысленно («В математике я искал того, что ушло вместе с детством, — множественности миров...»). Любые теоретические построения вокруг космического послания связаны, таким образом, с поисками себя.

Хогарт устанавливает глубокое внутреннее родство между своими теоретическими выкладками и нравственными свойствами. Однако и Послание рассматривается им «биографически»! Является ли Послание исповедью или, наоборот, математической маской Того, кто не желает приоткрывать собственную сущность, служит ли оно установлению диалога или призвано его затруднить и отсрочить до тех времен, пока земная цивилизация не достигнет определенных высот развития? За обезличенной последовательностью цифр, возможно, скрыто «жизнеописание» некоего сверхмощного Разума, намерения которого для землян совершенно непостижимы.

В контексте хогартовской исповеди становится понятной и парадоксальная методология анализа Послания, к которому ученый относится телеологически, то есть с превышением обычных правил и полномочий, принятых в естественных и точных науках. Вот почему Хогарт резко отделяет себя и прочих участников проекта «Глас Господа» от обычного физика, которому «и в голову не придет, что Кто-то нарочно расположил электроны на орбитах так, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями»¹⁴.

В одной из повестей Лем совмещает теоретическую и жизнеописательную проблематику особенно парадоксально, сознательно идет на своего рода предельный эксперимент. Речь о повести «Маска» (1974), заслуживающей отдельного краткого разговора.

* * *

Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? — Бог весть!

А. Блок.

Эксперимент начинается в «Маске» с первых же страниц: в роли героини выступает кибернетическая машина-убийца, специально созданная в некоем средневековом королевстве, чтобы казнить неугодного королю мудреца Арродеса. Сам Лем подчеркивал двойственность повести. С одной стороны, автора прежде всего интересовал «мотив существа, которое НЕ человек, а создание искусственное», с другой — для него важна была «скорее не рациональная... гносеологическая сторона, а художественный эффект»¹⁵.

Безымянная героиня повести изначально лишена какой бы то ни было самостоятельной индивидуальности. Все черты ее внешности и особенности ха-

¹⁴ Ср.: «Поскольку Послание так и остается загадкой, его текст не поддается телеологическому прочтению. В результате невозможно отличить его провиденциальные смыслы от тех, которые возникают из известных и ограниченных предпосылок. Истолковать текст строго определенным образом невозможно, признаем ли мы в качестве такового нейтринное «письмо», автобиографию Хогарта, его отчет о Проекте, опубликованный Томасом Уорреном текст этого отчета либо роман Лема в целом» (Hayles N. K. Chaos jako dialektyka. Stanisław Lem i przestrzeń pisania. — «Lem w rękach lemologów», s. 23).

¹⁵ Лем С. Маска. Читателям «Химии и жизни». — «Химия и жизнь», 1976, № 7, стр. 59 — 60.

рактера не случайны, они сознательно нацелены на то, чтобы сделать казнь Арродеса как можно более мучительной. Сначала героиня на придворном балу встречается со своей будущей жертвой в облике светской львицы, наделенной остроумием, которое просто не могло не пленить опального отшельника. Причем героиня с самого начала понимает свою несвободу, догадывается о собственном роковом предназначении: «И я, прелестная, нежная, неискушенная, все же яснее, чем он, понимала, что я его судьба в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова».

Программа, управляющая автоматом-палачом, создана таким образом, что его действия не поддаются однозначному истолкованию. То ли героиня с самого начала пытается преодолеть путы подневольности, бросить вызов своим создателям, спасти Арродеса, то ли сам ее бунт изначально запрограммирован, чтобы сделать казнь еще более ужасной. Героиня хочет предупредить возлюбленного об опасности, ограничить свидания с ним — и только еще больше разжигает в нем страсть. Пытается в отчаянии уйти из жизни, вонзив в себя ланцет, — но вместо этого совершает над собою ужасную хирургическую операцию: из бутафорского чрева прекрасной женщины выползает чудовищный серебряный скорпион. Все это происходит на глазах случайно (?) вошедшего в покои героини Арродеса, и его ужасу, разумеется, нет предела.

Во время долгой погони за беглецом описанная двойственность нарастает. То ли промедление героини вызвано ее колебаниями, поисками в собственном сознании сектора свободной воли, то ли все это устроено намеренно, чтобы вселить в Арродеса иллюзорную надежду на спасение и затем казнить еще более жестоко и неотвратимо. Рефлексия героини достигает все новых высот: она учится предугадывать каждый шаг своих таинственных и враждебных создателей. Прямолинейный бунт бесплоден, поскольку героиня приходит к вполне безотрадному умозаключению: «Итак, хитроумие сотворивших меня простиралось за последние пределы механического могущества, ибо они, несомненно, учли в своих расчетах вариант... когда я устремлялась на помощь любимому». Но означает ли это, что героиня тотально несвободна, что в ее сознании нет того самого участка свободы, который она столь настойчиво пытается нащупать?

Коль скоро бунт невозможен, героиня выбирает отказ от каких бы то ни было действий. И тут происходит неожиданное: Арродес смертельно ранен одним из похитителей, которые вмешиваются в ход событий с неясными целями. Хотят ли они вопреки приговору короля помочь Арродесу либо всего лишь желают использовать его обширные познания в своих интересах? Возможно также, что выход на сцену новых действующих лиц тоже предусмотрен всемогущей программой, и тогда их задача состояла бы в том, чтобы усугубить муки приговоренного к смерти, внушить ему надежду на спасение от ужасной возлюбленной-убийцы, а затем казнить. Варианты истолкования финала можно множить и далее. До последнего вздоха Арродеса героиня не решается к нему приблизиться, наблюдает за агонией, не будучи уверенной в своих возможных поступках, не зная, что будет делать: добивать жертву либо спасти возлюбленного.

Так что же: программа все-таки вышла из строя, победа осталась за героиней — либо ее поведение до самого конца несвободно, предугадано заранее? Как видим, граница между кибернетической однозначностью и жизненной естественностью оказывается предельно размытой, а героиня на наших глазах обретает некое подобие самостоятельной («НЕ-человеческой») индивидуальности, даже не достигнув победы над программой. Начавшая свое самопознание с вопросов вполне гносеологического свойства, героиня под конец поднимается до выводов этических. Она чувствует себя абсолютно свободной, ибо на любой «ход» программы способна ответить осмысленным противодействием. С другой стороны, героиня страдает от абсолютной несвободы, поскольку противодействие может оказаться заранее предугаданным. Итак, достигнуто полное тождество «эмоций» машины и самоощущения человека «железного века», вынужденного непрерывно выбирать между бунтом и покорностью, причем покорность грозит обернуться гордым несми-

рением, а бунт то и дело оказывается бесплодным и обреченным на неудачу¹⁶. Кибернетическая программа, описанная как самонастраивающаяся система с непредсказуемой прагматикой, уподобляется, таким образом, некой абсолютной ипостаси зла, а живущая под властью программы машина чувствует себя как человек в присутствии борющихся за его душу высших сил.

Метафизика, теология вырастает у Лема из естественнонаучных размышлений, писатель выводит Абсолют не из несомненного факта веры, но из суммы фактов, весьма далеких от религии, более того — из эмпирического опыта, напроочь отрицающего присутствие в мире благого Творца: «Я не верю ни в Провидение, ни в предопределение. Мой жизненный опыт таков, что я могу представить себе — вместо предустановленной гармонии — разве что предустановленную дисгармонию, за которой следуют хаос и безумие». В «Маске» хаос и безумие доведены, кажется, до предела, за которым, однако, возникает луч света и надежды, быть может, вопреки осознанному намерению автора. Не случайно же первая и последняя фразы повести столь многозначительно смыкаются друг с другом: «Вначале была тьма» и «А на третий день взошло солнце».

Лем наделяет здесь личной судьбой не человека, но работа-убийцу. В своем самопознании героиня попросту переходит от ложной автобиографии к истинной. В экспозиции героине удается припомнить несколько параллельных вариантов своего «прошлого». Ее сознание и внешний облик сотканы из судеб нескольких разных женщин, которые в сумме должны были, по замыслу королевских оружейников, составить нечто идеально привлекательное для Арродеса (интеллект знатной дамы плюс красота простой деревенской девушки и т. д.). Потому-то в начале повести героиня одновременно воображает себя «графиней Тленикс, дуэньей Зореннэй и юной сиротой Виргинией». По ходу действия эти внешне достоверные, но ложные по сути вариации прошлого уступают место истинной биографии непрожитого. Описать ее в человеческих категориях невозможно, однако именно в рамках этой биографии осуществима самоидентификация героини.

Чем более отвлеченные концепции использует Лем в своей прозе, чем в более невероятных условиях его герои пытаются реконструировать собственное Я, тем — таков парадокс! — ближе оказывается художественная структура произведения к традиционным литературным образцам. «Маска» в этом смысле особенно показательна. Приведем одну из многих параллелей.

Начало 60-х годов прошлого века, как известно, ознаменовалось в России выходом на арену «новых людей» — позитивистов-теоретиков, старавшихся непосредственно воплотить в повседневную жизнь собственные умозрительные концепции. Речь идет не только о героях романа Чернышевского «Что де-

¹⁶ Отметим удивительное сходство рассуждений героини «Маски» с мировидением лирического героя Евгения Баратынского:

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти, Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветер не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мечты мятежные смирим иль позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

Как видно из последних строк стихотворения, перед лицом абсолютной предопределенности невозможными оказываются не только покорность, смирение, но и неповиновение, бунт — ведь и «страсти» в конечном счете оказываются дарованными «вышней волей»!

лать?», но и, например, о Подпольном человеке. Герой повести Достоевского абсолютно лишен какого бы то ни было внешнего, «социального» облика: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым». Однако перед нами вовсе не «человек без свойств», наоборот, он переполнен прот и в о р е ч а щ и м и друг другу замыслами и ощущениями, которые никак не складываются в некоторое осмысленное единство: «...они так и кишат во мне, эти противоположные элементы» (ср. в «Маске»: «И моя любовь к нему, и яд во мне — из одного источника»).

Безымянный герой Достоевского, собственно, — не живой человек, но некая абстракция, искусственно «изготовленная» вариация существа с безграничным самосознанием. Эту собственную ущербность, ненатуральность парадоксальным образом понимает и сам Подпольный человек, он квалифицирует себя как «антитеза нормального человека», то есть как «человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (! — Д. Б.)». Эксперимент Достоевского воспроизведен в повести Лема с использованием новейшего научного антуража, однако его художественный смысл во многом остался прежним: уязвленное рефлексией сознание способно излиться тяжким грехом, но может стать и началом высоких прозрений.

* * *

Я правда разочаровавшийся, но все же не отчаявшийся окончательно усовершенствователь мира. Ибо я не оцениваю человечество как «совершенно безнадежный и неизлечимый случай».

С. Лем, «Моя жизнь».

О Леме трудно говорить и судить нейтрально, не впадая в мемуарный тон и стиль. Ибо биографизм не только и не просто основной для польского писателя способ отношения к действительности. Все его творчество в целом неизбежно воспринимается ныне в неразрывной связи с бурными событиями 40 — 80-х годов нашего столетия. Книги Лема — живая биография послевоенного времени. По словам самого писателя, «та эпоха сокрушила и взорвала все прежние условности и приемы литературного повествования. Непостижимая ничтожность человеческой жизни перед лицом массового истребления не может быть передана средствами литературы». По всей вероятности, именно тогда появилось и окрепло у молодого литератора убеждение в исчерпанности традиционных литературных приемов. А новые взгляды и теории уже стояли на пороге. С одной стороны, неслыханный резонанс экзистенциализма, с другой — кибернетический бум, надежды на исчерпывающее описание мира средствами точных наук.

Непокорное уединенное сознание и рассчитанный до последних пределов «искусственный интеллект» — вот две константы, обозначившие исходные позиции литератора Станислава Лема. В различные периоды его творчества то одно, то другое начало выходило на первый план; иногда Лем предпринимал грандиозные игровые состязания с самим собою, стремясь к иллюстрации тезисов Норберта Винера, иногда невольно рисовал героев, словно бы сошедших со страниц Альбера Камю. Но все это будет происходить позже, а в начале 50-х годов Лем, не будучи в прямом смысле слова практикующим ученым, оказался на переднем крае целого ряда исследовательских дисциплин. Его специальностью стало продуцирование гипотез.

По замечанию Е. Яжембского, Лем создал «десятки гипотетических моделей, объясняющих те или иные явления с точки зрения теории эволюции, космологии, социологии, художественного творчества, истории науки и т. д. ... эмпирическая верификация теорий его не касается»¹⁷.


Позднее пришли если не сомнения во всемогущести позитивного знания, то, во всяком случае, подведомственная ему сфера жизни была существенно ограничена. Атмосфера 60-х, знакомая нам по спорам «физиков» и «лириков», не

¹⁷ Jarzebski J. Intertekstualnosc a poznanie u Lema. — «Lem w rekach lemologow», s. 64.

оставила равнодушным и Лема. Даже в фантастическом романе «Глас Господа» (1968) находим мы отголоски тогдашних баталий: «Трения между гуманитариями и естественниками были в Проекте делом обычным. Первых у нас называли „гумами“, а вторых „физами“». На пороге 70-х образ Лема в сознании нашего читателя еще раз изменился. Недавно Алексей Зверев, говоря о судьбе М. Хласко, несколькими штрихами обрисовал картину весьма примечательную: «Звезда... Марека Хласко разгорелась... благодаря повальной моде на все польское: от всемирно знаменитых фильмов до поддельных джинсов... Составляя историю поколения, которое именуют шестидесятниками, конечно, вспомнят и о тогдашней полономании... Начинаясь отход от окаменелых норм, полз вверх «железный занавес», и в монолите появлялись первые трещины. Вот этому-то и помогали московская премьера фильма Вайды «Пепел и алмаз», или книжка стихов Ружеви́ча, или новая притча Лема»¹⁸.

Но важнейшая для Лема эпоха — 80-е годы. Всемирное признание, годы, проведенные вдали от родины. Сравнительно невысокая творческая активность, преобладание эссеистики и публицистики. Зато содержательные раздумья о судьбе точного знания в нашем столетии, о функциях литературы. Сейчас нелегко предугадать, скоро ли пророчества Лема перестанут восприниматься всерьез учеными, скоро ли его книги окончательно станут фактами литературного ряда, как это произошло с сочинениями Жюль Верна или Уэллса. Ясно одно: биография культуры рубежа столетий и поныне во многом создается усилиями мудреца из Кракова. Да иначе и быть не может — ведь на дворе по-прежнему эпоха Лема, непотерянное время жестоких чудес.

¹⁸ «Литературная газета», 1996, № 18-19, стр. 7.



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



«КТО ТАМ ШАГАЕТ ПРАВОЙ?..»

Отшумели национально-освободительные движения на окраинах бывшей империи (исключая разве что Белоруссию, где все еще впереди); отгуляла разрушающе-созидательная стихия и в нашем Отечестве. Новые государства спешат оплести бюрократической паутиной пространство отвоеванной свободы. И чем дальше мы от эпицентра великих событий конца 80-х — начала 90-х, тем очевиднее, какую роль сыграли в них широкие писательские массы.

Едва ли не первую трещину Советский Союз дал в Эстонии; но внутри самой Эстонии, задолго до народных фронтов, все началось со Съезда писателей, восставшего против цензуры. В Молдавии — с конфликта вокруг местной «Литературки» («Литература ши артэ»). На Украине — с шумных заседаний тогдашнего Руха, чуть не наполовину состоявшего из сочинителей. Звиад Гамсахурдиа был отчасти писателем, Владислав Ардзинба — ученым-гуманитарием. Левон Тер-Петросян, прежде чем возглавить свою многострадальную республику, возглавлял Матенадаран, главное хранилище древнеармянских рукописей. Сделав смысловую паузу, завершу почти комическим примером: очередной президент республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев в былые годы не только руководил грозненским полиграфкомбинатом, но и старательно рифмовал стихи — они изданы под трогательным названием «Сажайте, люди, деревца». Как не вспомнить Вознесенского:

И Вы, член Президиума Верховного Совета,
товарищ Гамзатов,
встаньте!

Тут можно было бы пуститься в поиски параллелей, исторических и современных — от Вука Караджича до Радована Караджича (как-никак, он не только профессионал войны, но и недавний лауреат поэтической премии Союза писателей России). Еще интереснее было бы обсудить, почему плохие стихотворцы так легко становятся хорошими террористами, а посредственные мыслители (вроде Алии Изетбеговича) — замечательными кровопийцами; отчего, наоборот, из очень известных, но не блестящих драматургов нередко вырастают великие творцы общественного блага — как Вацлав Гавел или Папа Иоанн Павел II...

И все-таки задумаемся о другом.

И в России, и в сопредельных странах на рубеже 90-х годов общество «поручило» литераторам важную, но временную работу: расчистить территорию, сформировать новую государственную мифологию, заместить собою медленно формирующуюся политическую элиту, чтобы в конце концов уступить ей место под государственным солнцем. Все эти задачи, худо ли, бедно ли, повсюду решены. Литераторы обречены вернуться на покинутые ими «зимние квартиры», а желающие остаться в политике должны забыть о своем благородном происхождении и, так сказать, перейти на другую работу.

И вот тут-то начинается самое интересное. И не самое приятное для нашего национального самолюбия.

Есть страны, где сочинители могут с чистой совестью засесть за мемуары, ибо все (почти все) получилось так, как они хотели. В Литве, например.

Есть государства, где литераторы довольны лишь отчасти, поскольку независимость обретена, но совсем не такая, о которой мечталось долгими застойными вечерами. Возьмите Латвию — вряд ли у В. Дозорцева (помните его журнал «Дауга-

ва» времен перестройки?) есть основания для торжества. Он-то, подобно многим, надеялся, что местный национализм — всего лишь болезненный признак роста, что, как только учредится национально-буржуазная республика, латвийские народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Увы. Или — прямо противоположный случай. Не думаю, что молдавской поэтессе Леониде Лари, так пламенно воспевавшей Великую Румынию от Черного моря до Приднестровья, теперь приятно сознавать, что национал-романтизм (румынтизм!) потерпел сокрушительное поражение в политике и вынужден вернуться в «свободную стихию стиха».

Есть, наконец, державы, где все обернулось совсем нехорошо. Предполагал ли сценарист Довлат Худаназоров, затеявая мирную исламско-демократическую революцию, что вслед за гражданской войной, за цепью внутридворцовых переворотов в погубленном Таджикистане воцарится безлично-серый, коммунальный, управдомовский режим? Догадывался ли тонкий лирик Мохаммад Солих, что ему придется «делать ноги» — спасаться бегством из солнечного Узбекистана, подернутого коммунистической ряской?..

И все-таки — сквозь множественность вариантов, сквозь роковой узор трагедий, сквозь маленькие радости провинциальной политики — проступает нечто общее, нечто закономерное. Везде — и там, где «писательские революции» увенчались успехом, и там, где успех был относительным, и даже там, где все кончилось крахом, — национальная интеллигенция выводила (или хотя бы пыталась вывести) на историческую арену политиков, идеологически «соприродных» ей. Умеренных или не очень, болезненно-националистических или здраво-национальных, глупых или умных, подлых или сравнительно честных, удачливых или не слишком. Главное, что в принципе совпадающих по «установкам» с идеологией литературной среды, их породившей. Во всяком случае — упредившей. Повторяю: где-то все это обернулось благом, где-то — ужасом; не в том сейчас дело. А в том, что в России, кажется, все вышло прямо противоположным образом.

Возьмем для начала тех, кого по европейской классификации принято называть «правыми» и кого во время перестройки именовали «левыми». То есть антикоммунистов, антифашистов, рыночников, демократов.

Если оставить в стороне такие фигуры «политиков от литературы», как публицист А. Нуйкин, и обратиться к людям основательным, кто из политически ангажированных литераторов, из группы поддержки раннего Ельцина, может с чистой совестью сказать: «Да, он совершил множество ошибок; да, он лично разочаровал меня; но тот национально-буржуазный путь развития русской государственности, по которому он ведет страну, вполне меня устраивает; этого-то я и хотел»? Очень, очень немногие — Юрий Черниченко, Мариэтта Чудакова, еще два-три человека. А большинство, вроде писательской группы «Апрель» (свежо предание, да верится с трудом!), вдруг обнаружило, что реальная демократия — это совсем не то, что они имели в виду. Что она уравнивает всех со всеми — и «почетное звание» Писателя раз навсегда упраздняется; остается свободная профессия свободных людей. Что рынок открыт для всех — и ни для кого не может быть отдельного входа. Что Государство, перестав вмешиваться в Творчество, одновременно перестает и обеспечивать тепличные условия для «творцов».

Но экономический либерализм сам по себе был все-таки не так страшен, как то, что последовало за ним. А последовало — с необходимостью — новое государственностроительство. Ибо после развала Союза Россия стала самостоятельным государственным телом, нуждающимся в национальных одеждах. Она должна, о б я з а - н а была найти свое новое державное лицо; русификация внутренней политики стала такой же неизбежностью, как молдавизация — молдавской, украинизация — украинской и так далее. Другой вопрос, как «русифицировалась» новая власть; насколько комична была она в своих попытках примерить на Президента царскую порфиру и Мономахову шапку; насколько глупыми и опасными оказались правительственные игры в «державность»; насколько неуместными выглядели попытки «политического воцерковления» вчерашних безбожников и гонителей церкви. Но это, повторяю, другой вопрос. Потому что, если бы власть делала то же самое, но с умом, со вкусом, с тактом и в меру, все равно бóльшая часть ее вчерашних литературных союзников почувствовала бы себя до глубины души оскорбленной. Ибо в глубине души они оставались «пламенными революционерами», врагами всяческой упорядоченности, формализации, идеологической определенности. То

есть — левыми по определению, при всей своей антипатии к коммунизму и даже к «социализму с человеческим лицом».

И потому они так и не поняли — да и не могли понять! — что отныне долг национально-демократической интеллигенции состоит не в отрицании русского начала общей жизни, не в самоуничижении паче гордыни, не в борьбе с «поповством», а в постоянном поиске общественного противоядия от шовинизма, в проповеди любви к своему и отповеди по адресу ненависти к чужому. Нет, это было уже слишком; я своими ушами слышал, как один из бывших «прорабов перестройки», известный историк, некогда призывавший закрыть «белые пятна», «восстановить историческую память», кричал, что правительство сошло с ума, отдавая храмы Церкви и напоминая о былом величии России; что в нашем прошлом нет ни одного светлого пятна, что русские — хуже монголов, что Православие надо если и не запретить, то поприжать, — и проч., и проч.

И вот с конца 1992 года (задолго, долго до Чечни!) литературные демократы начинают искать выход из создавшегося положения. Наиболее прямые и честные (прежде всего писатели старшего поколения) открыто переходят в оппозицию нынешнему российскому мироустройству. Подчеркиваю — не Ельцину лично, даже не власти в целом, а мироустройству как таковому, со всей его неограниченной «буржуазной» свободой, со всеми его постепенно формирующимися национально-государственными чертами... Так поступил «главный» перестроечный романист Анатолий Рыбаков; так поступил тонкий драматург Виктор Розов (чья социал-демократическая фамилия все чаще мелькает в леворадикальных изданиях); так поступил и покойный Владимир Максимов, последние годы своей яркой жизни проведший на полосах газет «Завтра» и «Правда»...

Другие (чуть помоложе; сверстники Максимова) просто умывают руки и шлют проклятия «на оба ваших дома» — как, например, критик Юрий Буртин.

Кто-то, как сделавшийся публицистом Леонид Баткин, устав руководить шахтерским движением, занялся конструированием некой «третьей силы», при том что в нынешней реальной России поиски третьей силы способны завести общество в «пятый угол».

Но куда трагичнее (и комичнее в то же время) положение тех русских писателей, соприкоснувшихся с политикой, кого «правыми» называли в 70-е годы, а сейчас именуют «национал-патриотами». Они — при всей разнице потенциалов, при всей несовместимости позиций, при всей внешней противоположности устремления — должны бы играть в современной России ту же типологическую роль, какую в современной Украине играют литературные украинофилы, а в Грузии — писатели, ощущающие себя прямыми наследниками Ильи Чавчавадзе... То есть роль идеологов и проводников специфически национальной буржуазной демократии. Уж им-то, кажется, чего страшиться отчетливой русификации политики; им-то отчего не заняться поисками формулы русской демократии, русской свободы? Ничего подобного. Ни-че-го. Ибо именно те, кто с такой болью, с такой глубиной и силой создавали образ истерзанной коммунистами русской деревни, — именно они в конце 80-х добровольно перешли на сторону поверженных коммунистов, прикрыли их собою, своим авторитетом, дали возможность отлежаться, отдышаться, набраться сил для нового рывка. И когда — казалось бы, беспримесно «свой»! — Виктор Астафьев в 1991 году с солдатской прямоотой сказал все, что думает о «красных», его немедленно извергли из списка «чистых» и подвергли публичному поруганию.

Как могло такое случиться? Каким образом носители «правых» взглядов (как Валентин Распутин или Василий Белов) очутились в стане «левых»? Неужто подействовала словесная мишура, политическая риторика нынешних большевиков, вовремя понявших, сколь выгодно прикрывать цареградским щитом свой заведомо безнациональный, заведомо безродный, заведомо безбожный цинизм? И это, конечно, тоже; но не только, не только. Есть, я думаю, слой гораздо более глубоких — и по-своему гораздо более важных — причин. Хотя и не столь очевидных, не столь непосредственных. Причин смысловых, общекультурных, относящихся не к области современной политической жизни, а к области национальной традиции.

Если оглянуться назад, припомнить основные вехи развития русской «охранительной» мысли, то в глаза неизбежно бросится разительное противоречие между формой, в какую она облекалась, и ее действительным содержанием.

С одной стороны, несть числа «правым» политическим трактатам, запискам, рассуждениям и памфлетам, какие оставлены в наследство современной эпохе классическим периодом русской культуры. «Записка о древней и новой России в ее политических и гражданских отношениях», «Мнение русского гражданина» Карамзина; черновик пушкинского письма Чаадаеву 1836 года; публицистика позднего Гоголя; Хомяков с Иваном Киреевским; сочинения «практических» славянофилов второго призыва — Юрия Самарина, братьев Аксаковых; статьи Аполлона Григорьева; Достоевского; позднего Вяземского и раннего Вл. Соловьева; политическая лирика Тютчева и статьи Фета; холодный блеск страшноватых конструкций Конст. Леонтьева и Конст. Победоносцева... И это — лишь самый верхний слой!

С другой стороны, вдумываясь в логику саморазвития русской политической мысли, неотделимой от истории русской литературы, вслушиваясь в возбужденные голоса отечественных консерваторов, вдруг останавливаешься в недоумении. Помилуйте, но разве тотальное отрицание (а не просто жесткая критика) буржуазности у славянофилов — не признак их внутренней, сокровенной левизны? разве тот же Юрий Самарин — не только публицист, но и практик! — прочитав знаменитую книгу Лоренца Штейна «Социализм и коммунизм современной Франции», останавливается на порицании европейского коммунизма и не пытается переосновать его на русской почве, найти ему благой отечественный аналог — «ассоциацию»? Разве Карамзин отстаивает незыблемость русской монархии в ее имперском варианте потому, что любит традиционную государственность? Или все-таки потому, что не верит в возможность «европеизации» России? Равно как Леонтьев не оттого ли настаивает на тотальном охранении, что внутренне уже приговорил Россию к смерти и жаждет оттянуть ее неизбежную кончину? Едва ли не один Пушкин вкупе с Достоевским (как ни относись к их конкретным политическим суждениям и проектам) могут быть сочтены классическими русскими либеральными консерваторами. То есть людьми, стоящими на сугубо национальной государственно-исторической почве, любящими ее, трезво оценивающими ее нынешнее состояние, но верящими в ее внутренний потенциал. (Хотя и тут — как забыть о пушкинской аристократической утопии, об их совместной с Достоевским антибуржуазности...)

Что же до общего фона... здесь, почти повсеместно, мы обнаруживаем тщательно скрываемый логический порок. Сквозь гул охранительных формул явственно слышна щемящая мелодия тоски по иному общественному идеалу. Идеалу, в котором консервативную форму (народная монархия, община, мирь, теократия) принимает вполне социалистическое содержание. Хотя бы и национально окрашенное.

Естественно, приступив к каждому из поименованных (и не упомянутых) примеров с историко-литературным мерилем, мы обнаружим их существенную разность, зависимость от реального контекста. И все-таки поверх действительного разнообразия причин существует единообразие следствий. И оно, помимо нашей воли, смыкается в некий смысловой алгоритм. Пойдешь направо — придешь налево; пойдешь налево — придешь направо. Он-то и сказывается на всей последующей траектории полета русской политической мысли. А стало быть, учитывая, какой властью обладает Слово в России, — и на всем ходе нашей жизни.

Что же делать? — спросим вослед одному из самых «левых» российских писателей. Ничего — ответим вопреки ему. Делать будут другие. Пока, во всяком случае. Я же предлагаю — думать.

О том, как вписать себя (и страну!) в «правый поворот».

О том, как примирить всемирное равенство демократии — и свою культурную самобытность.

О том, как прорваться по ту сторону правого и левого, оставшись все-таки по эту сторону добра и зла.



...И К НЕЙ БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ...

Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. — «Знамя», 1996, № 4 — 5.

Стоило мне приступить к новому роману Виктора Пелевина (жанр не обозначен, но, по-моему, это интригующее чтение вправе так зваться), как любая открытая по другому поводу книга стала вставлять свои реплики в пелевинский текст. Вот ищу я в «Мыслях» Блеза Паскаля смелое (его ли?) изречение: «Бог помешан на человеке», — и, не находя, вместо этого читаю словно ответ автору «...и Пустоты» из уст третируемого им христианства: «О чем же кричат нам эта жажда и это бессилие, как не о том, что было у человека некогда истинное счастье, от которого ныне ему остался лишь знак и призрачный след, и он тщетно пытается наполнить эту пустоту всем, что его окружает, и не найдя опоры в том, что имеет, ищет ее в том, чего у него нет; но ничто не может ее дать, ибо эту бездонную пропасть способен заполнить лишь предмет бесконечный и неизменный, то есть сам Бог... И странная вещь — с тех пор как человек... потерял истинное благо, все может казаться ему таковым, даже собственная гибель...»

Или еще: начав листать том любимого мною Станислава Лема, тут же обнаруживаю у этого остроумнейшего позитивиста прямо-таки идеальную пародию на апофегмы «Чапаева и Пустоты»: согласно некоему прославленному «создателю онтологии небытия, или небытологии» (он же — спятивший робот), «нет вообще ничего, и его самого — тоже. Небытие бытия самодостаточно. Факты кажущегося существования того и сего ни малейшего значения не имеют, ибо ход рассуждений, если пользоваться «бритвой Оккама», выглядит так: по видимости, существует явь (то есть реальность) и сон. Но гипотеза яви не обязательна... ведь порою во сне снится другой сон. Так вот: все на свете есть сон, который снится следующему сну, и так до бесконечности. Поскольку же — и это центральное звено рассуждений — каждый сон менее реален, чем предшествующий... — эта последовательность стремится к нулю. Ergo... существует только ничто, то есть: нет ничего». Тут же собеседник профессора небытологии звездопроходец Ийон Тихий (свифтовская фигура у Лема) замечает: «Безупречная точность доказательства восхитила меня».

Подумав о таких совпадениях словами пелевинского героя: «обыкновенный мистический вызов», — я решила его принять и больше уже не отрывалась от чтения. Благо Пелевин в своей фантазии соединил пропаганду буддизма в тибетской аранжировке с триллером и love story, так что читается захлеб.

Впрочем, если бы романная сторона философской эскапады Пелевина была всего лишь приманкой, я могла бы исчерпать свое отношение к тексту этими двумя подвернувшимися цитатами (Андрей Немзер в отзыве типа «опять этот гаер морочит порядочных людей» поставил точку еще раньше). Все религиозные и философские идеи человечества — наперечет и взаимонеопровергаемы. В границах рациональных доводов буддист не переубедит христианина, христианин — буддиста, агностик же — ни того, ни другого, равно как и они его. Травестийная передача христианских представлений о загробной жизни («Главный кайф у них, как я понял, на кума все время смотреть» и т. п.), вычитанных из нынешних репринтных брошюр с домодельными текстами, не отменит опыт тайнозрителей Фаворского света. Точно так же, скажи Пелевину, что чаемая им нирвана (в романе изобретательно поименованная «Вечным Невозвращением») есть именно парадоксальная попытка заполнить ту «бездонную пропасть», о которой писал Паскаль, актом самоуничтожения, — он ни в какую не согласится. И тут можно было бы больше не вникать в логику прихотливого сюжета, игнорируя как незначущую условность «образы» действующих лиц и не раздражая автора бесполезными препирательствами.

Загвоздка, однако, в том, что Пелевин — превосходный писатель. Не просто ловкий рассказчик, умеющий подсластить безвкусную (для меня) пилюлю буддийской премудрости, а — художник. Обладатель дара творческого воображения, в ко-

тором я не разучилась видеть чудо из чудес, — и лишь во вторую очередь философствующий посланец «Внутренней Монголии», пресловутой Шамбалы, каковым он себя мнит. А в качестве художника, «незаинтересованного созерцателя» он, конечно, еще и ироник (коли хотите, зовите это постмодернизмом, но я-то помню, что романтическая ирония стара, как весь наш новоевропейский мир), так что, в иронической подсветке, его проповедь теряет прямолинейность и мерцает неожиданными бликами. Главное же, шел он в комнату, попал в другую: сочинял притчу о том, как выскользнуть из круговорота неистинного бытия, но, когда стал облекать ее в плоть, вышло, что написал роман о России. О той, которую уже потеряли и которую теряем опять.

Есть тут еще один нюанс, одна различительная черта. По пересеченной местности российской истории текущая проза «резвоскачет» как вздумается, соревнуясь в непредсказуемости нашего прошлого. Сначала это меня коробило (см. мою статью «Гипсовый ветер» — «Новый мир», 1993, № 12), я видела в этом — от чего, впрочем, до сих пор не отрекаюсь — некий симптом: общественность в лице писателей новой волны отказывается помнить о своем прошлом что-либо достоверное, с тем чтобы развязать себе руки для социальных авантюр. Однако когда эти перелицовки стали литературной повседневностью, модой, донашиваемой кем попало, а подчас изящной игрой, не претендующей на особое глубокомыслие («Великий поход за освобождение Индии» Валерия Залотухи), ощущение агрессивности такого рода прозы у меня притупилось. И, перелистывая новейший, как всегда вязкий и сплошь «излагательный», текст В. Шарова («Мне ли не пожалеть...» — «Знамя», 1995, № 12), я уже не искала особой симптоматики ни в том, что власть после 1917 года захватили эсеры и скопцы, ни в том, что в 30-х годах партия провела кампанию покаяния перед народом и, соответственно, деколлективизацию, ни в том, что эсеровская марионетка Сталин умер в 1939 году, ни в чем бы то ни было другом. В. Шаров, по своему обыкновению, вооружается общеизвестными эмблемами и клише: участие в революционном движении сектантов и их мобилизация профессиональными подпольщиками; «хор» в качестве символа «соборности», собирательного лица народа; страдания животных как в чистом виде «вздых угнетенной твари» и т. д. — и накручивает на них длиннейшие отчеты о предельно (в этом весь смак!) невероятных событиях. Если следующее сочинение будет о Ленине/Сталине — папуасском воспитаннике Миклухо-Маклая, реализующем к восторгу на все готовой русской души первобытные полинезийские идеалы, я нисколько не удивлюсь. Чем не сюжет. «Все должно творить в этой России», как говорил Пушкин, хотя и совсем в другом смысле.

Роман Пелевина, где «исправлена» привычная киношная мифология братьев Васильевых и где, вроде бы точно по шаровскому рецепту, Чапаев оборачивается дальневосточным мистиком, «пробужденным» и посвященным, пулеметчица Анка — вечно-женственной и прекрасной Анной, недостижимой для вожделения, а чапаевский ординарец Петька — петербургским поэтом и денди Петром Пустотой (фамилия, что и говорить, «значащая»)¹, — роман этот, на самом деле, создан совсем другим, нежели у Шарова, способом: не заранее заготовленный остов, который торчит, хоть обертывай его в сто одежек, а саморазрастающийся кристалл художественного эксперимента, когда задействованные силы уже не слишком зависят от начальной логики автора и внушают больше того, что он собирался сказать.

Действие этого сочинения, по мысли автора, происходит нигде (никогда). Ведь так называемая действительность — не более чем «коллективная визуализация», самовнушение человеческой массы под воздействием какого-то одного индуктора (лица, как увидим, не обязательно самого мудрого, доброго или сильного). И если Петру кажется, что он живет и действует в 1918 — 1919 годах, то перед

¹ Кстати, Петр Пустота и стилем личности, и двойственным поведением своим (монархист на службе у красных) напоминает героя очерка Александра Блока «Русские дэнди» — как известно, В. Стенича, который разыгрывал Блока рассказами о мнимом совращении молодых рабочих и крестьян разочарованной итelligentной молодежью, такую, как он, сам же прекрасно ладил с новой властью. «Ведь мы пустые, совершенно пустые» — вот еще одна книжная страница, негаданно раскрывшаяся в нужном месте. Мне даже показалось, что в главах, где рассказ ведется от лица Петра, Пелевин старается подражать слогу и колориту этого блоковского эссе. И небезуспешно — хоть слов «эйфория», «самоидентификация» и «практически» следовало бы избегать.

этой версией не имеет ни малейшего преимущества здравомысленно-плоская уверенность психиатра Тимура Тимуровича Канашникова (сходство с известным деятелем придает ему не только отчество, но и обращение к шоковой терапии), полагающего, что его пациент наравне с остальными проживает в году 1996-м. Более того, за раннюю датировку повествования Петра ручается некий тибетский гуру, так что снящийся Петру «сон» из времен Гражданской войны имеет словно бы некоторое бытийное преимущество перед «сном», снявшимся ему в палате постперестроечного дурдома. Вскоре обнаружим, что преимущество это — не в степени реальности (понятие, исключенное философией автора), а в степени эстетической приемлемости.

Но у зримого воплощения авторских идей, у «картинки», есть своя, внефилософская, логика, и тут не ошибемся, сказав, что действие романа совершается-таки в эпоху Гражданской войны и в наши дни и эти две эпохи «рифмуются», сопологаются и отражаются одна в другой. А четыре пациента психушки, каждому из которых дано стать возбудителем коллективного «сна», то есть творцом собственного мира, являют собой четыре социальных модуса «русской души»: человек массы, мечтательный босяк, «новый русский» и, конечно же, российский интеллигент с его «раздвоением ложной личности» и позывом освободиться от «так называемой внутренней жизни».

Не надо думать, что интеллигент (Петр Пустота) здесь недужнее других. Всяк покалечен по-своему, вернее, по-своему пуст, в том числе и «новый русский», «прущийся» с помощью шаманских грибов. Пустота на уровне авторской проповеди отождествляется с сияющей нирваной, но на уровне художественных сцеплений — с растерявшейся, потерявшей себя Россией, которая грезит «алхимическим браком» с Гостем и Женихом (по ветхой блоковской терминологии). С тем, кто способен заполнить ее собой и излечить от исторических травм.

И тут вполне выясняются спонтанные предпочтения автора, образующие подпочву его затейливой, если воспользоваться словом Лема, «небытологии».

Самый отталкивающий, самый уродливый вариант — «брак» с американизированным Западом, Россия в объятиях масскульта, опоенная коктейлем из мексиканского мыла и шварценеггерского суперменства. «Человек массы», предвозвещенный для Европы Ортегой, оформился в России в куда более невыгодных, чем европейские, условиях, под пальбу орудий по «Белому дому», в дыму пожара, превратившегося стараниями Си-эн-эн в TV-шоу. (Эта травма для Пелевина намного значимей чисто номинальной у него войны красных и белых — типичный перекосяк нынешнего гуманитарного сознания.) Наш «человек массы» потерял всякое представление о собственном месте в жизни и даже свою «сексуальную ориентацию» (воображает себя «просто Марией» и жаждет мужских объятий американской суперзвезды). Соответствующая глава написана с какой-то ядовитой, но вместе с тем жалостливой брезгливостью и венчается крахом.

Другое дело — «алхимический брак» с Японией, который переживает томлящаяся душа маргинала, наделенного внешностью «древнеславянского витязя». И хотя соприкоснувшаяся с ним частица Японии — сонный мираж, хотя и в самом мираже все подставное и поддельное: и самурай — «кавказской национальности», и гейши — русские девахи-матерщинницы, обернутые в лжекимоно из полотенец, и сакэ продается в ночном киоске, — тем не менее тоска по ритуалу, изяществу и чести создает некую поэтическую ауру, которую не в силах рассеять ни грубость обмана, ни факт (мнимого?) пробуждения. Несуществующие кони, привязанные за несуществующую узду и щиплющие траву в несуществующей весенней долине под чтение несочиненных танка, являют такой заманчивый образец прекрасного, ради которого и жизни не жаль. Нигде в романе талант Пелевина не проявился так артистически, как на этих страницах с их необидной иронией и тайным вздохом по вымечтанной красоте чужого мира. Пусть даже сей «алхимический брак» не состоялся и вообще несостоятелен.

Красота — тема, вокруг которой как замороженный кружит Пелевин, сколько ни пытается поставить в центр всего ее фактическую противоположность — Пустоту. Что его проповедь «вечного невозвращения» — в первую голову вопль сознания, оскорбленного окружающим неблагообразием, становится понятно с первых же эпизодов. Разорение «старого мира» деклассированной матросней и чекистской сволочью представлено как гибель уклада, имевшего по крайней мере эстетическое оправдание, какого на десятилетия вперед лишился быт, пришедший на смену. То

и дело взор рассказчика натывается на «следы прежней, озаренной довоенным светом жизни», и они — «прелестны», будь то в разворошенной старомосковской квартире или в усадьбе, занятой красной конницей («что-то невыносимо ностальгическое было в этой роскошной вещи» — при взгляде на модный экипаж, превращенный в тачанку).

«Все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне», — вот вам социальная проекция и одновременно подоплека пелевинской нирваны, вскользь выговоренная посреди популярной (объясняет, что называется, на пальцах) пропаганды буддизма². Красота/безобразие — вот главный ценностный критерий, действующий на страницах романа. Пахнуло Константином Леонтьевым и — заодно — Маяковским, гневно декламирующим в кабаре про «обрюзгший жир».

Герои Пелевина, те, кого не затронула явная ирония, — все они эстетически безупречной, старосословной выделки: и вышеназванная тройца, и мистический барон Юнгерн³, и даже его «тибетские казаки», поющие войсковую донскую песню в таинственном захоронении. Дело не в том, «за кого они» (мы уже слышали, что это безразлично), дело в том, что они не принадлежат «веку масс», цивилизации Шварценеггера и Киркорова (второе имя для Пелевина так же символично, как и первое).

Оспорить реальность неповрежденной — все еще природной, все еще органической — жизни, убедить Пелевина-художника в том, что и это не более чем покрывало Майи, Пелевин-буддист не в силах: «...я подошел к ближайшему коню, привязанному к вбитому в стену кольцу, и запустил пальцы в его гриву. Отлично помню эту секунду — густые волосы под моими пальцами, кисловатый запах новенького кожаного седла, пятно солнечного света на стене перед моим лицом и удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение полноты, окончательной реальности этого мига». И в другом месте, при взгляде на плоскогорье, одетое цветами: «...это было настолько красиво, что... я забыл... обо всем на свете». Красота — синоним достоверности мира, проникающего в сознание⁴.

Но чем дальше, тем меньше в России остается красоты. Если накокаиненные братишки (кокаин и революция — тандем, давно полюбившийся Пелевину) еще не всю ее извели в 1918-м, сколько ни брали на мушку, и если тогда в хаосе, учиненном одичалой толпой, была толика величия, то после 1993-го, по Пелевину, говорить больше не о чем. Бар с уголовной начинкой, куда попадает Петр нынешним днем, несравненно омерзительней, чем — на том же месте Тверского бульвара — богемное кафе «Музыкальная табакерка», где Петр учинил дебош в 1918 году. Прежний «жизненный сон» был производным от сознания авангардного поэта, нынешний — внушен авантюристом-наркоманом, испошлившимся за бугром. «Публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это обычно случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых блядей. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства, — и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой».

Круто сказано. Еще круче поступлено. Петр стреляет в люстру под потолком бара и, попав на сей раз (не то что в его прежней жизни, где он дал промах), гасит солнце этого подложного мира. После чего отбывает вместе с Чапаевым во Внутреннюю Монголию духа, в некий лимб, где поджидает его Анна (гипноз финалов «Приглашения на казнь» и «Мастера и Маргариты» оказался сильнее прокламируемого бесстрастия...).

Нельзя сказать, что я совсем не сочувствую леонтьевской ненависти Пелевина к цивилизации «упростительного смещения». Но все-таки меня тревожит и отпугивает острота неприятия сегодняшней «жизненной прозы», другими словами —

² Тем же манером, «на пальцах», в одном из эпизодов объясняется разница между философией Платона и Аристотеля, да так складно, что хоть печатай в учебнике!

³ Полагаю, что автору отлично известно правильное написание имени загадочного барона, но, видно, он соблазнился скрестить его с Карлом Густавом Юнгом.

⁴ Вспоминается парабола Клайва Льюиса «Расторжение брака». Там все райское (прекрасное) — субстанциально, наделено надежной устойчивостью, благой тяжестью и внушительными размерами. А все, взятое адом, микроскопично, призрачно, спиритуально в дурном смысле.

жизни, возвратившейся в натуральную, земную колею из обманного «платонизма» коммунистической идеологии. Если дело так пойдет дальше, наши творцы и поэты, содрогнувшись от присутствия «свинорылого спекулянта», снова начнут разжигать мировой пожар, и вместо «вечного невозвращения» мы угодим в малоприятную ситуацию бесконечного возвращения на круги своя.

«И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь» — эта взрывчатая смесь (какая там нирвана!) струится со страниц «Чапаева и Пустоты». Отвращения много, но есть и любовь. Я говорю и о любви-снисхождении, любви-милости — внезапном чувстве, охватившем Петра, когда он слушает пение «красных ткачей» — людей, обманутых и влекомых большевистским поездом в никуда. Ей-Богу, сегодняшняя страна, сегодняшние люди, обманывающиеся не меньше, но и не больше, чем это всегда бывает в подлунном мире, могли бы вызвать то же чувство. И такая сострадательная любовь в своем абсолютном значении возвышается над эстетическими мерками и вбирает их в себя, будучи сама Красотой.

Только не надо путать конкретное чувство, требующее сердечного труда, с беспомытным погружением в нирванический «Урал» (Условная Река Абсолютной Любви — по прихоти автора), с очередной романтической абстракцией в буддийском кафтане. Впрочем, Пелевин в чаянии своей Нигдеи, защищенной от «пошлости», давно замкнул слух для подобных увещеваний. Надеюсь, его вывезут ирония и нутро артиста.

P. S. На исходе века уже совершенно очевидно, что романтическое движение протеста и эскапизма (вещи взаимообратимые), возникшее в Европе два столетия назад, будет сопутствовать «материалистической» цивилизации как ее тень, доколе та жива. В XX веке оно освежало себя все новыми допингами — революционаризмом классовых и этнических маргиналов, неоязычеством, наконец, со времени Дж. Керуака и «детей цветов», — так называемым Востоком на Западе (дзэн- и просто буддизм, тантризм, кришнаизм и их эклектические сочетания). Но — оставалось прежним по исходным побуждениям и отчасти даже по человеческому типу. Читая Пелевина, убеждаешься в этом снова. Впрочем, это отдельная тема.

Параллель же между компьютерными процедурами (виртуальная реальность, стирание из памяти и проч.) и некоторыми восточными мистическими практиками — еще одна занятая, а может быть, и тревожная тема, приходящая на ум при чтении «Чапаева и Пустоты». Но ее развивать не мне.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



ОТРАЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО

Том Стоппард. Аркадия. Пьеса в двух действиях. Пер. с англ. Ольги Варшавер. — «Иностранная литература», 1996, № 2.

Отношения читателя с писателем редко выстраиваются по правильной прямой — так, чтобы, начав читать с первых вещей, мы знакомились со следующими по мере их появления на свет. В случае с отечественными авторами этот последовательный путь, естественно пролегающий через толстые журналы, до недавних пор пресекался цензурными преградами; в случае с зарубежными встает языковой барьер, вынуждающий обращаться к услугам перевода — каковые, понятно, предоставляются не всегда и не в полной мере. Особенно когда дело касается драматургии, у которой вообще своя, окольная дорога.

Что касается Тома Стоппарда, тут сработали все три ограничителя. Первым выступило цензурное ведомство, для которого прославленный драматург был прежде всего «антисоветчиком» — членом Международной Амнистии, написавшим к тому же несколько пьес на «диссидентские» темы: советская психушка, чехословацкая интеллигенция при режиме «братской помощи», польская «Солидарность»... Ни одна из них не переведена доньше, но теперь уже по противоположным причинам: политический театр вышел из моды. Между тем интерес к восточноевропейской проблематике был у Стоппарда, так сказать, прирожденным: он появился на свет в Чехословакии в 1937 году. Правда, уже в 1939-м семья покину-

ла страну — чтобы в 1946-м, после военных скитаний, оказаться в Англии; что касается английской фамилии, то она досталась Тому от отчима...

Привожу эти сведения, поскольку они вносят дополнительную и неожиданную краску: ведь автора блистательной интеллектуальной драмы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966) легко принять за «типичного англичанина», притом далекого от политических сюжетов современности. А большинство читателей знакомо лишь с этой вещью, напечатанной в «Иностранной литературе» в 1990 году. Потому воспользуемся новой публикацией, чтобы поговорить о его творчестве вообще — вернее, о той части, что доступна русскому читателю. Понятно, что полдюжины разновременных пьес не охватывают всего круга тем, идей, проблем, занимающих или занимавших драматурга. Но тот фрагмент или, скорее, пунктир, к которому мы прикреплены, имеет (волей случая?) общую направленность: нам представлены варианты взаимоотношений слова и действия, вымысла и реальности. Или, иначе говоря, «театр в театре» — в самом широком смысле: в значении иллюзорности и театральности, присущих жизни.

Идея пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», принесшей славу молодому автору, проста и неожиданна: показать «Гамлета» глазами двух его однокурсников, которым у Шекспира отведена скромная роль нерассуждающих королевских приспешников. И здесь стоит вспомнить, что Гамлет — лицо историческое. По крайней мере, о нем подробно рассказывает летописная история Дании, составленная в XII веке (и, кстати, упоминающая двух придворных, которые сопровождали принца в Англию). Но весь мир знает эту историю благодаря театру: мелкий эпизод исторической реальности обернулся реальностью большого искусства... Достраивая и развертывая трагедию под другим углом, Стоппард возвращает ей «объемность» жизни. Ведь читатель (зритель), как правило, не думает о том, что происходит с персонажами, когда их нет на сцене, поскольку отлично знает: в действительности их нет вовсе, это лишь «слова, слова, слова». Дописывая «слова» для Розенкранца и Гильденстерна, продлевая их закулисное существование и перенося туда сценическую площадку, драматург как бы имеет в виду, что за кулисами его драмы идет непрерывное действие, которое публика должна сама себе представить — ибо знает сюжет. В отличие от героев... Растерянные, перепуганные — жалкие пешки, против воли участвующие в большой королевской игре, Розенкранц и Гильденстерн знают лишь то, что знают: что их вызвали и приказали выпытать Гамлетову тайну. И отказаться нельзя, хоть и не ясно, кто опаснее: вцепившийся в трон узурпатор-король — или неузнаваемый, обезумевший принц. И за каждой кулисой сторожит новая угроза.

«Филологическая» литература — вариации на темы, парафразы, «цитатные» композиции, обращения к «вторичной реальности» — обычно ближе уму, чем сердцу. Как говорит Гильденстерн Актеру: «Вы умираете столько раз; как же вы рассчитываете, что поверят в смерть подлинную?» Однако сам Стоппард предлагает нам «поверить»: наполняя интеллектуальную игру страстной эмоциональной силой, тем более неожиданной, что сострадания требуют персонажи всем давно известные и презираемые, персонажи, которые «умирали столько раз», ни разу не вызвав сочувствия. И ведь драматург вовсе не оправдывает и не «улучшает» их, а просто дает ощутить: им тоже больно. И мучительно страшно. И единственное, что они могут осознать, — что попали под колесо. И не вырваться. «Мы... обречены».

Маленький человек, тотально зависимый от большого мира, — тема, к которой обращались «столько раз», что она кажется исчерпанной. Но Стоппард нашел нетривиальный путь: извлек из хрестоматийной высокой трагедии заложенную в ней и порожденную ею другую драму. Поскольку же «Гамлет» — история на все времена, то и прежде не замеченный сюжет становится «всевременным». Развернув привычную мизансцену, в которой «скромный и необъявленный» уход Розенкранца и Гильденстерна заслонен горой царственных трупов, драматург заставляет принца сыграть новую роль — приобщить малых сих к своему бессмертию, чтобы рядом с вечным трагическим героем встал вечный маленький человек — бывший друг и однокашник.

Пьеса «Входит свободный человек» (1968; русский перевод — «Театр», 1994, № 3) тоже посвящена маленьким людям, но материал свой черпает «из жизни». И все же проблема соотношения вымысла и действительности составляет суть разыгрываемой драмы. Джордж Райли — безработный, живущий на содержании дочери, — не хочет смириться с отведенной ему скромной ролью и воображает себя

«большим», незаурядным человеком — изобретателем, чьи идеи стоят миллионы. Жалкий самообман, рождающий, однако, подлинные переживания: от счастливой надежды до мрачного отчаяния... Параллельно с главной темой разворачивается побочная — любовных разочарований Линды, которую опять обманули. Но крушение иллюзий оказывается благотворным. Пока отец и дочь существовали каждый в своем воздушном замке, их разделяла плотная стена непонимания; когда же эти невесомые конструкции рассыпались, обнаружилось, что родственная связь тоже чего-то стоит. Или, может, семейное тепло нужно, лишь чтобы пережить свободный от обольщений и потому пустой период? Возможно; Стоппард строит действие так, что ясно: это разочарование — далеко не первое, а стало быть, не последнее. Не ясно только, что правильной: смириться со своей малостью или стремиться к большему? Что лучше: «возвышающий обман» или беспощадный свет истины, заставляющий уткнуться в единственно близкое и доступное родственное плечо?.. Кстати: фамилия героя — Райли — напоминает о сэре Уолтере Райли, известном мореплавателе, ученом, поэте и «претенденте» на роль Шекспира. Заключение в Тауэр, он вырвался на волю, прельстив короля и прельстившись сам мечтой о золоте Эльдорадо, но вернулся ни с чем и был казнен. Сближение, конечно, странноватое, но на него наводит сам автор. Недаром же Линда говорит про отца: «Если бы он был лорд Райли», — а Джордж прощается со своей мечтой словами: «Мой маленький кораблик с грузом идей... Болтает его в чужом океане»... И если так, то за маленьким человеком, рвущимся из тюрьмы обыденности, встает великая тень. А такого рода переключки и отражения, приобщения малого к большому вообще характерны для Стоппарда.

Герои пьесы «Настоящее» (1982; в русском переводе — «Отражения», — «Современная драматургия», 1991, № 3) принадлежат миру театра — средоточию иллюзий. Главную роль в ней играет драматург, которого критики, не избежав естественного соблазна, объявили alter ego автора, оглашающим его творческое кредо. «Мы стараемся писать так, как мастерят крикетные биты: чтобы слова пружинили и мысль не увязала. Легкий удар — и летит вперед... Из слов — если обращаться с ними бережно — можно, будто из кирпичиков, выстроить мост через бездну непонимания и хаоса... Я не считаю писателя святым, но слова для меня — святы. Они заслуживают уважения. Отберите нужные, расставьте в нужном порядке — и в мире что-то изменится».

Текст, конечно, хорош. И в том, что касается мастерства, действительно может быть воспринят как кредо самого Стоппарда, который работает уверенно, точно и виртуозно. Однако относительно «святости» слов возникает... ну, по меньшей мере вопрос. Во-первых, святыми вещами не играют — а драматург очень любит словами играть. Во-вторых, слова как таковые безразличны к тому, что из них строят, и их воздействие на людей определяется лишь качеством текста, а не тем, правду или ложь он содержит, к добру или злу призывает. Что и демонстрирует «Настоящее».

В пьесе драматурга Генри (с которой начинается действие у Стоппарда) муж остро переживает измену жены, а в следующей сцене выясняется, что сам Генри изменяет жене — и при помощи обманных фраз как бы изживает чувство вины. Другая пьеса провоцирует на неверность его жену-актрису: слова любви, обращенные к партнеру, как бы превращаются в правду. Наконец, третья пьеса, написанная борцом-пацифистом с самыми лучшими намерениями (остановить гонку вооружений и так далее) и вроде бы с полнейшей автобиографической искренностью («Я ее с жизни списывал, — душу в нее вложил»), оказывается, напротив, бессильна что-то «изменить в мире», поскольку беспомощна литературно. Правда, потом выясняется, что ее автор несколько приукрасил свою судьбу с «идейной» стороны — но вина его все равно в том, что он не сумел сообщить своему сочинению художественную ценность. Именно против него обращен страстный монолог Генри: «Жалко слов, которыми лепится весь этот бред»... Какая уж тут святость, если слово стоит больше, чем человек с его болью. И если хорошо отобранные слова, расставленные в нужном порядке, способны на что угодно: уверить в чувствах, которых нет, осудить правого, оправдать виновного — короче, создать мнимое «настоящее». А предполагать, что Стоппард ратует за эту силу просто как силу, то есть «освящает» эстетическое значение вне зависимости от этического, нет никаких оснований. Наоборот: есть все основания верить, когда он говорит, что его искусство вдохновляется моральными ценностями.

«Аркадия» (1993) — некий предварительный итог, где тема взаимоотношений вымысла и реальности вкупе с ее нравственным содержанием получает если не завершение, то наиболее полное развитие. К этой пьесе Стоппард, по собственному признанию, готовился как к экзамену, читая огромное множество книг, — и эрудиция драматурга, а вернее, его погруженность в культуру чувствуется буквально на каждой странице — не производя притом впечатления демонстративности. Что касается мастерства, то оно как раз демонстрируется — и способно доставить массу удовольствия читателю, понимающему толк в таких вещах. Пьесы Стоппарда вообще выверены, как весы, каждая деталь работает в точном взаимодействии с другими, реплики вступают в тонкие контрапунктические переключки, интрига напряжена и неожиданна.

Правда, «Аркадия» — пьеса внешне спокойная и на первый взгляд даже холодноватая; ее эмоциональный накал запрятан вглубь и выявляется не сразу. Действие разделено на два временных пласта: 1809 — 1812 годы и наши дни; место одно и то же — просторная комната большого загородного дома, принадлежащего семейству графов Каверли. При доме имеется великолепный парк, он не виден, но о нем все время говорят, и его присутствие играет важную роль если не в действии, то в идейной структуре пьесы. Этот парк — своего рода палимпсест, демонстрирующий, как культурные влияния наслаиваются одно на другое, а «первичная» реальность исчезает и прошлое стирается. В начале XIX века он из «просвещенческого» — аркадского, идиллического, спроектированного пейзажными архитекторами по образцу полотен Пуссена и Клода Лоррена, которые, в свой черед, воплощали «на холсте Вергилиевы тексты», — был переделан в «романтический»: с «дикими» пейзажами, искусственным хаосом в «стиле Сальватора Розы» и с настоящим отшельником в придачу... Нынешняя владелица занимается «раскопками»; ей помогает Ханна Джарвис, писательница и литературовед, намеревающаяся посвятить новую книгу как раз этому отшельнику, «гению в пейзаже», являющему собой «идеальный символ» — только чего? Сначала Ханна думает — «всего романтического мифа», потом, наоборот, он становится знаком Просвещения, «изгнанного в пустыню Романтизма». А в конце концов оказывается просто страдающим человеком, которого не загонишь ни в какие идеологические схемы...

Рядом с Ханной в тех же старых книгах, тетрадях, дневниках роется профессор Бернард Солоуэй, жаждущий найти следы Байрона — главного «культурного» героя пьесы. На сцене он ни разу не появляется, но его однодневное пребывание в Сидли-парке весной 1809-го во многом определяет сюжет — не столько даже «прошлого», сколько «настоящего». Напористый и беззастенчивый Солоуэй, который жаждет лишь сенсации, придумывает целую «романтическую» историю — с адюльтером, дуэлью, смертью. Впрочем, она вполне «подходит» Байрону, бывшему одновременно романтическим поэтом и романтическим героем — и сознательно строившему свой образ в духе романтического мифа. На что Солоуэй и поймался. Потому как на самом деле... однако стоп.

«Аркадия» построена так, что каждая следующая сцена из прошлого, чередуясь с эпизодами настоящего, дополняет и проясняет сюжеты, которые пытаются восстановить Бернард и Ханна. Они отделены от минувшего толщей времени; но мы-то наблюдаем это минувшее «непосредственно». И когда очередной поворот выявляет новые, неожиданные подробности, опровергающие, подтверждающие или развивающие их догадки; когда общий ход событий либо частные детали оказываются именно такими, как представлялось, или чуть-чуть не такими, или совсем не такими, — возникает поразительный эффект. «Вот, значит, как оно было на самом деле!» — думает читатель (зритель). Хоть и понимает, разумеется: на самом деле ничего этого вообще не было, все истории Сидли-парка придумал Том Стоппард, упражняющийся в построениях на тему «вымысел/реальность» и демонстрирующий, как логика, интуиция, случай, знание могут равным образом сбить с толку и привести к истине. А наиболее точным ориентиром в поисках становится — как ни странно — любовь.

К этому парадоксально простому выводу автор движется сложным кружным путем: через... физику. Ньютонов детерминизм — запрограммированность прошлого и будущего вращения планет и атомов, позволяющая, по идее, вывести «формулу» всей реальности, — опровергается термодинамическими законами убывания тепла. А они, в свой черед, опровергаются (уже не по науке) «притяжением, которое Ньютон сбросил со счетов», — «жаром похоти, пылом страсти... Короче, тепло-

той». Эти материи вводятся в действие благодаря двум абсолютно несходным героиням прошлого: распутной и обольстительной гостье Сидли-парка, отлично знавшей, «как распалются тела», и юной Томасине Каверли, отвергшей примитивную науку своего времени, чтоб дойти до понимания обреченности Вселенной, необратимо теряющей тепло... Ее случайно сохранившиеся тетрадки попадают к Ханне. И, погружаясь в тему, исследовательница проникается все большим сочувствием, любовью, жалостью к этой гениальной девочке, погибшей накануне своего семнадцатилетия, — а вместе к ее учителю (однокурснику Байрона), который как раз и оказывается «отшельником Сидли-парка», сошедшим с ума не то от скорби по Томасине, не то от ужаса перед ее открытием. И тоненький мостик сострадательного тепла перекидывается через века — и прошлое восстанавливается.

Хотя, собственно, о каком восстановлении речь, если того, что драматург придумал, не только не было, но и не могло быть? Не могла девочка «из дербиширской глухомани» постичь законы современной науки. «Нельзя открыть дверь несуществующего дома», — убеждает Ханну Валентайн Каверли, математик и естествовед... Но, в конце концов, провидел же Байрон — в стихах — ледяную гибель мира: «Я видел Сон, не все в нем было сном. / Погасло солнце яркое, и звезды / Без света, без путей в пространстве вечном / Блуждали, и замерзшая земля / Кружилась слепо в темноте безлунной»... И в конце концов, Стоппард пишет пьесу именно о невозможном: о том, что тепло души, возникающее ниоткуда, вопреки законам термодинамики способно противостоять охлаждению Вселенной.

...А наводит Ханну на верный путь — тоже любовь. Пятнадцатилетний Гас Каверли, влюбленный в нее робко и бескорыстно, дарит ей — в самом начале — яблоко, которое потом станет двойным символом физического притяжения: Ньютонова и любовного; он же, в финальной сцене, вручит еще один дар — последнее недостающее доказательство истины, благодаря которому все детали встанут на свои места. И вообще этот странный, диковатый, наделенный поразительной интуицией, всегда молчащий мальчик играет особую роль в структуре пьесы. Почему он, еще в детстве, полностью отказался от слов, автор не отвечает. Но ответ можно найти: в «Розенкранце и Гильденстерне», где «слова, слова, слова» — точно как в «Гамлете» — маскируют собой ловушки и меняют местами «быть» и «казаться»; в «Настоящем», где слова, претендуя на святость, выступают лгунами и сводниками; в самой «Аркадии», где безнравственное словоблудие Солоуэя искажает картину прошлого... во всех сюжетах Стоппарда, где роль слова — одного из главных действующих лиц в театре жизни — оказывается сомнительной или несомненно злотворной.

Но писатель не может же отказаться от слов: профессия такая. Значит, надо наполнять их сочувствием, теплом и любовью. Ибо то, в чем есть тепло, — настоящее. Во всех смыслах слова.

Алена ЗЛОБИНА.



«НЕОТШЛИФОВАННЫЙ САМОРОДОК»

К. Н. Леонтьев. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Pro et contra. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. Санкт-Петербург. 1995. Кн. 1. 1891 — 1917 гг. 475 стр. Кн. 2. После 1917 г. 702 стр.

Отнюдь не всякая фигура, не всякое наследие выдающегося литератора или философа «обрастает» со временем толкованиями и комментариями, представляющими самостоятельный интерес. Очевидно, помимо прочего, необходим элемент таинственности и необычности, даже недоволенности, чтобы это произошло, чтобы конгениальные порой современники и потомки с удовольствием занялись обладающей самоценностью «расшифровкой». Чем загадочнее мыслитель, тем богаче сопутствующая литература. В случае с замолченным при жизни Леонтьевым она иногда даже перерастает его своим культурным богатством. При всей его замечательной неординарности — читать о нем сейчас порой увлекательней, чем его самого. На трудах Леонтьева хорошо выращивать собственные идеи, лишённые его крайностей; при одном упоминании его имени уже становится интересно, ин-

тереснее, например, чем при упоминании Герцена с его революционно-социальным пафосом, хотя как писатель Леонтьев, очевидно, его слабее.

Есть в наследии Леонтьева какая-то вечная неисчерпанность; вот почему двухтомник о нем, выпущенный петербургским Русским Христианским гуманитарным институтом в рамках «долгосрочного научно-исследовательского и издательского проекта» «Русский путь» — вслед за аналогичными изданиями о Бердяеве и Розанове, — не просто освежающее и укрепляющее интеллектуальную мышцу чтение, но настоящая лаборатория отечественного мышления, в тигле которой образуются новые и ценные сплавы.

...Леонтьев был аристократичен, но не спесив, скорее наоборот — экспансивен: «по-разночинному», если не прямо-таки по-детски; он, изголодавшийся по живому отклику, мечтал о нем, чуть ли не вымогал его — и не только у прославленного Владимира Соловьева, но и у только-только начинавшего тогда Розанова. (Потребовались декаданс и серебряный век для того, чтобы адаптировать Леонтьева в отечественной культуре.) Да и в самом определении Леонтьева С. Н. Булгаковым: «неотшлифованный самородок» — есть нечто «разночинное». В сравнении, к примеру, с М. Н. Катковым, И. С. Аксаковым — Леонтьев культурный и даже бытовой (то бишь не вкорененный в быт) разночинец: сам тон его описаний встреч с ними свидетельствует об этом. Именно «честный» и «глупый» — по определению Леонтьева — Иван Аксаков первым назвал то, что потом шокировало в Леонтьеве слишком многих: «...вы относитесь к христианству не как к вечной и несомненной истине, а как к обыкновенному историческому влиянию», то есть идеологически, натуралистически — как, впрочем, и к истории. В самом биологизме леонтьевского подхода есть нечто «шестидесятничское». «Лично, как православный христианин, — писал Соловьев, — он исповедовал, конечно, абсолютную истину; но его социально-политические и исторические взгляды не были ни простым и прямым отражением этой истины, ни ее логическим и органическим развитием, а скорее какими-то оригинальными придатками к ней». То есть именно за пределами личной веры христианство превращалось у Леонтьева в организующее идеологическое орудие. Соловьев словно немного стесняется писать о Леонтьеве, педалируя прежде всего его независимость, несколько раз указывая, что, с одной стороны, в нем не было ни грана общественного оппортунизма, а с другой — как бы оправдывая его в глазах либерального общества времен уже Александра III: «...свои крайне охранительные и благочестивые взгляды Леонтьев стал исповедовать еще в конце шестидесятых годов, т. е. тогда, когда кроме недоумения, насмешек и поношений они ничего ему дать не могли. ...во всяком случае это были *его идеи*, а не чужие слова, повторяемые по расчету или по стадному внушению... Он как писатель никогда не кривил душой из-за личного самолюбия или партийного интереса».

Священник И. Фудель в 1916 году точно отметил: «К. Леонтьев имел обыкновение высказываться в разговоре или печати *больше* и дальше того, что он на самом деле думал. ...Совершенно обратное явление представляет Соловьев. Он никогда не высказывал печатно всего того, что думал или говорил в кругу друзей». И возможно, в отзывах Соловьева о Леонтьеве есть немного «опаски» — перед свободой Леонтьева.

Василий Розанов писал о Леонтьеве уже без оглядки. Название его работы, начатой еще при жизни Леонтьева, эмблематично: «Эстетическое понимание истории». И это первый серьезный разговор о Леонтьеве — разговор равного с равным (и в самую что ни на есть «пропорцию»: время еще не допускало разнузданности).

Что и говорить, «эстетическое понимание истории», отвращение к эгалитарной нивелировке провоцировали Леонтьева порой прямо-таки на маниловские «пророчества» (и это при том, что он как никто чувствовал тектонические толчки, приближающие нашу национальную катастрофу). Он одновременно предрекал и самое страшное и — уповал на самое утопическое. «Молюсь, — сообщает он 24 апреля 1889 года Т. И. Филиппову, — я о том, чтобы Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда. А все остальное приложится само собою!»

Идейно-геополитический утопизм, обескровивший идеологию консервативного лагеря, роднит Леонтьева с Достоевским. Но — как отмечает Розанов — «в желчных строках Достоевского (о Леонтьеве в записной книжке 1880 года. — Ю. К.) сказалась какая-то ненависть». Думается, тут «ненависть» (хотя словцо это в данном случае слишком крепкое) христианского общественника Достоевского к

тому миропониманию, которое отчасти вложил он в образ Ферапонта из «Карамазовых». «Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет» — так формулирует Достоевский леонтьевскую экзистенциально-мировоззренческую идею и соответственно видит в ней «нечто безрассудное и нечестивое». Достоевский понимал несчастье, нищету, боль как признак падшести мира, ему и в голову, конечно, не приходило узаконивать их, принимать как должное и даже полезное: несчастье, несправедливость, жестокость, безусловно, нуждаются в преодолении.

Согласно Достоевскому, в леонтьевской критике его Пушкинской речи «кроме несогласия в идеях, было, сверх того, нечто ко мне завистливое. Да едва ли не единое это и было». Розанов вступает за Леонтьева, и он, кажется, прав: не зависть, а убеждения двигали пером Леонтьева в его критике «розового христианства» Толстого и Достоевского. Убеждение, что гуманизм и религия не дополняют друг друга, а находятся в глубинном антагонизме.

...Чтобы оценить Леонтьева в его оригинальной сложности, был необходим новый взгляд, который только-только вырабатывался в нашей культуре в конце девятнадцатого столетия, и если кадета С. Н. Трубецкого коробит в Леонтьеве «его крайняя последовательность в проповеди реакции и мракобесия», то позднее Н. А. Бердяев справедливо определяет это как «типически либеральный и малоинтересный подход к Леонтьеву». Леонтьев — по Трубецкому — «пустил в ход... особого рода христианство «железной рукавицы», которое пришлось по вкусу нынешним перекувыркнувшимся террористам».

«Перекувыркнувшийся террорист» Л. А. Тихомиров оставил о Леонтьеве проникновенные, глубокие воспоминания (над которыми работал в Сергиевом Посаде уже после революционного катаклизма). Пережив в собственном опыте революционно-социалистическую идеологию, Тихомиров — в бытность Леонтьева в Оптиной пустыни — указывал в одной из своих работ: «...коммунистическое общество должно являться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья, — продолжает Тихомиров, — возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было бы думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг». 20 сентября 1891 года, то есть всего за два месяца до кончины, Леонтьев писал Тихомирову: «*Либерализм есть революция (смещение, ассимиляция); социализм есть деспотическая организация (будущего); и иначе: осуществление социализма в жизни будет выражением потребности приостановить излишнюю подвижность жизни (с 89 года XVIII столетия)*». Воистину жизнь и умозрение способны иногда на кульбиты, перекрывающие даже воображение Достоевского: без пяти минут православный монах, духовное чадо Амвросия Оптинского, идейный эстет и романтик звал недавно ставшего монархистом террориста и ренегата народовольчества учредить конспиративный кружок по изучению положительных возможностей социалистической деспотии! «Дело касалось организации особого общества, которое Леонтьев в шутку прозвал «Иезуитским Орденом»... Очень важное и трудное условие составляет то, чтобы Общество было *неведомо* для противников, а следовательно, ему приходится и вообще быть *тайным*, т. е., другими словами, нелегальным». И хотя ни до чего реального не дошло, но само предложение бывшему подпольщику Тихомирову нового подполья — теперь уже со стороны Леонтьева — будоражит воображение.

...Для отечественной культуры это не новость: открывать и толковать то или иное явление по аналогии с похожим западным и даже порой через его призму. Пришел в Россию Ницше¹ — да у нас, оказывается, свой был Ницше — Леонтьев; пришел Шпенглер — да у нас тоже был свой, и раньше, — Данилевский, ну и т. д. У писавших о Леонтьеве в 1900 — 1910 годы эта аналогия выглядит теперь даже назойливой; нам выпуклей видны русскость Леонтьева, национальный колорит его души и мышления, его антииндивидуализм, понимание иерархичности бытия, его «византизм», его самобытность. При этом, конечно, не надо выключать его из общемирового контекста. Как точно сформулировал Юрий Иваск, автор самой обширной на сегодня монографии о Леонтьеве, написанной в США в 60-е годы: «Леонтьев — выдающийся представитель великой контрреволюции XIX века, кото-

¹ «...в сотнях тысяч экземпляров выброшенный на русский книжный рынок в едва грамотных и совершенно безграмотных переводах — имя и сочинения его навязли в зубах» (А. А. Александров, см. о нем ниже).

рая защищала: качество от количества; даровитое меньшинство от бездарного большинства; яркую мысль от серой массы; дух от материи; природу от техники; истину от рекламы и пропаганды; творческую свободу от плутократии и бюрократии; искусство от прессы». По традиционной, так сказать, допросветительской инерции Леонтьев думал, что антилиберальная деспотия, по определению, плодотворно уберегает «качество от количества», а связанную напрямую с аристократизмом и религиозностью красоту — от, говоря современным языком, безобразия масскультуры; что неравенство гарантирует высокую эстетику жизни. Тоталитаризм XX века показал, что это не так: выросшие на секулярных дрожжах деспотии делают ставку на ровным счетом обратное, зомбируя сознание оглупляющей пропагандой. Так что фантастический коммунизм позднего Леонтьева с реальным, разумеется, ничего общего не имеет, напрасно современные эпигоны Леонтьева подверстывают его аж к... сталинизму: от такой деспотии мыслитель отшатнулся бы с омерзением.

...Двухтомник о Константине Леонтьеве возвращает в читательский оборот много редкого и забытого, в частности не переиздававшуюся с 1913 года работу Б. А. Грифцова «Судьба К. Н. Леонтьева». «Его учение, — пишет Грифцов, — часто подходит к тому чувству, которое он удачно называл «хорошею любовью к жизни», из которого вытекали все его восточные, народные, бытовые привязанности. ...А между тем он не только принял «непоправимый трагизм нашей жизни», но и ждал постоянно, что будущее явится еще более «темным и страшным». ...Трагичность становится не проклятой неизбежностью, а желанным законом существования».

Тут Грифцовым назван, быть может — «непроизвольно», один из самых ядовитых соблазнов «учения» Константина Леонтьева: каждый, кто смолodu переболел им, имеет на совести и сердце его шрамы. Краски жизни — и чем ярче, тем лучше, — которые воспевал Леонтьев, ставящие, по существу, романтическую авантюру выше морали, приключение — выше скромного долга, эстетику — выше этики (да ведь это и проблематика Кьеркегора!), просто так не даются, но требуют жертв отнюдь не на алтарь Бога, приучая упиваться трагизмом; *просто житейское* уже становится пресно. Саму мучительность жизни (и своей и чужой) в таких «координатах» следует принимать как славную и острую к ней приправу. Не бояться ни своего, ни чужого несчастья — оно только делает жизнь ярче. Причиняемая боль имеет оправдание в неординарности. Веский корректив этому — по Леонтьеву — страх Божий: грехи, но бойся, бойся, но грехи, дабы не превратиться в филистера, по определению, антиэстетичного; тут у Леонтьева неразрешимая антиномия, антиномия свободы и дисциплины, в частности принудительной. Попав под леонтьевское влияние, получаешь новое измерение, новый закал, чреватый, однако, испепелением. Леонтьев отрывает от эмпирической повседневной рутины, зовет жить при повышенном градусе бытия — часто за счет соблазна. Красота без стойкой нравственной гигиены тут может перейти в свою противоположность.

При этом — на эстетическом уровне — Леонтьев ценил красоту попросту как и з я щ н о е; драматичные элементы русской «натуральной школы» претили ему даже у Толстого и Достоевского. На деле же его «доктрина» (впрочем, порою весьма размытая) уводит от изящного далеко — к еще усиленной рефлексией воистину шекспировской дисгармонической музыке.

Другой, небольшой, но проникновенный, материал о Леонтьеве — уже упоминавшегося филолога А. А. Александрова. Он был на тридцать лет моложе Леонтьева, в его очерке сквозит простодушие, бликующее на даваемом им портрете Леонтьева. «Когда я впервые его встретил, — рассказывает Александров, — ему было 53 года... согретый неистощимым пламенем внутренней энергии человек, с отпечатком благородной и красивой барственности...

Умные красивые карие глаза, высокий прекрасный лоб, при взгляде на который невольно приходило в голову выражение «ума палата»... волосы в скобку... хорошо сшитая русская поддевка, которую он постоянно носил, не желая иметь дела с европейским костюмом... интересная, живая, крайне своеобразная, самобытная речь, полная ярких образов, неожиданных метких сравнений искрометного остроумия... делали его центром общего внимания, особенно со стороны молодежи, более отзывчивой и чуткой, чем старшее поколение, успевшее сложиться и застыть в иных воззрениях, часто совершенно противоположных тому, что проповедовал он».

Поистине «и славы ждал, и славы не дождался». Леонтьев умер прямо на пороге ее (от воспаления легких, опрометчиво сняв как раз «свою обычную суконную поддевку»); упомянутая Александровым молодежь — это уже новобранцы следующего призыва русской культуры, в которой Леонтьев мог бы сделаться мэтром, а впоследствии — жертвы как раз того коммунизма, на который он так наивно-теоретически перед смертью «купился».

...Глубокая и аналитичная работа о Константине Леонтьеве принадлежит перу Н. А. Бердяева; симптоматично, что это — один из первых трудов философа, написанных в Европе после высылки из России: вот насколько фигура Леонтьева тогда казалась Бердяеву актуальной! В ту пору он энергично ищет «новое средневековье», новую «философию неравенства», «правду консерватизма», противостоящих традиционной позитивистской рутине и освободительной идеологии, взрыхлившей почву для революции.

Вывод Бердяева: Леонтьев «живет в современных религиозно-философских течениях. Он действует в высшей степени возбуждающе на мысль, дает духовные импульсы. К. Леонтьев не может и не должен быть учителем (а кто, собственно, может и должен? — Ю. К.), но он — одно из самых благородных и волнующих явлений в русской духовной жизни».

Впервые публикуемое письмо иеромонаха Трифона (оптинского послушника в прошлом и митрополита в будущем) к отцу Иосифу Фуделю сообщает подробности смерти Константина Леонтьева: «Бедный К. Н. не ожидал, кажется, что болезнь его смертельна, хотя, уступая моим просьбам, дважды причастился Св. Тайн, в последний раз за 2 дня до кончины; соборовали мы его с о. Веригиным за час до смерти... Скончался он в 10 час. утра под чтение отходного канона. В ночь, предшествующую кончине, сильно страдал, бредил, стонал и, вообще, «маялся». Очень редко приходил в себя, на одну минуту, а потом забывался. ...В 5 час. утра бред прекратился, и он до смерти уже не прерывал молчание, изредка только стоная. Господь помог устроить ему хорошие похороны на счет его друзей, ибо он оставил всего 50 руб. Я его омыл, по чину монашескому, одел параман, подрясник и пояс, в которых его и хоронили, ибо он был тайно (в Оптиной) пострижен и наречен Климентом. Царство ему небесное! Он был истинно добрый человек».

Было время, когда над могилой Леонтьева «возвышалась небольшая чугунная часовенка с неугасимой лампадой, кротко мерцавшей, как тихий свет веры, выращенной наконец Константином Николаевичем в своей душе, страдающей и бурной» (Л. А. Тихомиров).

В январе 1919-го рядом похоронили Розанова². «И когда над могилой его служили панихиду, пели о „упокоении души новопреставленного Василия“, вместе с ним молились и о „упокоении души монаха Климента“»³.

Теперь над их утерянными было, а недавно вновь обретенными (благодаря чертежику с точной пространственной привязкой в дневнике Михаила Пришвина) могилами — деревянные простые кресты. Но упомянутая Тихомировым первоначальная «неугасимая лампада» накладывается в сознании на другую, которой словно подсвечено наследие Константина Леонтьева, — из концовки проникновенного леонтьевского очерка об оптинском монахе Клименте Зедергольме: «Мне часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, что такое там, около этого пунцового, сияющего пятна... Иногда оно кажется мне кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно особенно за родину...»

Во времена относительно здоровые и позитивистские, можно даже сказать — самодовольные, в Леонтьеве, как и в Достоевском, жил этот провидческий вещий страх перед грядущей исторической катастрофой, гибелью второй — после византийской — православной цивилизации, на смену которой грядет энтропийный

² «Отвезли отца на дровнях, покрытых елочками, на Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном» (Розанова Татьяна. Из воспоминаний об отце Василии Васильевиче Розанове. — «Вестник РХД», № 112-113, стр. 157).

³ «Василий Розанов». Pro et contra. Кн. II. СПб. 1995, стр. 313.

атеистический муравейник. Жил и рос — какими бы утопиями ни пытался его замирить Леонтьев. Ни упоение красотой, ни броня монашества не могли заглушить этого страха; он был даже первичнее страха перед Божьим судом; его не утихшими и посегодня энергиями насыщено творчество Константина Леонтьева, благодаря чему, мнится, оно и избежало того опреснения, которое настигло, скажем, более умеренные труды Страхова или же Данилевского. И для нас — на руинах того, что когда-то было Россией, — он все еще актуален.

Многие из пророчеств мыслителя (от конституции, которая станет «самым верным средством для произведения *насильственного социалистического* переворота, для возбуждения бедного класса населения противу богатых, противу землевладельцев, банкиров и купцов, для новой, ужасной, быть может, пугачевщины», до более отдаленных: об атомных катастрофах и искусственных ограничениях рождаемости) сбылись, многое — по-прежнему злободневно. Самое известное и часто цитируемое место у Константина Леонтьева — о «благодушествующем» европейце на руинах некогда великолепной истории, когда «Моисей всходил на Синай... элины строили свои изящные акрополи... апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах», — только актуализировалось с годами. И хотя: «Читатель, не прими моих слов за повторение сказанного в свое время Константином Леонтьевым», — предупреждает Сергей Аверинцев, его зоркое рассуждение об утрате цивилизацией конца XX века значительности, разумеется, подтверждает леонтьевское предвидение. Византийская прививка не позволила и Аверинцеву утонуть в цивилизованной современности⁴.

...В лиричном послесловии к двухтомнику один из его составителей, А. А. Корольков, рассказывает о своем паломничестве в Лавру преп. Сергия: «В Троицком храме разгорались, пощелкивая, свечи. Живое пламя, вздрагивая на образах, вершило тайну возвращения в тот спасительный для Руси четырнадцатый век, когда здесь перед «Троицей» молился преподобный Сергий Радонежский. ...Точно так же стояли перед этим иконостасом русские монахи и сто, и шестьсот лет назад». Воистину — «тьмы низких истин нам дороже»... Ибо не было «шестьсот лет назад» ни «Троицы» (1411), ни Троицкого храма (1422), ни «этого иконостаса» (1425 — 1427).

И безусловный просчет: ни розановский, ни леонтьевский двухтомники серии «Pro et contra» на обложке не нумерованы: это затрудняет общение с книгами, когда они обе сразу находятся в читательском обороте.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

В ПОИСКАХ «ПОИСКОВ...»

Жан-Франсуа Ревель. О Прусте. Размышляя о цикле «В поисках утраченного времени». М. «Знак-СП». 1995. 192 стр.

Цикл Марселя Пруста начинается сценой, бросающей отсвет на то, что находится за пределами повествования: ее участники — читатель и книга. «...через полчаса я просыпался от мысли, что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет; во сне я продолжал думать о прочитанном, но мои думы принимали довольно странное направление: я воображал себя тем, что говорилось в книге... Это наваждение длилось несколько секунд... Затем оно становилось смутным, как воспоминание о прежней жизни после метемпсихоза...»

Это знак, оставленный нам Прустом на страницах романа, который должен быть увиден как произведение, еще не нашедшее словесного воплощения, но вырастающее в сознании повествователя. Читая его, мы приобщаемся к факту пись-

⁴ Аверинцев Сергей. Моя ностальгия. — «Новый мир», 1996, № 1, стр. 140 — 144.

ма, причем наше сознание ведет диалог непосредственно с сознанием пишущего. Границы, на которых идет обычно понимание произведения, размыты. Поэтому говорить о прустовском романе особенно трудно. Прежде чем говорить о нем, его нужно, выражаясь языком самого Пруста, «найти».

Когда читаешь литературоведческие работы, часто наблюдаешь любопытный эффект: создается абсолютно новое произведение, гомункул от литературоведения, некая идеальная модель, функционирующая, к примеру, по структуралистским законам. Предмет анализа здесь подменяется исследовательским методом.

«В области критики каждая доктрина, пытающаяся сделать похожими друг на друга все произведения, есть форма проявления нарциссизма самого аналитика...» — так пишет (и мы с ним согласимся) известный французский философ, политолог и социолог Жан-Франсуа Ревель в предисловии к своей книге о Прусте, в которой автор предстает перед нами в еще одной ипостаси — литературного критика.

На фоне нынешних споров о судьбе и путях развития науки о литературе такое начало выглядит многообещающим. Быть может, автору удалось найти адекватный подход к произведению?

Но уже в первой главе, «Пруст и жизнь», происходит любопытная аберрация смысла.

Ревель говорит об особенностях прустовского видения мира: «Пруст видит все явления такими, каковы они есть, верит, что они действительно таковы, какими он их видит». Эта фраза может быть понята двояко. Если главным здесь является слово «видит», то Ревель не погрешил против истины, ибо установка писателя действительно такова: изображать реальность такой, какой он ее видит и ощущает. Создавая свой роман, Пруст отдал дань импрессионизму.

Но вышеприведенная фраза чревата и другим смыслом, более близким сердцу ее автора: «Видеть явления такими, каковы они есть». Эту фразу следует взять на заметку, так как в ней заключена основная тенденция всего исследования.

Решив, что Пруст изображает жизнь в ее «истинном» (что здесь критерий истинности?) свете, Ревель полагает, что этого достаточно для понимания художественной формы романа. По его мнению, «Поиски...» — импровизация Пруста на тему собственной биографии: он просто, ничего не прибавляя, вспоминает реальные эпизоды своей жизни и всячески расцветчивает их описаниями, размышлениями etc. Ни слова о метапрозаичности прустовского текста, о его смысловой глубине и насыщенности.

Пруст оказывается таким стихийным реалистом: «Как бы он ни кромсал, перепланировал, реорганизовал... элементы своего повествования, остается сомнение, придумал ли он хотя бы один из этих элементов». Реалистом, который совершенно бесплодно стремится вынести приговор реальности.

Прустовский роман у Ревеля говорит, что называется, неприкрашенным языком действительности. Эстетической формы он не имеет и не может иметь. Поэтому критик (ибо здесь Ревель выступает именно в этом качестве) не делает различий между «Прустом» и «повествователем». Это усложнило бы исследовательскую задачу. Разграничив автора и героя, он лишил бы себя возможности утверждать, что формальные поиски Пруста не увенчались успехом и Пруст написал вполне традиционный с точки зрения формы роман, а новизна его кроется в сюжете (все герои романа — люди, праздно проводящие время).

Все, что не соответствует посылке исследователя (а не соответствует как раз то, что Пруст считал самым важным, — теория двух видов памяти, размышления о творчестве, картины природы), объявляется следствием авторского дурновкусия, с которым, увы, приходится мириться. Ревель считает уместным писать о Прусте в снисходительном тоне, упрекая его в том, что «все эти истории вокруг печенья пти-Мадлен» лишены интереса для читателя, ибо субъективны и посему необщезначимы. Видимо, читатель, согласно Ревелю, — существо безгранично эгоистичное, для которого эстетически ценно лишь повествование, описывающее его собственные переживания. Здесь также происходит подмена, но на сей раз — критерия оценки. Требовать объективности от заведомо необъективного произведения — это значит разрушить его в своем восприятии, признав одни части необходимыми, а другие — нет.

Как мы видим, о беспристрастном подходе не может быть и речи, а «нарциссизма» здесь хоть отбавляй. Весь аппарат анализа не имманентен прустовскому тексту. Прустовский цикл превращается из «Поисков утраченного времени» в

«утрату» этого времени. Ибо времени теперь нечего делать на страницах романа. Ревель сводит значение времени к нулю. Если изъять из романа то, что, по мнению Ревеля, Пруст вписал туда случайно, на наших глазах произойдет любопытная метаморфоза: сложное по форме и глубокое по мысли произведение, порождение *fin de siècle*, где каждая сцена стереоскопична, ибо видимость означает там больше чем просто видимость и каждая вещь улавливает время в свои тенета, преобразуется в серию сатирических зарисовок, в набор комиксов на тему праздности высшего света. И тогда-то (только тогда) Ревель оказывается прав, говоря о том, что время в сюжете ничего не значит (вопреки названию романа!).

По мнению Ревеля, персонажи для Пруста — лишь статисты, неизменяющиеся характеры, существующие внутри неподвижного времени, и именно они задают основной «хронотоп» «Поисков...». Между тем в фокусе внимания Пруста-автора не они, а Марсель (герой-повествователь), чье воспринимающее сознание и делает время главным элементом произведения. Ревель попадает в ловушку, невольно подстроенную Прустом: он принимает роман, размывающий собственную эстетическую форму, чтобы мимикрировать под жизнь, не данную иначе, чем в восприятии, и возникающую в процессе письма, за саму «жизнь», выстроенную романистом в линейный сюжет, где «герои» и «картины» играют первостепенную роль. Дело же, думается, не в «сюжете», а в самом процессе «размывания». И вовсе не герои находятся в центре читательского интереса.

Ревель придерживается противоположной точки зрения, считая, что именно герои приковывают наше внимание, поскольку они нам хорошо знакомы, а «когда мы хорошо знаем людей, нас волнует, что происходит с ними каждый день». Так интересуются событиями, подглядывая в замочную скважину. Однако прустовские герои мало напоминают реальных людей. Персонаж начинает жить полной жизнью на страницах произведения лишь тогда (таков парадокс!), когда он полностью «олитературен», увиден и описан автором так всесторонне и подробно, как мы никогда не сможем увидеть, например, нашего реального собеседника. Автор «Поисков...» действительно «реалистичен», когда он описывает своих персонажей, — но лишь в отношении угла зрения, под которым рассмотрены его герои: они увиденны рассказчиком — и только. Пруст не прикладывает никаких дополнительных усилий для их «лепки». Большинство его второстепенных героев даны лишь внешне, так, как видишь статую, человека в толпе, восковую фигуру. За восковыми фигурами подглядывать не имеет смысла.

Да, Ревель действительно попался в ловушку, приняв реальность взгляда на мир за реальность самого видимого мира.

Отсюда всего один шаг до поверхностного актуализаторства и ангажированности критики, когда анализ произведения подменяется историческими сопоставлениями, на самом деле мало имеющими общего с историзмом.

И Ревель делает этот шаг. Прустовское творение для него — повод, чтобы поговорить о снобизме или о политике (что неудивительно, если исходить из его научных пристрастий). В известном смысле он перешагивает через Пруста, видя в его цикле лишь еще один мемуар о «прекрасной эпохе», обличающий снобизм великосветских салонов и государственный шовинизм. Желание уйти от эстетства приводит его к отрицанию произведения как самодовлеющего эстетического факта. Он не только не попадает в «яблочко», но вовсе промахивается мимо мишени, коей в данном случае является художественное произведение как таковое.

Итак, не Пруст заблуждался относительно названия своей эпопеи, а Жан-Франсуа Ревель — называя свою книгу: «О Прусте». Ее следовало бы назвать «По поводу Пруста», в чем исследователь и сознается (правда, без сожаления) в финальной фразе книги: «Говорить о писателе — значит, опираясь на его авторитет, сообщать о том, что думаешь сам по поводу сказанного им».

Перед нами, увы, еще одна разновидность нарциссизма, притом менее перспективная, чем те, о которых писал Ревель: в зеркале произведения исследователь видит отражение даже не своего метода, но свое собственное. Под пером критика прустовский роман, нет, не препарируется — а просто исчезает по частям. Сначала изымается форма, потом рассеивается содержание. Остаются мысли «по поводу».

К сожалению, поиски «Поисков утраченного времени» закончились неудачей, так как, на поверку, не были предприняты.



МИРУ — МИФ

Мирча Элиаде. Аспекты мифа. Пер. с франц. В. Большакова. М. «Инвест — ППП», СТ «ППП». 1996. 240 стр.

Демонология эпохи Возрождения (XVI — XVII вв.). Пер. с англ., лат., нем., франц. Общая редакция и составление М. А. Тимофеева. М. «Российская политическая энциклопедия». 1995. 464 стр.

Душенко К. В. Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина. Что, кем и когда было сказано. М. «Юристъ». 1996. 240 стр.

Наивные, хотя и вполне последовательные попытки человека избавиться от мифологизированных представлений о мире и своем месте в нем успехом не увенчались. Мало того, чем дальше, как ему казалось, он убегал, «спасался» от мифа, тем глубже он в него погружался. Правда, в отличие от своих «архаических» предков, не осознавая естественности и значимости этого процесса. И лишь нынешний век, прошедший под знаком эсхатологических ожиданий и ознаменованный возникновением массы неоязыческих культов, заставил не только ученых-мифологов, но и обычных, хотя бы немного склонных к размышлениям граждан задуматься о том, почему опыт истории ничему не учит. Ответ на этот вопрос можно попытаться получить, только избавившись от снисходительного отношения к мифу, внутри которого все мы и существуем. Хотим того или не хотим.

Мирча Элиаде в каждой своей книге не устает объяснять очень простую вещь: «миф» следует рассматривать не в привычном значении слова, как «сказку», «вымысел», «фантазию», а «так, как его понимали в первобытных и примитивных обществах, где миф обозначал, как раз наоборот, «подлинное, реальное событие», и, что еще важнее, событие сакральное, значительное и служащее примером для подражания». Прослеживая изменение и «размывание» значения слова со времен античности, Элиаде в конечном итоге возвращает читателя к изначальному его смыслу на примерах «традиционных» обществ. «Понять структуру и функцию мифов в таких традиционных обществах значит не только прояснить некий этап в истории человеческой мысли, но и лучше понять одну из важнейших категорий современной жизни».

Сетую на то, что «бесписьменные» предки нынешних европейцев практически не оставили достоверных источников (помимо археологических) для изучения их основополагающих верований, Элиаде, как и другие крупные исследователи-мифологи XX века, моделирует архетипические представления о мироздании на основе изучения «примитивных» народов Африки, Австралии, Океании и т. д. Причем «примитивность», «нецивилизованность» этих народов вполне серьезно ставится им под сомнение. Всякий раз, читая Элиаде, задумываешься о том, тем ли путем пошло «основное» человечество. Естественность и обоснованность бытия архаических обществ вызывает если и не восхищение, то хотя бы уважение и желание понять — особенно памятуя о том, что в мире ничто никогда и никуда не исчезает.

Сознавая невозможность дать универсальное определение мифа, Элиаде тем не менее приводит одно из наиболее достоверных (он его называет «более приемлемым»): «...миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь то всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: остров, растительный мир, человеческое поведение или государственное установление». Многочисленные ритуальные обряды лишь повторяют «здесь и сейчас» первоначальную, подлинную реальность — связаны ли они с рождением и смертью, сбором урожая, инициацией или основанием нового поселения. Причем ориентация на цикличность, повторяемость бытия позволяет каждый год начинать все сначала, то есть жить не в истории, а в Вечности. Более подробно эта важная тема освещается в другой книге Элиаде — «Миф о вечном возвращении» (в русском переводе — «Космос и история». М. 1987).

Работа же «Аспекты мифа» ценна не столько подробностями, сколько общей концепцией, основанной на уверенности автора в том, что миф, какие бы внешние изменения он ни претерпевал, в конечном итоге все равно является не только важнейшей частью человеческого сознания (пусть и на интуитивном уровне), но и

единственно возможным фундаментом частного и общественного бытия. (В этом отношении у Элиаде есть, конечно, русские философские предшественники — в первую очередь Вяч. И. Иванов и А. Ф. Лосев.) Проследившая эволюцию мифа от «архаики» через античность, Средние века к Новому и Новейшему времени, Элиаде говорит: «Мифологическое мышление может отбросить свои прежние устаревшие формы, может адаптироваться к новым социальным условиям, к новым культурным поветриям. Но оно не может исчезнуть окончательно». Хотя бы потому, что человек хочет общаться с миром. А мир становится открытым лишь тогда, когда миф — явление живое, ведь он «говорит» с человеком на языке мифологических символов. Тогда «мир уже не есть непроницаемая масса объектов, произвольно соединенных вместе, но живой космос, упорядоченный и полный смысла. В конечном счете *мир раскрывает себя как язык*. Он говорит с человеком своим собственным способом существования, своими структурами и своими ритмами».

Этот универсальный язык усваивается любой религией, искусством, без него невозможно и создание нового культа. Память о «золотом веке» питает вечную надежду на обновление мира, приход «новых времен». Это эсхатологическое ожидание в секуляризованной, мирской форме создает почву для прихода очередного «спасителя», использующего мифологические корни для своего возвышения: «„Ариец“ был, собственно говоря, моделью для подражания с целью достижения расовой „чистоты“, обретения физической силы, героической морали, бытовавших в достославные и творческие времена „начал“». Что же касается Маркса (и его последователей), то они воспользовались «одним из самых известных эсхатологических мифов средиземноморско-азиатского мира — мифом о справедливом героическом искупителе (в наше время это пролетариат, страдания которого призваны изменить онтологический статус мира)». Примеры эти лишней раз доказывают необходимость знания «мифологического языка», дабы не обманываться до бесконечности — хотя «коллективное бессознательное» потому и бессознательно, что слишком «коллективно». Между тем «культура создается и возобновляется благодаря творческому опыту нескольких индивидуумов». Посему и не следует забывать о том, что художники (конечно же, наряду со священнослужителями) являются теми немногими, кто не только способен осмыслить мифологические архетипы, но и попытаться их правильно расшифровать, вписать в контекст истории, с которой — так уж получилось — мы вынуждены считаться.

К слову говоря, Мирча Элиаде не только ученый и философ, но и замечательный писатель-мистик, причем если свои научные работы он писал по-французски и по-английски, то художественные произведения — на родном румынском: видимо, язык предков более подходит для прямого «разговора» с миром. А его творчество в целом есть «борьба против времени», проникнутая надеждой «скинуть тяжесть «мертвого времени», которое давит и убивает».

Христианство, пришедшее на смену язычеству, было воспринято народами Европы с поразительной легкостью еще и потому, что новая религия во многом ассимилировала прежде бытовавшие верования, соотнеся языческих богов с библейскими пророками и христианскими святыми (не говоря уже об общности мифологических основ сотворения мира, которые в данном случае не только не отрицались, но авторитетно подтверждались). Те же мифологические персонажи, что не «вписались» в «положительные иерархии» христианства, были признаны демонами, бесами и всякими иными порождениями врага рода человеческого, а тех из людей (преимущественно женщин), кто имел с ними добровольное сношение, стали называть ведьмами. Под эту категорию попадали и знахари, лечившие соседских крестьян, и люди, отмеченные каким-либо особенным творческим даром, и те, кто просто внешне слишком уж отличался от себе подобных. В народной среде к ним относились более или менее терпимо, официальная церковь — с неприязнью и опаской. Но апофеоз борьбы с ведовством пришелся не на первые века христианства и даже не на Средневековье, а на Возрождение. Этой теме и посвящен сборник «Демонология эпохи Возрождения», где собраны под одной обложкой и демонологические трактаты и памфлеты того времени, и современные работы, в том числе и знаменитая «Синагога сатаны» Станислава Пшибышевского (у нас она переводилась до революции, большинство же текстов переведено на русский впервые). Хотя составитель М. А. Тимофеев констатирует, что до сих пор исследователям так и не удалось аргументированно объяснить, почему именно в эпоху Возрождения оформи-

лась система ведовских процессов и появилась основная масса антиведовских и демонологических трактатов, парадокса тем не менее здесь нет.

Ведовские процессы были вызваны к жизни не столько фантазией инквизиторов, сколько самой действительностью: она-то и толкала к ним как к единственному способу спасти мир от окончательного отпадения от Бога и подпадения под власть Сатаны. А кровавые издержки этих процессов не следует судить исходя из современных этических и нравственных категорий (да и вообще — имеем ли мы на то право?).

Отчасти официальная церковь сама породила то, с чем вынуждена была бороться. Ее невероятное богатство слишком контрастировало с жизнью обычного рядового человека, властолюбие же и несправедливость многих «наместников Божиих» заставляло порой сомневаться и в истинности учения, которое они проповедовали. Отсюда и бесконечное возникновение все новых и новых сект, пытающихся вернуться к идеалам первоначального христианства. До времен Возрождения мир представлялся народному сознанию стройным и ясным, пронизанным Божественным началом и смыслом: «...все концентрируется на спасении человека Христом, на вере, надежде и милосердии, на мире, который «хорош», ибо сотворен Богом-Отцом и искуплен Сыном, на человеческом существовании, которое больше не повторится и которое совсем не бессмысленно; человек волен выбирать добро и зло, но он не будет судим только за этот выбор» (Мирча Элиаде). Возрождение же во главу угла поставило человека. Немалую роль во всем этом сыграла и Реформация с ее «упрощением» обрядности и — одновременно — чудовищным фанатизмом.

Конкретный, живой, а не абстрактный человек в каком-то смысле оказался предоставлен самому себе. Но его насквозь религиозное, мистическое сознание требовало восстановления иррациональной системы ценностей. И когда место Бога занимал Сатана, система вновь обретала стройность и ясность. Пусть это и стройность наоборот. Черные мессы проходили по образу и подобию литургического действия, словно бы его перевернутое отражение. Ведьмы натирались мазями и то ли во сне, то ли наяву отправлялись на шабаши. Сатана правил бал. Инквизиция охотилась на ведьм.

Детально и зримо «демонологический пантеон» был описан именно в сочинениях на эту тему католическими и протестантскими богословами. Используя известные фольклорные мотивы, признания ведьм и магов, полученные зачастую под пытками, а также собственное воображение, они создали столь яркие образы представителей демониалитета, что художникам и писателям оставалось лишь досконально следовать их описаниям, чтобы «оживить» на холстах и страницах всевозможных выходцев из преисподней.

Иоанн Триттемий, глава аббатства святого Якова у Гербиполя, в «Трактате о дурных людях и колдунах» не только описывает виды людей, которым позволено управлять демонами, не только демонстрирует свои глубочайшие познания по части конкретных способов этого управления, не только знает, откуда ведьмы обладают столь великой силой, но и с научной четкостью объявляет, что для колдовства необходимы три вещи, «без чего не может состояться и осуществление его: злобная и ведьминскими желаниями испорченная душа, близкое сотрудничество с Дьяволом, но прежде всего — божественное разрешение. И если одно из этих условий не совпадает с другими, то колдовство состояться не может. Ибо если Бог не позволяет, того ни сам Дьявол, ни ведьма сделать не могут». Таким образом, он намечает на границу, дальше которой силы зла распространиться не в силах.

Анонимные памфлеты «Допрос и признание известных ведьм в Челмсфорде...», «О самом злобном деянии негодной ведьмы» и «Необычайное сообщение о шести самых отъявленных колдунах» довольно просто и подробно повествуют о всяческих ведьминских пакостях: «Итак, сказал королевский прокурор, обратившись к Агнес Уотерхауз, когда это твой кот сосал у тебя кровь? Никогда, отвечала та. Ну ладно, сказал прокурор, давай-ка посмотрим, и тут тюремщик снял с нее платок, и на лице у нее обнаружили различные пятна, одно из которых было даже на носу. Тут королевский прокурор сказал: ну что, добропорядочная Агнес, когда он в последний раз сосал твою кровь? Я утверждаю, сказала она, что в последние две недели ничего не было. После чего суд удалился на совещание». Перед смертью она раскаялась.

«Диалог о ведьмах и колдовстве» Джорджа Гиффорда несколько скучноват для современного читателя и довольно запутан. Фридрих фон Шпее в той части своего трактата «Cautio criminalis, или О процессах против ведьм», что перепечатана в книге, задается вопросом: может или не может демон создавать видимость присутствия невинных на ведовских шабашах? Трактат же Людовико-Марии Синистрари «О демониалитете и бестиалитете инкубов и суккубов» написан едва ли не с любовью к сим несчастным телесным существам, происхождение которых не вполне ясно. Письма Сирано де Бержерака «За колдунов» и «Против колдунов», как и другие его сочинения, в том числе и «Государства и империи Солнца» (фрагменты из которого также представлены), свидетельствуют, что автор их ни во что не верил, зато отличался богатым художественным воображением. Его сочинения в известной мере напоминают «Правдивую историю» Лукиана.

Завершает книгу очерк Роджера Харта «История ведовства», в популярной форме излагающий основные моменты этой самой истории. Написано для студентов Оксфорда в качестве (как сказано в комментариях) «подготовительного чтения для более углубленного изучения этого явления западноевропейской культуры».

Что же касается наших отечественных демонов, столь порезвившихся на российских просторах в этом близящемся к закату веке, то они оставили множество зримых следов. Некоторые из них в виде «крылатых фраз» помещены в сборнике Константина Душенко «Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина», книге, которая просто обязана стать настольной для политиков и политологов. А так как политология, по нашему глубокому убеждению, очень близка демонологии (пусть уж нас извинят те авторы, ни сном ни духом не имеющие отношения к политике, чьи слова попали на страницы, пестрящие именами Ленина, Сталина, Троцкого и иже с ними), а питается она, как и сама политика, во многом пусть из замутненного, но все же мифологического источника, то у нас есть все основания вновь процитировать Элиаде: «Эсхатологическая и миллениаристская мифология нашла свое новое рождение в самое последнее время в Европе, в двух политических тоталитарных движениях. Внешне абсолютно секуляризованные, нацизм и коммунизм насыщены элементами эсхатологического видения мира. Они провозглашают конец старого мира и наступление Эры изобилия и блаженства». Идеологи и творцы коммунизма (и нацизма — но не о нем речь) действовали всегда на манер шаманов, находя истоки, «начала начал» в среде «праотцев». Не случайно их «золотой век» — «первобытный коммунизм», а любой разбойник, зарезавший невинную жертву, — борец с угнетателями. Есть и свой двухголовый (а потом и трех-, и четырех-) патриарх — Маркс-Энгельс, у которого тоже были свои предтечи. «Учение Маркса несильно, потому что оно верно», — сказал Ленин. «Потому что так нам повелели наши предки», — говорит представитель австралийского племени аранта. И оба — правы. «Какой уклон хуже? Оба они хуже... Я только ученик Ленина», — добавляет Сталин.

Шаманское цитирование «сакральных» текстов, украшение ими стен, «уголков», стендов, плакатов и всего остального, на чем можно начертать несколько слов, их заучивание в тиши Ленинских комнат, поклонение мощам предков, переселение душ («Сталин — это Ленин сегодня» — Анри Барбюс), знаменитое начетничество Сулова, у которого на любой, самый невероятный, случай была припасена цитатка, — суть вещи слишком известные и очевидные, чтобы о них пространно рассуждать. Но вот цитаты, не намалеванные аршинными буквами на бескрайнем кумаче, а набранные обычным шрифтом в подбор (да еще и в алфавитном порядке), производят впечатление очень необычное. Так и тянет повторить: «Эта штука посильнее «Фауста» Гёте» (И. Сталин). И понимаешь, что и вправду «жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» (он же).

В авторских вступительных замечаниях оговорено, что в книге «собраны не только цитаты в собственном смысле, но также более или менее анонимные «крылатые слова», лозунги и (разумеется, выборочно) некоторые обороты русского политического языка XX века». «Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата» (В. Ленин). «Скромность украшает большевика» (И. Сталин). «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте» (он же). А вот и сам Бухарин: «Расстрелы как метод выработки коммунистического человечества». «Черноморский флот был, есть и будет российским» — это уже Б. Ельцин. «У меня мать русская, а отец юрист» (сами знаете кто). Авторов же ниже приведенных слов не знает никто, даже составитель книги, хотя каждая из этих цитат сопровождается попыткой найти истоки более или ме-

нее достоверные: «Анархия — мать порядка», «А ты записался добровольцем?», «Без Ленина — по ленинскому пути!», «Коллективная мудрость ЦК» и, наконец, «Коммунизм — светлое будущее всего человечества».

Учтены также высказывания, связанные с областью политики, идеологии, общественной жизни, и известные фразы крупных политиков, даже если они впрямую и не касаются политики. «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины» (Г. Маленков). «Дайте мне двадцать лет покоя, и я реформирую Россию» (перефразированный П. Столыпин). «Мы не рабы. Рабы не мы» (Дора Элькина). «Не родился еще на свет больший демократ, чем ваш покорный слуга» (Р. Хасбулатов). И уж совсем сакраментальное: «Борис, ты не прав!» и «Чертовски хочется работать!» (обе — Е. Лигачев).

Цитировать можно бесконечно, тем более что еще целый раздел посвящен цитатам зарубежного происхождения, имеющим то или иное отношение к России. Но — невозможно, ибо читать книгу следует по порядку, именно так, как она составлена автором. И еще необходимо заметить, что в издании есть один явный недостаток — отсутствие энного числа чистых страниц, на которых бы каждый читатель мог записать свежайшие образчики словесно-политического творчества. Зато присутствует подробный указатель имен и — отдельно — цитат, ключевых слов, что упрощает работу с новым «цитатником» для тех, кто решит его использовать по «прямому» назначению.

Когда XX век отодвинется настолько далеко в глубь веков, что потомки будут воспринимать его через запятую с Древним Египтом, античностью и Средневековьем, мифы нашего времени будут изучаться с гораздо большей дотошностью, так как их бытование запечатлено в письменной форме.

Миф должен был стать книгой, и он стал ею. Каждая книга — модель мифа, ибо ее всегда можно начать сначала. «Знать мифы значит приблизиться к тайне происхождения всех вещей» (М. Элиаде). Следовательно, мифы надо читать. Без них мир скучен и нем. И слишком страшен.

Игорь КУЗНЕЦОВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДВА ПИСЬМА О РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

СКОЛЬКО СТОИТ НАУКА?

Наука может процветать лишь там, где она почитаема и пользуется независимостью и самостоятельностью.

М. Катков.

Случалось ли вам, читатель, производить продукцию, которая ничего не стоит? Не то чтобы никому не нужна, это дело привычное, а вот именно бесценна, то есть не стоит ничего. Именно в таком состоянии пребывает отечественная наука. Несложно догадаться, что положение это отнюдь не комфортное и оно не изменится до тех пор, пока продукты деятельности науки не обретут конкретную стоимость.

Так что же все-таки производит наука? Конечным этапом фундаментальных исследований является новое знание. Оно — так же как искусство — плохо вписывается в систему товарно-денежных отношений и действительно бесценно, ибо несопоставимо ни с какими деньгами. Увы, заработная плата научных сотрудников красноречиво об этом свидетельствует — только с обратным знаком. Но есть и другая сторона медали: именно уровень фундаментальных исследований в конечном счете определяет качество экономики, национальный доход, обороноспособность и прочие существенные параметры того социального организма, который нынче любит определять словом «держава».

Даже производимые фундаментальной наукой по ходу дела и являющиеся для нее побочным продуктом изобретения и усовершенствования играют важнейшую роль в экономике. Не зря Петр Великий, перенимая различные западные диковины, основал заодно и Академию наук. И эта сомнительная, с точки зрения наших националистов, организация верой и правдой служила отечеству¹.

Приведу один не очень известный пример. В конце 30-х годов академик П. Л. Капица занимался сугубо фундаментальными исследованиями свойств жидкого гелия. Для этих экспериментов требовался жидкий воздух. Существовавшие тогда низкопроизводительные методы ожижения воздуха его не удовлетворяли. И он их усовершенствовал так, что появилась возможность ожижать воздух во вполне промышленных масштабах.

А потом началась война, и потребовалось много высокосортной стали. А наши мартеновские печи остались в основном на Украине. Тут-то и вспомнили о мобильном высокоэффективном способе — варке стали в конверторах с кислородным дутьем. Кислород в нужных количествах можно получать разделением на фракции жидкого воздуха, который ожижается с помощью турбодетандера Капицы. Так круг замкнулся, и наша танковая броня оказалась лучше хваленной немецкой со всеми вытекающими из этого славного факта последствиями. Подчеркну, что все это произошло вследствие интереса П. Л. Капицы к свойствам жидкого гелия. (За эти исследования П. Л. Капица удостоился Нобелевской премии.)

Не случайно хорошо умеющие считать деньги цивилизованные страны выделяют на фундаментальную науку заметную долю национального дохода и постоянно совершенствуют не очень простой механизм ее функционирования. У нас денег на нее считайте что нет (с трудом хватает на символическую зарплату и коммунальные услуги). По поводу механизма функционирования науки тоже хвастаться нечем (кроме совершенно удивительного факта выживания ее в таких невероятных усло-

¹ Появившиеся в последние годы в «патриотической» печати исторические статьи на эту тему, основанные на исследовании национального состава академиков, свидетельствуют в основном о невежестве авторов. Не было бы Академии — не стало бы Ломоносова.

виях). В чем мы преуспели за последние годы, так это в количестве организаций, занятых управлением наукой. Не имея возможности привести полный список, замечу только, что число «нянек» заметно превышает критическую цифру семь.

Однако фундаментальная наука составляет только малую часть общего объема научных исследований. 90 процентов занятых в этой сфере людей, средств, ресурсов приходится на прикладную науку, которая уже своим происхождением обязана товарно-денежным отношениям и, вообще говоря, неплохо в них вписывается. Чем же занимается прикладная наука? Она создает различные технологии, то есть устройства или процессы, предназначенные для использования в экономике если не сегодняшнего, то завтрашнего дня. И эти технологии стоят очень и очень дорого, о чем свидетельствует, например, колоссальное развитие промышленного шпионажа. Известно немало случаев, когда удачные технологии приносили своим создателям сверхприбыли. Может, это и режет слух нашему идеалистически настроенному читателю, но именно стремление к большим прибылям вдохновляет множество внедренческих фирм, которые служат закваской научно-технического прогресса. И именно поэтому прикладная наука является наиболее динамичной сферой экономики Запада.

А что же у нас? При советской власти все разработки производились государственными организациями на государственные средства и принадлежали государству. Внедрение разработок в экономику также производилось (или не производилось) централизованным образом, причем для фирмы-разработчика первый случай отличался сравнительно небольшой дополнительной премией и большой морокой при внедрении. То есть для нее польза от внедрения была, прямо скажем, невелика, а часто сомнительна. Главное было — пробить тему, получить финансирование, освоить его в полном объеме, а отписаться потом всегда можно, тем более что начальство тоже заинтересовано в положительной отчетности. Известно немало фирм, за двадцать — тридцать лет ничего не внедривших, то есть работавших вхолостую и вместе с тем весьма преуспевавших. Естественно, такой механизм функционирования привел к стагнации большей части прикладной науки.

Несложно понять, что разработанные технологии при этом цены не имели. Конечно, можно было посчитать, во сколько они обошлись государству, но это же не цена, поскольку никак не отражает ни качество, ни уровень полезности данной технологии. Впрочем, это было несущественно, так как конкретных прибылей не получал никто.

Наконец, приспели перестройка, хозяйственная самостоятельность, приватизация. И тут-то приличные НИИ с удивлением обнаружили, что основной наработанный ими капитал — эти самые технологии, — во-первых, неясно, кому принадлежат, во-вторых, ничего не стоят. «Но позвольте, — возразит читатель, — у нас в стране принят целый пакет законов об охране интеллектуальной собственности». Принят-то он принят, да только данную проблему, к сожалению, совсем не исчерпывает.

Давайте разберемся подробнее. Законы о защите интеллектуальной собственности основаны на авторском и патентном праве. Первое относится к законченным произведениям и защищает права авторов, например, на текст — но не сюжет. То есть авторское право (и то с большими натяжками) может защищать права авторов отчетов и описаний, а не саму технологию².

Перейдем к патентному праву. Оно оперирует с изобретениями, суть которых не технологии, а их идеи. А путь от идеи до готовой технологии, как правило, и далек и дорог. Часто бывает, что в новой технологии содержится целый ряд изобретений. Бывает и наоборот, когда новая ценная технология — удачная реализация старых идей. Таким образом, права на изобретения не исчерпывают права на технологию. Кроме того, стоимость патентов (если они чего-то стоят — об этом ниже) может составлять лишь малую часть стоимости технологии, что не является основным ценообразующим фактором.

Вдобавок — согласно нашему патентному законодательству — преимущественные права на получение патента на изобретение имеет работодатель, то есть, как правило, государственное предприятие. И совершенно неясно, как и в каком объеме оно может вводить в хозяйственный оборот принадлежащие ему патенты.

² Тем не менее были попытки приватизировать технологии на основе прав авторов отчетов. Чего только у нас не бывает.

Так, до сих пор в неотмененной части горбачевского указа о статусе РАН утверждается, что все результаты разработок и исследований, проводимых академией, безвозмездно передаются государству. Вот вам и патентное право. Реально лицензионный рынок, который только и может определить цену патентов, также не работает. Не случайно в последние годы резко уменьшился поток заявок на изобретения. Раньше за них по крайней мере 50 рублей давали, причем каждому автору! Вообще отношение к интеллектуальной собственности у нас в стране и обществе хорошо иллюстрируется следующим фактом. Всем известно, сколь острая борьба идет между Россией и Украиной за раздел Черноморского флота, порой кажется, борьба не на жизнь, а на смерть, грозящая окончательно загубить дружбу братских народов. А слышал ли читатель что-нибудь о борьбе за раздел многочисленных совместных авторских свидетельств на изобретения?³ Сравните это с борьбой стран антигитлеровской коалиции за полученные ими по репарации германские свидетельства и патенты. И вы поймете, что техническая интеллектуальная собственность в нашей стране действительно ничего не стоит.

Вы не обратили внимания, что в многочисленных выступлениях по поводу нашей науки постоянно звучит рефрен — дайте, дайте, дайте денег. А не дайте зарабатывать. Поскольку то, что производит наука, у нас ничего не стоит, заработать действительно невозможно. В результате почти единственный способ выживания НИИ в наше время — погоня за госзаказами и освоение или проедание отпущенных средств. То есть все как до перестройки, только вот объем госзаказов стал существенно меньше. Не случайно наш ВПК, в котором сосредоточена большая часть прикладной науки, сильно тоскует по старым временам. Но живет же американский ВПК в условиях рыночной экономики, и весьма неплохо живет.

Получается парадоксальная ситуация. Нет недостатка в призывах и обещаниях перевести прикладную науку на рельсы рыночной экономики. И это действительно необходимо, так как возвращение к госплановской экономике утопично и губительно разом. Но как это сделать, если в данной отрасли нет ни собственника, ни собственности, ни рынка; и практически ничего не сделано для их создания.

Чем дальше область деятельности от конкретного потребителя, тем сложнее для нее путь к рынку, тем больше завалов на этом пути. Для их расчистки необходимы большие усилия как государства, так и заинтересованных лиц и организаций. На самотек здесь, к сожалению, надеяться не приходится. Необходима четкая долговременная комплексная программа перевода прикладной науки на рыночные рельсы. Эта программа должна включать в себя реальную приватизацию технической интеллектуальной собственности, создание реального рынка инноваций, серьезный пересмотр системы секретности в области НИОКР. Причем при разработке такой программы на государственных чиновников рассчитывать не приходится: они могут родить только что-то вроде печально памятной программы конверсии. Не случайно из известных проектов закона о науке наименее удовлетворительным оказался вариант, разработанный российским Министерством науки⁴.

В связи с этим не могу не отметить один из главнейших парадоксов нашей российской действительности. Сложнейшая проблема коренной перестройки государственного механизма отдана в основном на откуп исполнительной власти, то есть государственным чиновникам. А они (при всем к ним уважении) суть исполнители, призванные действовать согласно заранее определенным, не ими выработанным, правилам. А теперь с них требуют коренным образом эти правила изменить, да еще и за результат отвечать. Вот и топчутся реформы на одном месте. И все дружно (и справедливо) ругают чиновников за некомпетентность. Но откуда ей взяться, если наши чиновники к данной работе принципиально не приспособлены?

...Для выработки современных принципов функционирования отечественной науки, и в том числе механизмов управления ею, необходимы интеллектуальные усилия самой научной общественности. От нас требуется не тоска по старым, от-

³ Автор не утверждает, что не производилось никаких действий по разделу авторских свидетельств. Просто отсутствие сведений о них ярко характеризует «интерес» общества к этой тематике.

⁴ Действия наших руководящих органов напоминают анекдот (или быль) из эпохи застоя: «Выписка из протокола заседания Президиума Академии наук СССР. Слушали: О восьми совместительствах академика Боголюбова. Постановили: Запретить совместительство младшим научным сотрудикам».

носителем «сытым» временам (они ушли безвозвратно), не разъедающее раздражение по отношению к вольным или невольным виновникам кризиса науки (кризис возник отнюдь не в 1991 году, не в 1985-м, но гораздо раньше, и мы тоже за него ответственны), а — мужество и вдумчивая разработка путей выхода из него.

Р. С. Пока я писал и пристраивал это письмо в журнал, ситуация с фундаментальной наукой заметно ухудшилась, что и заставляет взяться за перо снова.

Как известно, фундаментальная наука сама зарабатывать не может и вынуждена существовать на средства государственного бюджета. Этим средств хватает в лучшем случае на режим выживания (оплата коммунальных платежей, минимальная зарплата сотрудникам), но совсем не хватает собственно на проведение исследований и на развитие материально-технической базы. Исследования держатся исключительно на энтузиазме ученых, которые, проявляя чудеса изобретательности, умудряются поддерживать изношенное и устаревающее оборудование в рабочем состоянии, используя комплектующие из старых запасов или с Митинского рынка (а то и со свалок).

Увы, запасы кончаются, и недалек тот день, когда работать будет просто не на чем. Спрогнозировать его легко, так как приборный парк в науке должен обновляться примерно раз в десять лет, а пополнение его в российской науке прекратилось в 1990 — 1991 годах. Гранты (целевое финансирование на проведение конкретных исследований) не спасают, так как выделенных средств (3 — 4 миллиона в год на одного, участвующего в теме, сотрудника в 1995 году) в лучшем случае хватает только на проведение экспериментов. К тому же грант получает далеко не каждый, например, РФФИ⁵ (основной поставщик грантов для фундаментальной науки) в состоянии удовлетворить только 20 — 25 процентов заявок. Есть еще программа укрепления материальной базы науки и поддержания работоспособности уникальных установок. Однако объем ее совершенно недостаточен (менее процента от стоимости существующего парка научного оборудования).

Но самое удивительное состоит в том, что начальство склонно рассматривать сложившуюся в науке ситуацию не как чрезвычайную, а как вполне нормальную, стационарную. Действительно, институты функционируют, статьи и отчеты пишутся и даже акции протеста проводятся только в случаях многомесячной задержки зарплаты, да и то сравнительно редко и скромно. А на негромкие сетования ученых, что такая финансовая политика весьма скоро приведет к полному исчезновению фундаментальной науки, звучат требования сначала доказать, зачем, собственно, вообще наука нужна.

В этом плане весьма показательны высказывания зампреда правительства Вл. Кинелёва, курирующего вопросы науки, культуры и образования: «Важно показать, что огромные заделы фундаментальной науки могут быть использованы для того, чтобы повысить качество жизни каждого из нас. В противном случае убеждать общество в необходимости серьезной академической науки будет очень и очень трудно». А чтобы было ясно, на кого эта работа возложена, Кинелёв добавляет: «Фундаментальная наука должна стать неотъемлемой частью материального производства через те наукоемкие разработки, которые есть сегодня в РАН» («Независимая газета»).

И несущественно, разделяет ли сам Кинелёв эти требования или только их выражает, важно, что они отражают глубокое непонимание обществом роли фундаментальной науки и, соответственно, кризис самого общества.

Действительно, фундаментальная наука (тут она сродни высокому искусству) никогда из соображений утилитарной полезности не исходила, а всегда питалась немеркантильной тягой к знаниям, а глубже — стремлением постичь в материальном мире замысел Божий. Более того, утрачивая пафос бескорыстия, она просто переставала быть фундаментальной наукой. И опыт истории показывает, что именно такой подход оказывается в итоге удивительно рентабельным. Страны, в которых давно и прочно развился пиетет к фундаментальной науке, достигли высочайших экономических высот, а там, где часто дебатировался вопрос о полезности науки, приходится постоянно догонять и в экономике.

Нельзя сказать, что в России этого никогда не понимали — вынесенное в эпиграф высказывание Михаила Никифоровича Каткова красноречиво. Но, к со-

⁵ Российский фонд фундаментальных исследований.

жалению, длительное господство коммунистической идеологии прочно привило нам дух вульгарного прагматизма, требующий от всех явлений духа немедленной (к тому же утилитарной) пользы — в ущерб пользе подлинной.

Могут возразить, что такие рассуждения были хороши в прошлом веке, когда ученых было мало и, так сказать, удовлетворение их любопытства обходилось не очень дорого. Однако и сейчас расходы богатых стран на фундаментальную науку составляют 0,2 процента от ВВП, что не очень обременительно. (Необходимость гораздо больших расходов на прикладную науку, особенно ВПК, в нашей стране сомнения не вызывает.) Тем не менее 0,2 процента от ВВП, конечно, тоже деньги немалые. И, в принципе, можно понять чиновников, которым нужны — для их выделения — веские основания, аргументы.

Но такие обоснования есть, их немало. Остановлюсь только на одном: изобретательстве, — поскольку здесь наглядно проявляется специфика фундаментальной науки. Давно отмечено, что наиболее яркие, нетривиальные изобретения появляются именно в ней, а не в прикладной науке⁶. И это не случайно. Прикладная наука, связанная с широким использованием дорогих технологий, может быть эффективной только за счет узкой специализации. А узкая специализация с необходимостью сужает кругозор исследователей, нацеливая их скорее на доводку существующего, чем на подлинные новации. Оригинальные изобретения, включающие в себя синтез идей из разных областей знаний, требуют широкого, почти философского кругозора. А он характерен как раз для фундаментальной науки с ее склонностью к обобщениям и синтезу⁷. Поэтому в ее рамках и рождаются наиболее оригинальные изобретения, которые сами по себе уже достаточны для обоснования существования фундаментальной науки.

Однако следует помнить, что для науки это побочный продукт и, более того, сама она не в состоянии их доработать и довести до практики. Последнее как раз и является основной работой прикладной науки. К сожалению, в силу ряда причин (в том числе ведомственной разобщенности) в нашей стране связь между фундаментальной и прикладной наукой слаба, и потому «огромные заделы» фундаментальной науки используются крайне мало. Однако бессмысленно винить в этом фундаментальную науку, а тем более требовать, чтобы она сама доводила свои изобретения до производства. И в этом плане очень опасен второй тезис Кинелёва: «Фундаментальная наука должна стать неотъемлемой частью материального производства». На этом пути мы просто потеряем фундаментальную науку.

И последнее, что хотелось бы сказать. Фундаментальная наука — очень нежное, прихотливое растение, которое сложно вырастить, но легко сломать. Потребовалось ждать около ста лет от учреждения Петром I Академии, чтобы российская наука всерьез расцвела. И наоборот: академик Лысенко давно умер, а наша биология до сих пор не может до конца оправиться от учиненного его шайкой погрома.

Сейчас критические времена для российской фундаментальной науки. И если она рухнет, в непростых и специфических условиях XXI века восстановить ее в России будет сложно, а быть может, и невозможно.

Б. ДУМЕШ,

кандидат физико-математических наук.

ЕСТЬ ЛИ У НАУКИ ШАНС ВЫЖИТЬ?

В январе этого года, сразу после известной акции шахтеров, в учреждениях Академии наук (институтах, издательстве «Наука», редакциях научных журналов) было объявлено, что правительство пока не выделило средств для финансирования АН на начало года, а значительный долг за прошлый год не будет выплачен вообще. Поэтому сотрудникам было предложено уйти в отпуск без сохранения содержания, предположительно до марта месяца. Некоторые институты, имеющие ка-

⁶ Один такой пример — с кислородом — приведен выше.

⁷ Именно это качество позволяет успешно бороться с бичом XX века — узкой специализацией. Следует также подчеркнуть, что здесь тщетны надежды на компьютеризацию и информатику, так как они позволяют только упорядочить информацию. А чтобы извлечь из нее что-то нужное, опять необходима достойная широта кругозора.

кие-то финансовые резервы, частично зарплату за январь выдали, другие этого сделать не сумели. При этом многие оставшиеся без зарплаты сотрудники продолжают работать, формально находясь в неоплачиваемом отпуске. Они пытаются сохранить искру научной жизни в нарастающей разрухе. В редакции нашего ведущего физического журнала — ЖЭТФ¹ — продолжалась подготовка очередных номеров, поскольку сбой в работе редакции — это катастрофа, потеря репутации, создававшаяся десятилетиями безупречной работы, это нарушение обязательств перед иностранными партнерами (ЖЭТФ переводится на английский язык, и это один из немногих наших физических журналов, активно читаемых за границей). Собственно, работа за бесплатно — это сейчас скорее норма, чем исключение. Мы видели в телевизионных передачах сотрудников МВД, продолжающих стеречь зеков, несмотря на трехмесячный долг по зарплате, да и те же шахтеры, прежде чем выколотили своими касками деньги из правительства, сидели голодными несколько месяцев. Товарищи Анпилов и Зюганов могут радоваться — мы наконец приближаемся к победе коммунистического труда, правда, добиться в этом деле выдающихся успехов удалось не коммунистам, а первому демократически избранному президенту и его правительству.

Я не знаю, связаны ли были невыплаты академии с выплатами шахтерам, но очень уж скоррелированы по времени эти события. Да и власти все время утверждали, что долгов у бюджета перед шахтерами за 1995 год не было, зарплату шахтерам задолжал кто-то другой (компания «Росуголь», потребители, смежники — ненужное вычеркнуть), но наше доброе государство таки вошло в положение и выдало им дополнительно 200 млрд. руб. Таким образом, правительство сознается, что кто-то украл у шахтеров 200 млрд., а оно вместо того, чтобы найти вора и отобрать у него украденное, отдало шахтерам что-то из своих «резервов». Как известно, лишних денег не бывает. В данном случае это оказались, как всегда, деньги бюджетников — тех, кого обидеть не страшно: промолчат.

О катастрофическом финансовом положении всей бюджетной сферы писали многократно, да и каждый из нас на своей шкуре чувствует положение в медицине, образовании. Справедливости ради надо отметить, что развал нашего образования, здравоохранения и науки начался давно, еще при «дорогом Леониде Ильиче». Нынешние власти всего лишь продолжают ту же линию. Однако тема моей статьи более узкая — о положении дел в науке, более точно — фундаментальной науке.

Есть сферы экономики, кризис которых мгновенно отражается на жизни общества. Например, если завтра перестанут работать нефтяники, через месяц остановятся заводы, транспорт, станет холодно и темно. Если умрут школы, то немедленный эффект будет гораздо слабее, чем отдаленный, — через десять лет у нас некому будет работать, потому что новое поколение взрослых окажется элементарно неграмотным. Эффект от остановки научной деятельности в стране не менее силен, но проявляется медленно и не столь явно. Нет фундаментальной науки — и почему-то плохо идет прикладная. Нет фундаментальной науки — и почему-то плохо учат студентов в вузах, появляются трудности с высокими технологиями, промышленность становится невосприимчива к новациям, экономика оказывается неконкурентоспособной. Обратите внимание, как международный авторитет страны четко соотносится с уровнем научных исследований. Маленькая Швеция, имея сильную науку, имеет и сильную экономику, уважаема международным сообществом. Маленькая Голландия знаменита не только своими тюльпанами, но и чрезвычайно высоким уровнем научных исследований. Смеем предположить, что, не будь наука (не сельскохозяйственная, здесь связь очевидна, а фундаментальная) в Голландии столь развита, тамошний фермер не оказался бы столь восприимчив к новациям и у него, возможно, не стоял бы в теплице компьютер, управляющий ростом тех же тюльпанов. Большого Китая боятся из-за атомной бомбы, но не сильно уважают, ведь даже его нынешние экономические успехи — бег за далеко ушедшим вперед поездом. Надо отметить, что Китай таки осознал, что без фундаментальной науки не прорваться на мировом рынке высоких технологий. Огромные по масштабам его экономики вложения в науку и подготовку научных кадров, в том числе и за рубежом, начали наконец давать плоды — в международных научных журналах стали все чаще появляться труды китайских ученых.

¹ «Журнал экспериментальной и теоретической физики».

Наука, наконец, — это часть, и органически важная часть, общей культуры общества. Нет ее — и общество перестает понимать само себя, теряет ориентиры. Неспроста ведь именно теперь, когда наука как бы стала ненужной, у нас как грибы после дождя поперли всевозможные «целители», астрологи, хироманты, колдуны и т. д. Скоро можно ожидать появления Государственного института астрологии или НИИ Гадания на кофейной гуще. А что — ведь по Российскому государственному каналу еще недавно сразу после программы новостей демонстрировалась астрологическая «сводка погоды». Вся галиматья, которую там несли импозантные дамы и господа в академических мантиях, как бы заверялась печатью — принадлежностью к государственному каналу вещания.

Есть такой анекдот. Спрашивается: что будет, если всех жителей Швеции мгновенно переселить в Уганду, а всех угандийцев — в Швецию? Ответ: через двадцать лет в Уганде будет Швеция, а в Швеции — Уганда. В этом анекдоте в специфичной для жанра форме выражена очень важная мысль: главное богатство страны — совокупность знаний и умений ее людей. Страна с образованным, работающим населением преодолет любые проблемы и восстановит свою экономику после самой большой катастрофы (вспомните послевоенные Японию и Германию). Другой анекдот из той же серии, сравнивавший СССР с Верхней Вольтой, несправедлив: кроме наличия ракет, нашу страну отличал от Верхней Вольты высокий образовательный ценз населения. Это давало надежду, что, преодолев экономический кризис, мы быстро рванем вперед. По ракетам мы пока еще далеко опережаем Африку, а вот по образованию и науке разница стремительно падает. (Да вы бы посмотрели на исследовательские центры в среднеразвитых африканских странах, у «наших», там побывавших, дух захватывает от их оборудования.) Вложение средств в науку (равно как в образование и здравоохранение) — это инвестиции в будущие поколения, которые объективно говорят о прочности политического режима. Власть большевиков в добрежневский период нуждалась в науке, поэтому, несмотря на свою нелюбовь к интеллигентам вообще и ученым в частности, науку как-то поддерживала. В брежневский период началась агония власти. Она, видимо бессознательно предчувствуя кончину, ухудшила и финансирование науки. Кстати, миф о процветании науки при коммунистах далек от действительности: более-менее благополучное материальное положение было в областях, связанных с военным производством, а в остальных — и небогатое оборудование, и низкие зарплаты. Более того, в последние двадцать — двадцать пять лет отставание от мирового уровня чувствовалось все сильнее и сильнее. Однако на фоне сегодняшней нищеты все это вспоминается как богатство и процветание.

Настораживает бодрый тон всевозможных официальных оптимистов при анализе ситуации в фундаментальной науке. Смысл большинства речей сводится к тому, что да, ситуация тяжелая, но, несмотря на все сокращающееся финансирование, наука жива, ученые работают, делают все более выдающиеся открытия и т. д. Вот и Госпремии недавно президент вручал... Все происходящее напоминает еще один анекдот — о том, как цыган лошадь есть отучал. Почти отучил, да случайность помешала — лошадь померла. Российская наука находится в предсмертном состоянии с диагнозом «дистрофия» и при существующем к ней отношении протянет, по оптимистической оценке, еще лет пять — шесть (пессимисты считают, что она уже умерла). Постараюсь доказать это на основе фактов из жизни нашего института, положение дел в котором — далеко не худшее.

Итак, бюджетное финансирование, которое теоретически должно покрывать как минимум все коммунальные платежи и тарифную зарплату, составило в 1995 году в расчете на одного сотрудника 6,3 млн. руб. Отнимем коммунальные платежи — 2,2 млн. руб. Если бы оставшиеся деньги были истрачены только на зарплату, то за вычетом всех налогов получилось бы в среднем 230 тыс. руб. в месяц. На таком пайке действительно сидят многие институты. А ведь надо покупать материалы и хотя бы ремонтировать оборудование (цены на все это уже вполне мировые). Очевидно, при таких доходах говорить о серьезных исследованиях не приходится. Какая-то научная деятельность у нас пока ведется за счет наработок прошлых, «благополучных» лет, поэтому удалось получить под нее из других источников (целевые программы Министерства науки, гранты Российского фонда фундаментальных исследований, гранты охаянного «патриотами» международного научного фонда — Фонда Сороса и т. д.) дополнительные средства, которые и позволили по минимуму, только для поддержания работоспособного состояния оборудо-

дования, закупать какие-то приборы и материалы, а зарплату научным сотрудникам в наиболее активных отделах довести до уровня 400 — 600 тыс. руб. Благодаря этому институт еще существует. Казалось бы, что же еще надо — живы, и слава богу, сейчас всем трудно. Не надо, однако, строить иллюзий. Мы «проедаем» остатки накопленного за многие годы научного багажа. Наука, как любая высокотехнологичная отрасль, требует постоянного развития. Ученый — как спортсмен-профессионал: если не тренируется — деградирует. Научное оборудование не только изнашивается физически, но и быстро стареет морально. На изношенных устаревших приборах нового ничего не сделаешь. Еще пару лет такого «развития» — и наши научные учреждения будут представлять в лучшем случае музейный интерес.

Раньше, хотя заработки ученых были таковы, что приходилось регулярно летом ездить на «шабашки», оборудование какое-то было, поэтому была возможность заниматься более-менее полноценной научной деятельностью. Радость творческого труда компенсировала бедность существования. Сейчас бедность превратилась в нищету, тем более бессмысленную, что и нормальную работу вести стало невозможно. Приборы стареют и ломаются, о замене и думать нечего. А в это время во всем мире идет интенсивнейшее включение новейших приборных разработок в практику исследований. Мы не получаем многих научных журналов (а те, что получаем, приходят в основном бесплатно за счет международных связей наиболее известных ученых), не ездим на научные конференции даже внутри СНГ, не говоря уж о международных. Итог — молодые ученые бегут за рубеж, где у них есть какие-то перспективы. Люди среднего возраста понемногу тоже расползаются, частично по границам, частично по коммерческим организациям. Занятие наукой (точнее, тем, во что сейчас это превратилось) становится уделом людей предпенсионного возраста. В 1985 — 1990 годах в нашем институте число научных сотрудников в возрасте до тридцати лет было примерно постоянным и составляло 18 — 20 процентов от общего числа ученых. Сейчас — 8,5 процента. Средний возраст научных сотрудников в 1990 году был примерно сорок лет, сейчас — сорок три, то есть за пять лет институт постарел на три года (и это при том, что в последние годы активно отправляли на пенсию пожилых сотрудников). За три последних года на работу принято пять молодых специалистов (из которых один уже уволился), раньше их принимали каждый год по шесть — восемь человек. Преемственность — одно из важнейших необходимых качеств существования науки. Сейчас формируется разрыв поколений, который проявится в полной мере: когда наше общество спохватится и начнет восстанавливать науку — молодых учить будет некому.

При обсуждении вопроса о том, достаточно ли ученым зарплаты 600 тысяч в месяц (хорошо — если: многие и о такой мечтать не могут), следует помнить, что, по крайней мере в области квалифицированного труда, мы уже находимся на международном рынке рабочей силы. Активные и особенно молодые ученые выбирают те страны, где научный труд ценится выше. При этом трудно найти место, где он ценится бы ниже, чем в России. Даже бедные государства, чей средний уровень доходов мало отличается от нашего, оплачивают высококвалифицированный научный труд гораздо лучше. Например, коллеги, убежавшие от нашей нищеты в Турцию, получают там в университетах и исследовательских центрах по 700 — 1000 долларов в месяц, при этом жизнь там дешевле, по их оценкам, минимум в два-три раза. Парадокс — «бедная» Россия оплачивает подготовку специалистов высшего класса для богатых Европы, Америки и менее богатых Турции, Мексики и т. д. Если мы хотим, чтобы ученые работали дома, надо им предлагать зарплату, соответствующую хотя бы международному минимуму. Другой выход — снова границу на замок, закрыть все частные предприятия, всем — одинаковое «жалованье» от государства (здесь мы уже были, никто, кроме анпиловских старушек, уже не верит, что именно эта дорога ведет к Храму). Мало только зарплаты, на оборудование надо выделять минимально разумные средства. Сколько? Давайте посчитаем. Итак, в «годы застоя» на одного ученого в Академии наук на собственно научные исследования выделялось примерно по 10 тыс. руб. в год. Это было не так мало, проблемы были в другом: деньги были разной цены — наличные, безналичные, отдельно — валюта, которую «выбить» на закупку совершенно необходимых импортных приборов было почти невозможно. А еще всеохватывающие «фонды» и «лимиты», из которых в науку ничего почти не попадало, так что даже эти 10 тысяч не всегда удавалось израсходовать. Сейчас (и это реальное достижение нашей, начавшей выбираться из сумасшедшего дома, коммунистической распределительной

системы экономики) большей части этих проблем нет, но нет и денег. Даже если исходить из официальных цифр инфляции (по моему внутреннему ощущению, они занижены по группе товаров, представляющих для меня интерес и как ученого, и как едока, раза в полтора-два), «застойные» 10 тысяч соответствуют нынешним 50 миллионам. Добавьте к этому примерно столько же «грязными» на зарплату (на одного сотрудника научной лаборатории приходится в среднем 1—1,2 человека вспомогательных служб, да еще налоги, так что собственно на зарплату научному сотруднику останется не более 2 млн. руб. в месяц — 400 — 450 долларов), получится в сумме 100 млн. руб. в год. Это минимум, необходимый для скромного выживания естественнонаучных институтов. Мы же имеем сейчас из всех источников вместе взятых раза в четыре меньше (многие имеют в десять — пятнадцать раз меньше), и это при активной борьбе за существование, поиске всех возможных источников финансирования. На такие средства нельзя даже поддерживать существующие научные направления, не говоря уж о новых.

Может быть, названные суммы неподъемны для государства сегодня? По полуофициальным данным, у нас в стране сейчас 1,2 миллиона научных работников (неужели действительно так много?). Если каждому по 100 миллионов в год — 120 триллионов. Такую сумму, безусловно, наш хилый бюджет не потянет. Да и не нужна нам, наверное, миллионная гвардия людей, числящихся «при науке». А сколько нужно? А столько, сколько можем нормально прокормить. Если исходить из признаваемой всеми за разумную цифру ассигнований на науку 4 процента от бюджета, получается примерно 18 — 20 трлн. руб. (в 1995 году было реально выделено чуть больше 5 трлн. руб.). Ясно, что страна может содержать с пользой для себя (то есть имея реальную отдачу от науки) не более двухсот тысяч ученых. Какой же выход? Выходов, как всегда, два. Путь, по которому мы идем все пять перестроечных лет, — ожидание чуда: а вдруг само как-нибудь рассосется. То есть отсутствие у государства научной политики вообще. К чему он ведет — очевидно. Наука скоро вымрет, причем вымрут (не физически, конечно, а функционально) умные и глупые, усердные и ленивые — все, потому что существующий концлагерный паек одинаково недостаточен для выживания и тех и других. Другой путь — реформа науки, сокращение объема исследований до приемлемого при нынешнем состоянии экономики уровня. Да и структура научных исследований, доставшаяся нам в наследство от старого режима, далеко не соответствует реальным потребностям общества. При всей опасности злоупотреблений на этом пути (сократить-то ведь могут, как часто у нас бывает, не тех, кого следует), он — единственно возможный. Он тоже недешев, ведь сокращаемых сотрудников неплохо бы трудоустроить, закрываемые институты перепрофилировать, но альтернатива этому пути — смерть науки в России, причем скорая. Начать реформы следовало как минимум года три назад. Но лучше поздно, чем никогда.

Часто упрекают Академию наук в том, что она так и не предложила концепцию реформы науки и ничего не делает для реформы самой себе. Упреки более чем справедливы, но проблема гораздо объемнее и сложнее, чем собственно реформа академии. В ней ведь работает, дай бог, 3 процента от упомянутого мною миллиона с лишним ученых. Так что самыми «крутыми» реформами в академии общую проблему умирания российской науки не решишь. Кроме того, академия — это ведь ведомство, имеющее свои ведомственные интересы. Как и от любого ведомства, добровольного реформирования от нее ждать трудно (кто назовет мне пример успешного самореформирования хоть одного министерства?). Поэтому бездействие органов власти (мне кажется, здесь равно ответственны и законодательная и исполнительная власть) в ожидании самореформы науки — не более чем лукавство, прикрывающее собственную бездеятельность.

Пока я писал статью, ситуация с финансированием науки слегка выправилась — начали отдавать долги бюджета по зарплате. И вопреки прогнозам — даже прошлогодние. При этом, правда, ходят слухи, что заморозили до лучших времен финансирование по линии Российского фонда фундаментальных исследований. Если так — хрен редьки не слаще, денег у реально работающих научных коллективов не прибавится: практически все финансирование пока еще «тлеющих» научных программ идет оттуда. Меняет ли возвращение долгов что-нибудь? Да, мы будем агонизировать несколько дольше. Если бы науке совсем «перекрыли кислород», умерли бы через три-четыре месяца, а так — смотри выше. Кроме того, ведь эта конъюнктурная система финансирования: сегодня — тебе, завтра — тебе, постраш-

нее любого саботажа будет. В нашей экономике, оказывается, можно месяц-два целую бюджетную отрасль не финансировать, а потом «принять энергичные меры» и долги вернуть. Может, лучше их все-таки не делать? Интересно, если бы премьер-министру жена сказала: «В этом месяце я тебя кормить не буду, есть другие расходы, зато в следующем долги по борщам и котлетам верну полностью, не беспокойся», — как бы он себя чувствовал (как первый месяц, так и второй)? Вот так и мы себя чувствуем (только по две котлеты в день во втором месяце почему-то все равно не получается). У меня нет уверенности, что завтра (скорее, после выборов) эта история не повторится, потому что реально действующих механизмов защиты от волюнтаризма в распределении бюджетных средств нет. Но это отдельный разговор, не столь прямо связанный с судьбой нашей науки.

Еще один вопрос. Зачем я писал эту статью? Ведь не настолько же наивен, чтобы верить, что завтра, прослезившись от раскаяния, обе ветви власти возьмутся дружно за реформы в науке или хотя бы доведут расходы на нее в бюджете до упомянутых 4 процентов. На это надежды нет. Но и молчать уже не вмоготу, положение-то аховое. Так что это скорее крик души, чем целенаправленная акция.

А как бы хотелось, чтобы наша наука все-таки выжила. Ведь потом начинать с нуля будет дороже и гораздо дороже. А ноль-то будет «лукавый», внешне незаметный: будут-таки и через десять лет даже при нынешнем финансировании существовать институты (ну не закроют же их все), будут ходить по их коридорам какие-то люди, числящиеся по штатному расписанию научными сотрудниками, и завлабы будут, и академики, только все они уже ничего не будут уметь и мало что будут знать. Когда хватимся, что с ними делать? Выгнать трудно будет (в общем-то, и не за что, не сами же они себя до такой жизни доведут), да и новых, грамотных, негде будет взять. Прервется связь научных поколений (уже прерывается), снова придется за границу в ученье самых толковых посылать. Вернутся ли? В Китай, даже сейчас, не очень-то возвращаются.

Б. ХАРЛАМОВ,
лауреат Государственной премии времен застоя.

От редакции. 13 июня 1996 года вышел Указ Президента РФ (№ 884) «О доктрине развития российской науки». Ближайшее будущее покажет, даст ли он реальные всходы или просто был подписан в ажиотаже предвыборной агитации.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЭОН. Альманах старой и новой культуры. Ответственный редактор-составитель Рената Гальцева. М. 1994. № 1-2. 290 стр.; 1995. № 3. 212 стр. (Институт научной информации по общественным наукам. Отдел теории и истории культуры.)

Три уже вышедших номера этого альманаха оправдывают свое символическое и вполне неожиданно звучащее название («эон» — греч. «век», синоним мирового цикла и мировой эры). Прежде всего, в обеих книгах (первые два номера вышли под одной обложкой) печатаются замечательные работы Г. В. Флоровского, до сих пор русскоязычному читателю практически недоступные, в центре которых стоит проблема слома эпох, смены цивилизаций, или, говоря языком самого Флоровского, проблема исторического «эпилога», «финала истощившей себя истории». Появившиеся в 50-х годах и написанные по-английски, эти работы кажутся прямо адресованными человеку посттоталитарного общества — так много в них того, что и сегодня стоит перед нами неразрешенными вопросами. Кстати, читая эти статьи, хорошо понимаешь, до какой степени опыт нашего столетия обострил исторический слух: Флоровского притягивают эпохи напряжения и конфликтов, будь то конфликт между культурами (скажем, языческой и христианской) или напряжение между «политической» и «религиозной» компонентами имперского сознания. И то и другое звучит в равной мере болезненно и актуально для русского уха.

На фоне ряда републикаций, принятых в альманахе (здесь еще перепечатаны из «Логоса» 1910-х годов статьи С. Франка, Г. Риккерта и Г. Зиммеля), обращение к работам Флоровского кажется наиболее оправданным — и в силу их труднодоступности, и в силу их редкого созвучия с проблемами сегодняшними. Может быть, особенно удачен выбор статьи для

первого номера альманаха («Антиномии христианской истории. Империя и пустыня»). Она как будто прямо отвечает столь популярным сейчас разговорам об «органичной» для России «византийской модели» и, естественно, сопутствующей этим мотивам моде на Константина Леонтьева, ставшего одним из самых цитируемых русских писателей, чьи утопии с готовностью воспринимаются как «руководство к действию». Флоровский, правда, нигде не называет Леонтьева, но дело не столько в конкретном имени, сколько в мифе, витающем в воздухе, которому мысль Флоровского недвусмысленно противостоит: «Византия потерпела неудачу, горестную неудачу в своей попытке установить... адекватное соотношение между церковью и большим государством. Ей не удалось открыть врата потеряннного рая. Но это не удалось и никому другому. Врата все еще замкнуты. Византийский ключ к ним оказался неподходящим». В другой его статье, напечатанной в третьем номере «Эона» («Христианство и цивилизация») и как бы продолжающей предыдущую, вывод звучит еще категоричнее: «Замысел «воцерковления» империи обернулся неудачей. Империя развалилась в кровавых конфликтах, выродилась в обманах, двусмысленности и насилии».

Несмотря на столь безрадостный вывод, автор «Путей русского богословия» предстает в этих статьях не столь скептически настроенным, каким мы привыкли его считать. За видимым разрывом традиции он часто улавливает ее перетолкование, за нигилизмом — новую иерархию ценностей, новую структуру культуры. Даже конфликт между Историей и Апокалипсисом он воспринимает не без надежды: «Думать, что ничто на земле не может выдержать этого испытания эсхатологией, неверно. Исчезнет не все... многие из ценностей этой жизни в «будущем веке» не подлежат уничтожению».

В открытии этого «иногo» Флоровского — одна из несомненных удач нового издания. Кстaти, блестяще выполнен и перевод его статей. Английские тексты переведены здесь не просто на русский, но на узнаваемый русский язык Флоровского. Это тот язык, которым написаны «Пути русского богословия», и тот стиль, который не спутаешь ни с каким другим.

Главные проблемы альманаха — это проблемы конца эры, прерывности традиций, проблемы национальной идентичности и христианского универсализма. Заявленный статьями Флоровского высокий уровень обсуждения этой проблематики выдержать трудно — планка поднята высоко. Но во многих случаях ее взять удается. Среди принципиальных статей альманаха — динамичное эссе Ирины Роднянской (№ 3) о взлетах и грехопадениях европейского интеллектуализма, с замечательно жесткой постановкой вопроса: «...отчего в цитадели интеллекта всякий раз выживает и возрождается... социалистический призрак». Размышляя о судьбах христианского социализма, Роднянская справедливо помещает русский опыт «напряженного искания Града Божия» в контекст общеевропейского (приглушая тем самым восторженные эмоции вокруг специфической «русскости» подобных настроений) и анализирует христианскую генеалогию интеллектуализма.

Отвечают тревожащей проблематике альманаха и главы из любопытной книги польского поэта и историка литературы Яна Прокопа («Польский универсум. Литература, коллективное воображение, политические мифы»). Правда, основной интерес здесь представляет собственно польский материал. Что же касается уровня осмысления, то он страдает вторичностью: почти все суждения о символах национальной идентичности, о христианстве как гаранте универсализма кажутся уже не раз читанными. Есть в альманахе и материалы неудачные,

вроде этюда В. Крюкова «Синтаксис Василия Розанова» (№ 3). Автор начинает с того, что требует «гуманитарной сосредоточенности» от «всякого ответственного человека», наблюдающего, как «рассеивается понятийная целостность России» (?). После подобного пафосного вступления читать этюд о Розанове уже не хочется...

Интересно, что большая часть материалов «Эона», обращающих нас к прошлому веку, лучше отвечает задачам альманаха, чем некоторые вроде бы сверхактуальные статьи. Я имею в виду еще одну ценную републикацию, напечатанную в первом номере «Эона», — письма Владимира Соловьева к А. А. Кирееву, подготовленные по автографам и тщательно прокомментированные А. А. Носовым (напрасно, однако, в книге нет ссылки на июльский номер журнала «Символ» за 1992 год, где эти письма уже публиковались Носовым). Спор молодого Соловьева, полулиберала-полуконсерватора, с генералом Киреевым, твердым консерватором, возвращает нас все к той же болезненной дилемме — христианский дух любви или конфессионально-националистическая исключительность, — дилемме, о которой много размышляют авторы альманаха и о которой темпераментно написала в предисловии к этой публикации Рената Гальцева.

«Эон» — издание «культурфилософское», как представляет его составитель альманаха уже в первом выпуске: издание с ясно выраженным «направлением». Здесь печатаются и будут печататься обзоры и статьи, «дающие нам логическую нить в постижении пути культуры». «Судьба культуры... нашего региона, а тем самым и всего мира, как она видится к концу эона», — вот цель, заявленная составителем, и она не без удач реализуется уже в первых трех номерах альманаха, что побуждает нас ждать и последующие.

Ольга Майорова.

*

РОЛАН БАРТ. Мифологии. Перевод с французского, вступительная статья и комментарии Сергея Зенкина. М. Издательство им. Сабашниковых. 1996. 314 стр.

«В «серьезной» научной семиотике... заслуги Барта обычно связываются с

работами типа «Основ семиологии» или «Системы моды», — пишет С. Зенкин. — Книга «Мифологии»... не пользуется большим научным авторитетом и имеет репутацию смешанного научно-публицистического текста...» Первый полный перевод «Мифологий» снабжен подробной вступительной статьей («Эс-

тетика мифа» — «Диалектика знака» — «Феноменология тела» — «Политика театра») и комментариями, раскрывающими «ближайший хроникальный», «дальний культурный» и «авторский» контекст.

Книга Ролана Барта состоит из двух частей — «практической» и «теоретической». В первой он прежде всего — писатель. Соседствующие здесь сюжеты — о пеномоющих средствах, о вине и молоке, о лице Греты Гарбо, о писателе «на отдыхе», о «ситроене DS-19» и др. — построены по принципу «развинтить, чтобы развенчать». Чтобы — в конце концов — избавиться от власти стереотипа, вернуться к реальному восприятию мира. «Функция мифа — удалять реальность, вещи в нем буквально обескровливаются, постоянно истекая бесследно улетающей реальностью, он ощущается как ее отсутствие». Во втором разделе — «Миф сегодня» — Барт выступает как ученый-семиолог.

Современному мифу даются определения: «миф — это слово», «миф есть система знаков, претендующая перерасти в систему фактов», «миф — это деполитизированное слово» («политику следует здесь понимать... как всю совокупность человеческих отношений в их реально-социальной структурности»). Причем «в суффикс «де-» необходимо вкладывать активный смысл — им обозначается здесь действенный жест, вновь и вновь актуализируемое устранение». Миф «очищает» вещи, «осмысливает их как нечто невинное», естественное. При этом понятно, что «деполитизировать» («натурализовать») объект вроде пролетария или суданского солдата сложнее, чем, скажем, дерево, — мифы, соответственно, делятся на «сильные» и «слабые»: «В первых доля

политики наличествует непосредственно и деполитизация происходит резко, во вторых же политический характер объекта уже выцвел, как краска, хотя от любого пустяка может снова сделаться ярким; что может быть природнее моря? и что может быть «политичнее» моря, воспламеняемого в фильме «Затерянный континент?»» (Борьба с мнимой «естественностью» — основной пафос книги.)

Наиболее интересны — ибо парадоксальны и динамичны — сюжеты об этих, второго типа, мифах. Молоко как анти-вино. Стриптиз как десексуализация женщины. «Человеческое» писателя как подтверждение его «надмирности»: «Ибо одной лишь сверхчеловечностью может для меня объясняться существование людей настолько всеобъемлющих, что они могут носить синюю пижаму — и в то же время олицетворять собой совесть человечества, или же признаваться в любви к реблошону теми же устами, которыми объявляют о грядущем появлении своей „Феноменологии Эго”».

«Поскольку миф — это слово, то мифом может стать все, что покрывается дискурсом... наш мир бесконечно суггестивен», — высказывание, объясняющее «всеядность» бартовских «Мифологий»: «мифология» рекламы («„Глубинная” реклама»), «мифология» спорта («„Тур де Франс” как эпопея»), «мифология»... критики («Слепонемая критика», «Критика „ни-ни”») etc. И хотя, по мнению С. Зенкина, возможности «мифологий» как жанра исчерпал сам их изобретатель, некогда (книга впервые вышла в 1957 году) они открыли для эссеистики новый — популярный ныне — «парадигматический» путь: анализ структуры, а не история; каталог, а не цельное полотно...

Ольга Кузнецова.

*

ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН. *Любовь и зрение.* М. Библиотека журнала «Соло», «Аюрведа». 1996. 157 стр.

Новая книга известного (именно так) литературного критика состоит из двух текстов: «Любовь постмодерниста» (написано, по авторскому признанию, от руки) и «Зрение, поезд» (написано на компьютере). «Я полагал бы эти работы изданными отдельно, — разъясняет автор, — «Зрение» небольшой аккуратной

книжицей на плотной бумаге, «Любовь» — альбомом со множеством картинок, детским форматом, с большими полями... Дикое предложение объединить эти тексты под одной обложкой исходило от Александра Михайлова. Я не нашел в себе мужества отказаться: пришлось бы, очевидно, идти к другому издателю, а издателями разбрасываться не стоит». Впрочем, «они сочетаются органично потому, что являются собою хорошие примеры невозможности доку-

ментального (научного) дискурса не быть художественным и невозможности художественного дискурса не быть при этом научным или документальным».

«Любовь постмодерниста» (1991) — псевдобιοграфический очерк к 100-летию со дня рождения Фридриха Орфа, родного брата композитора Карла Орфа. Последний присутствует в советских энциклопедиях, а герой очерка — увы. Так Фридрих Орф — вымышлен или реален? (Какой простодушный вопрос...) А какая разница? Для курицынского текста — никакой. Или так: важнее всего именно чувство неопределенности, возможности и того, и другого варианта. А впрочем, если герой выдуман, то прием не нов, хотя и хорошо проведен. А если не выдуман, то... какая скука...

Курицын в своем роде — концептуальный говорун. Отталкиваясь от условно первого в мировом кинематографе фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота», он наговаривает (то есть наступкивает на компьютере, то есть набалтывает) длинный текст, связанный тремя

опорными и сквозными понятиями: кино, человеческое зрение, поезда. Иногда его наблюдения очень точны. «Если мы условимся считать «Прибытие поезда» первым фильмом и первой вообще съемкой (что исторически не так), то только люди на вокзале Ла Сиота снимались в прямом смысле скрытой камерой: они просто не знали, что за странный предмет установлен на краю платформы. Все следующие невольные натурщики уже могли знать о кино: если не видеть, то слышать о нем или читать». Масса ссылок соседствует с невольной или намеренной небрежностью. Пресловутый вокзал он называет то Ла Сиота, то Ля Сиота, фильм Н. Михалкова — «Утомленный солнцем» вместо «утомленные». Вряд ли это опечатки. Какая разница?

Курицын уверен, что слова уже ничего не значат. У меня на этот счет иное мнение. Но мне интересны такие книги. Которые я сам не мог бы написать.

Андрей Василевский.



РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. В другом окне. Стихи. Иерусалим. «Солус». 1994. 93 стр.

Книга Елены Аксельрод посвящена памяти Аллы Беляковой. Совсем недавно я случайно просматривал сборник стихов Беляковой — и обнаружил в нем предисловие Аксельрод. В предисловии говорилось о прямой, без особых поэтических приемов, поэтической речи поэта на основе чистого переживания.

Определение это подходит к самой Аксельрод с точностью «до наоборот». «Непосредственное чувство» в ее стихах чисто профессионально оформлено, скрыто. В зависимости от его характера стихотворение может быть построено на скачкообразном ритме и сбоях в размере — или на плавном течении идеального анапеста. На мужских рифмах — или на дактилических рифмовках. Часто строка «теряет» слог, как бы распадаясь на две части, что вполне символично, если вспомнить о судьбе поэта.

Судьбу, как известно, делают книги. Два сборника Елены Аксельрод вышли у нас в 70 — 80-х годах, третий и четвертый — о котором и речь — после переезда автора в Израиль. Традиционно жизнь и стихи поэта, который оказывается в подобной ситуации, распадаются на «до» и «после», «здесь» и «там»... То, что представлено в книге «В другом окне», — ни «до», ни «после». Между. Собственно, свойство поэтических текстов — а, видимо, не географические перемещения — и составляет это понятие.

В смысловом и метрическом плане самые яркие стихи Елены Аксельрод — это некий палимпсест: сквозь московские воспоминания свободно проплывают соляные льдины Мертвого моря, и наоборот: песчаная буря напоминает метель. Правильный ямб перебивает анапест; четыре жизни — две метрические и две географические — смешиваются.

Лифт, часто упоминаемый в стихах, приобретает символическое значение, как метафора «подвешенного состояния»: в сущности, автор ни здесь и ни там. Где-то, как лифт, между этажами. Лифтер, соответственно, может легко олицетворять рок, или судьбу, или случай. Вся прелесть этих стихов в том, что отбор образов происходит как бы бессознательно. На месте Елены Аксельрод «какой-нибудь» Элиот развернул бы «лифтерскую» космогонию на тысячи строк. Наш автор обходится сорока восемью.

Судьба надломилась —
В душе тишина —
Как в доме усталом,
Где ночью лифтер
С бездонным провалом
Ведет разговор,
Где, Храма не зная,
Он Бога зовет,
Где клетка сквозная
Плывет в небосвод.

(«Лифтер»)

«Я возвращенка, я изгнанница», — твердит о себе автор; подобный оксюморон дополняют и «душная выюга», и «Арабская Аленушка», и «В мертвом море жизнь ловлю...». Ситуация никак не разрешается; если стихотворение («Канун субботы в Маале-Адумим», «После Пасхи») привязано к чему-либо одному, оно, как правило, превращается лишь в поэтическую зарисовку; иногда, впрочем, очень отчетливую, как, например, следующие строки:

Где юный Яков — рубашка цвета хаки —
 С Рахелью обнялся — их караулят маки,
 И черный автомат, как пес, лежит у ног.

Библейский подтекст практически не ощутим — зато маки, как синий цвет неба в других стихах, передают зарисовочный колорит Святой Земли. Все же основной ее лейтмотив — это песок, соль и зной: белый цвет. Даже в воспоминаниях детства память поэта выбирает песочницу, куличи, песчаные дворцы. Но белый цвет — также и цвет чистого листа бумаги, на который ложатся новые строки. Черным по белому. Вот еще несколько замечательных строк на эту тему:

В скалу вмурована кровать
 Над белой мглою.
 И так подушки высоки,
 Так душно, так горбато,
 Что Божьей воле вопреки
 Четыре мерзлые доски
 В четыре черные строки
 Вбиваю виновато.

«Восток или Запад — лишь билось бы слово в садке». Эта строчка из финального стихотворения сколь банальна, столько же и неоспорима — особенно когда ее произносит человек с «географическим» опытом. В данном случае именно география освобождает поэта от своей «модальности», предлагая взамен «подножье неба», «земную черту» и жизнь с тем самым «словом в садке». В самом деле, находясь «между» — между «больной далью» и «раем больным», между Востряковым и Мертвым морем, между прошлым и будущим, — слово начинает жить за свой собственный счет.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ.



КНИЖНАЯ ПОЛКА



Александрина. Горемычная муза. Стихи. М. Издательство Ростовского общества медиков-литераторов. 1996. 208 стр. 1000 экз.

Александрина. С любовью к Ундорам. М. Издательство Ростовского общества медиков-литераторов. 1996. 128 стр. 3000 экз.

С. Алексиевич. Цинковые мальчики. М. «ВАГРИУС». 1996. 319 стр. 20 000 экз.

А. Бородыня. Эмблема печали. Роман-дилогия. М. «АРМАДА». 1996. 396 стр. 30 000 экз.

Василиск Гнедов. Смерть искусству. Пятнадцать (15) поэм. 1913. Подготовка текста, комментарий Д. Кузьмина. М. «Арго-Риск». 1996. 24 стр.

Даниил Данин. Бремя стыда. М. «Московский рабочий». 1996. 384 стр. 3000 экз.

Лирико-исповедальные мемуары о духовной биографии своего поколения.

Б. Деперье. Новые забавы и веселые разговоры. Кимвал Мира. Перевод с французского В. И. Пикова, М. С. Гринберга. Общая редакция, вступительная статья А. Д. Михайлова. М. «Республика». 1995. 288 стр. 15 000 экз.

Ф. Ларошфуко. Максимы. Перевод с французского Э. Л. Линицкой. СПб. «Политехника». 1996. 127 стр. 5000 экз. Формат 75×100 мм.

М. В. Ломоносов. Духовные стихи. М. «Писатель». 1996. 32 стр. 10 000 экз.

С. Малларме. Сочинения в стихах и прозе. Составитель С. Дубровкин. М. «Радуга». 1995. 566 стр. 5000 экз. На французском языке с параллельным русским текстом.

Марина Цветаева. Перекоп. Составление, предисловие и примечания Елены Коркиной. М. Дом-музей Марины Цветаевой. Издательство «Изограф». 1995. 94 стр. 1000 экз.

В книгу вошли: поэма Цветаевой «Перекоп» в авторской графике (воспроизводится цветаевский рукописный оригинал), главы из «Записок добровольца» Сергея Эфрона, также переписанные рукой Цветаевой, и статья В. Швейцер «Марина Цветаева и Сергей Эфрон о Добровольчестве».



Ролан Барт. Мифологии. Перевод с французского, вступительная статья и комментарии Сергея Зенкина. М. Издательство имени Сабашниковых. 1996. 288 стр. 5000 экз.

Первое полное издание книги на русском языке. Состоит из двух частей: «Мифологии» (собрание журнальных статей Барта 1953 — 1956 годов о массовой культуре) и «Миф сегодня» (теоретическая работа, «систематизация материала первой части»).

Н. А. Богомолов, Джон Э. Малмстад. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М. «Новое литературное обозрение». 1996. 318 стр. 3000 экз.

Монография о жизни и творчестве Кузмина. В основу легла работа Дж. Э. Малмстада «Михаил Кузмин. Хроника его жизни и эпохи», предварявшая третий том «Собрания стихов» Кузмина из трехтомника 1977 года (США). Широко используя мемуарную литературу, переписку и дневники Кузмина, авторы тем не менее исходят из того, что «облик художника принципиально может быть воссоздан, прежде всего, на основании его собственных произведений». Сделана попытка «представить... жизнь Кузмина в искусстве как конструкцию, обладающую жесткими силовыми тягами, которые держат все разнородные составные».

С. Н. Булгаков. Тихие думы. Составление, подготовка текста и комментарии В. В. Сапова. Послесловие К. М. Долгова. М. «Республика». 1996. 509 стр. 10 100 экз.

В книге три раздела: «Тихие думы. (Из статей 1911 — 1915 гг.)», «Этика, культура, софиология. Статьи и очерки разных лет», «Автобиографическое».

В. В. Вейдле. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Составление и послесловие И. А. Доронченкова. Комментарии И. А. Доронченкова и В. М. Лурье. СПб. «АХИОМА». 1996.

Первое издание в России главного труда известного культуролога и искусствоведа, профессора парижского Православного Богословского института Владимира Васильевича Вейдле (1895 — 1979). В книгу вошла также его статья «Крещальная мистерия и раннехристианское искусство» (1948).

Аллен и Одетт Вермо. Мэтры мирового сюрреализма. Перевод с французского Т. Б. Евдокимова, Ф. А. Петровской, Г. В. Копелева. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1996. 288 стр. 5000 экз.

Книга известных специалистов по сюрреализму издана в серии «Компактэнциклопедия», содержит около двухсот биографических статей, расположенных в разделах: «Маяки сюрреализма и его мэтры», «Временные попутчики», «Ближайшие соседи», «Зачинатели и первопроходцы», «Соперники и „монстры“», а также справки о художественных группах и объединениях, отрывки из эстетических манифестов, хронику наиболее значительных событий в истории сюрреализма и библиографию основных работ.

В. И. Вернадский. Публицистические статьи. Ответственный редактор В. П. Волков. М. «Наука». 1995. 314 стр. 560 экз.

Н. Кун. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях. М. «Республика». 1996. 448 стр. 11 000 экз.

С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабея. М. «Терра». 1996. 189 стр. 12 000 экз.



Падающий Зиккурат. Альманах. Составитель Олег Чухонцев. СПб. «ИНА-ПРЕСС». 1995. 162 стр. 1000 экз.

Составившие альманах материалы посвящены «кризисным и переломным временам, когда личность и культура испытываются на прочность»:

главы из идеологического романа-исследования о «зазеркалье» русской революции «Учитель истории» — посвященные фигуре Чернышевского (судьба, личность, психология и идеология); замысел романа принадлежит Владимиру Кормеру и Юрию Дикову, воплощение (из-за ранней смерти Кормера) — Дикову;

несколько коротких эссе о русской истории Исаака Крамова под общим названием «Записи разных лет»;

дневниковые записи Владимира Лукина 1977 — 1985 годов, публикация озаглавлена «Шестидесятник после шестидесятых»;

размышления Мераба Мамардашвили «1980-е годы (записи в тетради)»;

статьи Наума Коржавина «Власть заговора», Вячеслава Вс. Иванова «Русский космос», Бориса Любимова «Церковь и театр»;

размышления о русской культуре Ирины Роднянской (афористика Пушкина), Аврил Пайман (Петербург и Серебряный век) и Сергея Аверинцева (заметки о Ходасевиче);

эссе Виктории Уколовой «Избранник власти», посвященное императору Диоклетиану, «сумевшему приостановить распад Римской империи».

Впервые представленные на русском языке:

обширные фрагменты из поэмы Джеффри Чосера «Троил и Крессида» (перевод и вступительная заметка Марины Бородинской) и эссе Честертона «Кентерберийские рассказы» (перевод Л. Сумм);

отрывки из книги греческого романиста и эссеиста Никоса Казандзакиса (1883 — 1957) «Пелопоннес» — о «феномене «новогрека» в его временных и культурно-пространственных связях» (перевод с новогреческого и вступительная заметка Олега Цыбенко);

фрагменты из книги крупнейшего протестантского богослова XX века Рейнхольда Нибура (1892 — 1972) «Вера и история» (перевод с английского и вступительная заметка Ю. М. Каграманова).

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Грани», «Дружба народов», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Литературное обозрение», «Москва», «Московские новости», «Нева», «Независимая газета», «Октябрь», «Открытая политика», «Стрелец», «Урал», «Юность»

А. Баранович-Поливанова. Впечатления послевоенной поры. — «Знамя», 1996, № 5.

Послевоенная юность. С 1946 года до смерти Сталина. Школьные годы. Раздельное обучение. Пионерский лагерь. Денежная реформа 1947 года. Коктебель 1948-го. Филфак университета. Портреты преподавателей (Р. Самарин и другие). В этом же номере печатаются воспоминания филолога Елены Пуриц о 20 — 40-х годах.

Иосиф Бродский. Три эссе. — «Знамя», 1996, № 4.

«Как читать книгу» — речь при открытии первой книжной ярмарки в Турине 18 мая 1988 года. «Похвала скуке» — речь перед выпускниками Дартмутского колледжа в июне 1989 года. «Письмо президенту» (1993) появилось в «Нью-Йорк ревью ов букс» как ответ на выступление президента В. Гавела в том же издании. Тут же печатаются три стихотворения Бродского и статья Петра Вайля «Рифма Бродского». Этими публикациями редакция «Знамени» открывает новую рубрику «Иосиф Бродский: труды и дни».

Владимир Бурич. Из записных книжек. Публикация Музы Павловой. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 1.

Фрагменты записных книжек, которые всю жизнь вел известный верлибрист В. Бурич (1932 — 1994).

Александр Верников. Бессчетная жизнь. Занимательная арифметика, или Арифметика просветления. — «Урал», 1996, № 3.

Литературно-математическое сочинение екатеринбургского прозаика. Что-то от позднего Станислава Лема. Что-то от Пелевина. Забавно, что у Верникова тоже упоминаются Петька и Чапаев (см. новый роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота»).

Дмитрий Волкогонов. Маршал Ворошилов. Предисловие Анатолия Ананьева. — «Октябрь», 1996, № 4.

Последняя статья недавно ушедшего из жизни автора.

Анатолий Генатулин. Ур. Рассказ. — «Знамя», 1996, № 5.

Короткий рассказ про часы — довоенные, трофейные, послевоенные.

Гасан Гусейнов. Булимия логофагов, или Переживания пожирателей слов. — «Знамя», 1996, № 4.

Наблюдения над жизнью языка. Логофаги — пожиратели слов. Булимия — болезненные приступы обжорства, завершающиеся рвотой.

Олег Давыдов. Болотная мать. — «Независимая газета», 1996, № 82, 6 мая.

Максим Горький как религиозный писатель. Тема болота, трясины в повести «Мать» и в русской литературе начала века. Цитирую: «Вообще появление почти всех революционных героев повести сопровождается какими-то таинственными звуками, странными природными явлениями, на худой конец, дрянной погодой. Да и сами по себе они какие-то необычные, ломаные (чисто внешне), к тому же — сразу появляются, не успеешь о них подумать... Сущие черти».

Андрей Дмитриев. Война и мы. — «Знамя», 1996, № 4.

Размышления прозаика над рассказом Владимира Маканина «Кавказский пленный» («Новый мир», 1995, № 4). «Угадывание будущего — это наименьшее, что есть в литературе. Потому что нет поэзии будущего. Есть поэзия сбывшегося и сбывающегося... Рассказ «Кавказский пленный» — о сбывшемся».

Зиновий Зиник. Возвращение в Дублин. — «Иностранная литература», 1996, № 4.

«Дублин — один из немногих городов, вроде Москвы или Иерусалима, сознающих себя избранниками. Такой город — непременно столица некоей невидимой (для постороннего взгляда) духовной империи...» Живущий в Лондоне писатель рассказывает о месте и роли города Дублина в судьбах Владимира Печерина, Энтони Бёрджесса, Оскара Уайльда и других.

Валерий Золотухин. Божий дар и яичница. — «Юность», 1996, № 4.

Глава из книги. Актер о театре. Факты перемешаны с вымыслом. «Уговаривать читателя не проводить параллели — бесполезно». Впрочем, Таганка, Любимов и Эфрос названы своими именами.

Наталья Иванова. После. Постсоветская литература в поисках новой идентичности. — «Знамя», 1996, № 4.

«Нынешний кризис идентичности, переживаемый литературой на границе советского/постсоветского, зеркально-перевернуто отражается в кризисе идентичности, пережитом русскими литераторами после революции».

Фазиль Искандер. Рассказы. — «Знамя», 1996, № 4.

«Чик чтит обычаи», «Золото Вильгельма» — новые рассказы известного прозаика.

Нина Катерли. Красная шляпа. Повесть. — «Звезда», 1996, № 4.

Новая повесть петербургского автора датирована ноябрем 1995 года. См. также ее кафкианскую прозу «Из жизни Лучшего города» в журнале «Нева» (1996, № 4).

Бахыт Кенжеев. Частный человек Олег Чухонцев. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 1.

«Возможно, основная заслуга Олега Чухонцева перед русской поэзией — слияние образа сугубо частного человека советской эпохи с высоким миром философических страстей».

Сигизмунд Кржижановский. Время действия — всегда. Новеллы. Публикация и предисловие Вадима Перельмутера. — «Октябрь», 1996, № 4.

Два рассказа 1927 года: «Когда рак свистнет», «Серый фетр». За минувшие семь лет вышли уже четыре посмертных сборника некогда забытого прозаика; специально представлять его нет необходимости, тем более что на страницах «Нового мира» несколько раз рецензировались книги С. Кржижановского. «Опубликовано далеко не все, — пишет публикатор. — Неизданное — не «лучше» и не «хуже» напечатанного. Оно — другое. И новое — в том смысле, что, являясь читателю, изменяет его представления о писателе, добавляя черты прежде неведомые».

Владимир Крупин. Рассказы. — «Москва», 1996, № 4.

«Тихий воз на горе будет», «Вредная старуха» — короткие рассказы.

Ирма Кудрова. Лев Шестов и Марина Цветаева: творческие переключки. — «Звезда», 1996, № 4.

«Скажу сразу, что мои наблюдения и выводы решительно не подверстываются к тому характеру связей, какие называют обычно „влияниями“». Автор статьи — известный петербургский исследователь жизни и творчества М. Цветаевой.

Владимир Леонович. Ветви-паветви. Соловецкие заметки. — «Знамя», 1996, № 4.

«Эти заметки — бумажное продолжение моей и моего сына Мити летней работы на острове Анзер, северном в Соловецком архипелаге. Записи текут своим пологим уклоном, и я стараюсь не мешать их прихоти и капризам...»

Михаил Лобанов. Либеральная ненависть. — «Завтра». Газета Государства Российского. 1996, № 17.

Они — о нас. Цитирую: «О журнале «Новый мир», времен Твардовского, созданы целые мифы и легенды как о некоем единственном светильнике прогресса и совести в стране, в то время, когда страна не иначе, как цепенела во мраке невежества и рабства, болотной неподвижности и т. д. Мне уже приходилось писать о том, насколько далеки эти фантазии от правды, насколько чужд был этот интеллигентски-космополитический журнал (всегда ведомый отделом критики, а не главным редактором) проблем национально-исторических, русских и как умел он соединять показную оппозиционность «бюрократическим властям» с доношением на неугодных (например, обвинение журнала «Молодая гвардия» в реакционности, славянофильстве, неприятии революционных демократов, идеализации дореволюционной России...). ...Его антинациональное прошлое получило дальнейшее развитие в нынешнем откровенном, бесстыдном служении новому идолу — «либеральным ценностям»...»

Владимир Набоков. Иван Тургенев (1818 — 1883). — «Независимая газета», 1996, № 76, 23 апреля.

Одна из знаменитых набоковских «Лекций по русской литературе», в основу которой легли курсы, прочитанные писателем во время его жизни и преподавания в США. Первое в России отдельное издание лекций вышло в издательстве «Независимой газеты».

Александр Нежный. Плач по Вениамину. — «Звезда», 1996, № 4, 5.

Документальная повесть, основанная на ранее недоступных и потому неизвестных материалах из архива КГБ и Центрального партийного архива, представляет собой приложение к роману о трагедии Церкви, над которым сейчас работает А. Нежный.

Геннадий Николаев. Стон амёбы. Роман. — «Нева», 1996, № 4, 5.

«Дрожа от волнения, я ощупал всего себя и пришел в еще больший ужас. Во-первых, почти исчезла шея. Голова стала заодно с туловищем, которое заметно округлилось и увеличилось в размерах. Вообще я сильно вырос и раздался в плечах. А уши, нос, глаза остались — как у младенца. Какие-то подозрительные наросты обнаружились и по бокам — от подмышек до пояса. То, что было ниже пояса, повергло меня в отчаяние: не ноги, а плоские кривые лопаты со сросшимися пальцами...»

М. П. Одесский, Д. М. Фельдман. Декабристы и террористический тезаурус. — «Литературное обозрение», 1996, № 1.

Декабристы и террор. Планы истребления монарха. Тут же печатается статья О. И. Киянской «Главарь шайки злоумышленников...» — размышления над биографией С. И. Муравьева-Апостола.

Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота. — «Знамя», 1996, № 4, 5.

Роман-мистификация. «Истинная» история Василия Чапаева. См. рецензию Ирины Роднянской в настоящем номере «Нового мира».

Людмила Петрушевская. Простые и волшебные сказки. — «Октябрь», 1996, № 4.

«Жила-была красивая, но удивительно глупая принцесса Ира, которая совершенно не соображала, где что можно говорить...»

Виктор Соснора. Сова. Книга стихов. — «Звезда», 1996, № 4.

«Книгу эту впервые печатаю — всю, через 33 года. Пролежала она не на печи, отрывочно публиковалась. В общем, все просто, 63-й год, конец иллюзий нашего поколения и начало Соппротивления. У кого в какой степени. У меня, пожалуй, в слишком сильной. Кроме того, это первая книга, после которой я осознанно стал писать только книгами, без всяких «отдельных стихотворений». Кроме того — это первый опыт метафорического осмысления жизни, а не рассудительного...» (В. Соснора). Печатается в журнале к 60-летию поэта.

Карен Степанян. Реализм как преодоление одиночества. — «Знамя», 1996, № 5.

Среди других произведений анализируются новомирские публикации: повесть А. Варламова «Рождение», рассказ Г. Петрова «Царство земное и небесное», повесть Г. Щербаковой «У ног лежачих женщин», двухчастные рассказы А. Солженицына, рассказ В. Маканина «Кавказский пленный». Цитата: «...признаюсь: лучшее, что довелось мне за последнее время прочитать, — небольшой рассказ Б. Екимова «Фетисыч» («Новый мир», 1996, № 2)».

Д. Д. Сэлинджер. Рассказы. Предисловие Алексея Зверева. Перевод с английского М. Макаровой. — «Октябрь», 1996, № 4.

«Неофициальный рапорт об одном пехотинце», «Посторонний», «Затянувшийся дебют Лоис Тэггетт» — рассказы войдут в двухтомное собрание сочинений Д. Д. Сэлинджера, выходящее в издательстве «Фолио» (Харьков).

«Тайна действительности как творение души». Томас Манн и Зигмунд Фрейд. — «Дружба народов», 1996, № 5.

Публикация к 140-летию Зигмунда Фрейда состоит из статьи Игоря Эбаноидзе «Писатель и психоанализ», доклада Томаса Манна «Фрейд и будущее», прочитанного в 1936 году в связи с 80-летием венского мыслителя, и письма Зигмунда Фрейда Томасу Манну от 29 ноября 1936 года. Комментарий и перевод с немецкого И. Эбаноидзе. См. этот доклад Т. Манна в переводе С. Апта в июньском номере «Иностранной литературы».

Людмила Титова. Мне казалось, мы будем жить вечно... Из воспоминаний об Иване Елагине. — «Грани», № 179 (1996).

Поэт-переводчик Л. В. Титова (1921 — 1993), жившая на Украине, вспоминает о своем знакомстве 1937 года с юным Заликом Матвеевым, который станет позднее поэтом Иваном Елагиным.

Сергей Тихомиров. Испытания «неистой» души. Белинский и идея открытого общества. — «Открытая политика». Журнал российской политической жизни. 1996, № 3-4 (март — апрель).

Имеются в виду три испытания Белинского: «божественная» монархия, экзистенциальная трагедия и социализм. Автор, доцент кафедры русской литературы МПГУ, считает Белинского фигурой не только по-своему глубокой, но по нынешним временам обжигающе злободневной.

Борис Хазанов. Рассказы. — «Октябрь», 1996, № 5.

«Полное собрание сочинений Тучина», «Гиббоны и облака», «Оэ», «Окно, диван, книжная полка», «Сон в зимнюю ночь» и другие рассказы автора, живущего в Германии.

Царевич Алексей: «Днем папа пилил дрова для ванны, а сестры кололи на щепки». Неизвестные страницы из переписки царской семьи. Публикация Юрия Коваленко. — «Московские новости», 1996, № 21, 26 мая — 2 июня.

Находка в парижском подвале. Фрагменты дневника царевича Алексея за январь — март 1918 года. Переписка царской семьи апреля — мая 1918 года, когда царь и царица вместе с великой княжной Марией были перевезены из Тобольска в Екатеринбург, а три другие дочери из-за ухудшения здоровья Алексея временно остались в Тобольске.

Мариэтта Чудакова. Так ярый ток, оледенев... — «Грани», № 179 (1966).

К 25-летию со дня смерти Аркадия Белинкова. Редакция «Граней» сочла необходимым отметить свое несогласие с некоторыми высказываниями М. Чудаковой по национальному вопросу. Сокращенный вариант статьи был опубликован в газете «Русская мысль» (1995, № 4093-4094).

Виктор Шкловский. Сюжет в стихах (Маяковский и Пастернак). Предисловие Ольги Панченко. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1995, № 2 (76).

Неизвестно зачем перепечатанная статья (по первопубликации в изд. «Поэтический сборник». М. 1934). Запоминается суждение Шкловского, что блоковская «Незнакомка» — «юмористическое стихотворение с бытовыми подробностями».

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

5 лет назад — в № 9 за 1991 год опубликован роман Андрея Платонова «Счастливая Москва».

20 лет назад — в № 9 за 1976 год напечатан роман Георгия Семенова «Вольная натаска».

30 лет назад — в № 9 за 1966 год напечатана статья доктора философских наук И. Кона «Психология предрассудка (О социально-психологических корнях этнических предрассудков)».

50 лет назад — в № 9 за 1946 год опубликованы выдержки из Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», а также Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Одно из старейших изданий в России.
Основана в феврале 1921 года.
Распространяется во всех регионах России и странах СНГ.
Ежедневная

ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

По данным социологов, каждый номер прочитывают в среднем 4 человека.

ТРУД

ИМЕЕТ САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ КОРПУС СОБСТВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

ЯВЛЯЕТСЯ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ 32 РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ И ФИРМ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ.

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ

Подписной индекс газеты:

50130

32068

(ежедневный выпуск, включая пятничный)
(только пятничный выпуск)

РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА, К-6,
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.

Наш адрес:
Телефоны:
Факс:

(095) 299-3906 - для справок,
(095) 200-0338 - отдел рекламы,

(095) 200-0523, 299-4740.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Oleg Chukhontsev, Aleksandr Shatalov, as well as Mikhail Sokovnin (publication by Ivan Akhmetiev).

We are beginning to publish the novel «The Round Dance» by Anton Utkin (to be ended in Nos. 10, 11). We also publishing three short stories by Andrey Volos, as well as «poetic prose» by Andrey Bitov, «Life without Us».

The section «Literary Heritage» is occupied by dairy and working notes from Georgy Semenov's archives (publication and preword by Yelena Semenova).

The section «Philosophy. History. Culture» presents the articles «Potentialities of the Russian Culture» by A. Panarin.

In the section «Times and Morals» we are publishing the article «At a Moral Deadlock» by Vladimir Oshero, prewarded by Yuri Kublanovsky.

The section «Literary Criticism» is presented by articles by Aleksandr Chudakov about Chekhov and by Dmitry Bak about Stanislaw Lem.

The section «By the Way» contains the article «Who Is Marching Right?» by Aleksandr Arkhangelsky.

In the section «Book Review» Irina Rodnyanskaya reviews the novel «Chapayev and Pustota», Alena Zlobina reviews russian translations of the plays by Tom Stoppard; Yevgenia Vorobyova reviews the book by J.-F. Revelle about Prust; Yuri Kublanovsky reviews the collected articles on Konstantin Leontyev and his works; Igor Kuznetsov reviews the book «Russian Political Quotations from Lenin to Yeltsyn» and other publications.

The section «Editor's Mail» presents three letters on the problems of the Russian science.

In the section «Briefly about Books» Olga Mayorova reviews the anthology «Aeon» and Olga Kuznetsova reviews the book «Mythologies» by Rolan Bart.

The issue also presents our traditional sections «Russian Books Abroad», «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев,
А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко,
П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответ-
ственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),
С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова,
И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам.
главного редактора)**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.05.96 г. Подписано к печати 21.07.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 21570 экз. Зак. 2097. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1996 ГОДА И В 1997 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
ИНГМАР БЕРГМАН. Исповедальные беседы (роман, перевод
со шведского);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Дорога Бог знает куда (повесть);

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Дневники (перевод с польского);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. В снегах (очерк);

ИГОРЬ ЗОЛУТУССКИЙ. Путешествие к Набокову;

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Рассказы;

МИХАИЛ КУРАЕВ. Возвращение из Ленинграда в Санкт-Петербург;

АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);

МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);

БУЛАТ ОКУДЖАВА. Автобиографические анекдоты;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Прохождение тени (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Шкаф (рассказы);

КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morbus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ. Переход Суворова через Альпы (повесть в новеллах);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Митина любовь (повесть);

УОЛЛЕС ШОУН. Лихорадка (повесть, перевод с английского);

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**